

Адрес редакции и конторы „ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА": Никольская ул., д. 11, помещ. 4. Тел. 2-34-53.

Склад издания—Москва, Воздвиженка, д. № 9; Торг. сектор изд-ства „Красная Новь".

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН СОЕДИНЯЙТЕСЬ

ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ФИЛОСОФСКИЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ЭКОНОМ. ЖУРНАЛ.

№ 3

МАРТ 1924.

КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО „МАТЕРИАЛИСТ"
МОСКВА

Из письма В. И. Ленина к А. М. Горькому.

Насчет материализма, как миропонимания, думаю, что не согласен с Вами по существу. Именно не о „материалистическом понимании истории“ (его не отрицают наши эмпирио), а о философском материализме. Чтобы англосаксы и германцы „материализму“ были обязаны своим мещанством, а романцы—анархизмом—это я решительно оспариваю. Материализм, как философия, везде у них в загоне. „Neue Zeit“, самый выдержанный и знающий орган, равнодушен к философии, никогда не был ярым сторонником философ(ского) мат(ериали)зма, а в последнее время печатал без единой оговорки эмпириокритиков. Чтобы из того материализма, которому учили Маркс и Энгельс, можно было вывести мертвое мещанство, это неверно, неверно! Все мещанские течения в социал-демократии воюют всего больше с философским материализмом, тянут к Канту, к неокантианству, к критической философии. Нет, та философия, которую обосновал Энгельс в „Анти-Дюринге“, мещанства не допускает и на порог. Плеханов вредит этой философии, связывая тут борьбу с фракционной борьбой, но, ведь, теперешнего Плеханова ни один русский с.-д. не должен смешивать со старым Плехановым.

Из четвертого письма к А. М. Горькому „Ленинский сборник“, стр. 76—77; под ред. Л. Б. Каменева. Москва, Ленинград, 1924 г.

Маркс и Гегель.

IV.

Уже Кант испытывал потребность в новом построении понятия, как единства противоположностей, как синтеза различных определений. Откуда берутся противоположные моменты единого предмета? Кант думал, что многообразие дается извне посредством ощущений, единство же, т.-е. противоположный момент, привносится нашим рассудком; то же самое относится и ко всем другим так наз., категориям. Так, напр., предмет опыта лишен субстанциональности. Рассудок от себя привносит эту категорию и синтезирует ее с ощущениями. Таким образом выходило, что предметы составляют синтез противоположностей, но при этом один полюс дан извне, другой же—нашим рассудком; дело же синтезирования, слияния данного извне многообразия и привносимых рассудком форм, принадлежит трансцендентальной апперцепции.

Противоречия Кантом уже здесь переносятся в сознание с тем, чтобы избавить от них действительность. Абсолютное формальное единство противоположностей—трансцендентальная апперцепция—составляет единство субъекта-объекта, т.-е. единство и противоположность субъекта и объекта является высшей исходной точкой познания. В познании конкретного трансцендентальное сознание наполняется определенным содержанием. Но как бы то ни было, с этой точки зрения, предмет знания уже представлял собою единство противоположностей, синтез различных моментов. Оставалось лишь эту идеалистическую и субъективистическую постановку вопроса преодолеть. Субъективизм Канта и был преодолен Гегелем.

Истинным предметом для Гегеля является понятие, которое имеет объективное бытие. С этой точки зрения предмет есть понятие, как понятие есть предмет. Но это понятие, которое является одновременно и предметом, составляет единство противоположностей. Гегелевское учение о конкретном понятии, в отличие от формального понятия, являющегося лишь общим абстрактным представлением, имеет огромное значение. Оно составляет основание Гегелевской диалектики. Понятие и есть то, что содержит в себе противоположные

определения. В этом состоит, по Гегелю, его природа. Только то и может быть понято, может быть предметом понятия, что заключает в себе противоположные определения или моменты. Предмет, лишенный противоположных определений, предмет, составляющий пустое и формальное тождество, вовсе не может быть постигнут, т.-е. познан, как он не может вовсе и существовать. Рассудок разрывает действительность и обособляет сращенные элементы друг от друга. Но различия, устанавливаемые абстрактным рассудком, не существуют с точки зрения единства, с точки зрения разума. Они обнаруживают себя не как различия, потому что каждый момент понятия и вещи требует существования другого, связан с другими. Различие, устанавливаемое рассудком, таким образом, разумом отрицается. Понятие (или предмет, потому что понятие имеет же свой предмет) не представляет собою застывшее единство противоположностей. Напротив того, понятие развивается. Говоря о понятии и о предмете, как о единстве противоположностей, мы имеем в виду этим отвести ту точку зрения, которая сводит понятие противоположности к понятию двух противоположных сил, т.-е. внешних разорванных моментов, ибо предполагается, что это две чуждые друг другу силы, направленные в разные стороны. „Если Гегелевское „учение о сущности" низведено до плоской мысли о силах, движущихся в противоположном направлении, но не противоречиво, то во всяком случае лучше всего уклониться от какого-либо применения этого общего места",—говорит совершенно правильно Энгельс, возражая Дюрингу. Речь идет в диалектике о внутренних противоположностях и противоречиях, а не об антагонизме сил, противоположно направленных. Необходимо усвоить, — тем, кто стоит на диалектической точке зрения,—что каждый предмет составляет единство противоположностей. И что в каждом обнаруживаются внутренние противоречия, ибо он находится в состоянии движения и изменения. До поры до времени противоречия могут и не обнаруживаться, могут быть для нас скрыты, но наступление момента, когда оно обнаруживается, неизбежно.

Мышление, по Гегелю, имеет своим предметом прежде всего мысли, но так как посредством мысли или мышления мы проникаем в самый предмет, то определения мысли имеют не только субъективное, но и объективное значение. Противоположность между субъективным и объективным, между субъектом и объектом, которая современной философией возводится в нечто абсолютное, есть на самом деле нечто относительное. Смысл познания заключается именно в овладении и постижении мышлением противоположного ему предмета. Эту истину начинают понимать даже такие субъективисты, которые видели прежде корень бытия в мышлении. На самом же деле нетрудно понять, что мышление порождается бытием, а не наоборот, как это утверждают все идеалисты, в том числе и Гегель. Но Гегель, в отличие от других идеалистов, вскрыл диалектическую природу понятия и тем косвенно и предмета. Необходимо осознать, что каждый предмет или понятие есть

неразрывное единство или тождество. Это тождество не следует понимать рассудочно и формалистически, как абстрактное и лишенное внутренних различий. Напротив, речь идет о конкретном тождестве, в котором различные определения срослись в неразрывное единство. Мы можем абстрагировать это единство само по себе, как логический момент, но это будет уже не реальное, а чисто формальное единство, которое не имеет реального существования. Формальное тождество не допускает различий, оно существует только в мысли. Конкретное же тождество означает такое, которое обнимает в своем единстве различия, противоположные определения. Такое тождество реально. Абстрагируя единство от конкретной целостности, мы получаем рассудочное определение, формальное тождество предмета с самим собою, логическое равенство $A=A$. Рассудок, разлагая целое на отдельные определения или моменты, получает ряд застывших, покоющихся определений. Но поскольку мы переходим к развитию и изменению предмета, мы немедленно сталкиваемся с его внутренними противоречиями. Если рассудок имеет своей задачей анализ и разложение предмета, действительности на их составные абстрактные моменты, то разум, по Гегелю, означает объективную связь целого. Противоречия вскрываются рефлексией, употребляя Гегелевскую терминологию. И это именно и составляет (противоречия) диалектический или отрицательно-разумный момент. Научный метод должен учесть и сделать правильное употребление из всех трех моментов. Первая точка зрения есть точка зрения догматизма и метафизики. Она состоит в одностороннем изолировании отдельных определений. Она имеет дело с абстракциями. Абстрактное же есть то, что содержит в себе только одно определение и исключает другие, различные или противоположные определения. Диалектический рефлективный момент состоит в констатировании в предмете противоречий. На такой точке зрения стоит скептицизм. Он констатирует, что предмет себе противоречит, но отсюда он делает вывод, что предмет не существует, в то время как догматическая метафизика утверждает, что предмет существует, что он свободен от противоречий, ибо бытие имеет лишь то, что себе тождественно, что себе логически не противоречит. Диалектик же поднимается над догматиком и скептиком. Он становится на реальную почву и приходит к выводу: действительность существует и противоречива. Диалектическая точка зрения состоит прежде всего в том, что предмет существует объективно и содержит в себе противоречия. В этом заключается конкретный характер предмета—он един и противоречив одновременно. Всякая конкретная вещь содержит в себе много определений (в отличие от абстрактного определения, существующего отдельно и единично), составляя в то же время единство. Предмет в свете диалектики есть синтез единства и противоречий (различий, противоположностей). Это открытие, которое чуждо еще даже многим марксистам, имеет огромное значение. И кто не понимал учения о

синтезе противоположностей, кто не понял, что конкретное понятие (научное) должно лечь в основу всякого научного понимания, тот не имеет никакого представления о диалектике, несмотря на то, что он может, как попугай, повторять известные ходячие положения. Ни абстрактно-дедуктивный (математический), ни индуктивный метод не следует отождествлять с методом диалектическим. Наука имеет дело с понятиями. Она есть, по Гегелю, система понятий. Материализм отрицает первоначальный характер понятия, считая источником знания прежде всего чувства. Но без мышлений нет науки. Научное понятие (или философское, как его называет Гегель) отличается от обычного понятия тем, что оно всеобще. Но оно в корне отлично от общего представления. Научное понятие конкретно. Абстрактное понятие лишено жизни, оно составляет некую тень действительности. Конкретное же понятие вбирает в себя все богатство и всю полноту действительности. Философия есть наука о действительности: она имеет своим предметом то, что действительно,—таково Гегелевское определение философии. И так как действительность разумна, т.-е. составляет объективную необходимость и связь, то все действительное разумно, т.-е. конкретно, и все разумное или конкретное действительно. Философское понятие представляет собою единичное всеобщее, конкретное; оно столь же всеобще, сколь единично, заключая в себе различия. Оно есть различающееся всеобщее;-всеобщее, в себе противополагающееся: правое и левое, положительное и отрицательное. Во избежание опасной категории противоречия или противоположности, пытались объявить ее несуществующей. Там же, где сталкивались с противоречиями, полагали найти выход из положения тем, что один из противоположных моментов объявляли существующим, другой же—лишь видимостью, иллюзией [1]). Организм есть единство или гармония противоположных сил в одном целом. Действительность проникнута насквозь противоречиями и вместе с тем едина и неделима [2]).

Противоположности суть противоположности между собой, но не в отношении единства, так как истинное и конкретное единство есть не что иное, как единство или синтез противоположностей. Это единство есть движение; оно не является чем-то застывшим, оно есть развитие. Философское понятие есть конкретное всеобщее, и поэтому оно есть мышление реальности, где все объединено в одном и все же разъединено [3]). Единство заключает противоположности в себе, а не имеет их против себя. Без противоположности нет реальности, ибо нет развития и жизни. Понять предмет, познать его в необходимости,—значит брать предмет, как он есть, затем в его внутренних противоречиях и, наконец, как конкретное тождество или

[1]) Ср. B. Croce, Lebendiges und Totes in Hegels Philosophie, стр. 10.
[2]) Там же, стр. 15.
[3]) Там же, стр. 16.

единство противоположностей [1]). Предмет в его непосредственности еще не понят. Понимать, познать,—значит опосредствовать, т.-е рассматривать предмет в его развитии. Предмет только тогда познан, когда он в результате оказывается другим, чем в начале, в его непосредственности. Но, вместе с тем, познание этого противоречия доказывает, что предмет необходимо должен измениться, т.-е. что он становится действительно тем, что он собственно есть. Этот процесс означает одновременно и разрешение противоречия, преодоление его. Тут же необходимо подчеркнуть, что для Гегеля такое познавательное, диалектически-логическое преодоление и разрешение противоречий есть одновременно и реальное преодоление. Гегель идеалист. Поэтому для него движение категорий означает вместе с тем и порождение действительности. Отличие Маркса от Гегеля и состоит в том, что он требует и предполагает изменение самой действительности. Недостаточно преодолеть что-либо в мысли, чтобы оно было в действительности преодолено. Так могут рассуждать только идеалисты. Для материалиста же действительность сама изменяется. И только вместе с действительностью изменяются и наши мысли, самые категории. Но именно становление предмета к тому, что он есть в себе, раскрытие заложенных в нем противоречий, есть развитие. Поэтому понимать нечто,—значит понимать это нечто в его развитии. Вместе с генезисом предмета познана его необходимость. „Зрелый плод,—говорит Эрдман,—отделяется от дерева, потому что существует противоречие в том, что зрелость, т.-е. самостоятельное—плод,—является несамостоятельным". Ребенок по истечении девяти месяцев рождается, т.-е. отделяется от материнского организма, плодом которого он является, потому что он сам стал самостоятельным зрелым организмом. Противоположность развилась в противоречие, которое необходимо разрешается отделением детского организма от материнского. Конечно, беспорочного зачатия не существует. Для рождения ребенка требуется оплодотворение женского яичка. Но дальнейшее развитие эмбриона в матке определяется природой материнского организма. Организм есть конкретное единство внутренних противоположностей, которые на известной ступени развития—по истечении девяти месяцев—вследствие достигнутого ими противоречия (противоречия между детским и материнским организмом) наступают роды, т.-е. разрешение противоречия. Жизнь организма вообще есть тоже единство жизни и смерти, поскольку организм постепенно, живя, умирает. Смерть есть разрешение противоречия в организме. Но важно помнить, что именно организм сам по себе является единством противоположностей и что его внутреннее развитие ведет к противоречию и разрешению его.

„Так как закон,—пишет Гегель,—в то же время в себе есть

---

[1]) Ср. Johann Eduard Erdmann, Grundriss der Logik und Metaphysik, 1864, S. 8—9.

понятие, то разумный инстинкт этого сознания с необходимостью, но не зная сам, что он этого хочет, стремится очистить закон и его моменты до понятия. Над законом он производит исследование. Сначала закон обнаруживается в нечистом виде, облеченным в единичное, чувственное бытие, а понятие, составляющее его природу, представляется погруженным в эмпирическую материю. Разумный инстинкт, производя исследование, стремится найти, что происходит при тех или других обстоятельствах. При этом закон, повидимому, только тем более погружается в чувственное бытие; однако в исследовании пропадает скорее чувственное бытие, нежели закон. Внутреннее значение этого исследования состоит в том, чтобы найти чистые условия закона; это значит только (хотя бы сознание и предполагало выразить этим нечто иное) целиком возвысить закон в форму понятия и уничтожить всякую связь его моментов с определенным бытием. Отрицательное электричество, например, которое сначала характеризовалось как электричество каучука, и положительное—как электричество стекла, по исследовании, совершенно теряют такое значение и становятся просто положительным и отрицательным электричествами. Каждое из них не принадлежит больше особому виду вещей, и теперь уже невозможно сказать, что одни тела наэлектризованы положительно, а другие—отрицательно. Точно так же отношение кислоты и основания и их движение относительно друг друга составляют закон, в котором эти противоположности являются, как тела [1]).

V.

Понятие у Гегеля образует третью главную ступень в развитии мирового духа. Оно есть синтез бытия и сущности. Понятие представляет собою, с одной стороны, абсолютную определенность, как выражается Гегель, как и отрицание определенности. Поэтому в понятии Гегель различает равенство его с самим собою, которое есть общее. „Но это тождество имеет также определение отрицательности; оно есть отрицание или определенность, которая относится к себе, и, таким образом, понятие есть единичное. Каждое из этих определений есть полнота, каждое содержит в себе определение другого, и потому обе эти полноты суть также просто одно, как равным образом это единство есть раздвоение себя самого в свободную видимость этой двойственности; двойственности, которая в различии единичного и общего является полною противоположностью, но которая есть в такой степени видимость, что при мышлении и высказывании одного непосредственно мыслится и высказывается другое“ [2]). Согласно учению Канта, эмпирическая материя

[1]) Гегель, Феноменология духа, стр. 114.
[2]) Гегель, Наука логики, 2 часть, стр. 6.

или многообразие представления существует для себя, затем „рассудок привходит к нему, вносит в него единство и повышает его посредством отвлечения в форму общности". С этой точки зрения, говорит правильно Гегель, рассудок представляется пустой формой, отчасти приобретающей реальность лишь через данное содержание, т.-е. через многообразие воззрения, отчасти отвлекающей от него, т.-е. отбрасывающей его как то, что для понятия непригодно. Таким образом материя есть реальность, которая не может быть выколупана, как Гегель выражается, из понятия. Понятие же не есть нечто независимое и истинное без этой материи. Такова точка зрения трансцендентальной философии. Рассудок составляет момент единства и общности. Наглядные представления—момент многообразия.

Гегель отвергает эту Кантовскую постановку вопроса. Понятие у Канта является чем-то внешним в отношении многообразия представлений и воззрений. Материя противопоставляется, как реальное, понятию. Это не диалектическая постановка вопроса. Поэтому Гегель вступает на иной путь. Но тут же необходимо заметить, что его постановка вопроса чисто-идеалистическая, хотя и диалектическая. Гегель стремится вывести реальность из развития понятия. Обычное мнение, говорит он, состоит в том, что материя воззрения считается реальной в противоположность понятию, которое объявляется чем-то лишь мыслимым. Понятие, как нечто отвлеченное, считается беднее и ничтожнее конкретного. „Отвлечение получает при этом предположении такой смысл, что из конкретного лишь для нашего субъективного употребления выделяется тот или иной признак так, чтобы при отрицании таких-то качеств и свойств предмета он не утрачивал ничего в своей ценности и своем достоинстве, но как реальное, рассматриваемое лишь с другой стороны, сохранял по-прежнему полное свое значение, и чтобы лишь от неспособности рассудка зависела невозможность усвоения всего этого богатства и необходимости удовлетвориться скудною отвлеченностью"[1].

Стало быть, понятие с обычной точки зрения получается посредством отвлекающей или абстрагирующей деятельности рассудка, который, будучи неспособен воспринять в себя всю полноту чувственной действительности, отбрасывает определенные признаки и свойства от нее. На самом же деле вопрос разрешается иначе. Чувственное бытие, правда, есть условие понятия. Понятию или рассудку предшествуют ступени ощущения, воззрения представления, но возникает понятие из их диалектики и уничтожения, как говорит Гегель, а не из их реальности. Он хочет этим сказать, что исторически понятие развивается из бытия, что исторически бытие предшествует сознанию, чувства и воззрения рассудку.

[1]) Гегель, там же, стр. 10.

Но то, что является первым в истории, не является истинным и первым по понятию. Историческая точка зрения противопоставляется таким образом Гегелем логической точке зрения. Гегель не только не отрицает, но определенно признает, что исторически бытие предшествует сознанию, чувства—рассудку. Ведь логика начинает с бытия и только на третьей ступени появляется понятие, как синтез бытия и сущности. Диалектический материализм последовательно отвергает логический план бытия, утверждаясь прочно на исторической позиции.

Итак, Гегель проводит различие между историей и логикой или философией, или истиной. Философия, по мнению Гегеля, „должна быть не рассказом о том, что совершается, а познанием того, что в нем истинно, и из истинного она должна далее понять то, что является в рассказе, как простое событие". Это значит, что хотя „понятие" имеет свою историю, но история-то есть история понятия. ...—дух совершает свое шествие, это он поднимается от бытия на ступень сущности, понятия и пр. Логическая форма понятия различ... от конкретных его форм. Конкретные формы становятся в природе пространством и временем, затем наполненными пространством и временем, далее неорганическим миром и, наконец, органическою природою. „Жизнь или органическая природа есть та ступень природы, на которой выступает понятие, но как понятие слепое, не усваивающее само себя, т.-е. не мыслящее; как последнее оно присуще лишь духу". Если, таким образом, понятие или дух выступает исторически на высокой ступени развития, то логически оно предшествует низшим ступеням. Понятие поэтому не обусловлено реальностью бытия, а, наоборот, бытие обусловлено реальностью понятия, ибо оно есть безусловное. „Воззрение или бытие, говорит Гегель, правда, по природе есть первое или условие понятия, но оно вследствие того еще не есть безусловное в себе и для себя; напротив, в ... снимается их реальность, а вместе с тем и та видимость, которую они имели, как обусловливающее реальное". Высшая ступень развития и есть наивысшая или истинная реальность; низшие же ступени обнаруживаются как видимости, которые снимаются высшей. ...то в начале являлось безусловным (бытие, напр.), порождающим ... органический мир, а вместе с ним и дух, и понятие, оказывается само в результате процесса лишь условием, видимостью. ...ие ступени исчезают в высших ступенях. Их реальность снимается и они оказываются лишь моментами высшей и уже истинной ...ности. „Поэтому на отвлекающее мышление следует смотреть ...просто, как на отстранение чувственной материи, которая при ... не терпит никакого ущерба в своей реальности, но оно есть сокращение последней и сведение ее, как простого явления, к ...ственному, проявляющемуся только в понятии"[1].

[1] Гегель, там же, стр. 10.

или многообразие представления существует для себя, затем „рассудок приходит к нему, вносит в него единство и повышает его посредством отвлечения в форму общности". С этой точки зрения, говорит правильно Гегель, рассудок представляется пустой формой, отчасти приобретающей реальность лишь через данное содержание, т.-е. через многообразие воззрения, отчасти отвлекающей от него, т.-е. отбрасывающей его как то, что для понятия непригодно. Таким образом материя есть реальность, которая не может быть выколупана, как Гегель выражается, из понятия. Понятие же не есть нечто независимое и истинное без этой материи. Такова точка зрения трансцендентальной философии. Рассудок составляет момент единства и общности. Наглядные представления—момент многообразия.

Гегель отвергает эту Кантовскую постановку вопроса. Понятие у Канта является чем-то внешним в отношении многообразия представлений и воззрений. Материя противопоставляется, как реальное, понятию. Это не диалектическая постановка вопроса. Поэтому Гегель вступает на иной путь. Но тут же необходимо заметить, что его постановка вопроса чисто-идеалистическая, хотя и диалектическая. Гегель стремится вывести реальность из развития понятия. Обычное мнение, говорит он, состоит в том, что материя воззрения считается реальной в противоположность понятию, которое объявляется чем-то лишь мыслимым. Понятие, как нечто отвлеченное, считается беднее и ничтожнее конкретного. „Отвлечение получает при этом предположении такой смысл, что из конкретного лишь для нашего субъективного употребления выделяется тот или иной признак так, чтобы при отрицании таких-то качеств и свойств предмета он не утрачивал ничего в своей ценности и своем достоинстве, но как реальное, рассматриваемое лишь с другой стороны, сохранял по-прежнему полное свое значение, и чтобы лишь от неспособности рассудка зависела невозможность усвоения всего этого богатства и необходимости удовлетвориться скудною отвлеченностью" [1].

Стало быть, понятие с обычной точки зрения получается посредством отвлекающей или абстрагирующей деятельности рассудка, который, будучи неспособен воспринять в себя всю полноту чувственной действительности, отбрасывает определенные признаки и свойства от нее. На самом же деле вопрос разрешается иначе. Чувственное бытие, правда, есть условие понятия. Понятию или рассудку предшествуют ступени ощущения, воззрения представления, но возникает понятие из их диалектики и уничтожения, как говорит Гегель, а не из их реальности. Он хочет этим сказать, что исторически понятие развивается из бытия, что исторически бытие предшествует сознанию, чувства и воззрения рассудку.

[1] Гегель, там же, стр. 10.

Но то, что является первым в истории, не является истинным и первым по понятию. Историческая точка зрения противопоставляется таким образом Гегелем логической точке зрения. Гегель не только не отрицает, но определенно признает, что исторически бытие предшествует сознанию, чувства—рассудку. Ведь логика начинает с бытия и только на третьей ступени появляется понятие, как синтез бытия и сущности. Диалектический материализм последовательно отвергает логический план бытия, утверждаясь прочно на исторической позиции.

Итак, Гегель проводит различие между историей и логикой или философией, или истиной. Философия, по мнению Гегеля, „должна быть не рассказом о том, что совершается, а познанием того, что в нем истинно, и из истинного она должна далее понять то, что является в рассказе, как простое событие". Это значит, что хотя „понятие" имеет свою историю, но история-то есть история понятия. ...—дух совершает свое шествие, это он поднимается от бытия на ступень сущности, понятия и пр. Логическая форма понятия различ... от конкретных его форм. Конкретные формы становятся в природе пространством и временем, затем наполненными пространством и временем, далее неорганическим миром и, наконец, органической природою. „Жизнь или органическая природа есть та ступень при..., на которой выступает понятие, но как понятие слепое, не усваивающее само себя, т.-е. не мыслящее; как последнее оно присуще лишь духу". Если, таким образом, понятие или дух выступает исторически на высокой ступени развития, то логически оно предшествует низшим ступеням. Понятие поэтому не обусловлено реальностью бытия, а, наоборот, бытие обусловлено реальностью понятия, ибо оно есть безусловное. „Воззрение или бытие, говорит Гегель, ...да, по природе есть первое или условие понятия, но оно вследствие того еще не есть безусловное в себе и для себя; напротив, в ... снимается их реальность, а вместе с тем и та видимость, ...рую они имели, как обусловливающее реальное". Высшая ступень развития и есть наивысшая или истинная реальность; низшие же ...пени обнаруживаются как видимости, которые снимаются высшей. ...то в начале являлось безусловным (бытие, напр.), порождающим ...я органический мир, а вместе с ним и дух, и понятие, оказы...ся само в результате процесса лишь условием, видимостью. ...ие ступени исчезают в высших ступенях. Их реальность сни...ся и они оказываются лишь моментами высшей и уже истинной ...ности. „Поэтому на отвлекающее мышление следует смотреть ...росто, как на отстранение чувственной материи, которая при ... не терпит никакого ущерба в своей реальности, но оно есть ско...ятие последней и сведение ее, как простого явления, к ...ественному, проявляющемуся только в понятии"[1].

[1] Гегель, там же, стр. 10.

Понятие не есть нечто внешнее по отношению многообразия и не отвлеченная форма общности. Оно есть, по учению Гегеля, объективность предмета. В нем снимается многообразие, свойственное воззрению, и через него предмет **возвращается** к своей существенности. Понятие, как высшая форма самого абсолютного, возникло из бытия и сущности, и подчинило их себе. Понятие обнаружило себя как безусловное основание предшествующих ему условий, т.-е. бытия и сущности. История является таким образом лишь условием для обнаружения понятия, которое безусловно и истинно, независимо от исторических условий. Можно сказать, что понятие в качестве одной из форм абсолютного уже „присутствовало" в низших формах абсолютного. Более того, оно является если не историческим, то логическим их prius'ом. Оно „потенциально" уже существует в бытии и сущности, но обнаруживается только как результат их развития. Гегель подчиняет неосновательно историю логике. Маркс же совершенно правильно подчиняет самое **логику истории**. „Логические" категории сами обнаруживаются, как **исторические**. Нет сомнения, что Гегель вертится в заколдованном кругу, ибо если исторический процесс „подготовляет", так сказать, высшие формы, если они являются продуктом низших форм или ступеней, то очевидно, что **предшествование** низших ступеней высшим имеет значение **порождения**. Нелепо говорить, что хотя **исторически** ребенок следует **за** матерью, порождается ею, **логически**, однако, мать является продуктом ребенка, т.-е. в действительности ребенок рождает свою мать, что ребенок является „безусловным основанием" матери, а не наоборот. Гегелевское построение, стало быть, в корне ошибочно. И мы имеем полное логическое право сказать, что если материя **исторически** является первичным, то она и **логически** оказывается первой. И если Гегель не мог начать с понятия или с духа, а вынужден был признать началом бытие, то это объясняется тем, что бытие, природа действительно предшествует духу.

Генезис понятия Гегель объясняет следующим образом. Бытие в своем становлении переходит в сущность. „Сущность есть результат становления бытия, а понятие — сущности, стало быть, также бытия. Но это становление имеет значение **отталкивания** себя так что **ставшее** есть скорее **безусловное** и **первоначальное**". Понятие поэтому есть взаимное проникновение этих моментов: оно есть единство бытия и сущности, их основание. Сущность есть первое отрицание бытия, которое вследствие этого стало видимостью. Понятие есть второе отрицание этого отрицания, т.-е. **бытие восстановленное**, но как бесконечное опосредование и отрицание его внутри себя самого, как выражается Гегель. Понятие в качестве единства бытия и сущности есть их **истина**. Бытие и сущность восстановлены и возвращены в понятие, как их основание, и, обратно, понятие **развилось** из бытия, как из своего собственного основа-

ния. Внутренняя природа бытия раскрылась в понятии, обнаружилась в нем [1]. Поэтому понятие истинно-конкретно. Гегель дает следующее определение понятия:

„Так как бытие в себе и для себя есть непосредственно положение, то понятие в своем простом отношении к себе самому есть абсолютная **определенность**, которая, однако, как относящаяся только к себе, есть непосредственно простое тождество. Но это **отношение** определенности к самой себе, как ее **совпадение** с собою, есть также **отрицание определенности**; и понятие, как это равенство с самим собою, есть **общее**. Но это тождество имеет также определение отрицательности; оно есть отрицание или определенность, которая относится к себе, и, таким образом, понятие есть **единичное**. Каждое из этих определений есть полнота, каждое содержит в себе определение другого, и потому обе эти полноты суть также просто одно, как равным образом это единство есть раздвоение себя самого в свободную видимость этой двойственности; двойственности, которая в различии **единичного** и **общего** является полною противоположностью, но которая есть в такой степени **видимость**, что при мышлении и высказывании одного непосредственно мыслится и высказывается другое [2]).

Понятие **человек** в этом смысле означает не формальное общее представление, которое пусто и бессодержательно, а его **закон**. Кто знает „природу“ человека, закон его жизни, тот имеет конкретное и объективное понятие человека. Понятие как внутренняя необходимость и закон вещи составляет в этом значении и определении истинную действительность, ибо оно есть истинное бытие и сущность вещи; таким образом становится понятным определение Гегелем понятия как **единства бытия и сущности**.

Понятие содержит в себе три момента: общность, частность и единичность. Понятие есть, во-первых, чистая **общность**, т.-е. единство, которое есть единство с собою, поскольку оно отвлечено от всякой определенности и от всего непосредственного. Но оно есть единство с собою через это отрицание или отрицательное отношение ко всякой определенности. Отвлеченность и составляет это отрицание, которое содержит в себе разрешенную всякую определенность. Но эта **общность** есть вместе с тем частность и **единичность**. Общее, однако, не только тождественно с частным и единичным; оно вместе с тем и противоположно им; но в этом противоположении оно тождественно им, есть их истинное основание, в котором они сняты, говорит Гегель. Необходимо эти Гегелевские соображения перевести на более понятный язык. Общность или общее по своему содержанию не беднее частного, как учит обычная формальная логика. Здесь частное содержится в общем, оно служит для него основанием

[1]) См. Hegel, Encyclopädie der philosophischen Wissenschaften, herausgeg. von Lasson, 1905, S. 154.

[2]) Гегель, Наука логики, 2 часть, стр. 5—6.

и формою. В частном, напр., в виде, должно быть все то, что имеется в общем, в роде. Если мы имеем общее понятие человек, то оно не беднее определенного человека — немца, француза, негра и пр.,— а богаче этого частного определения, ибо общее содержит в себе все возможности, оно составляет совокупность всех определений. Видовое понятие не может содержать в себе больше родового. Оно только определеннее общего. Таким образом общее имеет своим содержанием все то, что и частное, видовое понятие. Поэтому общее, как говорит Гегель, есть самое богатое внутри себя самого, ибо оно есть понятие. Общность содержит в себе все определения, как возможные, но они в ней не полагаются, как действительные. В понятии человек положены все определения всех частных и единичных людей. Правда, когда мы мыслим отвлеченное понятие человек, мы имеем в виду лишь определенные общие признаки, образующие вследствие этого абстрактную всеобщность. Но конкретная или истинная всеобщность включает в себя в сгущенном виде (как возможные, невысказанные определения) все определения всех возможных частных видов. Общность может быть более или менее определена или специфицирована в частном, как выражается Куно Фишер [1]).

В общности мы имеем тождество и различие определений. В частном, как более определенном понятии различия, выступают более резко и выпукло. Таким образом общее понятие, по учению Гегеля, служит основанием частного, так как последнее есть лишь определившееся общее. В этом смысле общность конкретна, а не абстрактна. Различие между всеобщим и частным следует понимать так, что в самом всеобщем заключено различие частного, что в нем дано одновременно как тождество, так и различие. Всеобщее составляет совокупность всех частных видовых форм. В нем они содержатся, стало быть, оно богаче и конкретнее частного. „В чем состоит различие между квадратом и четырехугольником?“ спрашивает Куно Фишер. И отвечает: „Не в том, что квадрат имеет больше определений, чем четырехугольник вообще, и не в том, что ему прибавляют известные признаки, которых нет у квадрата, а в том, что квадрат исключает ряд определений, которые содержит четырехугольник. Квадрат есть особенный (частный) четырехугольник“ [2])... Четырехугольник вообще может быть одинаково как квадратом, так и ромбом. В этом и состоит связь частного или особенного с общим. Определенный действительный четырехугольник будет или квадратом, или ромбом. Конкретное всеобщее содержит в себе различия особенного или частного. Абстрактное же всеобщее исключает различия.

Частное, таким образом, есть та же общность, но в ее определенности. „Частное, говорит Гегель, содержит в себе общность, составляющую его субстанцию; род есть неизменное в своих видах:

---

[1]) Ср. также Kuno Fischer, System der Logik und Metaphysik, 1865, стр. 119.
[2]) Kuno Fischer, там же, стр. 124—125.

виды различаются не от общего, а только один от другого. Частное имеет с другими частными, к которому оно относится, одну и ту же общность. Вместе с тем их различие ввиду их тождества с целым, как таковое, обще; оно есть целостность. Таким образом частное не только содержит в себе общее, но также изображает последнее через свою определенность; она тем самым образует собою ту сферу, которую должно исчерпать частное" [1]. Третий момент понятия образует единичность или индивид. Частность есть определенная общность, единичность—определенная частность. Единичность должна мыслиться, как общность в ее определенной частности или особенности. Общность распадается или определяется как бесконечный ряд частных или особенных. Этот бесконечный прогресс получает свое завершение в единичном, в индивиде. В единичности общность вполне и исчерпывающе определила себя. Единичность есть граница, предел общности. Единичность не составляет отрицания общности, а ее осуществление. Конкретное единичное или конкретный индивид сам по себе, поскольку в нем общность осуществлена как действительное, есть общность. Так как в единичном общность приобретает истинную действительность, то единичное есть также действительная всеобщность. В индивиде или в единичности снимается различие и противоположность между общностью и частностью. Именно единичность есть единство общности и частности. Такова диалектика понятия.

Мы видели, что Гегель исходит из общего понятия, которое он считает душой конкретного и действительного бытия. По учению Гегеля выходит, что общность существует раньше единичности, т.-е. что понятие обладает первичной реальностью, что оно из себя, путем самодвижения или саморазвития, производит частное и единичное. Род предшествует видам и индивидам. Он себя определяет к частному и единичному. Но тот же Гегель вынужден признать, что истинно-действительное есть единичное, которое составляет единство общего и частного. Общность есть вся реальность лишь в возможности потенциально. Но она не есть реальность в смысле, так сказать, актуальном. Форма действительного существования общности есть единичность. Таким образом Гегелевский реализм понятия переходит у него же в номинализм. Понятие имеет возможное, но не действительное существование, которое присуще лишь единичному, отдельным чувственным вещам.

Данный единичный предмет есть вместе с тем и особенный и выражает общую „сущность". Рабочий класс данной определенной среды, будучи данным, т.-е. единичным явлением, специфическим образом, т.-е. особенным образом, выражает общий характер, законы и определения рабочего класса вообще. „Всеобщее, говорит Фейербах, есть поэтому единичное, индивидуальное, но так

[1] Гегель, Наука логики, 2 часть, стр. 23.

как каждый индивидуум имеет это общее, то мышление абстрагирует его от отдельных индивидуумов, отождествляет его и выставляет как самостоятельную вещь, но вещь, общую всем—представление, из которого затем получаются все дальнейшие мучительные схоластические и идеалистические затруднения о взаимоотношении между общим и единичным.

В споре с проф. Шаллером Фейербах подчеркивает, что Шаллер отличает род или общее от индивида, противопоставляя ему общее, как „самостановящееся", т.-е. самостоятельное объективное существо, в то время как он, Фейербах, отождествляет род с индивидом, индивидуализирует общее, но поэтому обобщает, „генерализирует" индивидуума. „Человек в самом себе делает различия—он, ведь, сам явственно состоит из отличающихся друг от друга и даже противоположных органов и сил,—но то, что он в самом себе отличает, в такой же мере принадлежит к его индивидуальности, в такой же мере является составной частью ее, как и то, от чего он это отличает". Различие между индивидуальным и общим вообще относительно. Общего желудка, как и общей головы, не существует. Каждый имеет желудок свой, индивидуальный. Но этот индивидуальный желудок, как и голова составляют общее явление.

Что касается критики Маркса, то на этом нам придется остановиться особо в другой связи.

VI.

Необходимо отдать себе отчет в том, что в основе всякого научного познания лежат основные понятия, имеющие характер категорий. Они в одинаковой степени присущи бытию, как и мышлению. Ведь диалектика в отличие от метафизики и формалистической теории познания, как и логики, рассматривает бытие и мышление вместе, не отрывая одного от другого. Уже в этом отношении диалектика обнаруживает свой специфический характер. Каковы же эти основные понятия? И чем они отличаются от обычных абстрактных понятий формальной логики? Общая природа этих понятий такова, что каждое из них требует как дополнения своей противоположности. Понятия же эти суть: бытие и становление, форма и содержание, субстанция и причинность, качество и количество, единство и множественность (разнообразие), конечное и бесконечное, движение и покой, часть и целое, непрерывность и прерывность, всеобщее и частное, сущность и явление и т. д. Ни одна частная наука не может обойтись без этих основных понятий. В этом смысле каждая наука опирается сознательно или бессознательно на диалектику. В этом же смысле и философия, как показывает ее история, разрабатывала основные проблемы диалектического метода. Но философия до поры до времени не отдавала

себе в этом ясного отчета. Это делалось бессознательно, стихийно, так как такая работа диктовалась внутренним развитием самой науки.

Если же мы обратимся теперь к характеристике этих основных понятий или категорий науки, то мы прежде всего должны будем признать, что эти „абстрактные" понятия представляют собою наивысшие обобщения, при чем такие, которые применимы вообще ко всякому явлению в отдельности, как и ко всей совокупности явлений, т.-е. к миру как целому. Эти понятия являются не только формами нашего мышления, но и формами бытия. Они составляют реальные категории. Без этих научных понятий мы не в состоянии познавать окружающий нас мир. Употребляя термин „абстрактные" формы, мы желаем подчеркнуть их всеобщий характер, но отнюдь не рассудочную их форму, не формально-логическую их природу.

Далее, внимательно анализируя эти „понятия", мы убеждаемся в их непосредственной взаимозависимости. Одно понятие немыслимо без своей противоположности. Взятое каждое в отдельности, в своей изолированности, оно не может нам дать правильного изображения действительности. Действительность не исчерпывается односторонним и в этом смысле абстрактным понятием. Но в действительности нет единства без разнообразия, нет формы без содержания, нет бытия без становления, нет качества без количества. Только в рассудочном мышлении берут обычно одну сторону, отрывают ее от конкретного целого, ею оперируют. В этом смысле догматическая метафизика, как это было вскрыто с несравненной глубиной Гегелем, и опиралась на рассудочные понятия. Тут же необходимо подчеркнуть, что мы под рассудком, как и разумом, понимаем не особые какие-либо способности сознания или „души". Мы имеем в виду различие методов: рассудочный метод равносилен догматическому или метафизическому. Разумный метод или спекулятивный отождествляется Гегелем с диалектическим методом. Если не вкладывать метафизического смысла в понятия рассудок и разум, а брать эти термины в методологическом смысле, их можно употреблять с пользою; деятельностью рассудка мы и будем понимать тот способ мышления, который изолирует одно из абстрактных понятий, отрывает его от противоположности и берет его как самостоятельное и абсолютное. А между тем диалектический метод требует, в согласии, разумеется, с объективной природой вещей, чтобы вещи рассматривались не под отвлеченным углом зрения абстрактного понятия, а как конкретное целое, объединяющее в себе противоположные свойства. Каждый предмет един и множествен в одно и то же время, каждый предмет есть „вещь" и обладает множеством разнообразных свойств. То же самое можно сказать и относительно единства формы и содержания, качества и количества и пр. Метафизики и брали обычно одну сторону, скажем, абсолютное единство или

отвлеченную **форму** или абстрактное бытие, или же отвлеченное понятие становления и таким образом приходили к какому-либо отвлеченному **принципу**, в который укладывалась, якобы, вся действительность. Диалектический идеализм в лице Гегеля пытался впервые подойти к изучению действительности с точки зрения совмещения противоположных определений и их примирения в высшем единстве. Подход его с формально-методологической стороны был правильный. Недаром этот философ открыл собою новую эпоху в области философии. Но идеализм Гегеля помешал ему сделать все надлежащие выводы и он оказался роковым и для его метода. Диалектический материализм один был в состоянии **выполнить поставленную немецким идеализмом задачу.**

Обращаясь к вопросу об **изменчивости** и **устойчивости** вещей, необходимо указать, что одни метафизики, отвлекаясь от изменчивости, которой подвержено все существующее, сосредоточивали свое внимание на **постоянстве**, на тождестве вещи. Другие же сосредоточивали свое внимание исключительно на изменчивости и отвлекались от всего того, что есть устойчивого в предмете. Но в природе нет ни абсолютного постоянства, ни абсолютной изменчивости, ни абсолютного бытия, ни абсолютного становления. Речь может идти только об относительной устойчивости и об относительной изменчивости. Без бытия нет становления, но и без становления нет бытия. Понятие изменения предполагает **объект**, в котором совершается **переход от одного состояния к другому**. Каждый такой переход совершается посредством **скачка**, **разрыва** между новым и предшествующим состоянием вещи. В одних предметах процесс изменения совершается медленнее, в других быстрее, но самый процесс изменения не подлежит сомнению. Но раз изменения существуют, то „скачки“, разрывы неизбежны. Ибо одно из двух: либо предмет остается тождественным с самим собою, т.-е. абсолютно константным, тогда весь мир должен представлять собою **застывшее**, **мертвое состояние**. Но этого нет, так как каждый из нас имеет непосредственно сознание времени и изменчивости. Либо же приходится предположить, что мир **абсолютно изменчив**. Это означало бы, что мир в каждый данный момент заново возникает **из ничего**, что в нем нет никакой закономерности. Если бы мы допустили такой строй мира, то жизнь совершенно не была бы возможна, не говоря уже о том, что такое creatio ex nihilo абсурдно само по себе. В таком случае совершенно ясно, что изменчивость состоит в том, что последующее состояние мира возникает из предыдущего его состояния и им определяется. Настоящее, как бы оно ни отличалось от прошлого, не оторвано от него, а составлено из **элементов** этого прошлого. Но, тем не менее, новое состояние представляет собою новое своеобразное сочетание этих элементов и тем самым оно является **качественно** чем-то отличным от предыдущего. Нам кажется, что нет нужды иллюстрировать эти соображения конкретными приме-

рами—до такой степени они понятны и всеобщи. Накопление изменений происходит медленно в неорганической природе, более быстро в органической и общественной жизни—потому, что здесь объект изменений является в то же время действующим субъектом. Мы прежде всего имеем в виду человеческую историю, где эти процессы совершаются гораздо быстрее, чем в других сферах бытия.

Таким образом закон непрерывности в общем процессе эволюции мира нисколько не опровергается законом прерывности. Напротив того, они друг друга дополняют и существуют совместно. Если одно возникает из другого, то ясно, что, какие бы ни были между различными состояниями разрывы, процесс изменения неизбежно предполагает непрерывность развития.

Из наблюдений над звездными спектрами, пишет один немецкий ученый, можно заключить, что элементы образуются при постепенном охлаждении из немногих первичных веществ путем скачков[1]). Теория квант, как известно, исходит из признания скачков. Носителями квант, т.-е. атомов энергии, являются электроны. Макс Планк определенно говорит о том, что известное положение: „природа не делает скачков" (natura non facit saltus) не выдерживает критики. „На этот раз,—говорит он,—это принципы термодинамики, с которыми это положение пришло в противоречие благодаря новейшим опытным данным, и если нас не обманывают все признаки, то дни его—этого положения—сочтены. Природа, повидимому, действительно делает скачки, и при этом очень своеобразные скачки" [2]). Квантовая гипотеза, продолжает Планк, привела к тому взгляду, что „в природе существуют изменения, которые происходят не непрерывно, а посредством взрывов (explotionsartig) [3]). Другой крупнейший ученый нашего время, Жан Перрэн, стоит на такой же точке зрения. Отношение, по которому соединяются друг с другом два элемента, не может изменяться непрерывно" [4]). Все эти изменения происходят посредством скачков. „Внутренняя энергия молекул может изменяться только путем прерывистых скачков" [5]). Он примыкает к точке зрения Планка, согласно которой энергия каждого тела изменяется прерывистым образом. Она изменяется одинаковыми порциями квант, так что каждое колеблющееся тело всегда содержит целое число атомов энергии. Анри Пуáнкаре дает следующую общую формулировку этого закона: „Физическая система может иметь только конечное число различных состояний; она перескакивает от одного к другому из этих состояний, не переходя непрерывного ряда промежуточных состояний". Можно ли считать эту формулировку удовлетворительной—это вопрос особый.

---

[1]) Willy Bein, Das chemische Element, S. 80.

[2]) Max Planck, Physikalische Rundblicke. 1922 S. 72.

[3]) Max Planck, Physikalische Rundblicke, S. 75.

[4]) Jean Perrin, Die Atome, нем. пер., 2 Aufl., S. 8.

[5]) Там же, стр. 63.

Таким образом современное естествознание уверенно вступило на путь признания скачков, т.-е. одного из законов диалектики. В этой связи мы не имеем возможности остановиться на этой проблеме более подробно. Достаточно только подчеркнуть, что процесс превращения элементов совершается посредством взрывов, скачков, при чем новый элемент качественно отличен по своим химическим и физическим свойствам от предыдущего, т.-е. что и тут мы имеем подтверждение тех же диалектических законов. Исследование радиоактивных веществ показало, что существуют химические элементы, которые сами изменяются; некоторые из их атомов распадаются и при распаде образуют новые элементы. Чем более в атоме содержится электронов, тем скорее наступает кризис, ведущий ко взрыву атома. Этим и объясняется, что элементы с большим числом электронов радиоактивны.

Подобно тому, как форма неотделима от содержания, неотделимы также друг от друга с и л а и в е щ е с т в о. Нет материи без силы, как нет силы без материи. Метафизики стремились отделить силу от материи, и тогда они приходили к построению и д е а л и с т и ч е с к и х систем.

Олицетворяя силу, они постулировали существование д у х а. Отрывая м ы с л ь от м о з г а, они делали выводы о существовании мысли самой по себе, как самостоятельной субстанции. Не лучше поступал метафизический материализм, который, с своей стороны, брал мертвую материю, сводя ее к протяженности, и возводил ее в абсолют, субстанцию, абстрагируя от силы. Повсюду мы видим на протяжении истории мысли один и тот же процесс: рассудочное обособление от целого одного какого-либо свойства, возводившегося в абсолют. При этом пренебрегали другими столь же первичными свойствами. Очевидно, что метафизически-абстрактный метод при этом играл решающую и к тому же роковую роль. Но тут же необходимо оговориться, что и этот метод и связанные с ним метафизические построения имели, конечно, свои глубокие корни как в общественных, так и в научных условиях времени. С одной стороны, абстрактно-метафизический метод был необходим при соответствующем ему уровне науки. С другой стороны, необходимо было пройти низшие ступени. Как бы то ни было, одно несомненно, что замена этого отвлеченного метода истинно-научным конкретным методом составила эпоху и что Маркс, применяя его в частной научной области, оказал вместе с тем огромное влияние на научную методологию или теорию науки вообще. Говоря о Марксе, мы, конечно, ни на минуту не забываем его великого учителя Гегеля. Но, помня хорошо об этом и твердо зная, что именно Гегель обосновал диалектический или конкретный метод, мы не должны забывать, что Гегель был идеалист и этим повредил своему методу. Из области идеалистической метафизику в науку перенес этот столь важный метод именно Маркс, отбросив при этом все те схоластические элементы, которые имелись в учении Гегеля.

Диалектический метод, как мы уже говорили, противопоставляет абстрактной действительности, порождаемой мыслью и существующей только в ней, конкретную, имеющую реальное существование. Конкретное означает „сращенное". То, что в мысли обособляется от предмета, в действительности существует вместе, как **одно сращенное целое**. Отвлеченное мышление не терпит **противоречий**. Оно стремится к закреплению и утверждению **абстрактного тождества**. Проделав этот процесс оскопления в мысли и получив безжизненные формы, оно затем переносит их на действительность в полной уверенности, что эта последняя подчиняется беспрекословно мысли. Формальная логика сама является продуктом обособления и разрыва формы с содержанием. И она вместе с тем определяется и питается общественными условиями, в которых формальные истины (право, свобода, равенство) отделены от реального содержания. Диалектический метод поэтому должен был стать могучим оружием в руках пролетариата, который по самому своему положению и существу призван историей к преодолению этого разрыва формы и содержания.

А. Деборин.

Учение Гегеля о „действительности“.

(Продолжение.)

11. Случайность.

Теперь мы хотим вернуться к случайности. Наше обычное понимание случайности говорит: случайность, это—непознанная необходимость. „Причины, вызывающие следствия, не поддаются здесь практическому учету. Они существуют, но мы их не можем учесть, а потому мы их не знаем. Это наше незнание мы и называем в данном случае случайностью... Таким образом мы видим, что, строго говоря, в историческом развитии общества нет никаких случайных явлений... Понятию случайности противоположно понятие необходимости (причинной необходимости)“ [1]). Мы противопоставляем случайность причинной необходимости и кажущуюся беспричинность называем случайностью. Тем самым мы категорию случайности снимаем, ибо видимость ее содержания обнаруживает свою беспомощную призрачность перед категорией необходимости. Все, везде и всегда происходит с неотвратимой необходимостью.

Однако мне кажется, что случайность не снята у Гегеля, как призрак, но имеет действительное и содержательное существование, не в пример ее убогости в учебниках марксизма.

„Справедливо, что наука, и в особенности философия, имеет своим предметом узнать необходимость, скрытую за кажущейся случайностью; но не должно представлять себе, будто случайность есть только продукт нашей субъективной мысли, и что необходимо отвергать ее, чтобы достигнуть истины. Тех, которые исключительно преследуют это направление в своих научных исследованиях, справедливо обвиняют в узком педантизме и в бесплодной трате остроумия [2]).

Фишер утверждает, что Гегель всякому единичному факту приписывает характер случайности. Я думаю, что это противоречит учению Гегеля о понятии. Для формальной логики с ее учением об абстрактных понятиях единичное всегда случайно, ибо сущность единичного, абстрактное, общее, содержит единичное под собой, но не конкретизируется в нем, не представляет неразрывного сращения с ним. Для Гегеля же, наоборот, абсолютное целиком излагается единичным, представляет неразрывное единство с ним. Это еще явствует из его учения о разумности действительности. Он не исключает возможности случайного в эмпирическом, но и не утверждает случайности всего эмпирического.

[1]) Бухарин. Теория исторического материализма, стр. 41, 44, 45.
[2]) Гегель, Энциклопедия, § 145, прибавление.

Совсем уж вульгарно трактует Гегелевское понятие случайности Розенкранц. Случайность превращается у него в учение о том, какие огромные следствия может иметь какой-нибудь незначительный факт: „Die Lectüre eines einziges Buchs, das wir als reisende in dem Winkel einer Wirthsstube finden und aus Langweile an einem Regenstage lesen, kann unserer ganzen Denkungsweise plötzlich eine andere Richtung geben. Ein Cäsar durchschreitet einen Bach—und Alea jacta est“ [1].

Понятно, что такое обывательски-толстовское понимание случайности ничего общего с Гегелем не имеет.

Уже из сказанного раньше ясно, что употребляемая нами категория случайности имеет такой же raison d'être (право на существование), как явление, вещь в себе и т. д.—им ничего не соответствует в объекте, в действительности.

Что же такое случайность? Не нужно ли ее также выбросить из пределов диалектики, как категории сущности?

Мы попробуем в этом разобраться на конкретном примере, на последних событиях в Болгарии.

Во главе государства стоял Стамболийский,—партия крепкого крестьянства. Это правительство было свергнуто партией буржуазии с Цанковым во главе. Коммунистическая партия должна была с неизбежностью вступить в борьбу с новым правительством. Какие частные изменения ни произошли бы в рядах К. П. или правительства, борьба была неотвратима. Она вытекала из законов классовой борьбы.

Подчеркнем первый вывод: **борьба была неизбежна, она не могла не быть.**

Но перед К. П. Б. были две возможности: вступить в борьбу немедленно или оттянуть ее. Она выбрала последнее. Она дала правительству Цанкова возможность укрепиться и овладеть государственным аппаратом; после этого она была вынуждена принять бой и потерпела поражение.

Является ли поражение К. П. необходимым результатом соотношения классовых сил в Болгарии, или оно является случайным? С точки зрения обычной трактовки случайности, поражение является необходимым результатом. Укрепление Цанкова и тактическая ошибка К. П. объясняются до конца рядом причинных отношений. Противопоставление случайности и необходимости оказывается бессмысленным.

Теперь сравним две необходимости:

1. Неизбежность схватки между Цанковым и К. П.
2. Неизбежность тактической ошибки К. П.

Однородны они или нет?

Первая необходимость могла бы только тогда измениться, если бы перестали существовать правительство Цанкова или К. П., т.-е. она была ничем не отвратимой.

Не так обстоит дело с тактической ошибкой К. П. В Плевне и ряде других мест коммунистические организации завязали борьбу. Ц.К. не понял значения разворачивающихся событий и не принял во-время руководства повстанческим движением.

Могла ли К. П. Б. не совершить этой ошибки? Конечно, могла. Стоит только вспомнить и продумать письмо Зиновьева к болгарским коммунистам, чтобы это ясно понять.

---

[1] Rosenkranz, Wissenschaft der logichen Idee. S. 441: „Чтение какой-либо книги, которую мы, путешествуя, находим в углу гостиницы и читаем от скуки в дождливый день, может внезапно изменить направление всего нашего образа мысли. Цезарь переходит поток—и жребий брошен“.

Мы имеем два события, из которых одно разворачивается с необходимостью совершенно независимо от субъективных особенностей носителей объективного процесса, а другое носит целиком характер субъективной случайности: и оба они необходимы.

Мы имеем основные закономерности общественного процесса, классовые антагонизмы пролетариата, крестьянства и буржуазии, их численность и массовое субъективное настроение, политические организации,—все это делает победу К. П. вероятной. С другой стороны, ошибка вождей приводит к поражению.

Случайность не противопоставляется необходимости. Она является выражением того, что общественный процесс, протекающий по объективным закономерностям, не является фаталистическим. В основную объективную закономерность вплетаются субъективные закономерности действующих лиц и влияют на полученный результат. Поле их влияния и границы его определяются основной закономерностью объекта, частью которого они состоят, но и этого поля достаточно для того, чтобы результат оказался случайным с точки зрения основной объективной закономерности.

Субъективные закономерности могут присоединиться к объективным со знаком + или —. Эти субъективные закономерности в отношении к объективным и являются реализацией в действительности категории случайности.

Ее можно обосновать на примере Брестского мира и других явлений нашей общественной действительности. И только она дает исходный пункт для понимания исторической ошибки и роли личности в истории.

Таким образом случайность—это не фиктивная категория непознанной причинности, а результат взаимодействия основных закономерностей общественной жизни с субъективными закономерностями, вырастающими на ее почве [1]).

12. Бесконечное и конечное.

Вернемся к Гегелю.

Абсолютное отношение выступает как деятельность, реализующаяся в конечном. Конечное не противостоит субстанции, но является ее моментом. Материя это не есть некий голый субстрат, отвлеченный от качественного многообразия. Гегель разоблачает легенду о луковице: „субстанция, как это тождество видимости, есть полнота целого, обнимает собой акцидентальность (единичные явления. *С. Г.*), и эта акцидентальность есть вся субстанция сама" [2]).

Субстанция деятельна, деятельность есть ее абсолютная форма. Эта абсолютная форма проявляется в каждой единичности в определенном содержании. Каждый предмет есть деятельная материя в определенный момент этой деятельности. Поэтому единичное, акциденция, представляет собой постоянно возникающее и разрешающееся противоречие. Единичное заключает в себе определенное содержание и абсолютную деятельность; это противоречие разрешается преходимостью единичного. Единичное всегда выступает в той или иной качественной определенности. Бескачественной материи не существует. Но так как нет неподвижной и неизменной материи, так как она всегда и везде находится в процессе непрерывного движения, изме-

[1]) Таково именно плехановское понимание исторической случайности в статье „Роль личности в истории".

[2]) Гегель, там же, стр. 139.

нения, то одна качественная определенность сменяется другой. Вот почему единичность не может быть вечной, абсолютной. Абсолютна лишь деятельность, осуществляющаяся, однако, всегда в единичных вещах.

Таким образом субстанция представляет собой не просто абсолютную деятельность, но деятельную материю: „это движение акцидентальности есть деятельность субстанции, как спокойного выступления себя самой“ [1]).

Деятельная материя проявляется двояко. Она действует, как сила созидающая, переводя возможность в действительность, но так же и как разрушающая, переводя действительность в возможность. В постоянной смене акциденций, возникновении одних и уничтожении других, она осуществляется как абсолютная власть: „Субстанция проявляется через действительность вместе с ее содержанием, переводя в нее возможное, как творящая, а через возможность, в которую она возвращает действительное, как разрушающая сила. Но и то и другое тождественны, творчество есть разрушающее, разрушение—творящее; ибо отрицательное и положительное, возможность и действительность абсолютно объединены в субстанциональной необходимости“ [2]).

Отношение возможности и действительности подымаются на новую, высшую степень. Субстанция, когда она осуществляется в акциденциях, заключающих в себе возможность новой действительности, проявляется как производящая сила: отношение возможности и действительности переходит в отношение причинности.

Толкование Фишером и Розенкранцом гегелевского субстанционального отношения кажется мне совершенно неправильным. Первый толкует его как-то своеобразно-механически,—не по-спинозовски, а по-декартовски. С одной стороны—субстанция, как абсолютная деятельность; с другой—мертвые акциденции, на которые обрушивается субстанция. Поэтому и противоречие субстанции заключается, по Фишеру, в том, что акциденции не имманентны субстанции, а предлежат ей. Мы уже показали раньше, что противоречие заключается в диалектическом характере деятельной материи, постоянном разрушении и становлении.

Розенкранц тоже пытается истолковать Гегеля механико-эмпирически. Субстанция и акциденции две совершенно различные вещи, напр., тяжесть это в предметах—субстанциональное, а все прочее акциденции. В человеке субстанциональное—разум; если развевается плащ, то он сам субстанция, а складки—акциденции и т. д.

В общем он сводит субстанциональное отношение к отношению существенного и несущественного, притом в грубо эмпирическом смысле.

13. Причинность.

Рассуждения Гегеля о формальной причинности, которой он начинает изложение причинности, для нас ценны тем, что своей постановкой вопроса он изгоняет всякую возможность притянуть трансцендентное (сверхчувственное) для объяснения мира.

В отношении причинности субстанция фигурирует двояко: как причина и действие. Причина характеризует абсолютную деятельность субстанции. Субстанция, как причина, есть causa sui, деятельность есть ее имманентное свойство.

---

[1]) Гегель, там же, стр. 138.
[2]) Гегель, там же, стр. 139.

Причина, это—абсолютная деятельность, изложение субстанции: то изложение есть положение (полагать). Субстанция, как причина, существляет свою деятельность в полагании. Это полагание, оказывающееся отрицательным моментом абсолютной деятельности, есть ействие. Таким образом действие это есть причина in actu (в процессе олагания, действования). Субстанция не имеет никакого другого уществования кроме причиняющего, т.-е. действующего. Поэтому точно ак же, как субстанция не имеет другого существования помимо сущетвования в акциденциях (конечных, единичных явлениях), она не меет другой действительности помимо той, которую она осуществляет действии.

Причинное отношение есть проявление, процесс деятельности атерии, оба момента которого, причина и действие, бсолютно имманентны ей (содержатся в ней самой). Понятие ричинности самой своей постановкой изгоняет всякую трансцендентость: „...Субстанция имеет ту действительность, которая свойственна й, как причине, лишь в своем действии. Такова та необходимость, которая есть причина. Она есть действительная субтанция, так как субстанция, как сила, определяет саму себя; но она сть вместе с тем причина, потому что она излагает эту определенность или полагает ее, как положение; таким образом она полагает вою действительность, как положение, или как действие" [1]).

Ближайший анализ понятий причины и действия показывает их заимообусловленность и взаимное впадение. Причина только потому постольку является таковой, поскольку она производит действие. Действие же только тогда существует, если существует причина. Процесс угасания причины является процессом угасания действия. Непосредственная, генетически неопределенная действительность содержит в себе моменты причины и действия в угасшем виде; этой равнодушной к различению формы действительностью является содержание.

В формальной причинности Гегель не касался содержания, он рассматривал ее, если употребить выражение Спинозы, sub specie eternitatis, причинность как общую логическую категорию. В определенной причинности Гегель имеет дело с ее конкретным проявлением, поэтому он помимо субстанции, как абсолютной деятельности, водит и акциденцию, единичное осуществление абсолютного, единтво абсолютной формы (деятельности) и конечного содержания.

Реализуясь в конечном, отношение причинности является внешним различением тождественного содержания. Одна и та же вещь может ыть в одном случае своеобразно самостоятельной причиной; в другом лучае—положенной, действием.

Когда мы говорим, что дождь является причиной влажности, ы, в самом деле, имеем дело с тождественным себе содержанием. Дождь сам по себе является влагой; вода является в обоих соединяемых нами понятиях общим содержанием. Но в одном случае эта ода существует для нас в виде чего-то самостоятельного—дождя, в ругом в виде чего-то, положенного первым,—сырости.

Дождь мы называем поэтому причиной, а сырость—действием. Однако совершенно ясно, что в действии нет такого содержания, оторого не было бы в причине, и наоборот.

Если рассматривать движение какого-нибудь тела А под действием удара от тела В, то В является причиной движения тела А. В данном случае причина и действие имеют тождественное содер-

[1]) Гегель, там же, стр. 141—142.

жание: движение. Необходимое (причинное) отношение заключается в переходе движения от тела В к телу А.

Но каждая вещь многообразна, она имеет множество свойств и множество опосредований (взаимосвязей) с окружающим. Ветер поднимает на море волну. Нужно ли нам знать температуру ветра, или нам достаточно знать силу и направление его движения, чтоб определить его действие на воду? В причинное отношение вступает не все качественное многообразие вещей, но только те свойства, которые в этой связи являются действующими и определяют результат: цвет тела, причиняющего толчек, не влияет на действие толчка и т. д. „Лишь то, что из его (тела, являющегося причиной. *С. Г.*) качеств проявляется в **действии**, присуще ему, как **причине**, по прочим качествам он не есть причина“ [1]).

Это обозначает, что ни в одном единичном причинном отношении не раскрывается бесконечное качественное многообразие вещи, мы ее познаем всегда только в определенном, ограниченном отношении.

Аналитический характер причинного суждения маскируется тогда, когда сравнивают отдаленную причину с действием, при чем упускают все посредствующие звенья. Если они будут восстановлены, то сквозь различие формы ясно просветит тождество содержания. Но содержание действия окажется результатом не одной единственной причины, а множества. Каждая отдельная причина будет выступать, как один момент содержательного результата.

Мы говорим, что империалистическая война была причиной революции в России. Но если восстановить посредство между этими двумя событиями, то война окажется только одним моментом, причиняющим действие в увязке с многочисленными другими причинными рядами.

Особенно опасна эта причинная аберрация при объяснении исторических явлений. Здесь забывается, что содержание действия тождественно содержанию причины, и поверхностные, незначительные поводы принимаются легкомысленно за причины крупных исторических событий. Анекдот является часто тем ключом, которым пытаются вскрыть объективные закономерности исторического процесса. Эти подобные арабескам исторические картины, которые пытаются вырастить какой-то великий образ на слабом стебле, представляют собою поэтому, конечно, остроумную, но в высшей степени поверхностную обработку истории“ [2]).

Итак, подчеркнем еще раз уже добытые определения причины и действия: по содержанию они тождественны, а по форме различны. Но причина и действие связаны не только со вступающими в отношение свойствами, но и со всем многообразием свойств соотносящихся вещей. Поэтому причина и действие, напр., живописец и картина, различны и по содержанию.

Это многообразное содержание имеет определение причины или действия только как один момент совокупности своих свойств. Взятое непосредственно это многообразное существование, вещь со многими свойствами, заключает в себе тождество причины и действия и является устойчивым субстратом (носителем) для определенной формы. Само же определение формы является внешним по отношению к нему, ибо он в отношение вступает только моментом своего содержания.

Так как ни одна конечная субстанция (вещь) не является causa

[1]) Гегель, там же, стр. 143.
[2]) Гегель, там же, стр. 145.

sui (причиной самой себя), то определение причинности не заложено в ее непосредственном существовании, но положено в ней, как внешнее определение. „Действие этой субстанции начинается поэтому от некоторого другого, освобождается от этого внешнего определения и ее возврат в себя есть сохранение своего непосредственного осуществления и снятие своего положения, стало быть, вообще своей причинности [1]).

Мы совершили переход от первой определенности причинности ко второй через введение понятия о том, что единичное проявление материи никогда не бывает causa sui. Гегель совершает его иначе. Он вводит понятие субстрата, как многообразной, но бездеятельной устойчивости, и из этого выводит причинность как положенное. Мы приведем длинную цитату, чтобы показать, насколько он запутывает дело введением нового понятия (кстати совершенно опровергнутого им самим в предыдущем изложении).

„...движущийся камень есть причина; его движение есть некоторое обладаемое им определение, вне которого он содержит в себе еще многие другие определения: цвета, внешнего вида и т. п., которые не входят в состав его причинности. Так как его непосредственное осуществление отделено от его отношения формы (подчеркнуто нами), т.-е. от причинности, то последняя есть нечто внешнее; его движение и присущая ему в этом движении причинность суть в нем лишь положение. Но причинность есть также его собственная; это зависит от того, что его субстанциональная устойчивость есть его тождественное отношение к себе, но последнее теперь определено, как положение, и, следовательно, есть вместе с тем отрицательное отношение к себе. Его причинность, направляющаяся к себе, как к положению или некоторому внешнему состоит поэтому в том, чтобы снимать последнее и возвращать его в себя через его удаление и тем самым не быть в своем положении тождественным себе, а лишь восстановлять свою отвлеченную первоначальность. Или, например, дождь есть причина сырости, которая есть та же самая вода, как он. Эта вода имеет определение быть дождем и причиной вследствие того, что она положена в нем некоторым другим; другая сила, или что бы там ни было, подняла ее на воздух и собрала ее в такую массу, тяжесть которой заставляет ее падать. Ее удаление от земли есть определение, чуждое ее первоначальному тождеству с собой, тяжести; ее причинность состоит в том, чтобы устранить его и вновь восстановить это тождество, но тем самым также снять свою причинность" [2]).

Почему удаление от земли является для воды чуждым ее тождеству определением, а падение дождя не является по отношению к тождеству облак чуждым определением?

В этом рассуждении все—натяжка и искусственность, ибо искусственно и безжизненно то понятие, которое должно послужить переходу. Субстрата в природе не существует; все единичное имеет ту или другую определенность формы (деятельности), но не существует ничего, что не имело бы никакой определенности формы. Никто так не потрудился, как Гегель, для доказательства того, что нет бездеятельной материи, что субстанция есть единство единичного с абсолютной деятельностью.

Мы пришли ко второму определению причинного отношения.

[1]) Гегель, там же, стр. 145.
[2]) Гегель, там же, стр. 146.

Хотя в каждом отдельном случае причина есть первоначальное, но она сама есть положение, т.-е. действие какой-либо другой причины. Это приводит нас к важному выводу, что оба противоположных определения: причина и действие объединяются в конечной субстанции. С другой стороны, исследование причинной и следственной цепи может продолжаться бесконечно. В является причиной А; но так как В действует как причина только потому, что оно само является действием причины С, то от В мы переходим к С и т. д.: „so entsteht ein Zusammenhang von Allem mit Allem, ein nexus rerum omnium cum omnibus, in welchem die Erscheinungen sich als nähere oder entferntere Ursachen und Wirkungen zu einander verhalten“ [1]).

Причина и действие не являются метафизическими противоположностями: причина переходит в действие, и наоборот. Причина сама является действием; процесс самополагания причины есть процесс ее снятия и перехода в действие. Но процесс ее снятия есть также и процесс полагания, ибо в положенном действии снова становится причина. Осуществление причины есть становление действия, осуществления действия—становление причины. Однако причина, имеющая действие, и причина, являющаяся действием, точно так же, как действие, имеющее причину, и действие, являющееся причиной,—различаются.

Выяснив понятия причины и действия у Гегеля, мы остановимся на том, как обстоит в этом отношении дело в марксистском лагере. Надо сказать, что у нас достаточно путаницы на этот счет. Под тем или иным прикрытием влияние немарксистской философии просачивается в головы десятков тысяч молодых марксистов, „грызущих гранит науки“. Мы остановимся на наиболее ходком, наиболее распространенном в нашей среде определении причинности.

„Что же такое причинный закон? Это есть необходимая, постоянно и повсеместно наблюдаемая связь явлений: если, например, температура тела повышается, то расширяется его объем; если жидкость нагреть достаточно сильно, она превращается в пар... Словом, можно сказать, что всякий причинный закон выражается в положении (в формуле): если на-лицо есть такие-то явления, то обязательно будут и соответствующие им другие явления. Объяснить какое-нибудь явление, найти его причину—это значит найти другое явление, от которого оно зависит, т.-е. выяснить причинную связь явлений“ [2]).

Это не марксистское, не диалектическое определение причинности; в умелых руках оно легко может послужить мостом к махистскому ликвидированию этого понятия. В самом деле, если на-лицо есть молния, то ей обязательно будет соответствовать гром; если на-лицо есть день, то ему обязательно будет соответствовать ночь. Значит ли это, что молния является причиной грома, день—причиной ночи, паровозный гудок причиной движения поезда? Конечно, нет. А тогда это значит, что приведенная формулировка никуда не годится.

Вся современная антимарксистская философия, без различия масти, нападает на материалистическое понимание причинности. Причинность—это-де сплошная метафизика. Никакой-де причинности мы в природе не знаем, мы знаем лишь функциональную связь: мы

[1]) Rosenkranz. S. 467:
„Так происходит взаимная связь всего со всем, в которой явления относятся друг к другу, как более или менее близкие или отдаленные причины и действия“.

[2]) Бухарин, Теория исторического материализма, стр. 27—28.

можем лишь констатировать, что за явлением А следует явление Б, а всякое дальнейшее объяснение—это уж от лукавого. Подобной постановкой лишь маскируется уничтожение понятия объективной причинности. Ибо объяснить какое-либо явление вовсе не значит только „найти другое явление, от которого оно зависит“, но нужно объяснить, в чем эта зависимость и связь заключается. Т. Бухарин останавливается как раз там, где объяснение должно начаться.

Сказать, что за А следует Б—это значит поставить вопрос, но не разрешить его. Для его разрешения нужно объяснить, почему за А следует Б. Если мы скажем, что каждый раз, когда камень, летящий с известной быстротой, встречает на своем пути стекло, он разбивает его,—это будет констатированием факта, но не объяснением его. Махист скажет, что дальше констатирования связи этих двух явлений мы и не можем пойти. Диалектический материалист объяснит связь этих двух явлений: движение, заключенное в камне, перешло в движение частиц стекла. Причинная связь заключается не в ничего не объясняющем слове „зависимость“, а в том, что процесс проявления причины есть процесс становления действия.

Причинность—это есть переход деятельности материи из одной формы в другую: движения камня в движение частиц стекла, движения ветра в движение мельничных крыльев и т. д.

14. Взаимодействие.

Причина есть деятельная субстанция, определяющая другую. Движущийся камень, сообщающий толчек другому предмету, проявляется в своем действии как насилие, как власть по отношению к другой пассивной субстанции. Но пассивность другой субстанции есть ее собственное определение. Положение активной субстанцией своих определений есть самоположение пассивной субстанции. Солнце есть причина вызревания колоса. Солнце является здесь активной субстанцией, осуществляющей свое действие на пассивной субстанции, колосе. Но само действие, вызревание, есть настолько же положение солнцем своей причины в колосе, насколько и самоположение колоса—проявление его собственной деятельности.

Пассивная субстанция не воспринимает страдательно положение, но сама участвует в нем и, оказывая противодействие, снимает (отрицает) свою пассивность. Отношение причинности и действия переходит в отношение взаимодействия.

Понятие конечного достигает своей высшей завершенности: происходит синтез Лейбница и Спинозы.

Гегель упрекает Спинозу в том, что его конечное бесследно исчезает в пучине абсолютного. Защищая Спинозу от клерикальных нападок, он говорил, что в его учении конечное поглощено бесконечным, а потому истинным смыслом спинозизма является акосмизм.

Лейбниц же, наоборот, утверждал конечное как деятельную субстанцию,—больше даже, как самодеятельного и самосознательного субъекта. Конечное Гегеля является синтезом спинозовского модуса и лейбницевой монады. Конечное есть деятельная вещь, находящаяся в бесконечном взаимодействии с другими деятельными вещами.

Здесь деление на активную и пассивную субстанции окончательно снято. Каждая субстанция одновременно деятельна и пассивна. Причинное действие теряет свой односторонний характер: каждая из

взаимодействующих субстанций участвует в процессе и как причина, и как действие.

Если камень, брошенный в окно, разбивает стекло и падает на пол, то действие, произведенное камнем, определяется не только его массой и скоростью, но и свойствами самого стекла. Камень, брошенный в воск, произвел бы совершенно другое действие. В этом моменте в слепую необходимость прорывается луч свободы, ибо действие является уже не только определением причины, активной субстанции, но и самоопределением пассивной субстанции.

С другой стороны, пассивная субстанция в этом же процессе выступает как причина: она (стекло) полагает свое действие в камень, определяет его скорость и траекторию.

Оба участника процесса выступают одновременно и как причина, и как действие.

Особое значение приобретает категория взаимодействия в общественных явлениях: „Чего всем этим господам не хватает, так это диалектики. Они постоянно видят здесь причину, там—следствие. Они не видят, что это пустая абстракция, что такие метафизические, полярные противоречия в действительном мире существуют только во время кризисов, что весь великий процесс происходит в форме взаимодействия (хотя взаимодействующие силы очень не равны: экономическое движение среди них является гораздо более сильным, первоначальным, решительным), что здесь нет ничего абсолютного, и все относительно. Для них Гегеля не существовало" [1]).

В процессе общественного развития все элементы общества находятся в состоянии непрерывного взаимодействия. Марксисты часто это забывают и применяют метафизическим образом категорию причинности. Энгельс в письме к Блоху сам принимает на себя и Маркса вину за такую односторонность. Он объясняет ее полемическими нуждами исторического момента, но тут же добавляет, что на практике и он и Маркс всегда применяли категорию взаимодействия.

Правда, сам Гегель замечает, что и категория взаимодействия может привести к невеселым результатам. Когда вы, изучая историю какого-либо народа, захотите узнать, являются ли характер и нравы народа причиной его государственного устройства и законов или наоборот, то вам придется и то и другое подвести под точку зрения взаимодействия. Однако это не дает окончательного и вполне удовлетворительного ответа. Если вы признаете, что нравы и характер народа влияют на законы, а законы на нравы и характер, то это не объяснит ни того, ни другого. На практике такая точка зрения может повести к плюрализму.

Вот почему обе стороны отношения должны быть объяснены монистически, т. е. из одного основания, Гегель говорит, что: „Достигнуть этого можно не иначе, как признавши, что обе стороны отношения, так же как и прочие элементы, вошедшие в жизнь и историю спартанского народа, вытекали из того понятия, которое лежало в основании их всех" [2]).

Взаимодействие показывает, что ни одна из сторон общественной жизни не является пассивным субстратом, страдательно воспринимающим воздействие какой-либо другой субстанциональной общественной закономерности. Все стороны общественной жизни являются субстанциями, однако роль их неодинакова.

Если к одной точке приложены три силы, действующие в трех

---

[1]) Энгельс, Письмо к К. Шмидту от 27.X—90 г.
[2]) Гегель, Энциклопедия, § 156.

разных направлениях, то, хотя все они и взаимодействуют, направление точки будет определено, главным образом, наибольшей силой. Этот механический пример не представляет полной аналогии с общественной закономерностью, но являет образ ее. В обществе действуют многочисленные силы: право, государство, религия и т. д. Все эти силы имеют собственные закономерности и взаимодействуют с экономикой; но в то же время их собственные закономерности и границы их действий определяются в последнем счете экономической структурой общества.

Экономическая структура общества, выражаясь языком Гегеля, является тем основным понятием (основной, решающей силой), которая лежит в основе всех взаимодействующих общественных сил.

Таким образом категория взаимодействия не ведет необходимо к плюрализму, но, разрушая метафизическое понимание причинности, является неотъемлемым элементом диалектико-материалистического монизма.

Мы приведем замечательные рассуждения Энгельса в его письмах к Блоху и Шмидту, чтобы показать, с какой ясностью он ставил и разрешал вопрос взаимодействия и монизма в общественных явлениях.

„Согласно материалистическому пониманию истории в историческом процессе определяющим моментом в *конечном* счете является производство и воспроизводство действительной жизни... Экономическое положение—это основа, но на ход исторической борьбы оказывают влияние и во многих случаях определяют преимущественно *форму* ее—различные надстройки:—политические формы классовой борьбы и ее результаты — конституции, установленные победившим классом, после одержанной победы, и т. д.; правовые формы и даже отражение всех этих действительных битв в мозгу участников — политические, юридические, философские теории, религиозные воззрения и их дальнейшее развитие в систему догм. Тут имеется на-лицо взаимодействие всех этих моментов, в котором, в конце концов, экономическое движение, как необходимое, прокладывает себе дорогу сквозь бесконечную толпу случайностей...

...Общество порождает известные общие функции, без которых оно не может обойтись. Предназначенные для этого люди образуют новую отрасль разделения труда внутри общества. Вместе с тем они приобретают особые интересы также и в противоположность тем, кто их уполномочил, они становятся самостоятельными по отношению к ним и таким образом является государство. И тут дело идет подобно тому, как при торговле товарами и позднее—при банковом деле. *Новая самостоятельная сила в общем и целом должна следовать за движениями производства, но она оказывает также, опять-таки, воздействие на условия и ход производства в силу присущей ей, или, вернее, однажды полученной и постепенно развивающейся дальше относительной самостоятельности Это есть взаимодействие двух неравных сил, экономического движения, с одной стороны, и с другой стороны,—политической силы, одаренной также и самостоятельным движением, так как она уже возникла. Экономическое движение в общем проложит себе путь, но оно должно испытывать на себе также и обратное действие от политического движения, которое оно само для себя создало и которое обладает относительной самостоятельностью*“ [1]).

---

[1]) Маркс и Энгельс, Письма, №№ 203—204, подчеркнуто нами.

Категорией взаимодействия и заканчивается Гегелевская „Действительность". Мы не будем останавливаться на его понимании необходимости и свободы, так как это в марксистском освещении общеизвестно.

15. Итоги.

В учении о „Действительности" Гегель, как философ действительности, объективного мира, достигает своей кульминационной точки. Недаром Энгельс в письме к Ланге писал, что настоящая натур-философия Гегеля заключается во второй части „Н. Л", в его учении о причине, действии, противодействии, взаимодействии и т. д.

В „Действительности" Гегель дал в законченной форме законы отношений в объективном мире:

1. Закон субстанции и акциденции, материи и ее единичных проявлений,—бесконечного и конечного.
2. Законы причинной связи и
3. Законы взаимодействия.

Законы изменения и законы отношения составляют то, что мы называем диалектическим методом.—Это всеобщие категории, всеобщие законы развития всего существующего или, как сказал Энгельс, законы развития природы, общества и законы мышления.

Гегель является Прометеем, который в огромной кузнице всемирно-исторического опыта нашел и выковал могущественнейшее орудие познания, которое когда-либо человечество имело,—диалектику. Мы являемся его непосредственными и единственными наследниками. Марксу оставалось сорвать с него таинственное покрывало идеализма, и человечество овладело им в его немистифицированной действительности.

Никто еще не знал такого ясного и простого ключа к переводу категорий диалектики с мистифицированного языка Гегеля на язык реальной действительности, как Маркс: „Для сознания,—а философское сознание отличается тем, что для него логическое мышление, это, действительный человек, а логически осознанный мир—действительный мир,—движение категорий кажется действительно созидающим актом, который, к сожалению (?), получает толчок извне—результатом которого является мир, и это постольку правильно..., поскольку конкретная совокупность, в качестве мысленной совокупности, мысленной конкретности, есть на самом деле продукт мышления, понимания; это—ни в каком случае не продукт понятия, размышляющего и развивающегося вне наглядного созерцания и представления, а переработка созерцания и представления в понятия. Целое, каким оно является в голове, как мыслимое целое,—есть продукт мыслящей головы, которая осваивает себе мир единственно доступным ей особом, способом, отличающимся от художественного, религиозного, практического, духовного освоения мира. Реальный субъект остается все время вне головы, существуя как нечто самостоятельное, и именно до тех пор, пока голова относится к нему лишь умозрительно, теоретически" [1]).

Идеализм Гегеля в том и заключался, что он отождествлял процесс логического становления конкретного в мыслящей голове с процессом становления конкретного в объективной действительности.

В заключение мы хотели бы высказать несколько мыслей о месте диалектики в системе наук.

[1]) Маркс, Введение в Кр. пол. экономии, стр. 25—26.

Законы диалектики, это—законы, которые охватывают все объекты наук без исключения. Из этого следуют два вывода:

1. Ни одна группа объектов, т.-е. ни одна наука, не может служить единственным исключительным базисом для диалектики.

2. Всякая наука заключает в себе помимо общих законов диалектики еще специфические.

Разберемся на конкретном примере, напр., историческом материализме. Общие категории диалектики являются и категориями исторического материализма, но помимо них он имеет еще свои специфические категории, свою методологию: производительные силы, производственные отношения, базис, надстройки и т. д.

Диалектика, это—общая методология наук, она представляет собой результат, к которому путем многовекового развития пришла философия.

Не только отрицание философии, но и подсовывание на ее место гносеологии, какой-либо этической дребедени, вроде науки о поведении или действии, и т. д.,—является реакционным шагом не только по отношению к Марксу—Энгельсу, но и Гегелю.

Нужно признаться, что мы не льстим себя мыслью, будто нам удалось исчерпать учение Гегеля о „Действительности“, или взять оттуда все полезное для диалектического материализма. Наша статья,—это только попытка, только начало работы в этом направлении. Если читатель убедится хотя бы только в том, что Гегель—это единственный трамплин, с которого возможен прыжок в марксизм, если он повторит вместе с нами слова Энгельса: „Без Гегеля, конечно, обойтись невозможно...“, то и тогда мы будем считать нашу задачу выполненной.

С. Гоникман.

Война на идеологическом фронте за 500 лет до нашей эры.

(Опыт социально-рефлексологического анализа.)

Современная европейская и русская действительность каждый день и час убеждает нас, как глубоко справедливо положение, что идеология, т.-е. право, религия, искусство, а в значительной своей части и наука, является продуктом определенных исторических условий и изменяется вместе с переменою этих условий. В настоящее время приходится считать почти уже аподиктическим утверждение, что у каждой более или менее оформившейся социальной группы имеется своя собственная идеология, в первую очередь предназначенная охранять и оберегать ее классовые интересы. Это одна сторона дела. С другой же стороны, оказывается, что и человеческая психика есть не что иное, как некоторый рефлекс или символ изменений, происходящих в материальной структуре человека. Окружающая социальная среда воздействует на нервные ткани, а в этих последних вырабатываются рефлексы, в своей совокупности называемые психической или духовной деятельностью человека. Психическая деятельность людей в конечном итоге таким образом также обусловливается социальной атмосферой, не говоря уже о том, что весь внешний или физический облик человека прежде всего есть результат общественных условий. Потому, согласно вышесказанному, и задача социального психолога как раз и должна сводиться не более как к установлению связи и взаимоотношений между психической деятельностью индивида или целого общественного класса и социальной средой, его окружающей.

В настоящем очерке как раз и сделана попытка, с точки зрения социально-психологического (точнее рефлексологического) анализа, подойти к рассмотрению греческих идеологов, живших на рубеже V—IV столетия до нашей эры, т.-е. в эпоху величайшего, из известных в мировой истории, кризиса. Для нас, людей XX века, изучение греков имеет двоякое значение, во-первых, потому, что названный кризис и сам по себе представляет большой исторический интерес, а во-вторых, наблюдается несомненная аналогия чувствований и переживаний греков V—IV ст. с чувствами и переживаниями нашего времени. При умелом сопоставлении прошлого с настоящим сплошь и рядом и в самом настоящем открываются такие аспекты, которые без соответствующих аналогий оставались бы скрытыми и не привлекали бы к себе внимания. Обще-теоретическое положение, что бытие определяет сознание, может быть, никогда, за исключением нашего времени, с такой резкостью не сказывалось, как именно в Элладе в эпоху великого общественного кризиса в связи с Пелопоннесской войной. Все эти соображения и дают право автору привлечь внимание читателя

ко временам далекого прошлого. Но, прежде чем обратиться к сознанию греков эпохи Пелопоннесской войны, хотя он в немногих словах, следует остановиться на их бытии.

В истории средиземноморской культуры Пелопоннесская война имела такое же определяющее на все дальнейшее развитие стран и народов Средиземноморья значение, как и последующие Пунические войны. Пелопоннесская война перевернула и перепутала все внутренние и внешние отношения эллинских государств. Подорвав первенствующее значение афинской державы, разрушив старые культурные формы и перенеся центр жизни в другие области, Пелопоннесская война тем самом в корне изменила весь темп греческой жизни. Собственно, кризис в связи с этой войной, как и вообще всякий кризис, в главном, тем и характеризуется, что во всех сферах материальной и культурной деятельности людей изменился, т.-е. до чрезвычайности усилился, темп развития общественных отношений. В экономике, напр., вместо прежнего относительно регулярного и планомерного движения капиталов и более или менее установившихся взаимоотношений труда и капитала, наступило время головокружительного накопления и распада состояний; сегодняшний богач завтра же мог очутиться на улице и, наоборот, бедняк мог подняться до положения богача. Конечно, при таких условиях не могло быть и речи о каких-либо правильных и регулярных взаимоотношениях работодателя и работополучателя; постоянные восстания рабочих, война капитала и труда, схватки бедности и богатства с V в. сделались ординарными явлениями в Греции. Развившееся же, вследствие частого перенесения экономических центров из одних областей в другие, и быстрой смены одних хозяйственных и политических форм другими, спекуляция, ростовщичество и им подобные симптоматические явления, с своей стороны также будировали и усложняли жизнь греческого города, впрочем, не оставляя в покое и деревню. Движения и изменения в области экономической с логической последовательность влекли за собою перемены и по всему остальному фронту общественной жизни. В прямой связи с хозяйственно-политическими революциями выведена была из состояния равновесия и общественная идеология, т.-е. наука, искусство, философия и религия.

Быстрый ход развития событий, беспрерывные смены финансовых кризисов и подъемов, непрекращавшаяся борьба политических партий, частые смены конституционных форм, наконец, появление у власти таких по-своему необыкновенно крупных и ярких индивидуальностей, как Перикл, Алкивиад и Критий, с психологической закономерностью и логической необходимостью требовали пересмотра всей системы старых идеологических понятий, научных положений, унаследованных верований и обычаев. Тем более, что прогрессировавшее расслоение общества, когда расстояние одного социального полюса от другого с каждым днем все более и более увеличивалось, с своей стороны толкало на пересмотр всей традиции. Работа общественной и философской мысли на грани пятого и четвертого столетий была напряженна и интересна, как почти никогда в мировой истории, может быть, только за исключением нашего времени. В сравнении с греками, напр., римляне республиканской эпохи уже кажутся настоящими учениками. Сравнительная отсталость и неоригинальность римлян эпохи республики прежде всего и объясняется как раз тем обстоятельством, что трансформировавшееся греческое (в частности афинское) общество и по своей структуре, и по своей культуре было значительно старее и сложнее сравнительно молодого римского общества—правда, процесс модификации римского общества далеко не окончился вместе с ари-

стократической республикой; движение в области быта и идей полным ходом продолжалось и в эпоху империи, хотя и здесь многие мысли господствовавшей в то время христианской философии имеют не мало сходных черт с греческой идеологией. В свое время несомненно и греки поступали подобно римлянам, заимствуя из богатейшей сокровищницы предшествующих им культур и тоже, по возможности, перерабатывая заимствованное согласно условиям эллинского быта. Известно, например, теперь, какую огромную, почти определяющую роль в системе Платона сыграло учение индусских браминов, систему пифагорейцев тоже возводят к индусам и т. п., о роли китайцев в истории ранне-христианской культуры пока что идут ученые споры, но влияние Китая, ввиду торговых сношений с передней Азией, в общем не может подлежать никакому сомнению; одним словом, о влиянии других более старых культур на греков и зависимости последних от своих учителей можно говорить с одинаковым правом и основанием, как и о неоригинальности римлян или любого исторически известного народа.

Цицерон, может быть, столько же обязан Платону и Аристотелю, сколь последние обязаны индусам. Счастье эллинов только в том, что их предшественники мало известны и еще плохо обследованы, и, наоборот, к невыгоде римлян греческая философия (отчасти стараниями же самих римлян) дошла до нас, по крайней мере в лице представителей некоторых школ почти в полном и систематическом виде; и тем не менее, несмотря на весь культ греков в новейшей литературе, есть и такие области, где греки безусловно стояли ниже римлян, напр., архитектура, костюм, военная выправка, уменье держаться и т. п.

В истории общественной и научной мысли Эллады переломный пункт составляет появление софистики на рубеже пятого и четвертого столетий. Софисты были дерзкими революционерами-анархистами, поднявшими шумный протест против старых устоев греческой культуры. Как и всякий революционер, софисты словесно и публично выразили только то настроение, которое было обще многим их современникам. При частой смене форм жизни, перемене лиц и настроений и параллельно с такой саркастически-уничтожающей критикой всего и всех, которую развил, например, Аристофан, появление софистики, лишь доводящей идеи великого комика и сатирика до логического конца, вполне понятно логически, а исторически вполне закономерно. Отыскивая в хаосе событий и в калейдоскопе общественных настроений некоторый опорный пункт, софисты находят лишь один более или менее постоянный ингредиент в самом человеке: все на свете течет и меняется, остается неизменным лишь один человек, по крайней мере в основном комплексе своих страстей; на свете нет ничего прочного и достоверного, кроме данного настроения определенного субъекта. Человек—мера всех вещей—вот отправной психологический пункт софистики. А раз признано подобное положение и таким образом провозглашено абсолютное право человеческой индивидуальности, то отрицательное и даже презрительное отношение софистов к так называемому общественному мнению, безразлично выраженному ли в формулах законов, в научных положениях, в условностях быта или в постулатах этики, является совершенно закономерным выводом из общего положения софистики. Цель человеческой жизни проста, ясна и понятна—это возможно полное и разностороннее удовлетворение индивидуальных запросов. Индивид же силен и спокоен лишь в том случае, если он достаточно защищен от противоборствующих ему общественных элементов, иными словами, от напора других людей; и вот в качестве средства самообороны и самоутверждения софисты реко-

мендуют формальное образование, „искусство хорошо мыслить, хорошо говорить и хорошо поступать". Вооруженные такого рода опытом и знанием молодые люди могли создавать нормы общественной жизни и научные теории, а не подчиняться старым предписаниям. В этом отношении очень показательна одна фраза софиста Калликла, что право сильного есть в то же самое время и естественное право и доподлинный закон природы, все же положительные законы, ограничивающие это право сильного, надо рассматривать, как заговор объединившихся слабых против сильных. Софистика—в высокой степени любопытное явление с психологической стороны, с точки зрения же культурно-социологической должна быть рассматриваема, как чисто интеллигентское течение переходного периода анархическо-индивидуалистического порядка. Выбитые из традиционных рамок прежней сравнительно ровной и спокойной жизни, и сознавая, что прошлое уже исчезло навсегда, наиболее жизнеспособные элементы интеллигенции в поисках необходимой внутренней точки опоры прежде всего остановились на самих себе, объявив критерием всего существующего человека и уже ему подчинив все остальное. По теории софистов как будто на самом деле выходило, что не обстоятельства творят человека, а человек создает обстоятельства.

Индивидуалистический анархизм софистов послужил отправным пунктом и для всей последующей эллинской, а в известных отношениях и для всей истории человеческой мысли. Приемы диалектики софистов, implicite, употребляли с большим или меньшим успехом все греческие философы, не исключая Сократа, Платона и Аристотеля. Разница состояла лишь в том, что в поисках опорного пункта своей идеологии Сократ, Платон и другие возможно искуснее затушевывали индивидуалистическую тенденцию, так цинически-откровенно выставленную софистами, стараясь заменить ее объективным, т.-е., по их мнению, для всех обязательным, критерием. В течение пятого и особенно четвертого столетий на греческой почве, на развалинах когда-то мощной афинской державы, создается целая серия всевозможных социально-политических теорий, в конце концов старающихся диалектически и научно оправдать поведение и нормы какой-либо определенной общественной группы. Словами своего теоретика или идеолога каждая общественная группа старается оправдать свой социально-политический базис; одним словом, на греческой почве в V—IV в.в., т.-е. в период затяжного кризиса,—когда между прочим легче всего наблюдается связь базы и надстройки,—наблюдалась приблизительно та же самая картина, какая правда, в несравненно меньшем размере, развернулась двести лет спустя и на территории Рима в период кризиса республики и рождения империи.

Из последующих основателей философских школ к софистам ближе всего примыкал философ Аристипп, богатый и светский в полном смысле этого слова человек из Кирены. Аристипп в своих доводах и в своих выводах почти так же откровенен и последователен, как и софисты. Тем более, что и тот общественный круг, где радушнее всего принималась его философия, не совсем был чужд и софистам, тоже большей частью предпочитавшим проповедывать в богатой и аристократической среде. Друг тирана Дионисия Сиракузского и любовник знаменитой коринфской красавицы Лаисы, постоянный и желанный гость купеческих салонов, при этом отличавшийся хорошим здоровьем и прирожденным свободомыслием, Аристипп объявил высшей истинной уменье непрерывно наслаждаться жизнью и чувствовать себя постоянно довольным. Вся задача науки и философии, по принципу Киренейской школы, сводится к искусству на-

учить людей наслаждаться жизнью и приобретать лишь такие знания и лишь для того, чтобы уметь из неприятных ощущений делать приятные. Знание же истинного принципа и счастья освобождает человека от призрачных представлений, мешающих и задерживающих наслаждения.

В совершенно другой оболочке философия эвдемонизма предстала в среде эллинского пролетариата, метейков и рабов. Суровый и мрачный бедняк **Антисфен** преобразовал философию богача Аристиппа, оставив из нее лишь один пункт—именно стремление к счастью. Антисфен, а особенно его преданный ученик Диоген, объявив беспощадную войну „сошедшему с ума Сократу", доказывал, что для полного наслаждения и счастья необходимо отрешиться от всех удобств цивилизованной жизни, в первую же голову от роскоши, от частной собственности, от брака, от нравственных предписаний, от всякого рода научных и философских интересов, национальных предрассудков и т. д. и жить просто, согласно с требованиями внешней и собственной природы. Во многих пунктах с проповедью киников совпадали и требования античных социалистов и коммунистов, дошедшие до нас большей частью в карикатурном изображении героя афинской сцены Аристофана и других комиков.

Собачья философия Антисфена и Диогена, так ее называли ее противники, само собою разумеется, не могла прийтись по вкусу и быть принятой более зажиточными и развитыми классами населения. В частности, ни по своему социальному положению, ни по индивидуальному складу своего характера принципы „философов в бочке" никак не мог разделять правоверный ученик Сократа, сын афинского гражданина Грилла, **Ксенофонт** (430—356 г.). Ксенофонт—типичнейший представитель промежуточных буржуазных классов и по своему происхождению и по образу мыслей имеющий нечто схожее с Цицероном, одной из первых литературных работ которого как раз и был перевод на латинский язык „Домохозяина" Ксенофонта.

Социально-политическая философия Ксенофонта необычайно проста и с своей точки зрения логически последовательна и психологически вполне оправдана, в особенности если припомнить, что Ксенофонт один из блестящих писателей и диалектиков античного мира. Отбрасывая всю метафизику Платона, объявившего простой и сильный образ общего учителя идеально-фантастической пеленой, Ксенофонт в „Пире" задается целью восстановить настоящий доподлинный образ Сократа, а в философском трактате, названном „Воспоминаниями" о Сократе набрасывается очерк системы своего незабвенного учителя, препарируя его как раз в духе мещански-буржуазных слоев, идеологом которых, правда, может быть невольным, он и являлся. Ксенофонтовский Сократ—настоящий идеальный бюргер или мещанин, высшим принципом всей философии и гносеологии которого является извлечение из всего и из всех людей наиболее полезного и удобного с житейской обыденной точки зрения. Сократ, говорит Ксенофонт, казался мне именно таким, каким я его описал: настолько благочестивым, что ничего не предпринимал без соизволения богов, настолько справедливым, что не нанес никому ни малейшего вреда, но всегда приносил пользу всем обращавшимся к нему за советом или за помощью, настолько воздержан, что не предпочитал приятного честному; настолько рассудителен, что ни в ком не нуждался и мог довольствоваться работой собственного сознания. Если ко всему этому прибавить, что Сократ мог не только логически излагать свои мысли и точно определить предмет беседы, но мог также выспрашивать и испытывать других, указывать им ошибки и

мендуют формальное образование, „искусство хорошо мыслить, хорошо говорить и хорошо поступать". Вооруженные таким родом опытом и знанием молодые люди могли создавать нормы общественной жизни и научные теории, а не подчиняться старым преданиям. В этом отношении очень показательна одна фраза софиста Калликла, что право сильного есть в то же самое время и естественное право и необходимый закон природы, все же положительные законы, ограничивающие это право сильного, надо рассматривать, как заговор объединившихся слабых против сильных. Софистика—в высокой степени любопытное явление с психологической стороны, с точки зрения же культурно-социологической должна быть рассматриваема, как чисто интеллигентское течение переходного периода анархическо-индивидуалистического порядка. Выбитые из традиционных рамок прежней сравнительно ровной и спокойной жизни, и сознавая, что прошлое уже исчезло навсегда, наиболее жизнеспособные элементы интеллигенции в поисках необходимой внутренней точки опоры прежде всего остановились на самих себе, объявив критерием всего существующего человека и уже ему подчинив все остальное. По теории софистов как будто на самом деле выходило, что не обстоятельства творят человека, а человек создает обстоятельства.

Индивидуалистический анархизм софистов послужил отправным пунктом и для всей последующей эллинской, а в известных отношениях и для всей истории человеческой мысли. Приемы диалектики софистов, implicite, употребляли с большим или меньшим успехом все греческие философы, не исключая Сократа, Платона и Аристотеля. Разница состояла лишь в том, что в поисках опорного пункта своей идеологии Сократ, Платон и другие возможно искуснее затушевывали индивидуалистическую тенденцию, так цинически-откровенно выставленную софистами, стараясь заменить ее объективным, т.-е., по их мнению, для всех обязательным, критерием. В течение пятого и особенно четвертого столетий на греческой почве, на развалинах когда-то мощной афинской державы, создается целая серия всевозможных социально-политических теорий, в конце концов старающихся диалектически и научно оправдать поведение и нормы какой-либо определенной общественной группы. Словами своего теоретика или идеолога каждая общественная группа старается оправдать свой социально-политический базис; одним словом, на греческой почве в V—IV в.в., т.-е. в период затяжного кризиса,—когда между прочим легче всего наблюдается связь базы и надстройки,—наблюдалась приблизительно та же самая картина, какая правда, в несравненно меньшем размере, развернулась двести лет спустя и на территории Рима в период кризиса республики и рождения империи.

Из последующих основателей философских школ к софистам ближе всего примыкал философ Аристипп, богатый и светский в полном смысле этого слова человек из Кирены. Аристипп в своих доводах и в своих выводах почти так же откровенен и последователен, как и софисты. Тем более, что и тот общественный круг, где радушнее всего принималась его философия, не совсем был чужд и софистам, тоже большей частью предпочитавшим проповедывать в богатой и аристократической среде. Друг тирана Дионисия Сиракузского и любовник знаменитой коринфской красавицы Лаисы, постоянный и желанный гость купеческих салонов, при этом отличавшийся хорошим здоровьем и прирожденным свободомыслием, Аристипп объявил высшей истиной уменье непрерывно наслаждаться жизнью и чувствовать себя постоянно довольным. Вся задача науки и философии, по принципу Киренейской школы, сводится к искусству на-

учить людей наслаждаться жизнью и приобретать лишь такие знания и лишь для того, чтобы уметь из неприятных ощущений делать приятные. Знание же истинного принципа и счастья освобождает человека от призрачных представлений, мешающих и задерживающих наслаждения.

В совершенно другой оболочке философия эвдемонизма предстала в среде эллинского пролетариата, метейков и рабов. Суровый и мрачный бедняк Антисфен преобразовал философию богача Аристиппа, оставив из нее лишь один пункт—именно стремление к счастью. Антисфен, а особенно его преданный ученик Диоген, объявив беспощадную войну „сошедшему с ума Сократу", доказывал, что для полного наслаждения и счастья необходимо отрешиться от всех удобств цивилизованной жизни, в первую же голову от роскоши, от частной собственности, от брака, от нравственных предписаний, от всякого рода научных и философских интересов, национальных предрассудков и т. д. и жить просто, согласно с требованиями внешней и собственной природы. Во многих пунктах с проповедью киников совпадали и требования античных социалистов и коммунистов, дошедшие до нас большей частью в карикатурном изображении героя афинской сцены Аристофана и других комиков.

Собачья философия Антисфена и Диогена, так ее называли ее противники, само собою разумеется, не могла прийтись по вкусу и быть принятой более зажиточными и развитыми классами населения. В частности, ни по своему социальному положению, ни по индивидуальному складу своего характера принципы „философов в бочке" никак не мог разделять правоверный ученик Сократа, сын афинского гражданина Грилла, Ксенофонт (430—356 г.). Ксенофонт—типичнейший представитель промежуточных буржуазных классов и по своему происхождению и по образу мыслей имеющий нечто схожее с Цицероном, одной из первых литературных работ которого как раз и был перевод на латинский язык „Домохозяина" Ксенофонта.

Социально-политическая философия Ксенофонта необычайно проста и с своей точки зрения логически последовательна и психологически вполне оправдана, в особенности если припомнить, что Ксенофонт один из блестящих писателей и диалектиков античного мира. Отбрасывая всю метафизику Платона, обьявившего простой и сильный образ общего учителя идеально-фантастической пеленой, Ксенофонт в „Пире" задается целью восстановить настоящий доподлинный образ Сократа, а в философском трактате, названном „Воспоминаниями" о Сократе набрасывается очерк системы своего незабвенного учителя, препарируя его как раз в духе мещански-буржуазных слоев, идеологом которых, правда, может быть невольным, он и являлся. Ксенофонтовский Сократ—настоящий идеальный бюргер или мещанин, высшим принципом всей философии и гносеологии которого является извлечение из всего и из всех людей наиболее полезного и удобного с житейской обыденной точки зрения. Сократ, говорит Ксенофонт, казался мне именно таким, каким я его описал: настолько благочестивым, что ничего не предпринимал без соизволения богов, настолько справедливым, что не нанес никому ни малейшего вреда, но всегда приносил пользу всем обращавшимся к нему за советом или за помощью, настолько воздержан, что не предпочитал приятного честному; настолько рассудителен, что ни в ком не нуждался и мог довольствоваться работой собственного сознания. Если ко всему этому прибавить, что Сократ мог не только логически излагать свои мысли и точно определить предмет беседы, но мог также выспрашивать и испытывать других, указывать им ошибки и

возбуждать их ко всему хорошему и возвышенному, то и получится образ идеального афинского гражданина по Ксенофонту. В конце „Меморабилий“ сам автор прибавляет: „таким может быть только человек лучший и счастливый. Если же кто-либо не согласен с этим, то пусть противопоставит этим качествам другую личность и уже тогда пусть судит“.

Деловой человек Ксенофонт, разумеется, не чужд был знания и не мог отрицать его пользы и значения, но в полном согласии с общей своей концепцией в науках и искусствах он усматривал исключительно одну утилитарно-прикладную сторону. Знать нужно столько и настолько, насколько этого требует практическая обыденная жизнь. Кроме того, что за знанием удерживается лишь его прикладное значение, все знание объявляется релятивистическим или относительным, имеющим узко ограниченное и условное значение. Сократ, подчеркивает Ксенофонт, высоко ценил знания, но ставил им известные пределы. Он особенно старался внушить своим слушателям, до какой степени следует достигать знания всякого предмета человеку, воспитанному надлежащим образом. В геометрии, например,—до тех пор, пока человек будет в состоянии, в случае надобности, посредством правильного измерения отмечать земли, отдать, поделить, составить чертеж,—но изучение геометрии до непонятных определений он безусловно не одобрял, ибо не понимал, какая из этого польза, хотя сам хорошо знал и эту область. Затем Сократ советовал заниматься астрологией, чтобы хорошо распознавать время дня и время ночи, время месяца и время года для путешествий, плавания и караулов, но совершенно отклонял изучение астрономии, чтобы узнать небесные тела, находящиеся вне определенного круговращения, планеты, блуждающие звезды, и тратить время на отыскивание расстояний их от земли. На это можно,—говорит Сократ,—посвятить всю жизнь и тем самым отклониться от многих полезных занятий; быть исследователем небесных явлений, т.-е. допытываться, что и как устраивает бог, он положительно отрицал, полагая, что этого и открыть никому не возможно, человек же, исследующий это, рискует впасть в безумие Анаксагора. Вместо того, чтобы тратить силы на ненужные вещи, Сократ советовал больше заботиться о здоровьи, изучая у знающих людей действительно полезное и ценное, какой, напр., труд полезен, а какой труд вреден для здоровья, какая пища здорова, а какая вредна для организма и т. д. Высшим же методом всякого научного постижения Сократ считал метод самонаблюдения. В тех же случаях, когда человеческого знания и опыта не хватало, рекомендовалось обратиться к мантике, т.-е. посредством оракула узнавать волю богов. Вообще Сократ полагал, что ничего не следует делать без предварительного совета с богами; и сам он чувствовал, что его мыслями и поступками руководит какая-то божественная сила, именуемая демон, постоянно указывая ему, что надо и чего не надо делать.

Приведенные рассуждения Сократа в высокой степени симптоматичны для затяжной революционной эпохи, когда от частых бурь и перемен форм общественной жизни, от частого мелькания лиц, от калейдоскопичности и быстротекучести всякого рода теорий и мнений, люди устают, начинают идеализировать все простое, здоровое и ограниченное; вот в такие то эпохи человеческой истории и создаются образы идеальных людей, подобных Ксенофонтовскому Сократу!

Выгравированный опытным мастером идеальный образ рассудительного бюргера-мещанина Сократа мог импонировать всем, кто не хотел или не умел смотреть в будущее, а жил только настоящим, или вернее прошлым. Люди ксенофонтовского склада, не заглядываю-

щие вдаль, а старающиеся взять лишь то, что находится под руками, слишком крепко цепляются за жизнь, чтобы без боя уступить свое мещанское благополучие во имя какой-либо теории, во имя какого-либо идеала, общего счастья и т. д. Соответственно общему социально-психологическому складу очерченной общественной (промежуточной) группы и ее политическим идеалом всегда будет твердая власть, которая в состоянии обуздать всякого рода крайности, ввести прочный порядок, обеспечить каждому минимум свободы, деятельности, удовольствия, знания и счастья, поставив при этом всякого человека на свое, отведенное ему породой, состоянием и образованием место. Ксенофонт афинянин—прямой идеальный представитель и изобразитель психологии и чаяний мелко- и средне-буржуазной бюргерской среды. В его знаменитой „Киропедии“ классически нарисован образ идеального монарха-собирателя, устроителя и администратора, короче говоря—образ того идеального государственного мужа и царя, которого так страстно жаждала не малая по числу, но слабая по актуальности мещанская среда эллинских общин эпохи величайшего в истории культурного кризиса. Персидский царь Кир, выведенный Ксенофонтом в „Киропедии“, представляет из себя образ царя-философа и настоящего отца народа. Обширное персидское государство под управлением такого мудрого правителя, конечно, благоденствовало сверху до-низу, потому что благородный и добродетельный царь своим примером сумел обуздать даже своенравие вельмож и приближенных и высоко поднять нравственность всех подданных без исключения. Этот благодетель персидского народа царь Кир, вечно занятый заботами о народном благополучии и поглощенный вопросами внутреннего управления и внешней обороны, находил время также и для размышления над высшими вопросами, ставя перед собою, напр., проблему о бессмертии души. Такому опытному писателю, как Ксенофонт, разумеется, не стоило большого труда из имевшихся под руками исторических материалов выбрать именно то, что соответствовало его целям и плану, литературного же таланта у него было более, чем достаточно.

Сравнительно простой идеологии буржуазии, пролетариата и средних групп противостояла сложная и многогранная программа высших аристократических и интеллигентных кругов, идейным вождем которых надо считать философа Платона. Изучение Платона, вообще говоря, представляет исключительные трудности потому, что в нем одновременно сочетались три различных существа: во-первых, узко-классовый политик, во-вторых, необыкновенной виртуозности диалектик и, в-третьих, блестящий художник, эстет и стилист. Обычно все эти названные качества при общем обзоре сливаются в одно целое и затрудняют рассмотрение Платона именно как социально-психологический тип, что нас в данной связи только и интересует; к этому надо прибавить еще и то соображение, что в течение своей долгой жизни (427—346 г.) Платон не оставался неподвижным, но, постоянно меняясь сам, во многом изменял также свою систему и свои социально-политические взгляды. Основные пункты социально-политической философии Платона таковы: широкая масса народа не дозрела (да по его мнению, и никогда не дозреет) до политического самоопределения и всегда должна будет подчиняться мудрому руководительству тех, „в ком преобладает божественное начало“, если только, конечно, „сидящие на агоре вокруг ораторских трибун и старающиеся криком подавить всякое не нравящееся им слово“ не пожелают сделаться тупым орудием в руках всевозможных политических интриганов, честолюбцев, демагогов и пр. Платоновский

Сократ, софист и идеалист до мозга костей, постоянно подчеркивает, что невежественной и бессильной толпе шерстобитов, сапожников, каменщиков, кузнецов, земледельцев, мелочных торговцев и лавочников, никогда и не думавших о политике, „придется или подчиниться злой воле демагогов, или же признать над собою авторитет людей, у которых больше божественного начала". Не особенно почтительно относится Платон и к тем, кого не прочь взять под свое покровительство Ксенофонт, т.-е. к буржуазным слоям во всех их ответвлениях. Грязные души этих людей,—пишет Платон,—все свое честолюбие направляют исключительно на приобретение денег и на то, что способствует этому приобретению; они из всего умеют извлекать пользу для единственной цели—увеличения капитала, этого „слепого предводителя хора", эти люди в конце концов—жалкие рабы алчности. Прямым и печальным следствием того, что в государстве масштабом добродетели стала служить куча денег, явилось полное распадение государства на два неравных слоя—богатых и бедных, при чем с точки зрения высшей добродетели, как те, так и другие являются язвой общества: одни, как трутни, другие, как паразиты. Главный ужас Платоновской теории и основной симптом ее узко-группового и интеллигентского происхождения состоит в том, что, по его мнению, большинство людей не способно от природы или от неизбежно неблагоприятных последствий физического труда к истинному познанию и усвоению истинной сущности нравственности; таким интеллигентам из ремесленников, говорит Платон, быстро перескакивающим от техники к философии, в лучшем случае доступно только правильное представление, а не доподлинное познание, а отсюда Платон делает заключение о двух различных добродетелях — философской добродетели, основанной на знании истины, и народной или гражданской добродетели, приобретаемой в силу простой привычки и упражнений.

Отделив огромную массу людей „низкого и грязного образа мыслей", Платон уже волею вещей и законами логики принужден создать особый мир для тех, кого он считал от природы и по своему социальному положению пригодным как для приобретения высшего познания и постижения доподлинной истины, так и для идеального образа жизни. Терзаясь окружающими условиями и боясь их, Платон замкнулся с небольшим кругом молодежи, его учеников и последователей, в своей Академии, в нескольких стадиях от города Афин, и погрузился в научную и созерцательную работу. И здесь среди цветущих платанов, искусственно отрезав себя от непосредственной реальной жизни, философ принялся за грандиозную художественно-философскую попытку создать на место покинутого им мира реального мир идеальный, т.-е. мир несуществующих грез и фантастических образов. Действительный же мир, т.-е. мир реальный, скоро оказался лишь бледным отражением истинно сущего мира идей, неизменно пребывающих в вечном покое и существующих в особой области сверхчувственного пространства.

Признание действительной реальности за нереальным и высшего бытия за несуществующим в свою очередь выдвигало перед философом новую проблему о введении своих избранных учеников в этот, лишь немногим понятный и доступный, высший мир вещей в себе. К этому вечному прообразу вселенной у каждого человека в большей или меньшей степени заложено естественное влечение, именуемое Эросом. Эрос—по Платону это влечение, врожденное человеческой душе, по своей природе занимающее как бы срединное положение между миром чувственных восприятий и миром идей. Душа, же сопричастная идее жизни, бессмертна и вечно стремится прорваться

через телесную оболочку к истинно реальному миру образов. Подобно душе отдельного человека существует еще вселенская душа, источник всей космической жизни и причина всеобщего порядка видимогомира. Сам же Космос представлялся Платону живым существом, тело которого составляет вся совокупность материального мира, душа же которого сопричастна божественному разуму. Далее материальный мир, т.-е. мир явлений или феноменов, представляя собой подобие мира идей, оказывался подчиненным известным закономерностям и, следовательно, познаваемым и изучаемым; познание чувственного мира имеет значение потому, что оно пробуждает в бессмертной душе дремлющие в ней воспоминания о ее прежнем безмятежном состоянии и ее богоподобии. На размышление о вечном и неземном постоянно наводит разлитая по всему миру красота, целесообразность и гармония вселенной, выявляемая в науке и искусстве, особенно в высшем из искусств—м у з ы к е. Ярче всего идея вечности и богоподобия выступает в красоте человеческого тела; красота порождает любовь (Эрос), а любовь ведет к сознанию высшей цели, т.-е. к познанию истины, выражающейся в стремлении знать, размышлять и учиться; а знание в свою очередь направляет разумное существо к добродетели. Таким образом конечный вывод философии Платона—необходимость беспрерывного самоусовершенствования путем бесконечного разложения и сложения понятий, т.-е. путем диалектики. Высший метод постижения истины—диалектика; а основанием или базой самой диалектики, по Платону, „служат музыкальное и гимнастическое образования, создающие правильное настроение или гармонию души, без которой совершенно невозможно созерцание и даже устремление в сторону истины". Пропедевтикой же к высшему или философскому образованию, „подымающему человека из моря чувственности и очищающему душу от наросших на нее раковин и морских трав", служат вызывающие идею гармонии и побуждающие к прекрасному математические науки.

Таким образом, в платоновской системе молодым людям высшего сословия, награжденным от природы „божественным началом", открывалась заманчивая перспектива беспрерывного самосовершенствования, или восхождения путем развития диалектики от мира чувственных восприятий к высшему миру идей, сопровождаемое при этом приятными музыкальными и гимнастическими упражнениями, укреплявшими дух и тело. К старости же, т.-е. в пору наивысшей психической зрелости, этим людям открывалась новая блестящая перспектива участия в высшем государственном совете мудрецов или философов, с большою подробностью нарисованная в „Политии". Однако и на этом дело не остановилось. Платон, как и Цицерон,—люди определенной культурной эпохи,—очень хорошо знали природу людей своего времени, и потому на-ряду с проповедью добродетельной жизни и самоусовершенствования не забывали присоединить к внешней награде при жизни еще и надежду на особенную милость небес за все труды и лишения, претерпеваемые на земле. Учение о загробной жизни и бессмертии венчает систему Платона так же, как оно покрывает и всю социально-политическую идеологию Цицерона.

Бесспорно, как ни тонка, эфемерна и эстетична система Платона все же с социально-биологической стороны она является оправданием и осмыслением социального бытия известной социальной группы людей. Вознесенные по шаткому и случайному принципу материального обеспечения „прекраснейшие во всех отношениях" должны были в глазах прочей массы народа как-то оправдать свое привилегированное положение. Так как богатство было уже достаточно скомпро-

метировано, чтобы служить критерием нравственного, общественного и индивидуального совершенства, то волей-неволей приходилось искать другой, и, главное, менее скомпрометированный критерий общественной иерархии. Высшая мудрость или знание вещей в себе, т.-е. того, что доступно только избранным натурам и косвенно избранным социальным категориям, как раз и должна была служить оправданием системы афинского философа. Мысль о диктатуре интеллигенции, с такой последовательностью проведенная во всех сочинениях Платона, по существу так же стара, как и мир: уже значительно раньше Платона китайцы и индусы на практике испытали, во что выливается власть высшей интеллигенции мандаринов и браминов. Существует гипотеза, по которой учение Платона о философах, подробно изложенное в „Государстве", представляет переработанную копию с учения индусских браминов; и с принципиальной точки зрения в этой гипотезе действительно нет ничего невероятного. Даже отдельные детали платоновской философии выдают ее интеллигентское происхождение; высшим методом познания напр., признается диалектика, т.-е. как раз то самое, что особенно высоко ценили греческие риторы, философы и софисты, к числу которых принадлежал и сам Платон; философской пропедевтикой объявляется музыкальное образование и гимнастика, т.-е. опять-таки нечто орошо знакомое и высоко культивируемое эллинской аристократией; что, далее, в системе Платона большую роль играет Эрос, тоже находит удовлетворительное объяснение в среде праздной и здоровой молодежи, посещавшей Академию. Идеал же гармонически развитой личности, проводимый в системе Палтона, был не только не чужд высшим кругам, но находил поддержку и в среде всего эллинского мира, высоко ценившего гармоническое сочетание духа и тела.

После всего сказанного не трудно понять с социально-психологической точки зрения и социально-политический идеал Платона, являющийся осложнением строя древне-дорийских аристократических общин Спарты и Крита. Из анализа „Государства" получаешь вполне определенное впечатление, что перед ее автором стояли две задачи: с одной стороны, будущее государство, т.-е. государство высшего разума и высшей добродетели освободить от всех зол, отравляющих существование теперешних общин, как-то: богатства, бедности, частной собственности, власти охлократии, разнузданности и проч., а с другой в идеальном полисе удержать возможно больше элементов из уже знакомых исторических государств, почему-либо привлекавших симпатию и останавливавших внимание философа. Как чистокровный аристократ и интеллигент, да при том современник величайшего мирового кризиса, Платов, по прямому контрасту с реальной действительностью, особенно склонен был ненавидеть эту современность и идеализировать далекое прошлое. Отсюда и получилось то, на первый взгляд, странное противоречие в построении Платона, что будущее идеальное „коммунистическое" государство оказалось подновленным, осложненным, опытной рукою величайшего естета и мыслителя, разрисованным аристократически-феодальным кастовым государством далекого прошлого. Этим обстоятельством, т.-е. тяготением к уже отжившим формам между прочим объясняется и какое-то инстинктивное тяготение и идеализация афинским философом старины. Ярче всего такого рода идеализация прошлого проведена в „поэтическом произведении фантазии" IV в., т.-е. в известном социально-политическом романе Платона „Атлавтиде". В этом романе для контраста противопоставлены два государства: маленькая, но очень хорошо организованная, аристократическая община древнейших Афин

и могущественнейший „колосс на глиняных ногах", государство на острове Атлантиде, расположенное где-то по ту сторону Геркулесовых столпов в Атлантическом океане И вот это колоссальное, высокоцивилизованное, но „нездоровое государство" при первом серьезном столкновении было сокрушено небольшой древне-афинской общиной и при первом же напоре разлетелось в прах. Секрет же победы афинян заключался в организации их государственного строя.

Как на отличительные черты этой райской общины Платон указывает на роскошный климат, на нетронутую девственную почву, на красивую и величественную породу людей, на чистоту нравов, на высокий дар творчества в области государственной жизни, наконец, и на то, что в первобытных Афинах (за девять тысяч лет до рассказчика) над массою людей, занимавшихся земледелием и промыслами, возвышался общественный класс воинов и управителей-философов организованный коммунистически и живший изолированно на возвышенности в Акрополе другими словами круг высшей интеллигенции. При наличности таких социальных порядков и притом в окружении богатейшей природы страны отношения между разными классами отличались внутренней гармонией и спокойствием. Таким образом идеальный строй „Политии" в значительной степени оказался уже осуществленным в далеком прошлом в тех же самых Афинах.

С идеализацией прошлого обычно сплетается отрицание существующей цивилизации Есть мотивы отрицания цивилизации и у Платона; особенно определенно это выражено в третьей книге „Законов". Было время, когда люди, уцелевшие от потопа, рассказывает философ-романист, ввиду своей малочисленности с удовольствием взирали друг на друга, в то время у них с исчезновением искусств уничтожились почти все средства сношения и по морю и по суше; тогда люди любили друг друга, хотя были менее сведущи и менее искусны в различных отраслях, были благонравны, мужественны, здравомыслящи и справедливы и не старались, как это практикуется теперь и практиковалось до потопа, изобретать всякого рода средства, чтобы лишь причинять друг другу зло. Правда, профессиональное положение Платона, как главы Академии, читавшего курсы по философии и руководившего занятием своих слушателей, не позволяло ему окончательно отринуть всякую цивилизацию и начать проповеди в духе, напр., „собачьей философии" своего коллеги Антисфена. При подобном положении вещей приходилось как-то искусственно выходить из создавшегося противоречивого положения—ненависти ко всему существующему, в том числе, следовательно, и ко всей цивилизации, а с другой стороны, и из естественного желания удержать привилегированное положение Академии и самого себя. Всего более простым и величественным выходом в этом случае оказалось отрицание всех других философских систем и смысла обучения у софистов, т.-е. у таких же как и сам Платон, преподавателей и знатоков философской и всякой другой мудрости. В глазах самого Платона, так же, как и его слушателей и последователей, та наука, которой они обучались, и тот общественный порядок, который они себе рисовали в будущем, для них казались идеальными и незыблемыми, а это, в свою очередь, давало им некоторую внутреннюю точку опоры и укрепляло их в жестокой социальной борьбе того времени.

Знакомство с греческими идеологами и социал-политиками эпохи кризиса конца пятого и четвертого столетия, как указано было в самом начале, имело целью на примерах высоко-культурной и цивилизованной Эллады подкрепить то положение, что как в Риме, так и в Греции, как и вообще везде на свете, ни одна социально-

политическая система и ни одна идеология не остается вне влияния материальных интересов и симпатий какой-либо определенной общественной группы или класса. Напротив, скорее верно обратное положение, что всякая философская и социально-политическая идеология носит на себе все признаки ее группового или классового происхождения. Предшествующее изложение должно было показать, что даже такой бесспорно исключительной силы поэт, художник и мыслитель, как Платон, не сумел избежать обще-социологического закона и не сумел создать, ни объективной социально-политической организации, ни объективной философской системы. И это случилось потому, что здесь, как и везде, бытие продиктовало свою властную волю человеческому сознанию.

В. Сергеев.

Классическая физика и релятивизм.

Что такое классическая физика.

Два научных мировоззрения: классическая физика и релятивизм Эйнштейна ведут между собою в настоящее время упорную борьбу. Однако эта борьба очень мало отражается в русской научной литературе. Книг и брошюр, излагающих принцип относительности на русском языке издано чрезвычайно много, но вся эта литература за очень малыми исключениями носит односторонний характер; почти все авторы стоят на стороне Эйнштейна; против раздаются только единичные предостерегающие голоса.

Ввиду этого, представляется интересным рассмотреть систематически важнейшие пункты спора и вместе с тем развить точку зрения классической физики на все спорные вопросы.

Сторонниками классической физики являются преимущественно натуралисты - экспериментаторы, изучающие реальную природу. Изучение природы является их целью, а математика, с ее сложным аппаратом,—только вспомогательным средством.

Сторонники релятивизма—преимущественно математики, не имеющие дела непосредственно с природой; им свойствен известный индифферентизм по отношению к реальным явлениям. Построение стройной математической системы является для них самоцелью, а матерьял, который дают эксперименты, только вспомогательным средством, наводящим математическую мысль на построение весьма общих теорий. Математики стремятся вместе с тем лишить экспериментальное исследование всякой самостоятельности и превратить его в простую проверку теоретически предуказанных результатов.

Всякую критику теории Эйнштейна релятивисты склонны объяснять простым ее непониманием; но упрек в непонимании своих противников с значительно большим правом может быть отнесен к самим релятивистам. Многие ученые, сторонники теории Эйнштейна, проявляют поистине удивительное непонимание духа классической физики и даже механики Ньютона.

Под классической физикой мы понимаем не ту или иную теорию или группу теорий, но особое направление, которое можно характе-

ризовать, как гармоническое единство между экспериментальной и теоретической наукой.

Классическая физика получила впервые полное и законченное выражение в знаменитом труде „Principia..." Ньютона. Но ее нельзя отождествлять с ньютонианской теорией. Классическая физика эволюционирует; она отказывается от многого, занимавшего ранее почетное место, и ассимилирует многое, переворачивающее вверх дном прежние представления. Так, на наших глазах классическая физика ассимилировала электромагнитную картину мира, объясняющую законы механики электрическими законами. Электромагнитная теория является теперь частью классической физики. Классическая физика ассимилирует теорию квант и основанную на ней теорию строения атомов. Ассимиляция этих последних теорий не может считаться законченной, но противоречия не носят такого характера, которые бы ставили принципиальное препятствие ассимиляции классической физикой двух указанных теорий.

Но возьмем, например, Эйнштейнов постулат инвариантности (постоянства) скорости света для неускоренных систем, т.-е. допущение, согласно которому наблюдатель в неускоренной системе при всяких условиях и по всем направлениям найдет одну и ту же скорость света. Такой постулат решительно не может быть ассимилирован классической физикой; он приводит к релятивистской физике, в корне противоречащей классической физике.

Ограничимся пока этими замечаниями. В дальнейшем будут подробно выяснены характерные черты классической физики, а также будет выяснено, почему одни теории могут, а другие не могут быть ею ассимилированы.

Учение Ньютона о движении.

Прежде всего необходимо выяснить, как поставлен вопрос о движении в классической физике. Именно в этом пункте релятивисты обнаруживают полное непонимание классической физики.

Классическое учение о движении было развито Ньютоном в его „Principia..." Как это ни странно, учение Ньютона совершенно извращено позднейшими авторами; оно понимается совершенно превратно Утверждения, ложно приписываемые Ньютону, сводятся к следующему:

1) В основу механики Ньютон положил абсолютное пространство, как тело отсчета.

2) Скорость по Ньютону относительна, но всякое ускорение абсолютно.

Критика указанных положений стала общим местом; посредством такой критики релятивисты стремятся создать впечатление легкой победы над классической физикой. Но дело в том, что указанные положения исторически неверны; их вовсе нельзя приписывать ни Ньютону, ни классической физике вообще.

Ньютон говорил об абсолютом пространстве; но он нигде не пользовался им, как телом отсчета, и поэтому его философская ошибка не отразилась на его механике. Он различал не абсолютное и относительное движение, а истинное и кажущееся, а это совсем другая постановка вопроса: иными словами, дело шло не об абсолютном пространстве, а о привилегированных осях координат.

„Причины происхождения, которыми различаются истинные и кажущиеся движения, суть те силы, которые надо к телам приложить, чтобы произвести эти движения" („Principia..", перевод Крылова, „Известия Морской Академии", стр. 33).

Правда, Ньютон иногда называл истинные движения абсолютными, но для всякого, имеющего в виду дух, а не букву системы, ясно, что это была чисто словесная ошибка, ничего не изменявшая в существе дела. Ньютон среди относительных движений, доступных нашему наблюдению, различал истинные и кажущиеся. Следствия V и VI его Законов Движения не оставляют в этом никакого сомнения.

„Следствие V. Относительные движения друг по отношению к другу тел, заключенных в каком-либо пространстве, одинаковы, покоится ли это пространство или движется равномерно и прямолинейно без вращения.

Следствие VI. Если несколько тел, движущихся как бы то ни было друг относительно друга, будет подвергнуто действию равных ускоряющих сил, направленных по параллельным между собою прямым, то эти тела будут продолжать двигаться друг относительно друга так же, как если бы сказанные силы на них не действовали" („Principia..", 45—46 стр. русск. пер.).

Пусть покажут, как согласовать следствие VI с тем общим местом, согласно которому всякое ускорение в механике Ньютона имеет абсолютный характер! В приведенных V и VI следствиях Ньютон, без сомнения, имел в виду солнечную систему, исследованию которой в значительной степени посвящена его книга „Principia..". Здесь Ньютон как бы говорит следующее: покоится ли солнечная система по отношению к звездам, движется ли прямолинейно и равномерно, или же, наконец, движется ускоренно в поле тяготения звезд—это нисколько не изменяет характера внутренних движений в солнечной системе. Во всех трех случаях мы можем совершенно одинаковым образом отличать истинные движения, т.-е. движения под действием внутренних сил от кажущихся, и можем найти истинные движения, отнеся их к привилегированным координатным осям, т.-е. к центру тяжести солнечной системы. Следствие VI есть не что иное, как принцип относительности истинных движений.

Чистые математики смотрят на движение формально, как на перемену места, отнесенную к произвольным координатным осям. Ньютон характеризует так только кажущиеся движения. Законы движения показывают, что Ньютон рассматривает движение, как реальный факт, тесно связанный с взаимодействием тел, с теми силами, которые его

производят. Первый взгляд на движение лежит в основе релятивизма, второй—в основе классической физики.

В дальнейшем мы модернизируем основные взгляды Ньютона, т.-е. переведем их на язык современной физики.

Принцип взаимности.

Половина произведения массы на квадрат скорости движущегося тела называется в механике живой силой; со времени Майера и Гельмгольца эта живая сила рассматривается, как энергия, вполне эквивалентная всякому другому виду энергии. При этом предполагается, что живая сила может превращаться в тепло, в энергию электромагнитного поля и т. под. и сама из них возникать и, таким образом, входить в общий круговорот энергии в природе. Но может ли живая сила, отнесенная к произвольным координатным осям, при всяких условиях превращаться в другие формы энергии и происходить из них? Дело идет не о фактическом превращении, а о физической возможности такого превращения, о мыслимости его. Если при некоторых условиях даже немыслимо, чтобы живая сила могла перейти в другую форму энергии, то очевидно, что нет ни малейшего основания рассматривать ее, как некоторый запас энергии.

Например, если принять, согласно теории Эйнштейна, за тело отсчета землю, то солнце движется вокруг нее, обладая при этом огромной живой силой. Но эта живая сила ни в какой мере не является кинетической энергией, так как, не говоря уже о реальной осуществимости, переход указанной живой силы в теплоту и проч. просто немыслим.

Таким образом, необходимо добавочное кинетическое условие, при котором живая сила системы может быть рассматриваема, как кинетическая энергия. Это кинетическое условие может быть формулировано так: $\Sigma mv = 0$; общее количество движения в системе равно нулю. Живая сила может быть рассматриваема, как кинетическая энергия, только в такой системе, где указанное условие удовлетворено. В тех же системах, где кинетическое условие не удовлетворяется, вся живая сила или же часть ее находится абсолютно вне связи с другими силами природы.

Пусть где-нибудь в пространстве разорвался артиллерийский снаряд. Здесь живая сила осколков произошла из химической энергии взрывчатого вещества; поэтому мы можем быть уверены, что в любом направлении количество движения осколков (величина mv) точно равно количеству движения в направлении прямо противоположном. Так как количество движения—вектор, т.-е. величина, связанная с определенным направлением, то количества движения в противоположных направлениях суммируются с обратными знаками и друг друга взаимно уничтожают; суммируя по всем направлениям, мы приходим к нашей формуле $\Sigma m v = 0$.

Рассмотрим другой пример. Соударяются два неупругие тела, из которых первое имеет массу $M = 999999 K^0$, а второе — $m = 1 K^0$, и пусть в момент столкновения истинная скорость сближения тел V или $\frac{ds}{dt}$ равняется 10 метрам в секунду. Примем второе тело за тело отсчета. Мы принимаем, следовательно, что малое тело неподвижно, а движется только большое тело со скоростью 10 метров в секунду. В таком случае живая сила в нашей системе в момент удара равна $\frac{1}{2} \cdot 999999 \cdot 10^2$, т.-е. равна 49999950 единицам живой силы (принимая для простоты за единицу живую силу 1 килограмма, движущегося со скоростью 1 метра в секунду). Примем первое тело за тело отсчета — живая сила равна в этом случае $\frac{1}{2} \cdot 10^2 = 50$ единицам.

Теперь вычислим, сколько наша система содержит реальной кинетической энергии, которая действительно может превратиться в тепло в момент неупругого удара. Так как мы рассматриваем нашу систему, как изолированную от влияния других тел, то количество кинетической энергии в момент удара равно количеству потерянной при неупругом ударе живой силы. Это количество выводится из нашего условия $\Sigma mv = 0$. В данном случае имеем: $Mu - m(v - u) = 0$, где через u обозначена скорость, с которою движется большее тело. Отсюда получаем: $u = \frac{mv}{M + m}$. Большое тело движется навстречу малому со скоростью 0,00001 метра в секунду. Потерянная живая сила или превратившаяся в тепло в момент удара кинетическая энергия равна $\frac{1}{2} \cdot \frac{M}{M + m} \cdot V^2 = 49{,}99995$, т.-е. в миллион раз меньше, чем при первом теле отсчета и на пять стотысячных меньше, нежели при втором теле отсчета. Таким образом, чтобы иметь право рассматривать живую силу полностью, как кинетическую энергию, необходимо обоим телам приписать определенные движения, а не брать то или другое тело по своему произволу за тело отсчета.

То же самое кинетическое условие применимо и к вращающимся телам; здесь оно выражает условие физической возможности вращательного движения.

Момент количества движения вращающегося шара, как доказывается в механике, равняется $\frac{2}{5} Mr^2 \varphi$, где M — масса шара, r — его радиус, φ — угловая скорость вращения. Но в указанной формуле суммируется абсолютное количество движения; если же количеству движения каждой матерьяльной точки шара приписать определенное направление, то очевидно, что всякие две точки на одном диаметре на равном расстоянии от центра имеют равные и противоположно направленные скорости. Суммируя количества движения этим вторым способом, мы опять получим формулу $\Sigma mv = 0$. Таким образом вра-

щение шара физически возможно. Но вращение изолированной системы вокруг оси, не проходящей через центр тяжести, очевидно, не удовлетворяет указанному кинетическому условию. Следовательно, такое движение невозможно физически; оно является всего лишь механической абстракцией; подобная абстракция возможна лишь постольку, поскольку движение рассматривается вне связи с реальными физическими силами.

Первое кинетическое условие имеет общий характер; оно применяется ко всяким движениям, как ускоренным, так и не ускоренным. Сверх того, по отношению к ускоренным движениям существует еще второе условие, имеющее связь с законом причинности. Это второе условие может быть названо принципом взаимности и формулировано так: всякое ускорение взаимно: всякое движение в поле сил также взаимно, при чем взаимодействие определяется указанным кинетическим условием $\Sigma mv = 0$.

Это значит, что если я падаю в поле тяжести земли, то и земля падает в поле тяжести моего тела; если земля имеет центростремительное ускорение в поле тяжести солнца, то и солнце имеет обратное ускорение в поле тяжести земли и т. д., при чем выполняется кинетическое условие.

В теории Эйнштейна принцип взаимности отвергается: любое тело может быть принято за тело отсчета, а все другие тела совершают при этом односторонние и некомпенсированные движения. Так как движение в поле тяжести не имеет взаимного характера в теории Эйнштейна, то поле тяжести лишается всяких физических свойств; ему приписываются только геометрические свойства: некоторое искривление пространства. Согласно Эйнштейну, земля движется вокруг солнца не потому, что она притягивается солнцем (что предполагает взаимность), а потому, что, попав в искривленное пространство и двигаясь в нем по инерции, она должна описывать эллипс.

Но так как принцип взаимности основан всецело на опыте, то возникает вопрос, на каком основании он может быть отвергнут? Релятивисты указывают обычно, что Ньютоновы Законы Движения не могут быть согласованы с современной Электродинамикой. Поэтому вопрос должен быть поставлен так: упраздняет ли современная электродинамика принцип взаимности? Достаточно поставить указанный вопрос, чтобы ответить на него отрицательно. Совершенно наоборот, Электродинамика не может обойтись без принципа взаимности. Припомним хотя бы развитие теории Бора. Когда применили теорию Бора к атому гелия, получили сначала значительное расхождение между теорией и наблюдениями. Это расхождение, как оказалось, зависело всецело от того, что принимали положительное ядро атома гелия за тело отсчета. И только когда применили принцип взаимности и приняли, что ядро и электроны вращаются вокруг общего центра, только тогда получили совпадение наблюденных и предвычисленных результатов. Релятивисты в своих астрономических и физических работах

не могут обойтись без принципа взаимности; но они пользуются им, очевидно, контрабандным путем, так как принцип взаимности противоречит основным посылкам их теорий.

О выборе координатных осей.

Кинетическое условие и принцип взаимности однозначно определяют координатные оси во всякой данной системе тел. Раз мы рассматриваем живую силу, как кинетическую энергию, тем самым мы принимаем вполне определенные координатные оси, так как понятие кинетической энергии имеет смысл только при условии $\Sigma mv = 0$. Никакого произвола в выборе координатных осей быть не может; если мы имеем какую-либо систему тел (например, солнечную систему), то телом отсчета движений отдельных частей системы может служить только сама система, взятая в целом; нейтральной точкой, не принимающей участия во внутренних движениях в системе, является центр тяжести системы. В определенных таким образом координатных осях вся живая сила является реальной кинетической энергией; при всяком же уклонении от указанного выбора координатных осей мы должны будем подсчитывать фиктивную кинетическую энергию, не существующую в природе.

Привкус парадоксальности и даже нелепости, который чувствуется при изучении общей теории относительности, зависит, без сомнения, от подсчета фиктивной кинетической энергии, т.-е. от операции, лишенной физического смысла. Эйнштейн говорит, что невозможно решить, движется ли по рельсам поезд по неподвижной земле, или, наоборот, неподвижен поезд, а движется земля. С нашей точки зрения движется и то и другое тело, но так, что $\Sigma mv = 0$; является ли движение равномерным или ускоренным—в данном случае безразлично. Но так как перемещение земли, согласно указанной формуле, бесконечно мало, то возможно им пренебречь, и принять землю за тело отсчета, при чем кинетическое условие удовлетворяется с точностью до бесконечно-малых величин. Поэтому движение поезда—реальное или истинное движение, а движение земли по отношению к поезду кажущееся, фиктивное. Соответственно этому кинетическая энергия движения поезда, отнесенная к земле, как к телу отсчета, целиком переходит в тепло; кинетическая энергия движения земли, отнесенная к поезду, как к телу отсчета, существует только на бумаге. Представим себе два торговых или промышленных предприятия. Одно из них имеет деньги, совершает операции и ведет им учет в бухгалтерской книге. Другое предприятие также имеет бухгалтерскую книгу, в которой ведет большие записи, но не имеет ни денег, ни операций. Таково различие между привилегированной и произвольной системами координат.

Точно также при падении камня на землю, „невозможно решить“, отвергнув принцип взаимности, что движется и что неподвижно: ка-

мень или земля. Из принципа же взаимности вытекает, что движется и то и другое тело по отношению к общему центру тяжести навстречу друг другу. При этом количество движения земли равно количеству движения камня. Земля движется навстречу камня с той самой скоростью, с какой двигалась бы в поле тяжести камня материальная точка, находящаяся на таком расстоянии от камня, на каком находится центр земли. Так как скорость такого движения земли, а следовательно, и кинетическая энергия бесконечно-малы, то ими можно пренебречь и, не нарушая принципа взаимности, опять-таки принять землю за тело отсчета.

Луна реальным образом вращается вокруг земли, так как общий центр тяжести этих двух тел находится достаточно близко к центру земли. Но в системе земля-солнце принять землю за тело отсчета невозможно, так как при этом не удовлетворяется ни принцип взаимности, ни условие $\Sigma mr = 0$. Вопрос о вращении солнца вокруг земли мог бы быть поставлен, если бы солнце было прикреплено к хрустальной сфере, ось которой проходила бы через центр земли. При вращении хрустальной сферы условие $\Sigma mr = 0$ удовлетворяется; поэтому вопрос о том, что именно движется — земля или солнечная сфера,— имел бы по крайней мере физический смысл. Вопрос же о некомпенсированном движении солнца вокруг земли не имеет никакого физического смысла. То же самое справедливо и по отношению к поступательному движению. Движение солнечной системы по направлению к созвездию Геркулеса реально. Движение же всего звездного мира по отношению к солнечной системе физически невозможно, так как при этом $\Sigma mr \neq 0$.

Релятивисты любят утверждать, что с их точки зрения Коперник и Галилей равным образом правы или неправы, как и их противники (инквизиция). Но на самом деле эти средневековые споры о движении земли служат самой яркой иллюстрацией того факта, что вопрос о выборе координатной системы вовсе не может быть сведен к чисто формальному вопросу. Под видом формального вопроса здесь выступает реальный вопрос о системе, вопрос о том, какие тела определяют собою космическую систему.

Релятивисты строят свою аргументацию на дилемме: или абсолютное пространство, или абсолютный произвол в выборе координат. Но мы видели, что такая дилемма не имеет под собой никакого основания, мы видели, что Ньютонианские истинные движения — это движения частей системы, отнесенные к системе, как к целому. При этом система, как целое, вовсе не должна непременно быть галилеевым телом, т.-е. двигаться прямолинейно и равномерно; из следствия VI Законов Движения Ньютона вытекает, что если система находится в равномерном силовом поле, характер внутренних движений по отношению к привилегированным осям от этого не меняется. Если живая сила есть величина относительная, зависящая от выбора координатных осей, то реальная кинетическая энергия нисколько не

зависит от выбора координат и, наоборот, сама определяет координатные оси. Если мы допустим, что все тела системы уравняют свои движения посредством трения, неупругих ударов и пр., то вся кинетическая энергия системы превратится в тепло. Существует только одна координатная система, в которой подсчет кинетической энергии дает указанную величину—координаты, связанные с центром тяжести системы тел. Вместе с тем очевидно, что реальным физическим движением можно считать только то движение, которое представляет собою запас реальной энергии. Движение по отношению к произвольным осям дает только фиктивную, бумажную энергию; следовательно, и само такое движение является только кажущимся.

Релятивисты охотно соглашаются с тем, что одни системы координат более удобны, чем другие; но дело совсем не в этом. Дело в том, что отнесение движений к одним осям имеет физическое значение, а к другим осям—нет. Мы можем рассматривать или не рассматривать ту или иную систему тел; но раз система выбрана, вместе с ней даются и координаты, покуда мы не выходим за пределы выбранной системы. Выходя за пределы системы, мы тем самым рассматриваем новую, более обширную систему тел, которая включает в себя прежнюю; при этом мы получаем новое привилегированное тело отсчета. Во всех этих случаях произвол в выборе координатных осей совершенно исключен.

Эйнштейн возвел в закон абсолютный произвол в выборе координатных осей. Но при этом понадобилось так много добавочных гипотез, все это так усложнило вопрос, что простота и естественность привилегированных координат должна выступить с полной ясностью.

Вращательное движение.

Вопрос о вращательном движении является одним из центральных пунктов спора; этот вопрос доставляет не мало затруднений релятивистам. Если земля действительно вращается,—говорят релятивисты,—то существует абсолютное пространство; по их мнению, классическая физика объясняет вращение и сплющивание тел, которые вращаются абсолютным пространством. В действительности же в классической механике вопрос поставлен совершенно иначе.

Абсолютное пространство, как та „пустота", в которую погружены все тела, несомненно существует; несомненно также, что „пустота" не может служить телом отсчета, с нею не могут быть связаны координатные оси. Некоторое тело рассматривается, как вращающееся потому, что оно заряжено кинетической энергией; этим же обстоятельством объясняется и сплющивание тела; окружающая пустота не играет ровно никакой роли в этом явлении. Координатные оси определяются вовсе не пустым пространством, но реальным запасом кинетической энергии вращающегося тела, поскольку оно рассматривается, как изолированная система. Мы уже видели, что не

координатные оси определяют энергию, но энергия однозначно определяет выбор осей. Координатные оси определяются так, чтобы был возможен правильный учет кинетической энергии тела и чтобы могли быть объяснены все явления, вытекающие из факта вращения тела. По отношению к чему вращается тело? По отношению к своей оси, по отношению к тем координатным осям, которые определяются счетом кинетической энергии.

Если система тел движется поступательно, хотя бы с ускорением, она может быть, согласно VI следствию Законов Движения Ньютона, принята за тело отсчета: состояние системы может быть приравнено покою при том условии, чтобы все части системы получали равное и одинаково направленное общее ускорение. По отношению к вращающемуся телу такой возможности нет; в этом все дело, а вовсе не в абсолютном пространстве. Как скорости, так и центробежные ускорения различны по величине и направлению во всяких точках вращающегося тела; это вызывает натяжение между слоями тела, упругие силы; кинетическая энергия вызывает деформацию тела, сплющивание его.

Таким образом вращение тела—реальное, истинное движение в смысле Ньютона, но, конечно, не абсолютное движение. Все точки пущенного и бегающего с качаниями по комнате детского волчка описывают правильные круги только по отношению к его оси. По отношению к стенам комнаты, по отношению к солнцу, к звездам, точки волчка описывают самые различные траектории. Своеобразное, неравномерное распределение кинетической энергии между частями тела лежит в основе явлений вращения. Отсюда вытекают многочисленные следствия, которые могут быть проверены опытом: центробежные и поворотные силы, отклонение маятника Фуко и пр., видимое перемещение по отношению к звездам является только одной стороной многозначного факта вращения, только одним из следствий неравномерного распределения кинетической энергии между слоями тела.

Так, Пуанкаре представляет себе ученых, населяющих планету Юпитер, постоянно окруженную густым слоем облаков, откуда не могут быть видны никакие небесные тела. Эти ученые принимают сначала свою планету неподвижной. Но им приходится объяснять многие странные явления, которые они наблюдают: полярное сжатие и утолщение на экваторе, экваториальное ослабление силы тяжести, определенное направление циклонов, отклонение маятника и пр. Ученым Юпитера приходится все усложнять свою механику, нагромождать гипотезы для объяснения указанных явлений до тех пор, пока не явится Коперник и не укажет: „Гораздо проще допустить, что вращается планета!“.

В кратких чертах история вопроса такова: Ньютон приводил во вращение сосуд с водой. В начале, когда вращался только сосуд и энергия еще не успела передаться воде, поверхность воды оставалась

плоской. Таким образом относительное вращение, т. е. вращение воды по отношению к стенкам сосуда, не вызывало в воде никаких центробежных сил. По мере того, как кинетическая энергия передавалась воде, вода поднималась к краям сосуда, поверхность ее становилась вогнутой. Наибольшее поднятие воды у стенок наблюдалось как раз в тот момент, когда скорости вращения воды и стенок сосуда сравнялись, т. е. когда вода и стенки сосуда были неподвижны по отношению друг к другу. Отсюда Ньютон делает неизбежный вывод, что стремление частей тела удалиться от оси может служить мерой истинного вращательного движения.

В своей критике механики Ньютона Мах исходил из того представления, что Ньютонианское истинное движение—это движение по отношению к пустоте. Он указывал, что тело вращается не по отношению к пустоте, а по отношению к неподвижным звездам; он утверждал, поэтому, что не влияние пустоты, а влияние звезд вызывает сплющивание тела. В опыте Ньютона, по словам Маха, стенки сосуда были слишком тонки, чтобы, при вращении по отношению к воде, они могли вызвать в ней центробежные силы. Если бы стенки сосуда, были толщиной в несколько километров—результаты опыта могли быть иные. По мнению Маха, если бы земля была неподвижна, а звездное небо вращалось вокруг земли, все явления, которые мы наблюдаем: центробежные силы, отклонение плоскости колебаний маятника и проч., точно также существовали бы; следовательно, они не являются доказательством абсолютного вращения земли.

Эйнштейн математически обработал эти мысли Маха и связал их с общим кругом своих идей. С его точки зрения невозможно решить, что вращается, земля или звездное небо. Из уравнений Эйнштейна следует, что вращающееся полое тело создает внутри этой полости центробежное поле. Этим вполне объясняются, с точки зрения теории Эйнштейна, все явления, которые наблюдаются на теле, вращающемся по отношению к звездам.

Фридлендер проделал следующий опыт. Он помещал иглу ультрачувствительных крутильных весов на продолжении оси гигантского маховового колеса одного из громадных металлургических заводов. В ожидаемом центробежном поле относительного вращения игла должна была стать параллельно плоскости колеса, так как в этом положении ее концы были бы наиболее удалены от оси колеса. Однако никакого эффекта не получилось. Впрочем, теория Эйнштейна объясняет также отрицательный результат опыта Фридлендера: эффект, предсказываемый теорией Эйнштейна, настолько мал, что безусловно не допускает возможности опытной проверки.

Итак, классическая физика может противопоставить релятивизму следующие аргументы:

1) Небо неподвижных звезд не представляет собою хрустальной сферы; следовательно, звезды физически не могут вращаться вокруг

земли, так как при этом $\Sigma mr \neq 0$. Видимое движение звезд должно быть признано поэтому только кажущимся, фиктивным.

2) Если же признать звездное небо неподвижным, то для координатных осей, установленных таким образом по звездам, нет никакого центробежного поля, которое бы могло действовать на землю и сплющивать ее. Центробежные силы объясняются в этом случае всецело вращением земли. Принимать, как это делает Мах, что земля вращается, но что центробежные силы, тем не менее, обусловлены влиянием звезд, значит допускать два различных объяснения одного и того же явления в одно и то же время.

3) Привлекать к объяснению явлений вращения отдаленные космические массы—значит вводить лишнюю, совершенно не нужную посылку, прицеплять пятое колесо к телеге, так как явление вполне объясняется обменом энергии между взаимодействующими телами. Если я пускаю волчок, мои мускулы заряжают его кинетической энергией, которая удерживается им некоторое время, постепенно передаваясь воздуху и полу и превращаясь в тепло.

4) Опыт Фридлендера дал отрицательный результат; следовательно, нет никакого намека на то, чтобы вращение одного тела возбуждало в другом центробежные силы, которые возможно обнаружить на опыте. Соответствующие следствия из теории Эйнштейна, как указывает он сам, находятся по ту сторону возможной проверки. Такие выводы классическая физика принципиально не может принимать во внимание.

Специальный принцип относительности.

На предшествовавших страницах мы не принимали во внимание эфира; но так как эфир не оказывает никакого сопротивления движущимся телам, то все наши рассуждения остаются в силе и в том случае, если эфир будет принят во внимание. Ньютону было легко проводить принцип относительности, так как в то время господствовала теория истечения света, и он мог рассматривать летящие „световые частицы" точно так же, как и всякое другое брошенное тело. Но в современной физике лучистая энергия рассматривается, как электромагнитное возмущение некоторой среды—эфира, а такой взгляд затруднительно соединить с принципом относительности движения, как в том случае, если эфир неподвижен, так и в том случае, если эфир увлекается движением тел.

Однако факты заставили распространить принцип относительности также и на электродинамику. Эйнштейн построил теорию относительности, которая охватывает все известные науке факты и ни в каком пункте не приводит к противоречию. Математическая сторона специальной теории относительности не противоречит классической физике, но физическая интерпретация теории, какую развивает Эйнштейн, является для классической физики неприемлемой.

Основная посылка Эйнштейна — инвариантность (постоянство) относительной скорости света для всякой инерциальной системы — решительно противоречит духу классической физики. Согласно Эйнштейну, во всякой прямолинейно и равномерно движущейся системе свет распространяется по всем направлениям с одинаковою скоростью, но при этом скорость света вовсе не зависит от скорости источника света. Такое воззрение классическая физика может принять только как фиктивный математический прием для описания фактов, но ни в каком случае не может в нем видеть окончательного реального закона распространения света.

Так как преобразование понятий времени и пространства и все остальные парадоксальные утверждения теории Эйнштейна являются простыми следствиями, которые Эйнштейн выводит из постулата постоянства скорости света, то очевидно, что эта последняя основная посылка и должна быть центральным пунктом обсуждения. Вместе с нею оправдываются или же падают и все дальнейшие утверждения Эйнштейна.

Однако логический анализ показывает, вопреки установившемуся мнению, что указанная посылка безусловной физической инвариантности скорости света вовсе не нужна специальному принципу относительности; все математические выводы теории относительности могут быть получены и помимо этой посылки.

Если мы посылку $C = const$ (скорость света абсолютная мировая постоянная) мы заменим посылкой $C = X$ (т. е. относительная скорость света есть величина для нас в точности неизвестная), то из этой второй посылки, равным образом, может быть выведена специальная теория относительности.

В самом деле, скорость света и время приходится определять совместно, так как при измерении скорости света счет времени мы принимаем за данное, а при счете времени мы принимаем за данное скорость света. Точно также скорость света и длины масштабов приходится определять совместно. Поэтому для специальной теории относительности важно не то, чтобы скорость света была абсолютно инвариантной, а времена и масштабы были величинами вариантными; важно, чтобы скорость света была о п р е д е л я ю щ е й величиной, а времена и длины величинами о п р е д е л я е м ы м и, устанавливаемыми согласно первой. Теперь, если мы примем относительную скорость света, какова бы она ни была в действительности, за некоторую условную постоянную, с которой должны будут сообразоваться все другие величины, в таком случае мы должны будем переоценивать времена и длины, и они будут величинами вариантными в том же условном смысле. Так как других сигналов, которые бы распространялись со скоростью большей, нежели скорость света, мы не знаем, и так как истинный закон распространения света нам неизвестен, то мы все равно не можем вести правильного счета времен и длин в движущихся системах. Таким образом мы ничего не проигрываем, при-

нимая указанные посылки. Принимая условно скорость света за постоянную величину, мы можем для оценки времен и длин применить формулы Лоренца, а формулы Лоренца, как увидим далее, обладают тем замечательным свойством, что они удовлетворяются при различных реальных законах распространения света.

При построении формально математической теории вполне возможно стать на такую точку зрения: вопрос о действительном законе распространения света мы пока обходим и принимаем условно скорость света за постоянную величину; вопрос о существовании или несуществовании эфира мы в наших формальных построениях точно также обходим; времена и длины мы определяем согласно принятой посылке инвариантности скорости света, применяя формулы Лоренца. В итоге мы получаем математическую теорию, охватывающую факты и не приводящую к противоречию.

Такая теория относительности не находится в антагонизме с классической физикой; классическая физика стремилась бы не к тому, чтобы опровергнуть такую теорию, но к тому, чтобы ее интерпретировать и посредством надлежащей интерпретации открыть истинный закон распространения света.

Но Эйнштейн излагает свою теорию не в виде формально математического построения. В чем же заключается интерпретация Эйнштейна? Все условные посылки, о которых мы говорили, Эйнштейн попросту превращает в безусловные законы природы: неизвестную относительную скорость света в абсолютную мировую постоянную, воздержание в вопросе об эфире в отрицание эфира, условный счет времени в реальное местное время и т. д. Но такая интерпретация не вынуждается фактами и носит характер, скорее, наивной философской теории.

Принцип относительности может быть различным образом интерпретирован в классической физике. Во-первых, как одну из таких интерпретаций следует рассматривать теорию относительности Лоренца. Математическая сторона теории Лоренца и специальной теории Эйнштейна совпадают; они различаются лишь в физической интерпретации формул, при чем интерпретация Лоренца находится в полном согласии с классической физикой. Во всяком случае, отметим, что формулы Лоренца удовлетворяются как в том случае, если эфира вовсе нет и скорость света абсолютная постоянная, так и в том случае, когда существует эфир неподвижный, не увлекаемый телами.

Мы сказали, что формулы Лоренца удовлетворяются при различных законах распространения света. Покажем, что и в том случае, если скорость света зависит от скорости источника света, формулы Лоренца также удовлетворяются.

Допустим, например, что некоторая система S' движется со скоростью v относительно системы S. В точке A системы S' находится источник света, при помощи которого могут подаваться световые сигналы. В точке F системы S помещается наблюдатель. В

момент $t'_0 = 0$ точки A и F совпадают. Спустя время $t'_1 = \frac{x'}{v}$ точка A имеет абсциссу, равную x', и в этот момент дается световой сигнал. Так как мы допустили, что скорость света зависит от скорости источника, и так как источник света удаляется от точки F, то по отношению к неподвижному наблюдателю, находящемуся в точке F, скорость света будет равна $c - v$; следовательно, световой сигнал достигнет точки F в момент $t'_2 = t'_1 + \frac{x'}{c - v}$. Но пусть наблюдатель в F будет релятивистом; тогда он скажет, что указанные значения x', t'_1 и t'_2 надо переоценить по формулам Лоренца и заменить величинами x, t_1 и t_2. Переоценка дает следующее:

$$x = \frac{x'}{\beta}, \text{ где } \beta = \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}.$$

Так как x и x' одновременны, то член vt выпадает из соответствующей формулы преобразования.

$$t_1 = \frac{1}{\beta}\left(t'_1 + \frac{vx'}{c^2}\right); \quad t_2 = \frac{t'_2}{\beta} = \frac{1}{\beta}\left(t'_1 + \frac{x'}{c - v}\right)$$

$$\frac{x'}{c - v} = \frac{x'}{c} + \frac{vx'}{c^2}; \quad t_2 = \frac{1}{\beta}\left(t'_1 + \frac{x'}{c} + \frac{vx'}{c^2}\right)$$

$$t_2 - t_1 = \frac{x'}{\beta c}; \quad \frac{x}{t_2 - t_1} = c.$$

Итак, формулы Лоренца удовлетворяются и в этом случае, а наблюдатель в системе S получает нужную ему условную посылку постоянства скорости света. Легко убедиться, что если бы системы сближались, результат был бы тот же самый.

Наконец, теория Максвелла-Герца точно также согласуется с принципом относительности.

Часто повторяют, что результат опыта Майкельсона находится в противоречии с явлением аберрации света: опыт Майкельсона приводит к заключению, что эфир увлекается движением тел, тогда как явление аберрации показывает, наоборот, что эфир не увлекается движущимися телами. Повторяют также, что только Эйнштейн указал выход из этого противоречия. В действительности же противоречия здесь нет, так как опыт Майкельсона и аберрация света происходят при существенно различных условиях. Первое явление вовсе не может привести к заключению, что эфир при всяких условиях увлекается телами, а второе явление—что эфир не увлекается ни при каких условиях.

Представим себе заряженное электричеством тело, помещенное внутри движущегося вагона. Согласно теории Максвелла-Герца между заряженным телом и стенками вагона протянуты упругие фарадеевы трубки; концы этих трубок вполне закреплены, и трубки в своей сово-

купности представляют тот „эфир“, или ту часть эфира, которая переносится вместе с заряженным телом и вагоном, и, следовательно, вполне увлекается движущимися телами. Если заряд нашего тела пульсирует, то по трубкам бегут возмущения со скоростью C. Если с этими возмущениями, передаваемыми вдоль фарадеевых трубок, проделать опыт Майкельсона, то последний, очевидно, **не может удаться**, он должен дать отрицательный результат.

Представим себе теперь, что заряженное тело находится вне вагона, и что вагон проезжает мимо него. В таком случае фарадеевы трубки будут скользить по стенкам вагона, не увлекаясь ими. При таких условиях возмущения, бегущие по трубкам, дадут явление аберрации.

Наконец, в опыте Физо условия опять иные. Здесь трубки Фарадея, по которым бежит свет, точно также вполне закреплены по отношению к лаборатории и переносятся вместе с ней. Но по отношению к лаборатории и эфирным трубкам циркулирует струя воды.

Условия опыта в этом третьем случае отличны от условий двух первых опытов; следовательно, и результат должен получиться иной, нежели в первом и втором случаях. Итак, теория Максвелла-Герца находится в согласии с принципом относительности.

Теперь понятно, почему классическая физика не может принять Эйнштейнову посылку инвариантности скорости света. Классическая физика не может считать вопрос о распространении света исчерпанным, не может поставить крест на истинном законе распространения света и сказать—ignorabimus (никогда не узнаем). А только в этом случае можно было бы встать на точку зрения Эйнштейна. Но понятие о местном времени зависит всецело от постулата инвариантности скорости света; отвергая последний, мы тем самым отвергаем реальность счета времени в теории Эйнштейна. Релятивисты, говоря о понятии времени, обычно стремятся доказать две вещи: во-первых, что логически допустимо считать время так, как считает Эйнштейн, и, во-вторых, что логически не допустимо считать время так, как считает классическая физика. Согласиться можно только с первым утверждением, так как в защиту второго не приводится, в сущности, никаких серьезных аргументов.

Во всякой данной инерциальной системе, как бы она ни была обширна, оценка последовательности событий и счет времени повсюду одинаков и не зависит от скорости передачи сигналов. Таким образом пока мы остаемся в пределах инерциальной системы, счет времени согласно теории Эйнштейна и согласно классической физике вполне совпадают. Но релятивисты утверждают, что такой счет времени не может быть применен к другой инерциальной системе, движущейся по отношению к первой. С этим мы также должны согласиться. Однако необходимо дать себе отчет, почему наша оценка событий в движущейся системе не совпадает со счетом времени наблюдателей, связанных с этой самой системой? Это происходит исключи-

тельно потому, что мы не знаем истинного закона распространения света. Если бы этот закон был известен, то мы без труда могли бы определить истинное время движущейся системы и согласовать наше время с временем тех наблюдателей, которые связаны со второй системой. Итак, невозможность установить единое мировое время проистекает единственно из того, что остается в точности неизвестным истинный закон распространения света.

Но вместе с реальным значением местного времени падает также и нужда в четвертом измерении. Классическая физика не может признать допущения четырехмерного мира еще и по другой причине: всякое сведение физических зависимостей к геометрическим равносильно превращению **обусловленных** зависимостей в **безусловные**; природа в опыте **нигде не дает безусловных зависимостей**, повсюду мы должны искать условий и вставлять промежуточные причинные звенья.

Рассмотрим простой пример: релятивист говорит, что световая волна существует в четырех измерениях. Для него этим все сказано излишен эфир, излишни какие бы то ни было законы распространения света; здесь, по мнению релятивиста, первичная, ничем не обусловленная далее, геометрическая связь пространства с временем. Классическая физика рассматривает световую волну в трех измерениях; расширение шарообразной волны является для нее не безусловным геометрическим законом, а физической проблемой, электромагнитным процессом, механизм которого должен быть выяснен. Трехмерное представление, таким образом, имеет преимущество жизненности, конкретности. Между первым и вторым взглядами такая же разница, как между бумажным и экспериментальным изучением природы.

Следовательно, переход к четырехмерному миру является не шагом вперед, а шагом назад.

Энергия и масса.

Когда релятивисты говорят об изменении массы вместе со скоростью движущегося тела, а также о связи между массой и энергией, они никогда не упоминают при этом, что указанные законы, в сущности, не зависят от теории Эйнштейна. Оба закона выводятся из теории Эйнштейна, но они вытекают, равным образом, из электронной теории Лоренца. Поэтому опытные подверждения обоих законов никоим образом не могут быть истолкованы в пользу релятивизма и против классической физики. Классическая физика вполне ассимилировала оба закона, о которых идет речь. Но, конечно, интерпретация этих законов не может быть одной и той же в теории Эйнштейна и в классической физике.

Рассмотрим закон, выражаемый формулой: $M = \frac{E}{C^2}$, т.-е. масса равняется энергии, разделенной на квадрат скорости света.

Прежде всего классическая физика никоим образом не может отождествить энергию с инертной массой, как это иногда делают релятивисты, принимая для этой цели величину C за единицу. Для классической физики всякая энергия определяется не только по ее общему количеству, но и по составу; последний характеризуется факторами экстенсивности и интенсивности. Например, для тепловой энергии фактором экстенсивности является теплоемкость нагретого тела, а фактором интенсивности—температура. Для энергии движения фактором экстенсивности или же коэффициентом емкости является инертная масса движущегося тела, а интенсивность зависит от квадрата скорости движения. Общее количество энергии равно произведению факторов экстенсивности и интенсивности друг на друга. Два равных количества энергии какого-либо рода, имеющие различный состав, например, два равных количества тепла, находящихся при разных температурах, имеют различную ценность и могут производить различный физический эффект. Инертная масса, как мы указали, является коэффициентом емкости по отношению к энергии движения. При столкновении движущихся тел инертная масса регулирует распределение энергии между ними, а также регулирует превращение энергии движения в другие формы энергии. Инертная масса лучистой энергии определяет то давление, которое данное количество лучистой энергии производит на всякое непрозрачное тело, встречающееся на ее пути.

Таким образом, очевидно, что энергия не может быть отождествлена с своим фактором экстенсивности.

Далее, классическая физика может применять формулу $M = \frac{E}{C^2}$ непосредственно только к энергии электромагнитного поля. Только частное от деления электромагнитной энергии на квадрат скорости света равняется инертной массе. Поскольку указанное уравнение применяется ко всякой энергии, постольку всякая энергия рассматривается не как самостоятельная категория, а как суммарная форма проявления электромагнитной энергии. Рассматривая материю, как состоящую из электрических зарядов, вместе с тем принимают, что в основе всяких форм энергии—кинетической, химической, тепловой и проч.—лежит единая электромагнитная энергия.

Релятивисты считают возможным непосредственно применять указанную формулу ко всякому виду энергии. Например, с их точки зрения кинетическая энергия, как таковая, обладает собственной массой. Но, ведь, инертная масса—это не что иное, как коэффициент емкости энергии движения; при этом получается, что энергия движения обладает своей собственной емкостью, энергия движения сама может быть двинута и т. под.,—т.-е. утверждения, не имеющие какого-либо осязательного смысла.

Всякое тело состоит из атомов, которые в свою очередь состоят из электронов, обращающихся вокруг ядра. Если вся эта система

обращающихся электронов получит общую скорость по какому-либо направлению, то результатом является добавочное поле, добавочное количество электромагнитной энергии, а следовательно, и соответственное увеличение инертной массы. Таким образом формула связи между энергией и массой применяется к кинетической энергии только под тем условием, что в основе кинетической энергии лежит электромагнитная энергия. То же самое будет справедливо и по отношению ко всякой другой форме энергии.

Если допустить, что существует единая электромагнитная энергия, тогда становится логичным и обратное заключение: всякая инертная масса может рассматриваться, как признак существования огромного запаса скрытой энергии.

Наконец, классическая физика отличает движение и то, что движется, энергию и тот субстрат, который обладает энергией; классическая физика естественно соединяет понятие коэффициента емкости энергии с субстратом, обладающим энергией. С этой точки зрения субстратом электромагнитной энергии может быть только мировой эфир, а инертная масса электромагнитной энергии есть не что иное, как масса эфира, обладающего этой энергией.

Релятивисты рисуют следующую картину: электроны, как стремятся они доказать, не имеют протяжения в пространстве; это простые точки трехмерного или же линии четырехмерного мира. Однако электроны являются, согласно их воззрению, единственной субстанцией; все остальное рассматривается, как пустота. Математические точки—электроны создают вокруг себя электромагнитные поля в пустоте; эти поля можно рассматривать также и как энергию, и как инертную массу, и как весомую массу. Все свойства материи создаются взаимоотношением математических точек!

Такая картина представляется чудовищной с точки зрения реального изучения природы. Рассматривать точки—электроны, как независимые переменные, функцией которых являются поля в пустоте,—удобный математический прием для разрешения некоторых задач; но видеть в нем нечто большее—выражение реальных зависимостей в природе—релятивисты не имеют ни малейших оснований. Реальная зависимость явлений в природе имеет иной характер, нежели связь некоторой буквы с некоторой цифрой на бумаге. Электроны не могут „создавать" силовых полей или возбуждать их в том смысле, в каком причина производит свои следствия. Реальная причинная зависимость здесь должна быть обращена. Электроны являются простыми узловыми пунктами электромагнитных полей, узловыми пунктами в эфире. Чем меньше диаметр этих узлов, тем больше масса, так как тем большее количество эфира находится в состоянии электрического напряжения.

Классическая физика проделала большую эволюцию; она ассимилировала много новых методов, отказалась от многих существенных воззрений, но основные вехи, намеченные Ньютоном, до сих пор еще указывают путь. Так Ньютон определяет массу, как количество материи.

Таким образом Ньютон выдвигает понятие количества материи или матерьяльного субстрата, носителя всех свойств тела. С этим субстратом связан, согласно Ньютону, универсальный коэффициент—масса, характеризующий самые различные свойства тела. В самом деле, масса тела не есть коэффициент, характеризующий только инерцию тела; количества тепловой, химической и проч. энергий также пропорциональны прежде всего массе тела. Масса тела войдет в качестве коэффициента во всякое выражение, количественно характеризующее тело.

Когда открыли колоссальные запасы внутриатомной энергии в телах, то оказалось, что и эти запасы внутриатомной энергии также пропорциональны массе тела! Таким образом, Ньютоново понятие о массе, как о количестве матерьяльного субстрата, оказалось чрезвычайно плодотворным.

Инерция и тяжесть.

Релятивисты обычно начинают критику классической механики с закона инерции Ньютона; но критикуемый ими закон инерции они понимают неправильно; для устранения таких неправильных толкований необходимо сделать несколько разъясняющих замечаний.

Ньютон говорит, что всякое тело, не подверженное действию сил, находится в покое или же движется прямолинейно и равномерно. Релятивисты указывают, что здесь остается неопределенным, по отношению к каким координатным осям тело движется таким образом. Они думают, что Ньютон имел в виду покой и движение по отношению к абсолютному пространству, как телу отсчета. В таком случае, с устранением абсолютного пространства терял бы всякий смысл и закон инерции. Но в действительности абсолютное пространство здесь не при чем; согласно закону Ньютона, в с я к а я м а т е р ь я л ь н а я т о ч к а, не находящаяся под действием сил, движется прямолинейно и равномерно по отношению ко в с я к о й д р у г о й м а т е р ь я л ь н о й т о ч к е, также не находящейся под действием сил. Но где же найти подобные матерьяльные точки, не находящиеся под действием сил?

В опыте мы находим только тела, находящиеся в той или иной мере под действием сил; тел же, совершенно свободных от влияния сил, мы нигде не находим. Но отсюда следует только, что закон инерции имеет гипотетический характер, но ни в каком случае не следует, что он не верен или лишен смысла.

Закон инерции, как и всякий общий принцип естествознания, именно в силу своей общности не может быть проверен непосредственно, но только косвенным путем через свои следствия. Катание шаров по гладкой горизонтальной поверхности и т. под. является только частным приближенным случаем, иллюстрирующим закон. Действительной проверкой является построение на этом законе ди-

намики, которая охватывает факты и позволяет делать правильные предсказания. Только такая проверка возможна для наиболее общих постулатов естествознания.

Закон Ньютона указывает нам, как движутся тела, которые не находятся во взаимодействии друг с другом. Из Ньютонова закона следует, что если бы все силовые поля исчезли, то все тела по отношению друг к другу двигались бы таким образом: в те промежутки времени, в какие одно тело проходит равные части прямого пути, всякое другое тело также проходит равные части прямой. Описанная картина является тем фоном, на котором выступает действие всех остальных законов динамики.

Действие сил должно объяснять не все движение тела целиком, а только уклонение движения тела от вышеуказанной картины.

В современной физике закон Ньютона дополнен электрической теорией инерции. Согласно этой теории, инертная масса тела имеет электромагнитную природу, и понятие инерции сближается с понятием электромагнитной самоиндукции. Необходимо только дать себе отчет в том, что электрическая теория инерции объясняет не равномерное движение по прямой в отсутствии сопротивлений, а коэффициент инерции—инертную массу тела, которая проявляет себя в тот момент, когда тело встречает препятствие своему равномерно-прямолинейному движению. Сущность теории состоит в том, что всякое препятствие, встречаемое телом, возбуждает в последнем электромагнитные силы, направленные к преодолению препятствия, к сопротивлению ему. Так обстоит дело в классической физике с законом инерции.

Мах, критикуя механику Ньютона, точно также думал, что движение, согласно закону инерции, Ньютон относил к абсолютному пространству. Желая исправить этот пункт, Мах, в сущности, дал абсолютному пространству только иное обозначение, назвав его небом неподвижных звезд. По мнению Маха, тело, не находящееся в поле сил, движется прямолинейно и равномерно по отношению к небу неподвижных звезд.

Эйнштейн развил далее основную мысль Маха. В этом пункте мы встречаемся в теории Эйнштейна с понятием взаимодействия, но это не есть взаимность ускорений согласно принципу $\Sigma mv = 0$, но взаимность коэффициентов инерции. Согласно Эйнштейну, все мировые тела находятся во взаимодействии, при чем это взаимодействие определяет инертную массу каждого из них. Всякая масса количественно определена взаимодействием всех масс вселенной! Вот пример утверждения, абсолютная невозможность проверки которого—в равной мере прямой или косвенной—лежит вне всякого спора. Однако подобные утверждения играют немалую роль в физике релятивистов.

Кроме того, как это ни странно, такая теория в скрытом виде вводит абсолютное пространство. В самом деле, если инертная масса тела определяется совокупностью космических масс, то ускорение

тела по отношению к небу неподвижных звезд должно обладать совершенно особенным, исключительным характером, тогда как в классической физике ускорение по отношению к звездам имеет точно такой же характер, как и ускорение по отношению ко всяким другим привилегированным осям. Таким образом релятивистскую критику Ньютонова закона нельзя признать сколько-нибудь основательной.

Что касается выводов теории тяготения Эйнштейна, то их мы должны признать крупным шагом вперед, единственным шагом вперед после Ньютона. Огромное значение имеет тот факт, доказанный Эйнштейном, что тяготение распространяется со скоростью света. Существенное значение имеет также поправка на зависимость массы от скорости. В эвристическом отношении весьма ценен принцип эквивалентности между тяжестью и ускорением. Если мы знаем, как протекает явление в отсутствии поля тяготения, то, согласно принципу эквивалентности, достаточно отнести явление к ускоренным осям координат, чтобы вывести теоретическим путем, как влияет поле тяготения на рассматриваемый процесс. Ускорение по отношению к выбранным нами осям точно также изменяет процесс, как изменяло бы его поле тяготения при отсутствии ускорения. Такая аналогия дает нам удобный прием для открытия новых, еще неизвестных свойств полей тяготения. Именно таким путем было открыто и предсказано Эйнштейном свойство полей тяготения отклонять лучи света.

Однако в истории науки мы знаем не мало примеров, когда правильные, сохранившиеся в науке результаты получались из ложных предпосылок. Точно также и здесь: принимая аналогию между тяжестью и ускорением, классическая физика, тем не менее, решительно отвергает полную их эквивалентность.

Так как мы не имеем специального чувства для восприятия силы тяжести и узнаем о наличности гравитационного поля через посредство давления, то естественно, что давление может в иных случаях как бы симулировать поле тяжести. Поэтому для ускоренных осей координат существует некоторое фиктивное поле тяготения. Эйнштейн приравнивает друг к другу как поля тяготения, образованные массами, так и фиктивные поля, существующие по отношению к ускоренным осям координат. Те и другие поля он считает в равной мере фиктивными или в равной мере реальными. Действительно, между полями тяжести того и другого рода существует глубокая аналогия, на которой и основывается теория Эйнштейна. Но удалось ли Эйнштейну совершенно стереть грань между полями того и другого рода, между реальностью и фикцией? Успех в этом пункте был бы полным торжеством релятивизма; но в действительности аналогия здесь не является полной.

Реальные гравитационные поля, образованные массами, относятся к привилегированным осям координат; все движения под действием реальных полей удовлетворяют принципу взаимности и условию $\Sigma mv = 0$. Живая сила всякого движения является реальной кинети-

ческой энергией, находящейся в связи со всеми другими силами природы. Между тем, очевидно, что фиктивные поля, полученные в галилеевой системе посредством преобразования координат, не удовлетворяют ни принципу взаимности, ни формальному кинетическому условию. Связанный с такими координатными осями счет фиктивной не существующей в природе кинетической энергии указывает на фиктивность движений, а последнее обстоятельство указывает на фиктивность гравитационных полей. Таким образом реальные и фиктивные гравитационные поля отличаются друг от друга как нельзя более резко.

Далее, с точки зрения классической физики, наблюдатель не может рассматривать массу тела или как инертную, или как тяжелую, но должен рассматривать ее и как инертную, и как тяжелую. Дело в том, что понятие инертной массы носит более общий характер, нежели понятие тяжелой массы. Если бы вдруг сила тяжести исчезла, понятие об инертной массе не изменилось бы ни на йоту. Инертная масса, как мы указывали, является фактором, регулирующим превращение энергии движения в другие формы энергии, и обратно. Вполне логично обобщить это на случай движения в поле тяжести и на-ряду с тяжелой массой рассматривать также инертную.

Но почему в таком случае инертная и тяжелая массы равны? Эйнштейн говорит, что классическая физика только констатирует указанное равенство, но не дает ему объяснения. Это не верно. Равенство инертной и тяжелой массы вытекает уже из первого определения Ньютона („масса есть количество материи" и т. д.). Материя инертна; та же самая материя тяжела. Инертно и тяжело одно и то же количество материи. Отсюда равенство инертной и тяжелой массы. Если ранее об этом не говорили, то только потому, что считали это само собою разумеющимся. Удивляться равенству инертной и тяжелой массы—это все равно, что наливать в тот же самый сосуд сначала воды, а затем вина, и удивляться равенству объемов.

Наконец, хотя Эйнштейн и ставит знак равенства между инерцией и тяжестью, они остаются глубоко различными и в его теории. По теории Эйнштейна различие между инерцией и тяжестью сохраняется в виде различия движений в плоском и в искривленном пространстве. Но там, где релятивизм предполагает искривленное пространство, классическая физика находит, в полном согласии с опытом, взаимность ускорений.

Принимая многие поправки, которые Эйнштейн вносит в теорию тяготения, классическая физика считает, однако, что следующие основные принципы остаются в силе:

1) Инерция не зависит от взаимодействия тел.

2) Движение в поле тяжести подчиняется принципу взаимности.

Теория Эйнштейна и опыт.

Когда говорят об опытной проверке теории Эйнштейна, то имеют в виду преимущественно следующие факты: опыты с быстро летящими электронами, доказавшие, что масса растет с увеличением скорости; отклонение лучей звезд в гравитационном поле солнца, измеренное во время затмения; движение перигелия Меркурия, удовлетворительно объясненное Эйнштейном. Однако при этом не обращают внимания на следующее обстоятельство: во всех указанных случаях для проверки теории Эйнштейна были приняты ньютонианские привилегированные оси координат. Между тем, это обстоятельство очень важно, так как релятивизм не может быть доказан путем отнесения явлений к ньютонианским осям. Указанные явления не могут разрешить спор между классической физикой и теорией Эйнштейна, так как во всех трех случаях, выбирая тела отсчета, Эйнштейн сам переходит к точке зрения классической физики.

Поэтому мы назвали бы указанные явления иначе: не проверкой теории Эйнштейна, но ассимиляцией некоторых выводов теории Эйнштейна классической физикой. Эйнштейн открыл интересный эвристический метод, позволяющий находить новые зависимости в природе. На этом основано значение теории Эйнштейна. Классическая физика принимает многие из его выводов и ассимилирует их; чтобы охватить новые факты, указанные Эйнштейном, классическая физика должна только несколько дополнить и видоизменить свои посылки. Так, зависимость массы от скорости вытекает из электронной теории, согласной с классической физикой; отклонение лучей в поле тяжести может быть выведено из классической электромагнитной теории; движение Меркурия также приведено в согласие с посылками классической физики.

Теория Эйнштейна будет занимать блестящее положение в физике, покуда ее метод будет приводить к новым открытиям, покуда аналогии, открытые Эйнштейном, не будут исчерпаны; но наука берет из теории Эйнштейна только то, что может быть ассимилировано классической физикой. Поясним это на примере.

Эйнштейн открыл следующее поразительное явление. Если принять землю за тело отсчета, то все звезды делают один оборот вокруг земли в течение суток. Световые лучи кроме поступательного движения к земле участвуют в суточном вращательном движении. В результате световые лучи звезд движутся к земле по спиралям с десятками и сотнями тысяч оборотов. Такое поразительное отклонение лучей от прямолинейного направления зависит, без сомнения, от вращающихся полей тяготения, существующих для наблюдателя, принимающего землю за тело отсчета. Это явление должно было бы считаться, собственно, самым поразительным доказательством дей-

ствия тяготения на свет. После такого замечательного явления стоило ли говорить о каких-то ничтожных двух секундах дуги, на которые поле тяготения солнца отклоняет лучи звезд, проходящие вблизи диска? Однако всеобщее внимание возбудило второе явление, тогда как первое прошло незамеченным. В чем же дело? Все дело в том, что первое отклонение—кажущееся, под влиянием фиктивного поля тяготения, а второе реальное, под влиянием реальной материи солнца, и отнесено к ньютонианским привилегированным осям.

Однако из теории Эйнштейна вытекают и другие следствия, которые в корне противоречат классической физике; но все такие следствия фатально сопряжены с полнейшей невозможностью проверки.

Рассмотрим, что должно быть установлено для того, чтобы теория Эйнштейна на опытном основании могла заменить собою классическую физику.

Должно быть доказано центробежное поле внутри вращающегося полого тела. Должно быть доказано также, что при сближении каких-либо тел их инертные массы увеличиваются. Указанные следствия имеют огромное значение в теории Эйнштейна: из них вытекает влияние космических масс на все физические процессы. Влияние космических масс на тела являются одним из важнейших факторов в теории Эйнштейна; помимо влияния космических масс на окружающие нас процессы многие явления вообще не имели бы никакого объяснения в теории Эйнштейна. Влияние космических масс должно покрывать собою все невязки в умозрениях релятивистов. Но совершенно недостаточно вывести указанные явления из теории, надо еще обнаружить их на опыте.

Нужно, чтобы кто-нибудь действительно отправился в снаряде к звездам и вернулся через много лет, постарев всего на несколько дней. Этим было бы доказано, что вариантность промежутков времени не условный математический прием, но реальный закон.

Должна быть доказана конечность вселенной; тогда кривизна пространства получила бы реальное значение.

Но все такие следствия, как было указано, находятся по ту сторону возможности проверки.

Из теории Эйнштейна может быть выведено чрезвычайно много следствий; это богатство следствиями и является, в сущности, главным аргументом в пользу теории Эйнштейна в глазах математиков.

Но за невозможностью опытной проверки, Эйнштейн проверяет свои следствия довольно своеобразным способом: он их проверяет механикой Ньютона! Если выводы теории в первом приближении совпадают с выводами ньютонианской механики, тогда теория признается правильной. Но понятно, что такая проверка опять-таки не может разрешить спор между классической физикой и релятивизмом.

Итак, с экспериментальной проверкой тех следствий теории Эйнштейна, которые действительно противоречат классической фи-

зике, дело обстоит безнадежно. Теория Эйнштейна может быть действительно доказана только единственным путем; для этого необходимо обнаружить полную несостоятельность классической физики, полную невозможность для нее охватить и объяснить опытные факты. Но ничего подобного мы в действительности не видим. Перед классической физикой стоит, правда, не мало трудностей. Но всякий беспристрастный ученый скажет, что трудности, которые должна преодолевать теория Эйнштейна, значительно больше, нежели трудности, стоящие перед классической физикой.

Космическая проблема.

Что закон тяготения Ньютона не является абсолютно точным выражением существующих в природе соотношений, предполагали очень многие физики, начиная с самого Ньютона, который отнюдь не считал тяжесть „силой прирожденной материи". Классическая физика не мирилась с мгновенным распространением тяготения, а также с действием его вдаль без всякого посредствующего агента. Кроме того, если принять, что средняя плотность материи во вселенной не равна нулю, то формула Ньютона приводила к абсурдному выводу: напряжение силы тяжести во всякой точке вселенной должно быть бесконечно велико.

Та же самая трудность встает и перед теорией Эйнштейна. Классическая физика делает наиболее естественное допущение: она предполагает, что если тяготение передается некоторой средой, то оно также и поглощается этой средой в некоторой степени. В результате получается, что действие силы тяжести ослабевает пропорционально не второй степени расстояния, а несколько быстрее. Как бы ни была ничтожна эта разница, как бы ни был ничтожен коэффициент поглощения тяготения средой, это, тем не менее, вполне разрешает указанную трудность. Для теории Эйнштейна такой путь объяснения закрыт. В самом деле, средой может поглощаться только реальная физическая сила. Между тем силу тяжести Эйнштейн приравнивает к фиктивным инерциальным силам; тяжесть в его теории носит формальный, скорее геометрический, нежели физический характер. Было бы абсурдом допустить, что подобная сила может поглощаться средой. Поэтому для Эйнштейна остается одно: признать конечность материи в пространстве, а также конечность самого пространства.

Эйнштейн принимает риманово конечное, но безграничное, замкнутое в себя пространство положительной кривизны, точнее— трехмерное эллиптическое пространство. Но ось времени он оставляет открытой. Поэтому четырехмерный мир Эйнштейна имеет „цилиндрический" характер, где бесконечно-длинная ось времени служит образующей цилиндра.

Но такой взгляд опять наталкивается на ту же самую трудность.

В конечном замкнутом искривленном пространстве потенциал тяготения конечного количества материи самой на себя все-таки бесконечно велик, если материя существует бесконечное время! В самом деле, импульсы тяготения непрерывно „излучаются“ телами и распространяются в пространстве со скоростью света. В конечном замкнутом пространстве импульсы тяготения неизбежно снова и снова возвращаются обратно и действуют точно так же, как если бы они исходили из других областей пространства. В итоге действия тяжести все накопляются; если же материя существует бесконечное время, эффект должен быть точно таким же, как если бы вместо конечного пространства и конечной материи существовало бесконечное количество материи в бесконечном пространстве.

Единственный выход из этого затруднения—принять конечность также и оси времени. Мир существует конечное время!—только при таком условии релятивизм избегает противоречий. По существу же такое утверждение совершенно вне-научно и более походит на миф, нежели на серьезный научный вывод.

Общие выводы.

Итак, мы видим, что вовсе не относительность движения создает пропасть между классической физикой и теорией Эйнштейна, но общий философский релятивизм последней: относительность всякой реальности.

Для классической физики движения и поля сил точно также не зависят от абсолютного пространства, но между реальными полями тяготения, образованными материей, и фиктивными полями существует резкая, вполне очевидная разница. Принцип взаимности, содержащийся в законах Ньютона, определяет истинные движения тел и исключает всякий произвол в выборе координат.

Основная черта релятивизма заключается в том, что математические приемы, удобные для разрешения тех или иных задач из области теоретической физики, превращаются им в абсолютные законы природы—своего рода математический фетишизм.

Между тем, физики - натуралисты нигде не находят в опыте безусловных связей между явлениями, но всюду предполагают промежуточный обусловливающий механизм, строение которого еще должно быть раскрыто. Именно такой взгляд на природу, именно такие поиски промежуточных агентов во всяком явлении заставляют углублять экспериментальное исследование и приводят к успехам. В известных случаях математическая теория может обходить вопрос о скрытом механизме явления и о посредствующем агенте; такие математические приемы вполне законны; надо только дать себе отчет, что таким образом вопрос о механизме явления временно обходится; отрицать же скрытый механизм явления релятивисты не имеют ни малейшего права. Между тем, только на таком отрицании посред-

ствующих агентов основано введение искривленного пространства и четвертого измерения. Таким приемом все физические зависимости превращаются в формально-геометрические связи, не могущие быть обусловленными никаким промежуточным агентом.

Кривизна пространства ничем не доказана экспериментально и является предметом веры или даже просто делом вкуса. Тем более, что отношения неэвклидовых геометрий могут иметь место также и в эвклидовом пространстве. Так, поверхность псевдосферы вращения (особого рода седлообразной поверхности), находящейся в эвклидовом пространстве, представляет собой модель геометрии Лобачевского. Если условиться, что планеты движутся не под влиянием центральных сил, а описывают линии наименьшей кривизны, возможной на данном участке пространства — мы получаем модель геометрии Римана. Вполне очевидно при этом, что безусловные геометрические зависимости релятивистов произошли из условных математических соглашений путем, если можно так выразиться, фетишизации последних. Но все это нисколько не может заменить необходимого для физической теории принципа взаимности ускорений.

Релятивизм склонен также физическую причинность заменять математическим понятием функциональной зависимости. С формальной точки зрения можно, например, рассматривать движение светил, как функцию хода карманных часов, но это нисколько не решает вопроса о реальных причинных связях между явлениями; классическая физика не может становиться на такой путь и отказаться от исследования причинных связей.

Дальнейшие обобщения теории Эйнштейна, данные Вейлем и др., можно рассматривать уже, как вырождение релятивизма. В самом деле, все слабые стороны теории Эйнштейна здесь усилены, сильные же стороны отсутствуют. Здесь релятивисты хотят решительно все подчинить отвлеченному математическому формализму, выводить все без исключения явления природы из кривизны пространства. Вместе с тем никаких практически интересных новых выводов, подобных Эйнштейнову выводу искривления лучей света в поле тяжести, обобщенная теория не намечает. Совершенно непонятно также, на каком основании релятивисты отождествляют мир отвлеченного математического умозрения и реальную природу. Ни откуда не следует, что их симметрично построенные теории относятся именно к этому знакомому нам эмпирическому миру.

Физика не может итти по пути, указанному Эйнштейном и Вейлем. Физика в целом всегда будет стремиться сохранять равновесие и гармоническое единство между экспериментом и теорией. Такое единство, сохраняемое несмотря на смену тех или иных отдельных теорий, и называется классической физикой.

И. Орлов.

Теория относительности А. Эйнштейна и диалектический материализм [1]).

„Так не делайте же по отношению к идее стоимости того же самого, за что мне впоследствии пришлось просить прощения у утконоса“.

(Из письма Ф. Энгельса к К. Шмидту от 12 марта 1895 г.).

„Материализм вообще является логическим следствием учения Декарта“.

(Г. В. Плеханов, К. Маркс).

Введение.

В 1843 году Фридрих Энгельс видел в Манчестере яйца утконоса. „В своей высокомерной ограниченности,—говорит Энгельс,—я издевался над глупостью, что будто млекопитающее может класть яйца“. Спустя много лет этот великий мыслитель принужден был просить прощения у утконоса, так как наука доказала, что однопроходные (Monoterma) являются целым подклассом кладущих яйца млекопитающих. Какое имеет отношение утконос Ф. Энгельса к теории относительности А. Эйнштейна и диалектическому материализму? А вот какое. Правильное решение вопроса о значении теории относительности с точки зрения диалектического материализма возможно только тогда, когда будет как следует понято, что такое картезианизм, точнее, когда будет понято, что диалектический „материализм вообще является логическим следствием учения Декарта“ (Г. В. Плеханов). Но этого как раз многие не понимают и понять не желают. Поэтому, прежде чем приступить к изложению вопроса о теории относительности с точки зрения картезианских принципов, полагаю необходимым в кратких словах обрисовать отношение учения Декарта к диалектическому материализму. Пример с утконосом Энгельс приводит для того, чтобы пояснить К. Шмидту соотношение бытия и мышления. В 1843 году Энгельс еще находился во власти метафизического способа рассмотрения действительности. У него была „идея“ млекопитающего. Эта идея представлялась Энгельсу 1843 года, как нечто абсолютно неизменное, законченное. Встретив противоречивый факт, Энгельс, вместо того, чтобы понять, что идея—это по существу текучее, изменчивое приспособление к действительности, решил отбросить утконоса с яйцами, как глупость. К. Шмидт хотел повторить эту ошибку в отношении к идее стоимости. „Вы объявляете,—пишет Энгельс,—все результаты мышления фикциями, потому что действительность соответствует им только в результате большого окольного пути, да и то лишь **ассимптоти-**

---

[1]) Статья дискуссионная.

чески приближаясь". Энгельс спрашивает: или господствующие в естественных науках идеи тоже фикции оттого, что они далеко не **всегда** совпадают с действительностью? С того момента, когда мы приняли эволюционную теорию, все наши идеи об органической жизни только приблизительно соответствуют действительности. Иначе не было бы развития". Перефразируя эти слова Энгельса, необходимо сказать: с того момента, когда мы принимаем учение Декарта (логически развитое), все наши идеи о действительности только приблизительно соответствуют этой действительности. Иначе не было бы развития. В самом деле, один из основных постулатов картезианской теории познания это положение: „Заблуждение только ступень истины"[1]) или, выражаясь словами Гегеля: истина всегда конкретна. Действительно, подобно тому, как тьма, холод—это не особые сущности, а только степени света и тепла, точно так же заблуждение—это только известная степень истины. Парадоксальное для ушей метафизиков и теологов положение Декарта вызвало ожесточенную критику с их стороны. Но Декарт твердо стоял на этой точки зрения, за что был квалифицирован Энгельсом, как блестящий диалектик. И этот основной принцип диалектической теории познания господствует в правильно понятой физике Декарта, которая и есть собственно говоря вся философия Декарта; так понимали эту философию друзья и враги философа (А. Рей). Лейбниц в сочинении „Tentamen motuum coelestium", в котором он делает попытку согласовать вихревую теорию Декарта с законами Кеплера, выражает свое удивление тому, что сам Декарт никогда не делал подобной попытки. Объяснить это недостатком математического гения у изобретателя аналитической геометрии невозможно, но объяснение очень просто: всякий, подробно знакомый с сочинениями Декарта, знает, что философ придавал главное значение разработке научной методологии. Декарт работал во всех решительно областях знания—и везде **хотел только** указать путь. Он говорил: „я считаю мой „Мир" за **такой плод**, который надлежит оставить на дереве зреть, и который **никогда** не будет поздно сорвать с дерева"[2]). Но подобно тому, как **К. Маркс** принужден был сказать: „Я знаю только одно, что я не марксист",—Декарт, если бы мог увидеть „картезианцев", принужден был бы сказать: я знаю только одно, что я не картезианец. Картезианцы, действительно, поняли физику Декарта в буквальном смысле. Они усвоили слова учителя, но не поняли совершенно его метода. И только длинный путь развития привел, наконец, картезианизм к его логическому завершению—к диалектическому материализму. Об этом именно говорит В. И. Ленин [3]): „На международном конгрессе физиков в Париже в 1900 году А. Корню сказал: „чем больше мы познаем явления природы, тем больше развивается и точнее становится смелое картезианское воззрение на механизм мира: в физическом мире нет ничего, кроме материи и движения. Проблема единства физических сил... снова выдвигается на первый план после великих открытий, ознаменовавших конец

---

[1]) См. Regles pour la direction de l'esprit, соч. Декарта, изд. Кузена, т. 10, а также другие сочинения.

[2]) Oeuvres, т. 8, стр. 127. Речь идет о знаменитом, первом предназначенном к выпуску, сочинении Декарта „Мир" (Cosmos), которое Декарт скрыл, испугавшись судьбы Галилея. Это сочинение дошло до нас в отрывках (Du Monde). Теория познания Декарта являлась заключительным звеном его „Космоса". Изучение Декарта необходимо начинать с этого сочинения, но так как это не делается, то повсюду царит самые превратные представления о сущности картезианской философии.

[2]) Эмпириокритицизм и материализм, стр. 302.

XIX века. Главное внимание наших современных вождей науки Фарадея, Максвелла, Гертца (если говорить только об умерших знаменитых физиках), устремлено на то, чтобы точнее определить природу и отгадать свойства невесомой материи (matière subtile—prima materia, т.-е. картезианского пространства. *З. Ц.*), носителя мировой энергии... Возвращение к картезианским идеям очевидно" (Rapports présentés au Congrès International de Physique, P. 1900, I, vol. 4-me, p. 7). Люсьен Пуанкарэ в своей книге о „Современной физике" справедливо отмечает, что эта картезианская идея была воспринята и развита энциклопедистами XVIII века (L. Poincaré, La physique moderne, P. 1906, p. 14), но ни этот физик, ни А. Корню не знают о том, как диалектические материалисты Маркс и Энгельс очистили эту основную посылку материализма от односторонностей механического материализма". Читатель видит, что В. И. Ленин говорит об односторонностях механического, а не картезианского материализма. У столь строгого и точного мыслителя, как В. И. Ленин—это не случайность. Ибо В. И. Ленин, в противоположность многим нашим материалистам, не мог допустить, чтобы Фридрих Энгельс и Г. В. Плеханов в своих отзывах о Декарте бросали слова на ветер и, без сомнения, сам В. И. Ленин, прежде чем говорить о картезианизме, ознакомился с подлинным Декартом. В самом деле, каково отличие механического материализма XVIII века от картезианского? То же самое, какое существует между ним и диалектическим материализмом. Ибо картезианизм, логически развитый, и есть диалектический материализм, в чем читатель убедится из дальнейшего.

Обращаю особенное внимание на то, что В. И. Ленин не говорит о том, что „механический материализм" не обязателен для диалектического, а указывает только на его односторонность. В чем эта односторонность? На это указывает слово „механический", которое необходимо понимать не в абсолютном смысле (механика—наука о движении материи в пространстве и времени), а в чисто условном, т.-е. так, как этот термин понимался в XVIII веке. В эпоху Возрождения и в начале нового времени появилась большая мода на различного рода „живые механизмы". Изобретателей этих механизмов называли „mechanicci", „mechaniciens", откуда название механиков укрепилось за теми мыслителями, которые стремились изобразить мир, как некую готовую машину. В этом именно заключался основной грех, односторонность механического материализма XVIII века. Картезианец Ламеттри не только полагал, что человек—это Машина, но и что вся Вселенная—тоже Машина. Но дело заключается совсем не в этом предположении. Ибо человек и мир—это действительно машины, ибо состоят, как и всякая машина, из движущейся материи. А заключается оно в утконосе Энгельса: материалисты XVIII века забыли о методе Декарта и полагали, что человеческое мышление сразу, в один так сказать прием, может овладеть устройством этой машины мира. Иначе говоря, эти материалисты не понимали соотношения мышления и бытия: это первая односторонность. Вторая заключается в том, что эти материалисты не понимали идеи развития не только мышления, но и конкретного и что машина мира—это готовая машина, вроде часов, а не развивающаяся, что теорию развития великолепно понимал Декарт—это видно из его „Космоса", в котором Декарт рисует постепенное возникновение солнечной системы из первобытной, хаотической материи.

Третья односторонность заключается в том, что материалисты XVIII века неясно представляли себе истинное соотношение физиче-

ского и психического. Сам Декарт, страха ради иезуитов, запутал эту проблему, но ее гениально решил Спиноза. Эта односторонность неудивительна, если вспомнить, что в XIX веке Фохт, Бюхнер и Молешотт говорили о том, что мысль это нечто вроде желчи, выделяемой мозгом. А много ли современных материалистов в точности знают „теорему Спинозы“? Теорему Пифагора знает всякий школьник, а вот попробуйте найти в „учебнике“ психологии теорему Спинозы, которая по своему научному значению даже выше теоремы Пифагора. И вот материалисты XVIII века ограничивались, в общем, указанием на то, что материя „способна мыслить и ощущать“, не выясняя Спинозовского решения проблемы[1]).

Диалектический материализм, исправив эти односторонности, совпал с первоначальным и подлинным картезианизмом Декарта. Картезианизм, как и диалектический материализм—это прежде всего метод. Поэтому я прошу читателя понимать все нижеизложенное методологически. Конечно, много ступеней истины нами пройдено, но ни одна истина не является истиной в конечной инстанции. Самое главное—это умение отделить то, что уже завоевано, от того, что предстоит еще завоевать в движении познания. Например, истина древних физиков и Декарта о том, что пространство[2]) материально, а всякая материя протяженна—я считаю завоеванной истиной, которую вычеркнуть невозможно. Но та, например, вихревая теория движения, которая дана в трудах Декарта, Гельмгольца, Максвелла, обоих Томсонов—это только первый шаг по направлению к реальности. Это пока только аналогия, но, как всякая аналогия, она имеет глубочайшее основание в природе вещей. Здесь дело обстоит точно так же, как в аналогии между крылом птицы и рукой человека. Раньше ограничивались указанием на эту аналогию. Но когда Дарвин разработал свою гениальную теорию происхождения видов, все поняли основание этой аналогии[3]). Современная вихревая теория не есть точное соответствие световых и электромагнитных движений, которые бесконечно сложнее „вихревого гидродинамического механизма“, но это тот путь, который ведет к истине природы. И основания этого в высшей степени прозрачны: если все есть материя и движение в картезианском смысле, то наличие вихревого движения в первой материи Декарта (пространстве, как физическом теле) непосредственно вытекает из этого понимания материи и движения. И если „истина наших мыслей проверяется на практике“, то самая точная практика—практика физики—блестяще подтвердила истину картезианского воззрения на пространство, материю и движение. Вот и все, что имеется вполне „завоеванного“ в вихревой теории материи. Эти же замечания относятся к дилемме опыта Майкельсона:

---

1) Впрочем, Ламоттри, кажется, точно понимал решение вопроса, говоря, что „движение—такое же чудо природы, как и сознание“.

2) Здесь имеется в виду не наше геометрическое и физиологическое пространство, т.-е. наше „представление“ о конкретном пространстве, которое (представление) исторически развивается, а пространство в самом общем смысле, т.-е. пространство, как „философская категория“, для обозначения объективной и абсолютной реальности. Мыслить о пространстве можно все, что угодно, но реальное пространство только одно—как идеальная цель нашего познания.

3) Между прочим, под редакцией т. Тимирязева вышла книга „Философия науки“. В ней имеется перевод статьи Бьеркнеса, в которой этот ученый рассуждает о значении аналогий в науке. С философской точки зрения эти рассуждения не особенно глубоки, и мне кажется, что диалектическому материалисту А. К. Тимирязеву следовало бы кое-что добавить от себя. Надеюсь, что он это сделает во 2-ом издании книги, ибо нельзя забывать, что буржуазная наука выбивается из сил, чтобы доказать, что „аналогии—это только аналогии“ и что они не имеют никакого основания в единстве материального мира.

постановка дилеммы оправдывается совокупностью современных знаний, но не является, конечно, абсолютной.

Наконец, если некоторые считают, что теория относительности — это заблуждение, то прямая обязанность диалектического материалиста выяснить, какой ступени истины соответствует это заблуждение. Тот же, кто этого не сделает, тому придется просить прощения у утконоса.

1. Полемические замечания.

Решение вопроса о соотношении теории относительности А. Эйнштейна и диалектического материализма не столь трудно, как это может показаться с первого взгляда. Правда, в этом вопросе крупнейшую роль играет математическая сторона теории относительности и строгое его решение требует детального анализа этой стороны; но все же—главное в теории это несколько основных понятий, вполне доступных чисто философскому обсуждению. Но для плодотворности такого обсуждения необходимо избрать иной путь, нежели тот, по которому обычно следуют. Необходима **историческая** ориентировка вопроса. Такую ориентировку я даю в предлагаемой вниманию читателя статье. Для решения проблемы попытаюсь: 1) четко формулировать основные понятия диалектического материализма, ориентируясь на физику [1]; 2) выявить основы специальной и общей теории относительности А. Эйнштейна; 3) сопоставить полученные ряды понятий для получения необходимых суждений. Прежде, чем приступить к теме, позволю себе, однако, несколько замечаний полемического характера. Само название „диалектический материализм" показывает, что в основе этого философского учения лежат понятия материи и движения. Одно время казалось, что эти понятия являются для материалиста вполне ясными и отчетливыми. Но некоторые заключения новейшей физики как-будто нарушили эту ясность и отчетливость. Так, т. Гольцман ставит вопрос: разрушается ли материализм сведением материи к энергии и наоборот?

И так как с точки зрения т. Гольцмана энергия—это электричество, то он поддерживает далее тезис, что, заменяя материю энергией (электричеством), мы остаемся материалистами. Он ссылается на следующее определение В. И. Ленина: „Единственным свойством материи, с признанием которого связан философский материализм, есть свойство **быть объективной реальностью**, существовать вне нашего сознания".

Таким образом, согласно т. Гольцману, энергию и электричество необходимо признать некоторой „материей", так как они объективно существуют вне нашего сознания. Возникают, однако, два существенных вопроса: 1) достаточно ли для полного определения материи „существования вне нашего сознания", как объективной реальности; 2) является ли такое существование единственным общим признаком „материи, как философской категории", и „материи, как категории физической". Для ответа на эти вопросы достаточно привести теологическое определение бога: „**бог — это объективная реальность, существующая вне нашего сознания**".

---

[1] Поэтому в дальнейшем я совершенно оставляю в стороне важнейшую особенность диалектического материализма, именно его решение вопроса о соотношении физического и психического. Я не касаюсь также деталей—напр., вопроса о переходе количества в качество и др.

Спрашивается, какая разница между этим определением бога и вышеприведенным определением материи? Никакой. На основании этого определения мы никогда не сумеем отличить материи, энергии, электричества от бога церковных теологий. И так как это определение принадлежит В. И. Ленину, который никак не мог спутать церковных богов с материей, очевидно, значит, что здесь что-то не так, что это определение о чем-то умалчивает, как о само собой разумеющемся. О чем? О том же, о чем умалчивает в приведенной формулировке определение бога. Ибо полное определение будет: „бог—это объективная реальность, существующая вне нашего сознания—вне пространства и времени".

Это и есть центральный пункт отличия материализма от идеализма и теологии. И когда В. И. Ленин пишет „вне нашего сознания", то это „вне" означает совсем не то, что оно значит в формуле теологии. „Вне" с точки зрения материализма—это в реальном пространстве и времени. Я бы мог для доказательства привести целый ряд цитат, но мне кажется, что в них нет никакой необходимости. Нельзя даже ни на секунду предположить, что упомянутый философ не знает, что основное различие между материализмом и идеализмом заключается в решении вопроса о пространстве (в первую очередь) и времени. Материализм говорит: пространство и время объективные реальности, внешний мир реален и представляет собой реальный процесс движения в пространстве и времени. Идеализм твердит: пространство и время—это формы чистого созерцания, единство (синтетическое) ощущений, просто ощущения (Max) и т. д. Следовательно, коренной, необходимый признак всякой материи—это протяженность и движение (время). Отсюда ясно, что 1) материю никак нельзя свести к энергии, если только эта энергия „объективная реальность вне материалистического сознания"; 2) что электричество также материя [1] (особого рода), если только эта реальность вне такого сознания. Ибо, если энергия протяженна, то чем же она отличается от движущейся материи? Л. Гольцман давно указал, что постольку, поскольку энергия Оствальда не находится только в его мозгу—она решительно ничем не отличается от старенькой движущейся материи. Следовательно, говорить о какой-то „энергии, призванной заменить материю, значит вводить новое слово, весьма полезное в физике, где оно обозначает или ясное понятие произведения половины массы на квадрат скорости (кинетическая энергия), или те движения материи, которые по своей сложности недоступны прямому описанию (электрическая, магнитная, тепловая и пр.). Но если философ вводит это слово в свою систему с целью обозначить какое-то новое коренное понятие, то каков смысл этого введения? Если это—философ идеалист, то ответ ясен. Ибо идеализм, отрицая реальность пространства, естественно приходит к понятию принципиально непознаваемой „вещи в себе" и эта „вещь в себе" обозначается различными терминами, вроде „сила", „энергия" и пр. Поэтому, когда Г. Коген заявляет, что заслуга современной физики в том, что, сведя материю к электричеству, она свела ее к силе, то это совершенно ясно. Но если философ-материалист, признающий реальность протяженности, говорит о замене материи энергией, то этого понять никак не возможно.

Противопоставлять же материи электричество можно только при одном условии, именно, если указать вполне четко, в каком именно

[1] Между прочим, т. Тимирязев правильно указал т. Гольцману, что электричество не энергия. Пусть т. Гольцман справится об этом в любом учебнике физики. E (энергия) = V (потенциал) e (заряд).

смысле употребляется слово материя. Если физик, чуждый философских тенденций, говорит, что „материя свелась к электричеству“, то под этим он понимает следующее: знакомая всем, обычная „весомая материя“ (воздух, вода, железо, уголь и пр.) обнаружила, что она состоит из двух основных частей: ядра, обладающего свойствами, называемыми положительно-электрическими, и электронов, свойства которых называются отрицательно-электрическими, при чем имеются основания полагать, что „инертная масса“ (т.-е. „масса обычной материи“) сводится к электромагнитной массе электронов и что, возможно, положительное ядро также комбинация таких электронов“. Но если ион и электрон—это части весомой материи, обладающей реальным протяжением, то они также представляют собой реально протяженную материю. Ведь на основании того, что атом водорода отличается в своих свойствах от атома железа, никто не говорит, что „водород—материя“, а железо что-то другое. В этом именно смысле и необходимо говорить и подчеркивать утверждение о превращении материи в электричество. Почему подчеркивать? А потому, что физики и философы идеалисты явно или скрыто подчеркивают, что превращение материи в электричество это сведение ее к „силе“ „энергии“, как вещам к себе. Это необходимо иметь постоянно в виду; философу и физику-материалисту обычно говорят: „До недавнего времени полагали, что непроницаемость, инерция, масса составляют абсолютные свойства материи. Теперь мы знаем, что это не так“. Прежде всего, о какой материи тут говорится? Допустим, что имеется в виду „весомая материя“ и электричество. В особом дополнении (доп. 2) я перечисляю сходства и различия „весомой материи“ и электричества. Из этого перечисления видно, что электрон, например, обладает всеми главными свойствами материи, т.-е. протяженностью, движением, взаимодействием, инерцией, массой, сохранением (массы и энергии), непроницаемостью. Имеются отличия—проницаемость по отношению к иону, большая скорость движения, образование электромагнитного поля при движении, но эти отличия не являются абсолютными, ибо, без сомнения, и весомая материя до известной степени проницаема, может иметь большие скорости и, без сомнения, вызывает в эфире некоторые возмущения, которые до сих пор открыть не удалось—но что они могут быть, на это указывает тот факт, что их искал такой ученый, как Михаил Фарадей. Итак—абсолютно невозможно провести какую-либо грань (абсолютную) между весомой материей и электрической. Но, быть может, слово абсолютный означает неизменный? Тогда, действительно, надо признать, что все то, что почиталось раньше неизменным у „весомой материи“ оказалось переменным у электронов. Но если что-либо изменчиво, то это не значит, что оно перестает быть абсолютной реальностью, по крайней мере с точки зрения материализма. Более этого, есть некоторое свойство „материи“ и именно „материи, как философской категории“, которые необходимо признать „абсолютно неизменными“. Эти слова, я знаю, вызовут неудовольствие некоторых философов, которые подобно разрумяненным актерам, размахивают картонными мечами для сокрушения различных страшных „абсолютов“, метафизических сущностей“, „субстанций“. Эти диалектики полагают, что диалектика—это изменение до бессмыслицы. Но так как я иначе понимаю это учение, то я спокойно буду продолжать свое изложение, не пугаясь слов, от которых не страшно.

Каковы эти неизменные свойства материи, как „философской категории“? Это—во-первых, упомянутая выше абсолютная протяженность и, **следовательно**, абсолютная непроницаемость и масса,

которые нужно отличать от относительных (переменных) непроницаемости, и массы конкретной (физической) материи. Для выяснения этого коренного вопроса гносеологии и физики необходимо остановиться на 1) соотношении материи и пространства и 2) понятиях движения, массы и инерции.

2. Пространство [1]) и материя.

Злой остроумец Вольтер, защищая учение (Фонтенеля) о множестве обитаемых миров от нападок теологов, которые никак не хотели допустить, чтобы существовали антропоморфные там, где не был Христос, говорил: Эти люди похожи на тех, кто утверждает, что клопы и блохи водятся только у них на квартирах. К сожалению, существуют такие непоследовательные философы, которые убеждены, что клопы и блохи дарованы им в качестве особой привилегии. Если философы идеалисты признают „абсолютную пустоту", то это вполне логично с точки зрения системы. Но что сказать о философах-материалистах, которые на-ряду с материей вводят еще особую сущность „абсолютно-пустое, хотя и реальное (чем?) пространство". Не значит ли это уподобиться теологам в шутке Вольтера.

В самом деле, если некоторые (ничтожные сравнительно с бесконечным протяжением) части пространства обладают привилегией материальности, то на каком основании этой привилегии не имеют другие части? Если это утверждал Демокрит (в чем я сомневаюсь), то это понятно, ибо древнее мышление насквозь пропитано привычкой обычного чувственного опыта полагать „пустым" то, что не воспринимается органами чувств. Но, ведь, и в древности подавляющее большинство философов (и, вероятно, Демокрит) не признавало абсолютной „пустоты". Как же это можно после Декарта продолжать раздваивать мир на „материю" и „пространство", в котором находится эта материя? Декарт, как известно, формулировал основное положение физики так: пространство—реальное физическое тело, т.-е. основное свойство пространства—это его материальность, основной признак материи—ее протяженность. Этот знаменитый тезис вызвал ожесточенную борьбу, которая тянется до настоящего времени. В чем смысл этой борьбы? Один пример выяснит это. Отвергнув теорию вихрей Декарта, Ньютон признал абсолютное пространство. Но абсолютное пространства Ньютона,—это не абсолютная пустота. Друг Ньютона Самуил Кларк в известной переписке с Лейбницем [2]) указывает, что „абсолютное пространство—это не абсолютная пустота, а то, что не наполнено обыкновенной (весомой) материей". Действительно, Ньютон наполнял это пространство знаменитым Spiritus'ом неоплатонической и оккультной философии, термин, который правильно переводят (напр., А. Крылов) словом эфир. Ньютон делил всю материю

---

[1]) Некоторые мыслители считают необходимым отличать протяженность (etendue) от пространства (espace); последнее определяется как ограниченная протяженность (тело). Во избежание усложняющих логических тонкостей я это различение оставляю в стороне, тем более, что существуют только „видимые границы" тел, следовательно необходимо или все полагать протяженностью или же все считать пространством. Возникает, правда, любопытная проблема—нет ли таких областей протяженности (нейтральных зон), где влияние различных тел перекрещивается и уничтожается, т.-е. нет ли чистой протяженности и реальных границ тел, как результата интерференции. Я не берусь решать этого вопроса. Прибавлю, что это замечание и понятие „зоны" указано мне т. А. С. Кочаровской, которая настаивала на проведении подобного различения, с чем я, однако, не согласился.

[2]) „Recueil des divers pieces" publiées par de Maizeaux.

мира на пассивную (инертную) и активную, движущуюся сохраняющимся движением [1]).

И физика Ньютона только методически противоречит физике Декарта, а не принципиально. Но учение Ньютона было искажено излишним радением его последователей (слова М. Ломоносова). И вот известный Боскович, основываясь на искаженном учении Ньютона, поставил себе вопрос: если пространство—это абсолютная пустота, то как же возможно, чтобы материя была протяженна, т.-е. чтобы некоторые ее части пространства обладали привилегией материальности? Так как это казалось Босковичу абсурдом, то он принял, что атомы Ньютона—это „непротяженные центры сил". Отсюда только меньше шагу до великого классического идеализма Канта. Кант поставил и углубил вопрос Босковича: если великий физический авторитет Ньютона (фактически Бентли-Котса) утверждает, что пространство никакой роли не играет в физике, то что же это такое? Единственный возможный и разумный ответ на этот вопрос и дал Кант в своей „Критике чистого разума". Центры сил Босковича переменили также название, обратившись в „вещи в себе" [2]). Тут имеется, конечно, противоречие, на которое обратил тотчас же внимание Фихте. Но если „вещь в себе" считать „регулятивным принципом", как это говорят неокантианцы, то получается развитая система идеализма. Необходимо заметить, что Кант был автором сочинений: „Об огне", „Всеобщая история и теория неба", „Физическая монадология" (атомы), „Теория ветров", „Теория движений" и, наконец, одного интересного сочинения, которое долго лежало скрытым в бумагах мыслителя, именно „Переход от метафизических начальных основ естествознания к физике". Это сочинение рисует трагедию великого идеалиста, запутавшегося в противоречиях. Желая освободить место для веры—он создал критику разума, идя по ложному пути. В письме к Гарвэ (21 сент. 1798 г.) Кант пишет: „Вопрос, которым я занимаюсь в последнее время, касается „перехода от метафизических основ естествознания". Он должен быть разрешен, иначе в системе критической философии останется пробел. Требования разума не перестают настаивать на необходимости решения, сознание возможности его решения не умолкает, но достижение постоянно отодвигается, если не полным прекращением жизненной энергии, то часто повторяющимся упадком ее, доводящим меня до мучительного нетерпения". В другом месте Кант называет свое состояние „муками Тантала".

Основная идея работы Канта: „Вещество, наполняющее собою все пространство вселенной, должно было существовать от начала веков, непрерывно двигаясь в самом себе и само собою, без всяких перемещений, одним внутренним постоянным, неувеличивающимся и неуменьшающимся движением. Вещество это составляет основное условие возможности физики. Кант называет его теплородом или эфиром" [3]).

Здесь Кант отчасти возвращается к идеям своей первой работы „Об огне" (De Jgne), к тем идеям, которые во „Всеобщей истории и теории неба" подарили миру знаменитую Канто-Лапласовскую теорию [4]).

---

[1]) Ньютон полагал, что инертная материя не сохраняет движения.

[2]) Этим же путем возник, вероятно, из „атомизма" Демокрита идеализм Платона. Возможно, что и Демокрит, подобно Ньютону, пополнял пространство „квинт-эссенцией" (пятой стихией — эфиром). У Ньютона имеется намек на это. Об этом же говорит связь Демокрита с оккультистами.

[3]) См. Розенбергер, „История физики".

[4]) Кстати, эту теорию по справедливости необходимо назвать, по крайней мере, Декарто-Канто-Лапласовской, так как в сочинении о „Мире" Декарт ее развивает в гипотезе

Итак, критический философ Кант придает величайшее значение вопросу об эфире, т. е. абсолютном пространстве с точки зрения возможности физики, как науки. Пусть поэтому читатель судит о моем удивлении, когда я прочел у тов. Гольцмана, что „существует ли эфир или нет, материализму до этого нет дела“.

Возможно, что т. Гольцману безразлично, существует ли эфир, но пусть он спросит у инженеров-электриков—безразличен ли им эфир; пусть он осведомится у них, можно ли обойтись без магнитных силовых линий в эфире при расчете зубцов и магнитных наконечников в машине постоянного тока для целей правильной коммутации, пусть он узнает, можно ли выбросить характеристику магнитного потока цепи машины или трансформатора: можно ли выбросить электромагнитную волну в эфире при расчете линий высокого напряжения, где имеется эффект резонанса. Все это, конечно, называют не эфиром, а стыдливым словом „поле“, но такой авторитет, как Г. М. [1]) (Курс электричества и магнетизма), с сожалением признает, что „без эфира не обойдешься“. И не мешало бы помнить, что переплетчик М. Фарадей открыл электромагнитную индукцию благодаря именно эфиру. Конечно, когда мавр свое дело сделал, когда Фарадей все открыл, а его ученик Максвелл математически обосновал его учение, можно этого мавра послать ко всем чертям и преспокойно пользоваться плодами его трудов. Но эта мораль не является моралью философов-материалистов.

Итак, если материализм признает, что пространство — объективная реальность, а не форма созерцания, он неизбежно приходит к формуле Декарта: пространство — физическое тело, материя. Протяженность никак нельзя сравнивать с другими качествами, и это понимали все великие философы. И если Мах назвал протяженность „ощущением“, то это доказывает, что он в философии ничего не понимал или не хотел понимать. Все остальные „качества“ можно мыслить устраненными, но отрицать внешний мир может только сумасшедший или последовательный идеалист. В этом именно основание „привилегии“ протяженности в определении материи, и тот, кто это-о не понимает, пусть лучше оставит философию и, подобно Цинцинату, займется хлебопашеством, ибо то, что понимали Анаксимандр (апейрон) и Парменид (бытие); то, что с такой отчетливостью провозгласили Декарт и Спиноза; то, о чем учил Локк и Кант — мимо этого пройти невозможно тому, кто претендует на звание философа. Если даже он идеалист, то он должен усвоить, по крайней мере, урок Канта,—об особой природе пространства. Смешать же протяженность с ощущением может только тот, кто или желает внести путаницу в умы, или же не знает азов философии.

больших вихрей. В интересах справедливости, как указывает Аррениус, необходимо упомянуть о знаменитом Бюффоне, авторе „Histoire Naturelle“ (1749 г.), который дал теорию, аналогичную Канто-Лапласовской, на 50 лет раньше. Бюффон, между прочим, говорит: „Я бы мог написать совершенно такую же толстую книгу, как написали Бурне и Уитстон, если бы я захотел раздуть вышеприведенные гипотезы; я бы мог придать им и то же время больше весу, облекши их в мантию математики, как это сделал Уитстон. Но мне кажется, что, как бы ни были достоверны гипотезы, их не следует обрабатывать с помощью аппарата, отзывающего несколько шарлатанством“. Здесь несомненное преувеличение, но Бюффон в известном смысле прав. Математика — царица наук, и — как у всех цариц — у нее много министров-шарлатанов. К сожалению, эти шарлатаны необычайно размножились в наше время.

[1]) Друг и единомышленник небезызвестного т. Гольцману проф. Арнольди, автора знаменитых трактатов по машинам постоянного и переменного токов. Обходится ли Арнольд без эфира (электромагн. поля)?

Поэтому материализму не только не безразлично, существует ли эфир или нет, но он кровно заинтересован в том, чтобы физика доказала это существование; идеализм же кровно заинтересован в изгнании эфира. Вот откуда эти постоянные заявления о том, что эфир, слава богу, уже не существует в физике, что физика, наконец, отказалась от него, что он „удобная математическая функция". А. Эйнштейн обязан своей славой именно тому, что его специальная теория относительности как-будто нанесла сокрушительный удар эфиру. Биография Эйнштейна указывает, что его игнорировали вплоть до момента опубликования (в 1906 г.) знаменитой работы, что его не хотели почтить даже званием профессора и он влачился в неизвестности эксперта в бюро патентов. Но когда явные и тайные сторонники идеализма увидели возможность использования необычайного остроумия этого мыслителя, Эйнштейн сразу же превратился в почтенного академика и в директора института кайзера Вильгельма II. Но природа как бы решила посмеяться над идеалистами, которые не хотят ее признать. Прошло 15 лет, и Эйнштейн путем эволюции пришел к эфиру—не к старому, наивному эфиру, с которым каждый, по остроумному выражению Эйнштейна, делал, что хотел, и который превратился в „больного человека физики", а к эфиру Декарта, т.-е. пространству, как физическому телу. Эйнштейн так и формулирует свое воззрение в известных речах „Эфир и принцип относительности" и „Геометрия и опыт". Он впервые дал обширную математическую теорию этого пространства, и пусть это учение пропитано густыми туманами схоластического идеализма (наследие философии чистого описания), но оно заслуживает величайшего внимания с точки зрения материализма, так как оно подводит научный фундамент под философское учение материализма, делая его неуязвимым в основной позиции.

Вышеизложенное делает понятным положение: непроницаемость—абсолютное свойство материи, как протяженности, или, пользуясь терминологией Декарта, **первой материи** (prima materia). Только конкретная материя (materia secunda)—относительно непроницаема. Но в чем отличие первой материи от второй? В том, что первая материя—это та абстрактная материя, „материя, как философская категория", из которой помощью движения образуется конкретная материя. Я говорю „абстрактная", ибо нет материи, которая была бы лишена движения. Но мысленно можно и полезно отделять субстанцию от ее атрибутов и модусов. Как возможна, однако, проницаемость конкретной материи, если „первая материя" абсолютно непроницаема, если в одной и той же части пространства не может существовать два количества „второй материи"? Для понимания вопроса и ответа на него необходимо рассмотреть понятие движения.

3. Движение.

В связи с вышеуказанной „односторонностью" механического материализма, некоторые слово „механический" понимают в абсолютном смысле и заявляют, что механическая картина мира необязательна для материализма, что ее можно заменить „энергетической". Так как механика—это наука о **пространственном** движении, то отсюда необходимо именно заключить, что диалектический материализм отвергает положение: все явления природы представляют собою (модально—внешне)[1]) **пространственное** движение материи. Диа-

[1]) Я подчеркиваю слово „внешне", т.-е. модально, например, с точки зрения глаз и рук; еще Ламеттри говорил, что движение, **как реальность**, в известном смысле чу-

лектический материализм будто бы вычеркивает слово пространственное, оставляя слово движение, которое имеет более обширный смысл процесса, превращения, изменения. Если бы это было в действительности так, то диалектический материализм был бы совершенно неприемлем, и всякий друг науки предпочел бы коснеть в роли „метафизического материалиста", нежели согласиться придать в физике понятию „движение" иной смысл, нежели „движение в пространстве и времени". В самом деле, Аристотель и схоластика признавали много родов движения [1]). Даже Бэкон — этот „мнимый отец новой философии и науки" — допускал, что существует 19 родов движений: антипатия, связь, свобода, насильственное, пространственное, убожества, прибыли, высшего и низшего соединения, магнетические, побега, уподобления, возбуждения, впечатления, конфигурации, передачи порами, самопроизвольно вращательное, колебания, инерции, царское или политическое. Не хватает здесь только одного рода движения — движения мысли. Если бы Бэкон дожил до нашего времени, то его „Великая реставрация наук" и „Новый орган" обогатились бы колоссальным списком новых движений вплоть до „большевистского". Нельзя, однако, отказать такому пониманию движения в известной логике. Ибо оно сопряжено с тем смыслом, который Аристотель и схоласты вкладывали в слово „материя". Аристотелевско-схоластическая „материя" — это совсем не та материя, о которой говорит нам наука и здравая философия. Это приблизительно та материя, о которой говорится в фразе: „Философия — это тонкая материя". Поэтому Аристотель полагал, что „материя — это еще несуществующее (возможность)". В своей „Метафизике" он приводит несколько примеров, из которых я возьму самый характерный. Вот полководец, одержавший победу — **победитель**. До победы полководец был только „материей для победы", когда же явилась „форма победы", то из возможности материя перешла в действительную „вещь" — победителя. Поэтому Аристотель учил, что только сочетание „материи" и „формы" образует конкретность. И вот этот именно переход от возможности к действительности и назывался движением. Ясно, что так как подобного рода „материй" и „форм" бесчисленное множество, то и движений бесчисленное множество. Что же получилось. А то, что бесчисленные материи, „субстанциональные" и акцидентальные (accidentalis), сепаратные (separatae) и внутренние (adhaerentes) формы и движения сделал схоластику и метод Бэкона в области точных наук (физико-химических) бесплодными как девы, посвященные богу. Новая наука понимала, что без уничтожения этих „движений" — сильнейшего „тормоза знаний" (Ньютон) — невозможно никакое „движение" вперед. Декарт и Лейбниц (в первый период своей деятельности) выступили против этих схоластических фурий. Характерно то, что Лейбниц, который в 1668 г. написал „Исповедание природы против атеистов", в 1669 г. пишет: „Письмо к Я. Томазиусу о возможности примирения Аристотеля с новой философией". В этой работе он пытается доказать, что материя Аристотеля — это физическая материя, а единственная форма, которую будто бы признавал

леснее церковных тайн. Если смотреть „глазами" на мозг человека, то „виды" движения, но непосредственно (внутренне), т.-е. с точки зрения движения как реальности — это психический процесс. В этом сущность учения Спинозы о психофизическом божестве. Диалектический материализм признает его, но только выдвигает момент эволюции: дух — вторичное.

[1]) Согласно утверждению некоторых исследователей (В. Гамильтон и др.), Аристотель в этом пункте был искажен арабскими переводчиками и комментаторами. Лейбниц в особой работе пытался доказать это. См. ниже.

Аристотель — это пространственное движение. Буржуазный класс, кровно заинтересованный тогда в познании природы и развитии производительных сил, понимал, что без изгнания из физики „19 родов движения“ и бесчисленного множества субстанциональных форм и материй—это дело невозможно. Картезианская физика была встречена с энтузиазмом и в первую очередь в протестантско-промышленных странах, как Нидерланды.

Характерно то, что даже в Англии, которая гордилась гением Ньютона, физика Ньютона в течение 30 лет после появления „Начал“ не могла вытеснить картезианского учебника Рого (Rohauet). Этот учебник был издан ревностным приверженцем Ньютона С. Кларком. В период 1697—1710 г.г. вышли три издания, а 2-е издание „Начал“ появилось только в 1713 г. При чем С. Кларк только в примечаниях решился изменить принципы Ньютона, не упоминая в первых двух изданиях имени последнего. Проф. Playfair замечает: „Ньютонова физика впервые проникла в Кембриджский университет под покровом картезианизма“.

Что касается континента, то Вольтер указал, что спустя сорок лет после опубликования „Начал“ Ньютон еще не приобрел и двадцати последователей. Весь ученый мир Франции с Академией Наук во главе долго и упорно защищал картезианскую физику. Большинство академических прений было посвящено вопросу о том, можно ли картезианскую гипотезу эфира математически обработать подобно теории Ньютона, т.-е. доказательству закона квадратов. Даже в 1752 г., старый, 95-летний, Фонтенель выпустил „Теорию картезианского вихря“.

Все это объясняется тем, что новая наука увидела в законе тяготения Ньютона возрожденное „Скрытое качество“. Этот упрек был брошен Лейбницем Ньютону, хотя впоследствии Лейбниц, убедившись в 1695 г.), что „спинозизм ведет к атеизму“, перешел на сторону Ньютона, формулировав знаменитое понятие „живой силы“.

И если диалектический материализм, действительно, признает в физике 19 родов движений схоластической материи, то его нужно объявить величайшим врагом знания. К счастью, этого нет. Я не знаю ни одного материалиста (действительного материалиста, а не того, кто называет себя так или кого так называют) древних и новых времен, которые бы под материей понимали что-либо иное, нежели протяженную материю, а под движением—„движение в пространстве и времени“.

Действительно, В. И. Ленин, на которого ссылается т. Гольцман, пишет: „Правда то, что мы теперь знаем и наблюдаем много мудренее старой механики, но все это есть движение материи в пространстве и времени“. Если внимательно читать книгу В. И. Ленина, то легко заметить, что он везде прибавляет эти последние слова в пространстве и времени. И подобно тому, как выражение „вне нашего сознания“ означает у В. И. Ленина — в пространстве и времени, точно так же под движением он понимает движение пространственное (механическое).

Г. В. Плеханов в „Предисловии“ к Л. Фейербаху пишет: „Основу всех явлений природы составляет движение материи. Но что такое движение? Это есть очевидно противоречие. Если вас спросят: находится ли движущееся тело в данное время в данном месте, то вы, при самом искреннем желании, не в состоянии будете ответить согласно правилу Ибервега, т.-е. по формуле: „да — да, нет — нет“ и т. д. Ни о каком другом движении Плеханов не упоминает. Следовательно, его движение—это движение механическое. Поэтому я не думаю, что диалектический материализм тем отличается от метафи-

зического, что он признает „19 родов движений“. Прежде всего диалектический материализм есть развитие метафизического (не философского, а научно метафизического) и отказываться от столь основного положения научно-метафизического материализма, как „все явления природы пространственное движение материи“, означало бы полный разрыв, непроходимую пропасть между этими учениями. В моем понимании диалектический материализм отличается от метафизического не в этой основе—основа та же для всякого материализма, а 1) во взгляде на сущность этой основы (т.-е. в вопросе о пространстве), 2) во взгляде на проблему познания. В. И. Ленин справедливо указывает, что Маркс и Энгельс ругали Бюхнера и Молешотта совсем не за то, что они все сводили к движению атомов, а за то, во-первых, что эти атомы и это движение были **метафизическими**, т.-е. „неизменными“, как вид в учении Линнея, по примеру Плеханова.

В. И. Ленин справедливо говорит: „Электрон так же бесконечен и неисчерпаем, как и атом, природа бесконечна“. „Разрушимость атома, неисчерпаемость его, изменчивость всех **форм материи** и **ее движения** всегда были опорой диалектического материализма. Все грани в природе условны, относительны, подвижны, выражают приближение нашего ума к познанию материи“. Вот это и есть существенная особенность диалектики. Конкретное (атом, электрон)—бесконечный источник для познания, ибо то движение, которое „придает“ „первой материи“ (субстанции) определенность (конкретность), связано со всей вселенной и, следовательно, бесконечно, как эта вселенная (природа). Вот почему Декарт и Спиноза (блестящие диалектики, по определению Энгельса) [1]—определяли материю, как протяженность, а конкретность, как материю в движении. Вот почему материя эта одновременно самое известное, простое и отчетливое и самое неизвестное, постигаемое только в бесконечном историческом процессе познания (как движение). Поэтому никак нельзя согласиться с положением, что „механическая картина мира не обязательна для материализма“. Поскольку механика—наука о движении (пространственном) и поскольку такое движение—основа всех явлений природы—постольку механика обязательна для всякого материалиста.

И грех метафизического материализма, повторяем, совсем не в механике. Его основной грех в упомянутой абсолютности атома в пустоте. Почему? А потому, что метафизический (атомистический) материализм может быть признан **таковым** только с точки зрения истории физики, но никак не философии. С философской точки зрения учение Демокрита-Гассенди-Бюхнера-Молешота—это классический идеализм, точнее: первая ступень к нему, базирующийся на понятии пустоты. Платон так относится к Демокриту, как Кант к Ньютону, т.-е. к тому же Демокриту. Платон, выразивший пожелание сжечь сочинения Демокрита и умолчавший о нем в своих диалогах, превратил атомы Демокрита в треугольники и развил общую теорию идей. Вот почему сочинения Гассенди спокойно гуляли по

[1]) Кстати, многие философы-материалисты склонны мало считаться с философом Энгельсом, предпочитая Маркса раннего периода развития, несмотря на то, что „Анти-Дюринг“ получил санкцию К. Маркса и, следовательно, выражал его зрелые взгляды; они, вопреки категорическому указанию Энгельса, выдвигают в истории материализма Бэкона, замалчивая Декарта. Бэкон был скорее „эмпириком-позитивистом“, а не материалистом, не говоря уже о том, что он был „метафизиком“, а не „блестящим диалектиком“, подобно Декарту, от которого пошло „современное естествознание“ (К. Маркс, В. И. Ленин), что и отмечает Энгельс в „Анти-Дюринге“, указывая, что „рассечение природы Бэкона“ привело к метафизическому образу мышления. Можно доказать, что школа „чистого описания“—это наследница индуктивной философии английского канцлера. Здесь та же неясность, что и по вопросу о Демокрите.

миру, а Декарт попал в Индекс. Ибо иезуиты, не в пример многим нашим материалистам, кое-что понимали в истории философии и в основных философских проблемах. И не удивительно ли, что наши материалисты черпают свою премудрость из истории материализма Ланге, которую Карл Маркс назвал „поверхностной болтовней", а В. И. Ленин—фальсификацией материализма.

Ибо первыми материалистами древности были Анаксимандр, Гераклит, Парменид, Бекон и „величественно-темный" Аристотель, но никак не Демокрит. Я, конечно, говорю не о подлинном Демокрите—и не о субъективном Демокрите[1], о которых мы мало что знаем, а об историческом Демокрите, с его атомами и пустотой. В физике этот Демокрит сыграл крупную положительную роль, но в философии он родственен „точечной" метафизике Пифагора и предтеча идеализма. И вот, всякий философ-материалист вместо того, чтобы искать опасность в механической картине мира, обязан понять основную идею книги Ланге. Ланге, собственно говоря, доказывает, совершенно справедливо, что абсолютный атомизм Демокрита—это классическая идеалистическая физика и что только философы эпохи разложения могут вести борьбу против атомизма. Вот в чем, по моему, смысл оценки Маркса-Энгельса материализма Бюхнера-Молешотта, как вульгарного материализма, рыночных торговцев. Замечу, между прочим, следующее: у Маркса имеется работа о Демокрите, которая до сих пор не оценена как следует. Меринг объявил ее слишком идеалистической. Но если перевести гегелевскую терминологию на язык материализма, то тут обнаружится, что по когтям легко узнать льва. Надеюсь в особой статье осветить этот вопрос.

Вернемся, однако, к механике. О какой механике обычно говорят? Существуют механики: Аристотеля, Декарта, Галилея-Ньютона, Эйлера, Лагранжа, Пуассона, Гамильтона-Грассмана, Герца, Дюгема, Лоренца-Эйнштейна. Если положение о механической картине мира понимать так, что механика Аристотеля или даже Ньютона не обязательны для материализма, то это совершенно верно. Но в какой мере? В той именно, в какой эти механики уже не охватывают всех известных движений природы (движений большой скорости). Если даже скажут, что все остальные механики также необязательны для материализма, то с этим можно согласиться, но опять-таки в той мере, в какой определяется роль каждой механики. Механика Аристотеля (точнее статика Архимеда) были вполне достаточными для тех эпох, когда наши „медленные движения" показались бы чудовищно-фантастическими. Механика Ньютона удовлетворила запросы эпохи роста производительных сил в пределах буржуазного общества. Эпоха волн Герца, внутриатомной энергии—требует механики Декарта-Лагранжа-Герца-Лоренца-Эйнштейна. Но все эти механики—не вечные сущности, не скрижали завета с Синайской горы. Механика подлежит развитию и изменению постольку, поскольку она есть наука о бесконечном движении природы. Но значит ли это, что каждая ступень механики—ничто. Ведь, что такое истина? Истина—только исторически относительна, но познание каждой эпохи овладевает одной ступенью этой истины. Каким же образом можно утверждать, что „механика—необязательна для материалистической картины мира"? Я склонен думать, что всякий материалист в подобных утверждениях должен иметь в виду какую-нибудь из старых механик

[1]) Если т. Г. Баммель в своей работе о Демокрите (с которой я не успел ознакомиться) не выяснил вопроса о том, что представляла собою „пустота" Демокрита, то я прошу его, как специалиста, выяснить этот вопрос.

вроде механики Аристотеля, или неоперипатетическую (термодинамическую) механику Пуассона-Дюгема. Ибо для всякого, кто ездит на трамвае, должна быть обязательна механика Ньютона-Лагранжа. Ибо: 1) механическая часть трамвая рассчитывается на основании механики Ньютона; 2) электромагнитная—на основании механики Лагранжа. Последнее требует пояснения. Что бы ни говорили критики (даже такие, как Пуанкаре или Больцман), факт остается фактом. Максвелл вывел свои знаменитые уравнения — база электромагнетизма—из уравнений механики Лагранжа. Пуанкаре назвал этот вывод „coup de pouce" (удар большого пальца), а Гольцман заявил, что сам бог, очевидно, написал „эти знаки", что не помешало обоим физикам в 4-х толстых томах разбирать этот „удар большого пальца бога". Но так как у всех теологов имеются не только большие пальцы, но здоровенные кулаки и им именно бог постоянно открывает сокровенные тайны, но не они открыли ур-ния электромагнетизма, а переплетчик М. Фарадей и его ученик Максвелл, то я продолжаю полагать, что механика Лагранжа—основа электромагнетизма. Конечно, я не говорю, что эта механика решает все вопросы электромагнетизма (так может думать только метафизик—и с этой точки зрения обычно подходят к вопросу), но тот, кто читал трактат Максвелла в оригинале, а не из лучших (Пуанкаре, Гольцман) даже изложений, поймет, почему я настаиваю на своем тезисе. Для знакомых с вопросом скажу: механика Лагранжа находится в том же отношении к предыдущей и последующей теории Максвелла, в каком (отношении) механика Ньютона находится к предыдущей (картезианской) и последующей (Ньютоновой) постановке проблемы тяготения.

Сокрушитель схоластики Декарт так формулирует понятие движения[1]: „Движение—это переход части материи или тела от соседства тех, которые непосредственно находятся около него и которые мы рассматриваем, как находящиеся в покое, к соседству некоторых других[2]).

Иначе говоря, движение рассматривается, как нечто относительное, как прохождение пространства. Декарт понимал, что истинная наука не может допустить ни одного скрытого качества, ни одной „субстанциональной формы". „Там, где нет прохождения пространства, там нет движения". Этот капитальный пункт иллюстрируется следующим замечательным историческим примером.

Вообразим два „абсолютно твердых" атома, которые движутся навстречу друг к другу с одинаковыми скоростями.

Что произойдет при их столкновении? Так как в шарах нет „механизма упругости", следовательно, они не могут отскочить и обернуть скорости. Ньютон полагал, что движение должно уничтожиться, и отсюда выводил необходимость бога, который должен постоянно поддерживать количество движения в мире и мировой механизм. Лейбниц в невозможности решить вопрос видел главное доказательство против атомизма[3]). Гюйгенс в предсмертном письме (от 1694 г.) к Лейбницу писал, что он будто бы решил этот вопрос, но он вскоре умер, не раскрыв тайны решения.

1) Принципы философии. § 25.—II ч., изд. Кузена.

2) „le transport d'une partie de la matière ou d'un corps du voisinage de ceux qui le touchent immédiatement, et que nous considerons comme en repos, dans le voisinage de quelques autres".

3) Письма Лейбница к Гюйгенсу в Leibnizen's Mat. Schriften, изд. Горгардта.

Вопрос не решен до сих пор. Известный русский ученый Н. Жуковский в полемике с пр. Шиллером (физико-химическ. общ., 1884—1885 г.г.) высказался в том смысле, что абсолютно твердый атом— это абстракция. Так думал и Декарт. С точки зрения Декарта случай, изображенный на рисунке, невозможен.

Здесь не место входить в подробное рассмотрение картезианской теории материи, но те, кто знакомы с вихревой теорией вещества Томсона-Кельвина, поймут, каково решение Декарта. И вот, если бы существовало движение, как „скрытое качество“ внутри тела, то шары могли бы стоять друг против друга до бесконечности[1]).

Но Декарт формулировал также закон сохранения „движения“ (т. v.) и Бергсон (Творческая эволюция) усмотрел в этом противоречие. Да, это—противоречие, но противоречие диалектическое. Движение одновременно абсолютно и относительно. В § 30 Декарт говорит: „То, что имеется действительного (reel) в телах, которые движутся, и в силу чего мы говорим, что они движутся, одинаково находится в телах, с которыми они соприкасаются и которые мы рассматриваем как неподвижные“.

В § 13 он указывает, что „нет ни одной вещи в мире, которая была бы неподвижна, если только мы ее мысленно не остановим“.

Генрих Мор, возражая Декарту[2]), говорит: „если я сижу на месте, а другой человек красный, потный, запыхавшийся бежит ко мне, то как же Вы утверждаете, что движение относительно“. Декарт в ответе указывает, почему он определил движение не как сущность (entité), а как проявление (mode): „Я не хотел рассматривать этот вопрос (о движении, как реальности) в своих сочинениях, чтобы не казалось, что я единомышленник тех, которые рассматривают бога, как душу мира, соединенную с материей, ибо этот вопрос „несколько выше понимания обычных умов“[3]). Вот узел, соединяющий Декарта со Спинозой. Уэвелль справедливо сказал о Декарте то, что Бэкон об Аристотеле: трус и храбрец (pusillanimus simul et audax). Когда Декарт узнал о судьбе Галилея, он спрятал готовое к опубликованию сочинение „О мире“, отрывки которого сохранились, „ибо если ложно это учение (Коперника), то ложны основания всей моей философии, ибо они взаимно поддерживают друг друга“. А под своей философией Декарт понимал свою физику, а об остальном говорил: мне очень нравится моя философия, но, ведь, другим еще больше нравится их собственная. Итак, диалектическое понимание движения, выдвинутое Декартом, заключается в формуле: „Движение—это сохраняющаяся реальность, качество, существующая только в проявлении, как пространственное перемещение“. Эта простая формула является диалектическим принципом относительности Декарта. Это—ключ к пониманию всего движения физики за последние столетия и, в частности, к пониманию смысла теории относительности Эйнштейна. С этого принципа начал прежде всего Ньютон, который превратил его в научное орудие познания.

Ввиду важности вопроса, я закончу этот § указанием на отношение Фридриха Энгельса к „механической“ картине

---

[1]) На основании этого предположения русский мыслитель Жарковский построил любопытную теорию тяготения; она опубликована в Москве на французском языке (в 1898, кажется, году).

[2]) Сочинения Декарта, т. 10, стр. 178 и сл. Переписка Мора и Декарта.

[3]) Ce qui étant un peu au-dessus de la portée du kommun des esprits, je n'ai pas voulu traiter cette question dans mes ecrits, pour ne pas favoriser le sentiment de ceux qui considerent Dieu comme l'âme du monde unie à la matiere (254 стр).

мира и диалектическому принципу относительности Декарта.

Как я говорил выше, Даметтри указывал, что „движение в пространстве", которое обычно считают самым „простым", „грубым", „механическим" явлением, не менее чудесно, в известном смысле, чем чудеса теологии. Но укоренившаяся привычка считать движение чем-то элементарным, действует на умы, и они за словами не видят их смысла. В „Л. Фейербахе" Ф. Энгельса имеется место, которое, очевидно, служит источником многих недоразумений. Энгельс пишет: „Материализм прошлого (XVIII) века был преимущественно механическим, потому что из всех естественных наук достигла известной законченности только механика твердых тел (земных и небесных), короче—только механика тяжести. Химия была еще в детском состоянии, в ней придерживались еще теории флогистона. Биология была в пеленках: растительный и животный организм был еще мало исследован, его отправления объяснялись чисто механическими причинами. В глазах материалистов XVIII столетия человек был машиной, как животное в глазах Декарта. Исключительное приложение мерила, заимствованного у механики, к химическим и органическим явлениям, т.-е. к таким явлениям, в области которых механические законы, хотя и продолжают, конечно, действовать, но отступают на задний план перед другими, высшими законами—составляет специфическую, неизбежную тогда черту ограниченности классического французского материализма".

Конечно, Энгельс прав, что механика твердых тел (тяжести) не приложима к сложным химическим и органическим процессам—но что это за высшие законы, о которых говорит Энгельс? Если химические и органические процессы—это процессы движения в пространстве и времени, то для них обязательна та механика, которая способна овладеть сложностью явлений.

Поэтому Г. В. Плеханов сделал к этому месту примечание: „По этому поводу можно заметить, пожалуй, что и химия и биология, в конце концов, сведутся, вероятно, к молекулярной механике". И Плеханов оправдывает Энгельса: „Но читатель видит, что Энгельс говорит не об этой механике, которой не имели, да и не могли иметь, в виду французские материалисты, равно как и Декарт, их учитель в деле построения животной машины". Это замечание совершенно верно. В „Анти-Дюринге" Энгельс выражается еще яснее. В главе „Натурфилософия" он говорит: Прежде г. Дюринга, о материи и о движении говорили материалисты. Г. Дюринг сводит движение к механической силе, как мнимой его основной форме, и тем лишает себя возможности понять действительное соотношение между материей и движением, которое, впрочем, было неясно всем прочим материалистам".

Что это за „механическая сила" Дюринга? Это та—скрытая „причина движения", которую отверг Декарт, заявив, что нет движения вне проявления (см. пример с ударом шаров). И вот Энгельс защищает диалектический тезис Декарта: движение есть реальность (entité) в проявлении (mode). Он говорит: „Движение есть форма существования материи. Никогда и нигде не было и не могло быть материи без движения. Движение в мировом пространстве, механическое движение менее значительных масс на отдельных мировых телах, колебание молекул в виде теплоты, электрического или магнетического тока, химическое разложение и соединение, органическая жизнь в той или другой из форм движения или

в нескольких зараз постоянно пребывает каждый отдельный атом мирового вещества в каждый данный момент".

Итак, Энгельс полагает, что движение небесных тел, менее значительных масс на них, молекулярное движение, электромагнитное, химическое, органическое—все это различные ф о р м ы одной и той же сущности—д в и ж е н и я, простые (те, которые обычно называют механическими) и более сложные. Каким же образом, спрашивается, механическая картина мира не обязательна для материалиста?

Развив первую часть тезиса Декарта, Энгельс продолжает: „Материя без движения так же немыслима, как и движение без материи. Движение, поэтому, точно так же нельзя создать и разрушить, как и самую материю—мысль, которую прежняя философия (Декарт) выражала так: к о л и ч е с т в о н а л и ч н о г о в м и р е д в и ж е н и я в с е г д а о д н о и т о ж е. Следовательно, движение не может быть создано, оно может только быть передано. Когда движение переходит с одного тела на другое, то, поскольку оно передается, постольку оно активно, и на него можно смотреть, как на причину движения, поскольку же оно передано, постольку оно пассивно. Это активное движение мы называем силой, пассивное—проявление силы. О т с ю д а д о о ч е в и д н о с т и я с н о, ч т о с и л а с т о л ь ж е в е л и к а, к а к и е е п р о я в л е н и е, т а к к а к в н и х з а к л ю ч а е т с я о д н о и т о ж е д в и ж е н и е. Это и есть диалектический принцип относительности Декарта.

Теперь, еще два последних замечания относительно понимания этого принципа и понятия движения.

1) Я обозначил принцип Декарта, как „диалектический" принцип. Не является ли это слово просто модным термином, прибавленным для красоты слога? Тот, кто это подумает, докажет, что он не понял существа принципа Декарта. Дело в том, что древние и средневековые мыслители также признавали реальность и модальность движения. Но эта реальность и модальность были отдалены друг от друга. Вот почему до Декарта мыслители не понимали закона инерции или—что то же самое—закона сохранения движения (энергии). В древности и средневековьи думали, что реальность движения так же расходуется на прохождение пространства (модальность), как дрова на горение. Поэтому тело, находящееся в состоянии изоляции и в равномерном движении, должно было, с этой точки зрения, в конце концов, остановиться—в момент, когда все движение и з р а с х о д у е т с я. И только учение Декарта, в котором реальность и модальность диалектически связаны, положило начало новой физике, основной закон которой—это закон сохранения движения (энергия). О значении этого закона говорить, конечно, не приходится.

Любопытно в связи с этим привести самый блестящий пример диалектического движения мысли. Древность и средневековье не признавали закон сохранения движения. Как антитезис возникло сильнейшее течение искателей perpetuum mobile (вечного движения). И вот эта именно задача привела, как указывает Гельмгольц, к закону сохранения движения, но не в смысле искания вечного движения, а в высшем синтетическом смысле постоянства сумма кинетической и потенциальной энергии.

2) Критикуя Аристотелевское понятие движения (и материи), я имел в виду физику. Если из этой области перейти в область общественных наук, то тут необходимо признать, что учение Аристотеля оказало известные услуги. Гегель и Карл Маркс очень высоко ценили диалектику Аристотеля.

Причина такого различия отношений одного и того же учения заключается в том, что общественные науки (и частично так называемые „неточные“ естественные дисциплины) имеют дело с объектами громадной сложности, основная особенность которых—это наличие „внутреннего состояния“ (психизм). Конечно, в итоге всякое общественное движение—это (внешне) пространственное движение материи, но эта характеристика, которая в физике означает почти все—в истории или политической экономии, например, говорит очень мало и является тем locus communis какого-нибудь Спенсера и др., над которыми так иронически смеялся Маркс. Вот с этой именно точки зрения можно говорить, что механическое мировоззрение, т.-е. внешнее описание мира, еще недостаточно для диалектического материализма. Как мы увидим из дальнейшего, оно даже недостаточно для физики, в которой приходится рассматривать „реальность движения“, т.-е. его качество.

Но никогда не следует забывать руководящего методологического значения механической картины мира. И тем более,—в физике, когда приходится говорить (вследствие сложности объекта) об аристотелевских материи, форме и движении, т.-е. о чем-то, что движется, но точная материальная форма и пространственное движение которого еще неизвестны даже приблизительно. Так, тепло, магнетизм, электричество были сначала некоторыми „движущимися (т.-е. изменяющимися) материями“ Аристотеля и лишь современная наука выяснила, что тепло—это молекулярное движение, магнетизм—вихровое, а электричество—поступательное. Но ни один серьезный мыслитель никогда не забывал, что механика—фундамент физики.

4. Инерция, масса и непроницаемость.

Установив понятие движения, мы можем перейти к основному вопросу гносеологии и физики: как возможно движение в абсолютно наполненном пространстве. Этот вопрос волновал мыслителей древности [1])—его вновь поставил Декарт. Решение Декарта таково: 1) Не существует резко ограниченных движений, подобно тому, как не существует в природе „геометрических точек, линий и поверхностей“. Только чувственное воображение приводит к „абсолютной изоляции“ предмета от мира—это результат ограниченности наших органов чувств. И так как „intellection“ (понимание) нельзя отождествлять с imagination (воображением), то необходимо это понять, как мы понимаем иррациональное число. 2) Такое реальное движение первой материи совершается циклически, т.-е. по замкнутой кривой. Это и есть знаменитая теория вихревого движения. Для пояснения решения Декарта приведу пример вихревого движения „идеальной жидкости“, т.-е. первой материи Декарта. Пусть жидкость вращается вокруг некоторой бесконечной оси. Математический анализ, основанный на гидродинамических ур-ниях Гельмгольца, приводит к следующему описанию такого вихревого движения. На известном очень малом расстоянии (r_0) от оси жидкость вращается как одно целое с постоянной угловой скоростью, подобно твердому телу ($\omega = const$) — получается то, что называется вихревой линией (в общем случае—вихревой шнур); угловые же скорости вращения при $r_1 > r_0$ определяются следующей формулой:

$$\omega r = \frac{Const}{r_1^2},$$

1) См. превосходное сочинение Таннери. Первые шаги древне-греческой науки.

т.-е. скорости непрерывно убывают вплоть до 0 в бесконечно большом расстоянии от оси ($r_1 = \infty$). Общая формула такого вихря—вихревой линии—будет:

$\omega = \frac{Const}{r^2}$, при чем для $r < r_0$—необходимо принят $\omega = \omega_0 =$ постоянной во избежание получения $\omega = \infty$, при $r = 0$. Пусть теперь читатель попробует „вообразить", „представить" себе то, что так ясно дается математической формулой. Как совершается этот непрерывный переход угловых и, следовательно, линейных скоростей от определенной величины к нулю? Это можно только понять, но не представить, точно так же, как можно понять, но не представить себе тысячеугольник или расстояние от земли до солнца (пример Декарта). Нельзя указать, где кончается вихрь. Ось вихря—это центр вихря, но границы этот вихрь не имеет.

Согласно гипотезе Декарта: всякое конкретное движение и всякое конкретное тело результат вихревого движения. Эта знаменитая гипотеза, благодаря работам Гельмгольца (Гидродинамические исследования, Теория моно- и полициклических движений), обоих Томсонов и других ученых превратилась из философской доктрины в удивительное научное здание.

После опыта Майкельсона, в связи с „исчезновением" эфира из области науки, подобного рода учения многим „модным ученым" показались и кажутся „устарелыми". Я приведу только слова самого Майкельсона (Световые волны), стоящие вслед за описанием его знаменитого опыта: „Из этих гипотез (гипотез эфира) наиболее многообещающей является теория эфирных вихрей".

Учение о вихревом движении и о „вихрях", как основе конкретной материи—вполне диалектически-материалистическое учение. Как указывает В. Томсон (статья On Vortex Atom), основное преимущество „вихревого атома" перед атомом Демокрита-Эпикура (метафизический атом) в том, что вихревой атом бесконечно разнообразен, так же, как бесконечно разнообразно образующее его движение. Правда, согласно основной теореме Гельмгольца, для „идеальной жидкости" (без трения) „вихрь" подчинен закону сохранения, подобно тому, как когда-то атом Демокрита был неделим и вечен. Но так как „идеальная жидкость"—это абстракция, а действительная материя обладает „трением", т.-е. движение переходит от одной части в другую, то закон сохранения вихря—чисто относителен, подобно такому сохранению химического атома... И как в речной воде могут возникать и исчезать вихри, так и в реальном пространстве, при особых условиях, может происходить то же самое.

Итак, согласно Декарту-Гельмгольцу-Томасу, вихревое движение первоначальной материи—основное движение природы. Но так как это движение непосредственно относится к „материи, как чистому протяжению", то ясно, что масса здесь совпадает с „количеством вещества", пропорциональном объему [1]). Что такое в самом деле масса

[1]) Всякий знакомый с гидродинамикой идеальной жидкости и учением об электромагнетизме, знает, что в них фигурирует: непроницаемость в виде „абсолютно несжимаемой жидкости" или „электричества", что выражается аналитической формулой:

$$\frac{du}{dx} + \frac{dv}{dy} + \frac{dw}{dz} + m = 0;$$

и масса m (плотность), как абсолютная масса (плотность) этой жидкости.

тела? Это связано с понятием инерции. Понятие это кажется многим очень земным—такой результат получился благодаря тому, что Ньютон назвал инерцию „силой“ (vis inertia). На самом деле нет ничего яснее его. Всякая материя, обладающая движением, как реальностью, а не только модальностью, способна передавать его другим (терять) и получать его от других тел. Если такой потери и передачи нет, то тело сохраняет состояние покоя (относительного) или движения (равномерного) [1]. Это и есть инерция. Но если тело теряет или получает движение, т.-е. замедляет или ускоряет свое первоначальное (инертное) состояние, то тут выступает на сцену „масса“. Это понятие, прежде всего, зависит от количества материи тела—назовем его тогда „абсолютной массой“. Вообразим, что у нас имеется некоторое количество „первой материи“, т.-е. материи, лишенной всякого движения. Это количество определяется объемом, так как существенный признак такой материи—протяженность. Если мы придадим этому количеству материи известное количество движения, то его окончательная скорость, и значит ускорение, будет зависеть от количества вещества или объема. В два раза больший объем получит в два раза меньшее ускорение, ибо данное количество движения распределится на двойное количество вещества—и так как движение одновременно модальность, то ускорение получится в два раза меньше. Это выражается абсолютной формулой Декарта-Ньютона F (сила) = количеству движения в сек. =

$$\frac{m.v}{t}\left(\text{точнее: } m.\frac{dv}{dt}\right).$$

Но вообразим, что мы данное количество движения сообщаем не „абсолютной материи“ (чистой), а конкретной материи в виде вихря или системы вихрей. Что же получится тогда? Получится усложнение понятия массы. Действительно, сообщаемое количество движения разделится на три части: 1) отраженная часть, 2) поглощенная часть и 3) часть „поступательного и вращательного видимого движения“.

В самом деле, как доказал Гельмгольц в своей теории вихрей и что подтверждено непосредственными опытами, всякий вихрь обнаруживает „силы упругости“, т.-е. похож на резиновый мяч. Что вихрь способен „увлекать“ во внутрь движущееся тело—это знает всякий, кто видел водоворот. И, следовательно, как всякий луч света (известного рода вихревое движение) отражается, поглощается и, преломляясь (т.-е. изменяя скорость), идет дальше сквозь тела, точно так же при всяком „механическом“ движении происходит то же самое. И вот исторически дело обстояло следующим образом: Ньютон, который полагал, что весомая материя состоит из „абсолютной материи“, т.-е. однородной в частях и без внутреннего движения, определил массу пропорционально объему и плотности (т.-е. числу атомов в единице объема), но наука понимала, что понятие массы не столь просто. Действительно, инертная масса определяется

---

[1]) Я пользуюсь формулировкой Декарта-Герца, ибо, согласно Ньютону, вместо равномерного необходимо поставить „равномерно-прямолинейного“. Ясно что, так как не существует „изолированных систем“, то закон инерции—абстракция. Вследствие непонимания основ механики Ньютона, этот простой закон превратился в нечто мистическое. Ищут, к какой „системе координат“ отнести „прямую“, по которой движется по инерции тело. Но с таким же точно правом можно искать точку, в которой оно по инерции „покоится“. Странно, что слово „покой“ не наводит многих на мысль, что закон инерции нечто иное, как абстрактный закон сохранения движения, и что слово „прямое“ значит „неизменное“.

ные в физике, как коэффициент, **характеризующий видимый** результат сообщения движения: в случае равномерно-ускоренного прямолинейного движения это простая масса, в случае вращательного—так называемый момент инерции. И ясно, что априори нельзя вывести, будет ли этот коэффициент постоянным или нет. Ньютон из опыта (падение тел в пустоте) пришел к заключению, что этот коэффициент должен быть постоянным. То же самое заключил Лаплас на основании соображений небесной механики (см. Небесная механика, т. I). Опыт „малых скоростей“ подтвердил это допущение. Но опыт „больших скоростей“ показал, что при быстром движении большая часть сообщаемого движения начинает переходить во внутрь, распределяясь в окружающей бесконечной среде. Масса сделалась переменной величиной. Предоставив разъяснение некоторых деталей этого факта дальнейшему изложению, перейду к вопросу о непроницаемости. Я сказал, что абсолютная материя—абсолютно непроницаема. Но является ли таковой конкретная материя, состоящая из вихрей? Никоим образом. Это можно понять из простого наблюдения волнового движения. Что такое волна? Это— „**двигательный модус**“ газа, жидкости или твердого тела. Общеизвестно, что при волновом движении среда „неподвижна“, а распространяется движение. И вот явление интерференции показывает, что **в одном и том же месте** среды могут одновременно существовать (стоячие волны) и проходить много волн. В пучностях, например, волновые движения складываются в узлах—уничтожаются или ослабляются. И вот движение вихрей в среде, как это можно доказать на основании знаменитого закона сохранения вихрей Гельмгольца, не что иное, как волновое движение [1]. Правда, вихри при обычных скоростях отталкиваются и притягиваются, сохраняя свою индивидуальность, подобно электрическим зарядам. Но что происходит при скоростях, равных скорости света, при каковых скоростях и происходит интерференция света и электромагнитных волн? [2]). В специальной работе „Теория кинетического потенциала и всемирное тяготение“ я доказываю, что при такой скорости исчезает непроницаемость конкретной материи и тела могут „существовать“ в одном и том же месте одновременно и проходить „друг сквозь друга“ подобно рентгеновым лучам [3]), пронизывающим насквозь весомую материю. В этом решение знаменитой загадки всемирного тяготения, которая давно решена Риманом. Но Риман не понимал понятия движения и запутал свое решение „четвертым измерением“, в котором нет никакой необходимости. Такова проблема непроницаемости. Из столь кратких слов трудно понять и освоиться со столь необычным взглядом. Но я надеюсь, что в недалеком будущем, опубликовав свой трактат по истории мышления и физических проблем,

[1]) Наиболее яркой иллюстрацией мысли будет положение: когда человек переходит из „одного места пространства“ в „другое“, то переходит, собственно говоря, „форма его движения“—та форма, которая в сочетании с материей и образует „индивидуум“. Конечно, как при движении волн жидкость не остается абсолютно неподвижной в остальных частях, точно так же при движении „весомой материи“, особенно электричества, образуются дополнительные возмущения. Теория Лоренца о движении „электрических узлов“ тождественна с этой теорией,—об этом дальше.

[2]) Как нетрудно сообразить, вихревая теория материи тесно связана с теорией квант. Планк в речи „О свете“ ставит один „темный вопрос“ теории квант: как совместить закон сохранения энергии с интерференцией квант. Вопрос об интерференции вихрей ставит ту же проблему.

[3]) Я не помню, какой ученый предлагал решение проблемы тяготения на основании свойств рентгеновых лучей. Это—неверный путь.

сумею убедить читателя, что наука медленно и неуклонно ведет к такому „очищению наших основных понятий“.

В заключение отмечу важный пункт, именно: различие между законом сохранения материи и законом сохранения масс. Первый закон—это аксиома природы и правильного мышления, аксиома, вытекающая из самого понятия материи, образованного бесконечным опытом человека, как абсолютной реальности. Нельзя мыслить материю возникающей из „ничего“ и превращающейся в „ничто“. Второй закон—опытный факт, проверенный впервые Лавуазье помощью весов. И если современная наука говорит, что „массы“ не сохраняются, то в этом нет ничего удивительного. К сожалению, схоластика, пользуясь неопределенностью слов, играет словами и пользуется этим фактом, чтобы заявить: материя не вечна (ибо она не сохраняется. Об этом необходимо предупредить читателя).

5. Принцип диалектической относительности Декарта в механике Ньютона.

Определение II „Математических начал натуральной философии“ [1]) гласит: „Количество движения ($m \cdot v$) есть мера такового, устанавливаемая пропорционально скорости и массе“. Второй основной закон механики говорит: „изменение количества движения пропорционально приложенной движущей силе и происходит по направлению той прямой, по которой эта сила действует“ ($F = \frac{d(m \cdot v)}{dt}$). В „Поучении“ к определениям Ньютон так формулирует задачу своего труда: „Нахождение же истины движений тел по причинам (силам), их производящим, по их проявлениям и по разностям кажущихся движений, и, наоборот, нахождение по истинным или кажущимся движениям их причин (сил) и проявлений излагается подробно в последующем. Именно с этой целью и составлено предлагаемое сочинение“. Здесь обнаруживается сущность метода Ньютона. Он понял, что природа бесконечно сложна и что существуют движения вроде тех, которые обусловливают механизм тяготения, которыми человеческий ум не в состоянии сразу овладеть. Испробовав свои силы на опыте построения тяготения, на гипотезе вихрей—Ньютон понял, что эта задача пока неосуществима, и ввел понятие „силы“, но, как видно из определения II и второго закона, сила отождествляется с ее проявлением, как количество движения в единицу времени. В определении IV Ньютон подчеркивает: „Приложенная сила есть действие, производимое над телом, чтобы изменить его состояние покоя или равномерного прямолинейного движения. Сила проявляется единственно только в действии и по прекращении действия в теле не остается“. (Стр. 25). На основании этих определений и законов, Ньютон формулировал первую часть диалектического принципа относительности (движение, как проявление)—правило параллелограмма сил:

„При силах совокупных тело описывает диагональ параллелограмма в то же самое время, как его сторона при раздельных“. Доказательство основано на законе сложения перемещений.“ Академик Крылов в примечании указывает: „формулировка этого следствия представляется при теперешнем изложении необычайной и доказательство как бы ей несоответствующим“. Это замечание доказывает,

[1]) Перевод А. Крылова, Петроград 1915 г., стр. 23.

что академик Крылов, как и многие другие, не зная истории Ньютоновой физики и ее действительных принципов, не в состоянии понять, почему Ньютон рассматривает закон параллелограмма, как следствие своих определений и законов. Вторая часть диалектического принципа относительности (реальность движения) получает научную (т.-е. пригодную к фактическому приложению) формулировку в III законе механики: „**действию всегда есть равное и противоположное противодействие**, иначе взаимодействия двух тел друг на друга между собой равны и направлены в противоположные стороны". Пример: яблоко падает на землю. С точки зрения принципа Декарта движение относительно, но как распределить его как реальность между телами? Ньютон отвечает: пропорционально массам. Если сила взаимодействия F, а массы земли и яблока M и m, то ускорение земли $G_1 = \frac{F}{M}$, а ускорение яблока $G_1 = \frac{F}{m}$. В „Поучении" к определениям Ньютон дает доказательство абсолютности движения: ведро с водой вращается на веревке; до тех пор пока движение относительно, т.-е. двигается только ведро, не увлекая еще воды, поверхность воды остается плоской. Но в тот момент, когда относительное движение ведра и воды прекращается, т.-е. ведро увлекло за собой воду, обнаруживается результат абсолютного вращения воды—она искривляет свою поверхность. Этот опыт доставил много хлопот схоластике, которая борется против диалектики. Мах, рассматривая этот опыт, прибег к софизму: мы, де, не знаем, как бы вела себя вода при относительном движении, если бы стенки сосуда были шириной в несколько километров. Софистика, по определению Гегеля,—это учительница, обучавшая человечество диалектике. Эйнштейн воспринял софизм Маха и превратил стенки сосуда в... физическое пространство, но, ведь, это именно и хотел Ньютон: абсолютное движение—это движение относительно стенок сосуда, называемого пространством. Ньютон замечает: „Распознание истинных движений отдельных тел и точное их разграничение от кажущихся весьма трудно, ибо части того неподвижного пространства, о котором говорилось и в котором совершаются истинные движения тел, не ощущаются нашими чувствами. Однако это дело не вполне безнадежное". Ньютон дает несколько примеров и говорит, что его труд и написан с такой целью (цитировано выше). Какова должна быть точка зрения диалектики на вопрос об определении абсолютных движений? Ответ ясен: абсолютное в диалектике—это идеальная цель познания. Ньютон в своем определении абсолютного пространства не употребляет термина „бесконечный" [1]). У такого строгого мыслителя, как Ньютон—это не случайность. Не забудем, что Ньютон состоял профессором в том же университете, где учил Г. Мор, трактовавший о не-Евклидовом пространстве [2]). Ньютон, без сомнения, знаком был с этой идеей и возможно считал наше пространство безграничным, но не бесконечным [3]). Если это не так, то в утверждениях Ньютона заключается ошибка метафизического ума. Действительно, говорить об окончательном определении движения относительно пространства (то, что называют абсолютным движением) можно только в том случае, если пространство конечно, т.-е. пред-

---

[1]) Абсолютное пространство по самой своей сущности безотносительно к чему бы то ни было внешнему, остается всегда одинаковым и неподвижным.

[2]) См. Zimmerman, H. More und die 4 Dimension des Raumes.

[3]) Я не имел возможности точно выяснить этот важный вопрос.

тавляет нечто вроде гигантского сосуда. Иначе всякий может твердить, что в отдаленнейших расстояниях существует тело (тело Альфа К. Неймана), относительно которого данное тело, или система тел, абсолютное движение которых мы будто бы нашли, имеет дополнительное равномерно-прямолинейное движение. Для выяснения своей мысли напомню об опыте Майкельсона. Допустим, что этот опыт удался, и мы нашли „абсолютную скорость земли в эфире". Но кто же может помешать утверждать, что сам этот эфир движется равномерно-прямолинейно в бесконечном пространстве? Когда некоторые кричат об „абсолютах", которые будто бы заблуждающиеся физики искали в опыте Майкельсона, то это—злосчастная игра словами. Пуанкаре, враг абсолютов, обсуждал этот вопрос (Ценность науки) и не мог возразить ничего путного против вышеприведенного замечания.

Правильную, т.-е. диалектическую, постановку вопроса дал Максвелл. В известной работе „Материя и движение" он сравнивает пространство с бездонным (бесконечным) морем, по которому мы плывем без лота. Признавая пространство бесконечным, Максвелл признавал движение бесконечным, т.-е. идеальной целью познания. Он говорит (стр. 18): „Но кто попробует представить себе ум, способный знать абсолютное положение точки, навсегда затем удовлетворится нашим относительным знанием". И далее: „когда человек приобрел привычку **соединять слова друг с другом, не утруждая себя тем, чтобы продумывать соответствующие им мысли**, то ему легче противопоставлять такое относительное знание так называемому абсолютному и выставить наше незнание абсолютного положения точки, как пример ограниченности наших способностей". Эти замечания попадают не в бровь, а в глаз схоластических метафизиков.

В статье „Эфир" [1]) Максвелл указывает, однако, что определение скорости относительно некоей среды, которая, без сомнения, вполне реальна, является „вполне научной задачей". Как известно, Максвелл именно один из первых, предложил опыты для определения влияния движения на электромагнитные процессы. Противоречат ли себе Максвелл или Ньютон (если даже последний считал пространство бесконечным)? Ни в коем случае. Мы будем определять реальные движения, но если это не движения в „конечной инстанции", и они не удовлетворят жажды „абсолютного" некоторых метафизиков, то следует пожалеть о столь абсолютном непонимании диалектики природы и смешных претензиях этих метафизиков исчерпать бесконечность до конца. Схоластическим же крикам об „абсолютах" следует придавать такое же значение, какое имеют крики и барабанные бои китайцев, старающихся испугать дракона, затмевающего солнце.

Заключение: Таким образом, с точки зрения диалектического принципа относительности: 1) ни одна часть пространства не имеет привилегированного значения—всем необходимо приписать ту или иную меру движения и любую, с той или иной целью, полагать неподвижной. 2) При распределении реального движения между частями пространства необходимо исходить из философских и научных принципов (принцип простоты, закон действия и противодействия и др.), проверяемых всей совокупностью опыта.

1) The Scientific Papers, t. I.

6. Диалектическое развитие физики от Декарта до Эйнштейна.

Развитие физики с точки зрения принципа относительности Декарта шло следующим путем: после тщетных попыток создать чисто картезианскую физику, ученые стали на благоразумную диалектическую точку зрения Ньютона. Они разрабатывали Ньютоновский тезис: мир, как совокупность атомов Демокрита, связанных со средой математическим законом тяготения. Делались многочисленные попытки механически истолковать сам закон; в этом направлении имеются важные достижения, но в общем он оставался „задачкой". На основании принципов и законов Ньютона совершенствовалась механика (д'Аламберт, Эйлер, Лагранж, Вариньон, Пуансо), астрономия превратилась в точнейшую из наук (механика неба Лапласа). Кулон формулировал для электромагнетизма закон, аналогичный закону тяготения, а Ньютон—электричества (определение Максвелла). Ампер дал математическую теорию электромагнетизма, которая вместе с теорией Вебера, работами Гаусса, Пуассона, Коши, Нейманнов является ценным научным вкладом и представляет и поныне не только один исторический интерес, как это утверждают те, кто плохо понимает диалектику научного движения [1]; Фурье написал „Математическую теорию теплоты", а Лаплас „Теорию капиллярности", пользуясь методом Ньютона; Джауль Майер и Гельмгольц открыли закон сохранения энергии, при чем Гельмгольц дал математическое обоснование, исходя из понятия ньютоньянских (консервативных) сил. Это течение развивалось в дальнейшем Карно Клаузиусом, Максвеллом и Больцманном—творцами механической теории теплоты и кинетической теории газов. Но оставалась одна область—электромагнетизм и оптика, в которой, несмотря на выдающиеся успехи отдельных умов, как Гюйгенс, Ампер, Вебер, Френель, чувствовалось научное бессилие. Главный критерий истины—это практика. Механика, теория теплоты и газов, химия—нашли свое блестящее практическое оправдание в практической астрономии и технике. Оптика, правда, сделала большие практические и теоретические (Гюйгенс, Ньютон, Малюс, Френель) успехи, но это было скорее savoir, нежели prévoir, хотя открытие (Гамильтоном) чисто-математическим путем явления конической рефракции показывало, что оптика Френкеля—твердый фундамент науки. Что касается электромагнетизма, то это была скорее школьная мудрость, которая сосредоточивалась в кабинетах и лабораториях ученых. Но вот выступает на сцену Фарадей. В качестве подмастерья он читает у хозяина-переплетчика книгу Эйлера „Письма к немецкой принцессе", где Эйлер защищает гипотезу эфира. Гениальный Фарадей, едва знавший четыре правила арифметики, скоро превращается в члена 70 академий, хотя по скромности упорно отказывается от этого звания. Электромагнетизм выступает на широкую дорогу „Предвидения" и превращается в электротехнику. Максвелл создает математическую форму „материи" Фарадея, и это—единственный случай в физике, когда эта Аристотелевско-схоластическая материя и форма сделали нечто полезное. И вся критика Максвелла превращается в жалкий прах при одном

[1] Впрочем, авторитетный академик Хвольсон в последнем издании „Курса физики" отмечает, что ныне как будто возвращаются к идеям Ампера-Вебера. Как известно Франц и Карл Нейманны мужественно защищали электроатомистические взгляды Ампера-Вебера. Герц сделал известную попытку примирить школу атомизма со школой непрерывности (Максвелла-Фарадея). Диалектик сразу же поймет смысл этого движения. Теория электронов Лоренца и является, собственно говоря, таким синтезом, о чем будет речь ниже.

упоминании о том, что его теория за 25 лет предсказала величайшее практическое и теоретическое открытие нашего времени—электромагнитные волны Герца. Оптика, наконец, превратилась из кабинетной теории в широкую практику величайшего значения в настоящем, но еще большего в будущем (проблема беспроволочной передачи энергии). Но в антитезе Фарадея, как и в тезисе Ньютона, существовала „неполнота конкретного бытия". Тот же Фарадей открыл законы электролиза, в котором главную роль играют ионы, т.-е. как бы самостоятельно существующие атомы электричества. Необходим был синтез „тезиса" (атомизм) и антитезиса (непрерывность). Его дал Лоренц в своей теории электронов. Каков фундамент этой теории? В знаменитой работе: „Опыт теории электрических и оптических явлений в движущихся телах" [1]) Лоренц дает краткое, но ясное и точное понятие об этом.

Т. Тимирязев очень удивляется эфиру Эйнштейна, в котором „нет частей" и к которому „неприложимо понятие движения". Но почему не удивляется он эфиру Лоренца? Эфир Эйнштейна мало чем отличается от эфира Лоренца и, более того, о таком роде эфира усиленно рассуждали древние физики [2]) и все великие ученые и философы нового времени (Декарт, Спиноза, Ньютон, Лейбниц, Эйлер, Кант и др.). Как я указал уже, основной упрек, бросаемый защитниками „абсолютной пустоты" сторонникам непрерывной материи заключается в том, что „*невозможно представить себе, как возможно движение в непрерывной среде, без частей (реальных, а не геометрических)*". Оставляя этот вопрос в стороне, замечу, что прав Эйнштейн, указав (в речи „Эфир и принцип относительности"), что Лоренц оставил эфиру единственное механическое свойство—неподвижность (правильнее—протяженность). Обсуждая взгляды Френеля (неподвижность эфира) и Стокса (увлекаемый эфир), Лоренц высказывается за первую гипотезу. Но как происходит движение материи в таком эфире? Лоренц отвечает: я в дальнейшем буду исходить из гипотезы, „что весомая материя абсолютно проницаема, именно, что на месте атома существует также и эфир, что можно понять, если рассматривать атомы *как местные модификации эфира*". Мы видим, что эта гипотеза Лоренца удивительное подтверждение правильности воззрений картезианской физики. Лоренц указывает, что он, как ученый, довольствуется этой гипотезой, не углубляется далее в природу эфира, но предостерегает читателя от смешения эфира с обычной жидкостью. Скажу кратко: *эфир Лоренца—это Евклидово пространство, как физическое тело, единственное свойство которого—это протяженность и движение*. Природа этого движения—неизвестное, которое Лоренц называет электроном. Электрон—это узел в эфире, т.-е. центр некоторого движения (сложно-вихревого, без сомнения). Движение этих узлов, согласно Лоренцу, тождественно с движением волн по „неподвижной" поверхности воды, при чем такое движение вызывает в эфире „электромагнитное поле", подчиненное законам Максвелла-Герца-Лоренца. Эти законы и дают „формальную механику" эфира (пространства) и, как справедливо говорит Ми, законы электромагнетизма—это „*механические законы пустоты (пространства)*". Если эти законы не совсем совпадают с законами гидродинамики (но

1) Lorenz. Versuch einer Theorie der elektrischen und optischen Erscheinungen in bewegten Körper. Leipzig 1906

2) Рекомендую упомянутую книгу Т а н н е р и: Первые шаги древне-греческой науки; специально: E. T. W h i t t a k e r, A history of the theories of Aether and Electricity, 1910.

достаточно близко, что видно из „аналогии вихревых движений Гельмгольца-Томсона с электромагнитными движениями), то необходимо их согласовать. Механика строилась как априорная наука из атомистических представлений Ньютона, эта механика распространялась на „идеальную жидкость гидродинамики", но все гидравлики знают, насколько сложнее реальная жидкость. Реальный эфир тоже своего рода жидкость, и его законы необходимо сложнее законов идеальных жидкостей—вот почему так трудно дать „механическую интерпретацию", законов Максвелла-Герца, которые подтверждаются конкретным опытом, т.-е. являются законами реальной среды. Но тот, кто не запутался в дебрях схоластики, сразу видит в аналогии гидродинамических ур-ий вихрей и законов электромагнетизма не простую случайность, а соотношение всякой абстракции к конкретному, подобно соотношению идеального (абстрактного) треугольника геометрии к действительному треугольнику природы. В теории Лоренца имеется, однако, чрезвычайно странное допущение, которое привело к кризису этой теории. Принцип относительности Декарта-Ньютона находит свое подтверждение в подавляющем количестве механических явлений. И так как имеются серьезные основания думать, что все явления природы—это механические движения, то весьма странным казалось отрицание этого принципа в теории Лоренца. Лоренц именно предположил, как основной закон своей теории: независимость скорости распространения света от движения источника. Если мы бросаем камень с движущегося парохода, то к собственной скорости камня прибавляется скорость парохода, но если мы пускаем луч света с парохода, то это, согласно Лоренцу, не имеет никакого влияния на скорость света. Каковы основания такого на первый взгляд парадоксального допущения? Единственное основание то, что вся совокупность электрооптического опыта говорит за „постоянство скорости света в пустоте"[1]. Получилось противоречие—диалектическое противоречие—между областью механики и областью электромагнетизма и оптики. Необходим был experimentum crucis. Таким экспериментом явился знаменитый опыт Майкельсона-Морли, повторенный несколько раз с величайшей тщательностью. Дилемма опыта такова: „если природа—механическое движение материи и, следовательно, подчиняется основному закону механики—принципу относительности Декарта, то опыт должен дать отрицательный ответ и, следовательно, области оптики и электромагнетизма должны быть включены в область механики; если же область оптических и электромагнитных явлений—это область sui generis (особого рода), то опыт Майкельсона должен дать положительное указание". Эту дилемму необходимо пояснить. Ведь, задача определения движения тела относительно среды (парохода относительно воды) вполне возможна. Почему же в данном случае она находится в противоречии с законами механики? Дело в том, что принципиально нет разницы между движением камня, брошенного с парохода, и пущенным с него лучем света. Как ясно из вышеизложенной вихревой теории—и то и другое вихревые волны в пространстве, отличающиеся только формами составляющих движений. Теория квант очень наглядно указывает на этот пункт. И так как законы механики обязательны для тел, то они должны быть обязательными для света (квант), в усложненной, однако, форме (диалектически). Опыт Майкельсона, повторенный несколько раз

[1] Иначе говоря, скорость света—это предельная скорость природы.

(1881, 1887, 1904, 1909), дал отрицательный ответ. Это—великая победа механической картины мира и, следовательно, диалектического материализма, который полагает, что все явления природы—это движение материи". Рухнула стена между механикой, оптикой и электромагнетизмом: все подчиняется принципу относительности. Возник, однако, очень сложный вопрос: как быть с теорией Лоренца? Эта теория представляла собой последнее слово науки, объединяя весь существовавший наличный материал науки, объясняя столь тонкие явления, как явление Зеемана, которые раньше оставались загадочными [1]. Теория эта хорошо согласовалась со всеми опытными данными, противореча только одному опыту Майкельсона, к которому присоединился, с тем же отрицательным результатом ряд специальных электрических опытов [2]. Были предложены три решения.

W. Ritz [3]) предлагал просто признать скорость света, зависящей от движения источника света, т.-е. вернуться к ньютоновским представлениям о свете. Но сделать это, значит вычеркнуть больше 2 столетий развития физики и кроме того этому взгляду остро противоречит спектроскопическое наблюдение движения физически связанных двойных звезд [4]).

Второе решение принадлежит самому Лоренцу и физику Фицжеральду. Это решение и образует теорию относительности, понимаемую в материалистическом смысле. Сущность решения сводится к следующему: в материалистические формулы электромагнетизма и оптики входят 4 основных величины: пространство (сантиметр), время (секунда), масса (грамм) и постоянный коэффициент $C = 300000$ = скорости света, при чем некоторые величины (длина и время, коэффициент C) входят непосредственно, а другие—скрытыми в таких символических выражениях, как „сила электрического поля" (E) или „сила магнитного поля" (H), ибо сила, согласно определению Ньютона, не что иное, как произведение массы на приращение скорости в единицу времени ($F = m.\frac{dv}{dt}$), т.-е. слагается из элементов массы, длины и времени. Ясно, что если желательно при рассмотрении явлений в движущейся системе (свет распростр. с движущ. земли) оставить неизменным коэффициент C, равный скорости света, необходимо как-то трансформировать остальные величины. Эти трансформации и дали Лоренц-Фицжеральд [5]), и они известны под названием „трансформаций Лоренца"

$$x' = \frac{x_1 - vt}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \quad \ldots (1)$$

---

1) Здесь очень хорошо видно диалектическое движение познания: Ньютонова относительность в механике (тезис) в теории Лоренца нашла свое отрицание (антитезис), благодаря опыту Майкельсона получился синтез: относительность высшего порядка.

2) „См. Новые идеи в физике", III, статья Бурсиана, а также M. Laue: Die Relativitätstheorie, § 2.

3) Ann. d. chim. et phys. 13, 145, 1908. Scientia 5, 1909.

4) Phys. Zeitschr., 14, 429, 1913. статья W. de Sitter'a.

5) Лицам, знакомым с математической теорией вопроса, напомню, что речь идет об инвариантности ур-ния распространения электромагнитных возмущений в пустоте:

$$\Delta \varphi = \frac{1}{c^2} \frac{d^2 \varphi}{dt^2}, \quad \text{где } \varphi = E \text{ или } H$$

$$t_0 = \frac{t_1 - \frac{vx}{c^2}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \quad . \quad (2)$$

где x_1, t_1 *и* m соответствуют движущ. системе, x_0, t_0 и m_0 неподвижной.

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \quad . \quad (3)$$

В переводе на простой язык эти преобразования означают: 1) всякая длина при своем движении параллельно самой себе изменяет свою величину в зависимости от скорости движения (v), согласно формуле (1) [1].

2) Всякое время (t_1) отсчитываемое на часах движущейся системы изменяется в отношении времени (t_0), отсчитываемого на часах системы, скорость которой равна 0, согласно формуле (2), т.-е. в зависимости от скорости (v) и места (x) [2].

3) Масса движущегося тела (m_v) изменяется со скоростью v, при чем соотношение между m_v (массой при скорости v) и m_0 (массой при скорости 0) дается формулой (3) [3].

Эти изменения длины, хода часов и массы могут показаться с первого взгляда удивительными, но если немного подумать, то удивительным покажется утверждение, что могло бы быть иначе. Аристотель в конце первой главы „Метафизики“ замечает, что философы начинают с удивления. Они удивляются тому, что диагональ несоизмерима с основанием. Кончают они также удивлением: как это диагональ квадрата могла бы быть соизмерима с основанием? Действительно, обыденный опыт учит нас, что при всяком движении в какой-либо среде эта среда оказывает влияние на движение в зависимости от скорости. Если велосипедист едет со скоростью 16 верст в час, то 25% его энергии растрачивается на сопротивление воздуха. И не удивительно ли первоначальное предположение Лоренца о том, что электрон при движении в эфире остается неизменным? Если эфир—это не фикция, а реальная материальная среда, то эта среда должна влиять на движущийся электрон в зависимости от скорости движения. И так как материальные длины и часы состоят в конечном счете из электронов, то что же может быть более естественным,

[1] Величина $v.t$, фигурирующая в формуле, не играет роли, так как x это т. н. координата. Всякий отрезок имеет две координаты концов (x_1' и x_1''). Для получения длины отрезка необходимо взять разность координат. Легко видеть, что: $x_0' - x_0'' = l_0$ (длина неподвижного отрезка) $= \frac{x_1' - x_1''}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \frac{l_1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$, откуда l' (длина движ. стр.) $= l_0 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$, т.-е. длина движущегося отрезка уменьшается; при $v = c$, $l_1 = 0$.

[2] Из формулы для времени видно, что время „растягивается“ иначе: единица времени укорачивается при движении, т.-е. ход часов замедляется, каждая секунда движущихся часов содержит „больше времени“, нежели неподвижных; при $v = c$, $m = \infty$, т.-е. одна секунда движущихся часов соответствует ∞ неподвижных, иначе: движущиеся часы останавливаются.

[3] При $v = c$, $m_v = \infty$, т.-е. при скорости света масса тела бесконечна.

как сокращение этих длин при движении и замедление хода часов. Остается, конечно, вопрос о математической связи: утверждать, что изменения как раз такие, какие даются формулами Лоренца, несколько искусственно и в этом, действительно, как будто недостаток теории, но если вспомнить принцип относительности, то это не покажется столь странным. Но как быть с массой? Как объяснить увеличение массы? Я уже выяснил этот вопрос. Добавлю несколько соображений более „наглядного" и простого характера для читателя, который боится „абсолютов". Как сказано выше, понятие массы отнюдь не тождественно с понятием количества материи. В физике под массой понимают показатель (коэффициент), характеризующий сопротивляемость тела движению (ускорению). Для выяснения этого важного вопроса приведем пример. Вообразим себе рыбье царство. Рыбы не замечают среды, в которой живут, но прекрасно видят темные предметы. Допустим, что в воде имеются несколько тел, различной величины, формы и состава, которые тем или иным образом держатся внутри жидкости. Ученые рыбы приводят в движение тела и, выбрав одно из тел в качестве образца (эталона, грамм, например), определяют сопротивляемость остальных по отношению к образцу. Если, скажем, для сообщения эталону ускорения в единицу $1 \frac{см}{сек^2}$ скорости необходима какая-нибудь единица силы, а для сообщения того же ускорения другим телам необходимы 2, 3, 4 и т. д. единиц силы, то ученые рыбы скажут, что „массы" других тел равны 2, 3, 4 и т. д. единицам массы. Если эти определения происходят при малых скоростях, то главную роль играет „количество вещества" тел, и если в телах в 2, 3, 4 и т. д. раза больше вещества, чем в эталоне, то их „массы" будут также в 2, 3, 4 и т. д. раза больше эталона. Но представим себе, что рыбы придумали телам очень большие скорости, близкие к скорости света (300000 кил. в секунду) ясно, что сопротивление движению сильно возрастет, так как тела будут, во-первых, испытывать сильное трение, а, во-вторых, увлекать большие массы воды. „Масса" тел уже не будет больше представляться только количеством вещества, но также формой, величиной и скоростью. „Масса" тела, имеющего, например, форму подводной лодки, будет совсем не та, что масса тела той же поверхности и количества вещества, но шаровидной формы и иной скорости. Те из ученых рыб, которые не думают, что клопы—это только их привилегия и больше нигде не водятся, легко поймут этот простой факт, но те, кто упорно „не верит" в реальность водяной стихии, воспримут его „как факт", не подлежащий ни объяснению, ни даже разъяснению, как свойство мира, в котором мы живем" [1]), т.-е. превратят физику в мистику.

Совершенно и в точности таким же образом дело происходит в нашей физике. Мы являемся своего рода рыбами, живущими в среде, которая непосредственно не воспринимается нашими органами чувств. Декарт, который гениальным взором проник в тайны природы, формулировал в своей механике положение: „Можно утверждать с достоверностью, что камень неодинаково расположен к принятию нового движения или к увеличению скорости, когда он движется очень скоро и когда он движется очень медленно"

[1]) Хвольсон. Курс физики, т. 4, ч. 2, стр. 373. Изд. 1914 г.: „Принцип относительности".

(Из письма к Мерсенну) [1]). Но Ньютон понял, что прежде чем приступить к механике „больших скоростей“ необходимо создать механику „малых скоростей“, т.-е. обыденного опыта. Он определил массу, как количества вещества. В настоящее время принято кричать о крахе Ньютоновой механики, но это просто спекуляция на невежестве читателей в области истории наук. Тот, кто хоть раз потрудился открыть „Математические начала натуральной философии“, сразу же убедится, что Ньютон вполне **сознательно** установил свою механику „малых скоростей“. Вот первое определение „Начал“ [2]):

„Количество материи (масса) есть мера таковой, устанавливаемая пропорционально плотности и объему ее“.

„Воздуха двойной плотности в двойном объеме вчетверо больше, в тройном — вшестеро. То же относится к снегу или порошкам, когда они уплотняются от сжатия или таяния, которые в силу каких бы то ни было причин уплотняются. **Однако при этом я не принимаю в расчет той среды, если таковая существует, которая свободно проникает в промежутки между частицами.** Это же количество я подозреваю в дальнейшем под названиями тело или масса. Определяется масса по весу тела, **ибо она пропорциональна весу, что мною найдено опытами над маятниками, произведенными точнейшим образом**, как о том сказано ниже“. Томсон и Тэт в знаменитом „Natural Philosophie“ отмечают этот факт, без комментариев. Однако А. Крылов в примечании указывает: „Ни одно определение Ньютона не вызвало столько критических замечаний и столько толкований, как это первое“. Совершенно верно—но с чьей стороны? Со стороны тех, кто, заставив Ньютона выбросить из текста 1-го издания 9 основных гипотез, в которых говорилось об единстве вещества, фальсифицировали смысл „Начал“. Действительно, „опыты, произведенные над маятником точнейшим образом“ [3]), показали Ньютону, что „весомая и инертная массы равны“. Эйнштейну приписывают ту заслугу, что он „объяснил“ этот закон равенства инертной и весомой масс. Сам Эйнштейн говорит, что Ньютон оставил его без объяснения, но это неверно.

Объяснение Ньютона гораздо проще: в третьей основной гипотезе („Начала“, изд. 1687 г.) [4]) он выставляет принцип атомизма или однородности обычной материи (dura matter). Но это не была произвольная гипотеза, а гипотеза, основанная на твердом опытном факте. Но как, действительно, объяснить, что все тела, независимо от формы и состава, одинаково падают в пустоте? Ньютон отвечал: **так как они, очевидно, состоят из однородных атомов**, на вещество которых только и действует тяготение. Вот почему Ньютон мог определить количество вещества и массу пропорционально **плотности и объему**. Если считать материю неоднородной, такое определение абсурдно. И вот схоласты, никак не желающие допустить единство материального мира, критикуют Ньютона, обвиняя его в абсурде.

Когда теория относительности провозгласила закон изменения

---

[1]) Цитирую по работе Н. Умова: „Значение Декарта в истории физических наук“, в „Вопросы философии и психологии“ за 1896 г., книга 34, или собр. сочин. Н. Умова, том III.

[2]) „Начала“, стр. 22.

[3]) Проверенное знаменитым Бесселем, а в последнее время R. Eötvös'om (1891—19..г.), L. Southerns'ом (1910) и P. Zeemann'ом (1917).

[4]) Это редчайшее первое латинское издание „Начал“ можно видеть в библиотеке ...

массы, то схоластика объявила это откровением, низошедшим с неба. Мы видели, что этот факт был ясен Декарту и Ньютону. Более того. О нем говорил Эйлер, Лаплас в „Небесной механике", Якоби в знаменитых „Лекциях по динамике", Г. Герц в „Принципах механики", Кирхгоф в „Лекциях по механике" и, наконец, как справедливо отмечает тов. Тимирязев, Джозеф Томсон [1]). На русском языке появилась в 1897 г. книга И. Мещерского „Динамика точки переменной массы", в которой автор дает общую теорию такого движения. Но все это упорно замалчивается. И я убежден, что теорию относительности постигла бы та же участь, если бы не интерпретация этой теории, которую дал А. Эйнштейн.

З. Цейтлин.

(Окончание следует).

1) Целый ряд лиц рассматривал движение тела переменной массы с различных точек зрения: кроме поименованных можно указать на астрономов:
Dufour, „Sur l'acceleration séculaire du mouvement de la lune (C. R., t. LXII), Oppelter (Astr. Nach., Bd. 108), Гильден (там же, т. 109), Zeeliger (Ab. Bayer lc. ce II, Bd. 17), Tisserand (Mecanidne Céleste); физиков: Rayleigh (Theorie of Sound), E. Routh (Dynamic of a System of rigid lody), A. Cayley (on a classof Dynamical problems). Подробности у Мещерского и в 4 томе „Encykl. d. Matah. Wissensch".

Ленин и аграрный вопрос.

Одною из основных отличительных черт ленинизма надо признать, рядом с национальным вопросом и вопросом о государстве, его постановку вопроса о роли крестьянства в революции. И, может быть, ни в одном другом вопросе изучение ленинизма не встретит таких серьезных затруднений, как именно в этом. Мне несколько лет тому назад пришлось говорить о крестьянстве Индии с одним видным индусским коммунистом, который десять лет состоял пропагандистом и агитатором (сначала националистическим, а потом коммунистическим) среди крестьян Индии, и он мне заявил, что единственным среди коммунистов человеком, серьезно интересующимся аграрными отношениями его родины и в них действительно разбирающимся, он, на основании личных бесед, считает — тов. Ленина. Я сказал бы, что единственным серьезным теоретиком по аграрному вопросу вообще, среди не только коммунистов, но и соц.-демократов, приходится признать Ленина. И это без всяких преувеличений! А в то же время ни к одному другому вопросу коммунисты (не говоря уже о социал-демократах) не подходят так официально, с таким непониманием и поэтому с такою неуверенностью, как именно к аграрному вопросу. Вот почему и наши серьезнейшие разговоры о выдвинутом Лениным лозунге смычки пролетариата с крестьянством звучат подчас так словесно и кабинетно, что от них веет иногда полною безнадежностью.

Великий революционный диалектик остался себе верным и в аграрном вопросе. Подходя к каждой серьезной проблеме с солидною научною подготовкою, он и здесь всегда сохраняет гибкость революционной мысли и нисколько не боится решительно и искренно отбросить то, что уже изжито и более не соответствует данному этапу движения. Этой революционной диалектики, которая сугубо важную роль играет как раз в вопросе аграрном, — а аграрный вопрос для него, при его конкретной постановке каждого вопроса, почти что совпадает с вопросом о крестьянстве, — мы до Ленина по этому вопросу ни у кого из последователей Маркса не находим, почему и все аграрные программы и доклады по ним у прочих товарищей носят чересчур отвлеченный характер. Может быть, только то обстоятельство, что Ленин свой революционный курс прошел в России, ему

дало возможность верно оценить, а затем и решить вопрос. Конечно, и он проделал этот курс не без всяких колебаний, но эти колебания вытекали из внутренних противоречий самого вопроса. Одновременно он на каждом шагу и здесь подчеркивает свою верность революционным заветам Маркса, только в условиях иного, высшего порядка.

Основным моментом в аграрном вопросе является вопрос о земельной ренте, а в марксистском понимании его — о так называемой абсолютной ренте. У нас, особенно после 1917 года, на эту сторону вопроса смотрят уже с известным пренебрежением, как к дореволюционному пережитку. Но это далеко не так. Конечно, абсолютная рента с формальною отменою права частной собственности на землю у нас потеряла прежнее значение, но она не совсем исчезла. Ведь, это право перенесено на государство, а фактически под другим названием еще продолжает существовать и у частных лиц.

В своих первых выступлениях соц.-демократы по этому вопросу в России повторяли то, что принято было говорить с.-д. за границею в смысле очистки земли от пережитков феодализма, только применительно к русским условиям. „Радикальный пересмотр наших аграрных отношений, т.-е. условий выкупа земли и наделения ею крестьянских обществ“. Это лозунг группы „Освобождение Труда“ 1885 г. Но он оказался совершенно недостаточным в дальнейшем ходе революции. Чрез 20 лет он просто устарел. „Аграрные программы и их проверка революцией“, — так оглавляет Ленин одну главу своей работы об аграрных программах. И, действительно, он и сам смело предпринимал такие революционные проверки, когда ему представлялось, что данный этап пройден, настали новые задачи. А каждой такой проверке у него предшествовала серьезная научная проработка вопроса, или, по крайней мере, серьезная дискуссия[1]. Так, его программе 1902 года предшествовала капитальная работа по „развитию капитализма в России“, его „Капитализм в сельском хозяйстве“, „критики“ и т. д.; его программе 1905 года—полемика с Масловым и др.; октябрьскому декрету 1917 года—его работа об аграрном вопросе в Севери. Америке, из которой вышла лишь первая часть, даже его буржуазными противниками признанная серьезным вкладом в литературу на эту тему.

Первые выступления Ленина и по аграрному и крестьянскому вопросам относятся к его литературной борьбе против социалистов-утопистов из лагеря народников. Он тогда с увлечением знакомится с аграрным вопросом Каутского (1899 г.), который вообще признавался единственною революционно-ортодоксальною работою из среды последователей Маркса по аграрному вопросу. Основной тезис Каутского о превосходстве крупного сельского хозяйства над мелким ока-

[1] Его любимое выражение „продискутировать вопрос“ означало серьезнейшую деловую полемику, основательный обмен мнений. Он откровенно признавал, что эти полемики даже с товарищами ему приносили большую пользу.

зал чрезвычайно ценную услугу нашим революционным марксистам этого периода в борьбе против народников, чем и объясняется исключительный успех этой работы в России. Лишь постепенно, по ходу революции, Ленин освобождается из-под этого влияния Каутского, особенно, когда он ознакомился с вышедшими в начале 1900-ых годов 4-ми томами „Теорий прибавочной стоимости“ К. Маркса, где так выпукло обрисована как раз вредная для развития даже капитализма роль абсолютной земельной ренты, т.-е. частной собственности на землю. Поэтому и радикальный буржуа теоретически приходит к отрицанию частной собственности на землю... Однако на практике у него не хватает храбрости, так как нападение на одну форму собственности, на условия труда, было бы очень опасно и для другой формы. Кроме того буржуа сам себя территориализировал“. Эта мысль Маркса, цитированная неоднократно из „Теорий прибавочной стоимости“, Ленину дала теоретическое основание для вывода, сделанного им впоследствии на деле о том, что наш декрет о конфискации земли лишь довел до конца в самой радикальной форме буржуазную революцию. Это расхождение Ленина с Каутским в аграрном вопросе особенно ярко проявилось в его лозунге национализации, как революционной конфискации земли, тогда как Каутский пришел к примиренческому выводу о так называемой „пролетарской конфискации земельной ренты“—путем экономической борьбы рабочего класса за улучшенные условия труда. Тогда эта последняя теория Каутского показалась одному-другому из нас, желающих сохранить ортодоксальность взглядов Маркса, весьма привлекательною. Но ее основная ошибка заключалась в том, что она была построена слишком абстрактно, между тем как Ленин и здесь свой лозунг реальной конфискации—национализации—неразрывно связывает с революционной оговоркою: при демократической республике, в виде рабоче-крестьянской (тогда демократической) диктатуры.

Я уже указал, что противоречия в аграрном вопросе для революционера-коммуниста содержатся в самой проблеме. Бесспорно для него, что капиталистическое хозяйство ведет к победе крупного производства и в земледелии, уже с точки зрения развития производительных сил, а еще в большей степени—и это имеет для него решающее значение—в классовых интересах трудящихся. Но, в то же время, без крестьянства невозможна победа революции. Какой тут возможен компромисс, чтобы примирить эти два противоречия?.. Эта борьба „двух душ“ дает себя чувствовать на всем ходу нашей российской революции, и не только нашей революции.

Когда накануне 1905 года для Ленина уже ясно стало, что без поддержки крестьянства революция не может быть доведена до победоносного конца, он в 1901 году в „Искре“ настаивал на необходимости новой программы, а в 1902 году составил свой проект аграр-

ной программы, заключающейся, как известно, в отмене выкупных и оброчных платежей и повинностей, падающих на крестьян, как на податное сословие, отмене круговой поруки и всех стесняющих законов, возвращении народу взятых с крестьян выкупных и пр. платежей, и в этих целях конфискации монастырских и удельных имений, и особом налоге на помещичьи земли. в учреждении крестьянских комитетов, для возвращения крестьянским обществам отрезков (либо путем конфискации их, или, если они перешли в чужие руки, путем выкупа), а равно для устранения остатков феодализма, наконец, в создании права судебным порядком понижать арендные платежи и т. д. Как известно, эти слова вошли в программу 1903 года. Ныне мы несколько удивлены медлительности и недоговоренности, скрывающейся в этих строчках. Ленин ясно и убедительно доказывал тогда, что эти требования верны с точки зрения марксизма и революции, и он был прав. Но 2-мя годами позже он и вся партия отбросили этот лозунг, как недостаточный. И это опять случилось по инициативе самого Ленина.

Ленин, говоря в 1902 году [1]) о ближайших целях революции, излагает эту задачу следующими словами: „В рабочем отделе (программы) мы безусловно ограничены рамками программы-минимум, в крестьянском отделе мы можем и должны дать программу-максимум". Полемизируя с Мартыновым, который ему возражал, что „тогда надо быть последовательным и требовать черного передела"... „но тогда нам пришлось бы распроститься с соц.-демократической программой", Ленин отвечает: что „черный передел... содержит в себе именно сплетение революционного и реакционного моментов, реакционная утопия обобщить и увековечить мелкое крестьянское производство,... революционная сторона... желание смести посредством крестьянского восстания все остатки крепостного строя". Так формулирует Ленин свое отношение уже в 1902 году к вопросу, но одновременно прибавляя, что „при господстве капиталистического хозяйства мелкая собственность задерживает развитие производительных сил, прикрепляя работника к мелкому кусочку земли и т. д. Значит, ортодоксальная концепция Каутского еще берет верх. Для полной ясности не следует забывать, что все ортодоксальные марксисты тогда стояли на точке зрения Каутского, а в противоположном лагере ревизионистов объединились лишь оппортунистические элементы всего мира (Давиды, Бернштейны, Герцы, Булгаковы и т. п.), крестьянские программы которых были исключительно реакционны, без всякой примеси революционного момента. Но наступило время, когда для России в требовании „черного передела" реакционный момент был доведен до минимума, а революционный—до максимума;—Ленин не колеблясь выставляет и лозунг раздела земли.

1) См. „Аграрн. программы соц-демократии",—„Заря", № 4, 1902 г.

А это случилось скорее, чем, повидимому, в 1902 г. ждал и сам Ленин. В начале 1905 года (после первого серьезного политического выступления рабочего класса, 9 января), наступил **новый этап**, и Ленин открыто заявляет, что „программа 1903 года неверно решает аграрный вопрос, ибо вместо того, чтобы противоставить последовательно крестьянский и последовательно юнкерский способ осуществления переворота, программа искусственно конструирует нечто среднее. Правда, прибавляет Ленин, и здесь надо принять во внимание, что отсутствие открытого массового движения не позволяло тогда решить вопроса на основании точных данных, а не на основе фраз или невинных пожеланий или мещанских утопий, как решали его с.-р.“ [1]. А 1-го марта 1905 года Ленин („Пролетариат и крестьянство“) пишет: „Начинаются **крестьянские восстания**... Отношение революционного пролетариата в тяжбе между крестьянами и помещиками не может быть во всех случаях и при всех условиях одинаковыми при различных перипетиях русской революции... Другими словами: **поддержать и подталкивать крестьянство вплоть до всяких отнятий какой - угодно „священной“** барской „**собственности**“, поскольку это крестьянство выступает революционно-демократическим“... Тут требование конфискации всех помещичьих земель все-таки обставляется еще известными оговорками. Месяцем позже, на III съезде Ленин уже определенно настаивает: „Крестьянство не остановится перед экспроприацией, наша же партия поддерживает крестьянство и тогда, когда оно не остановится перед этими мерами. Вместо экспроприации следует употреблять более узкое понятие „конфискация“, ибо мы против всякого выкупа“. Известно, что III съезд так и принял особую резолюцию о „поддержке“ всех революционных мероприятий крестьянства.. **вплоть до конфискации** помещичьих и т. д. земель.

Началась борьба между большевиками и меньшевиками по аграрному вопросу в другой плоскости: муниципализация ли (при том путем неопределенного **отчуждения**) или национализация (только путем **определенной конфискации**)? Теперь все эти споры так давно за нами, что ныне трудно читать доводы „муниципализаторов“, эти типичные отзвуки ревизионизма Запада. Основаны они были на каком-то странно-наивном понимании о частичном завоевании власти демократией. Зато статьи Ленина этого периода в защиту национализации сегодня читаются с таким же интересом, как и тогда [2]).

Напр., блестящие страницы в его „Из истории с.-д. агр. программ“ и „Агр. прогр. с.-д. в первой русской революции“.

---

[1]) „Весенние крестьянские восстания на юге в 1902 году остались отдельными взрывами. Понятна, поэтому, сдержанность с.-д. при выработке аграрной программы и т. д.“. Вот как Ленин в 1907 году характеризует свою сдержанность в 1902 году („Агр. программа с.-д. 1905—1907 г.г.“, стр. 49, 50).

[2]) См. только что вышедший IX т. 1 ч. Собр. сочинений Ленина.

„Мы выводим национализацию не из отвлеченных соображений, а из конкретного учета интересов конкретной эпохи“. Для Ленина (и ныне для всякого коммуниста) ясно, что конфискация помещичьей земли возможна только при полной победе крестьянского восстания и при демократической республике, —как и, наоборот, действительная демократическая республика в России возможна только при национализации земли. Своими блестящими доводами Ленину удалось после 1905 года увлечь на время даже Каутского, если не замечать те оговорочки, которыми еще тогда Каутский забронировал свое позднейшее отступление к оппортунизму по всякому вопросу [1]).

Для полного понимания дальнейшего развития взглядов Ленина необходимо вкратце остановиться на вопросе, как смотрел Ленин тогда на крестьянство вообще. Еще в 1902 году он пишет: „Мы ставим в ковычки слово крестьянство, чтобы отметить наличность в этом случае не подлежащего никакому сомнению противоречия: в современном обществе крестьянство, конечно, не является уже единым классом... Но это не сочиненное, а живое, диалектическое противоречие. Поскольку в нашей деревне крепостное общество вытесняется „современным“ (буржуазным) обществом, постольку крестьянство перестает быть классом, распадаясь на сельский пролетариат и сельскую буржуазию (крупную, среднюю, мелкую и мельчайшую). Поскольку сохраняются еще крепостные отношения, постольку „крестьянство“ продолжает быть еще классом, т.-е., повторяем, классом не буржуазного, а крепостного общества“. Крестьянские волнения и до и после 1905 года ясно показали, что еще существует единый класс крестьянства. Ленин в 1906 году так и пишет: „Никто тогда (в 1902—1903 г.г.) не мог с уверенностью сказать наперед, насколько расслоилось крестьянство под влиянием частичного перехода помещиков от отработков к наемному труду. Никто не мог учесть, как велик слой сельско-хозяйственных рабочих, создавшийся после 1861 года и т. д.“. Из двух видов классовой борьбы в деревне, отмеченных Лениным раньше, борьба классов пролетариата и капиталистов в деревне не играла еще сколько-нибудь решающей роли, преобладала вторая: борьба крестьянина с помещиком.

Своим поразительно развитым классовым чутьем Ленин еще в июле 1905 года („Две тактики“) строил свой пророческий прогноз революции: „Пролетариат должен провести до конца демократический переворот, присоединяя к себе массу крестьянства, чтобы раздавить силой сопротивление самодержавия и парализовать настойчивость буржуазии. Пролетариат должен совершить социалистический переворот, присоединяя к себе массу полупролетарских элементов населения, чтобы сломить силой сопротивление буржуазии и парализировать настойчивость крестьянства и мелкой буржуазии“. Пока еще продолжается первый этап.

---

[1]) См. мое предисловие к переводу „Аграрного вопроса“ Каутского, 1923 года.

За весь думский период Ленин свою борьбу ориентирует на первую часть этого прогноза. Оставаясь верным своему взгляду на объективно революционную роль крестьянства, особенно еще подтвержденному запоздалыми массовыми крестьянскими восстаниями 1906 года, Ленин и ведет свою политическую линию в думской работе, напр., в поддержке беспартийных крестьянских кандидатур и т. п. В своей работе об аграрных программах 1905—1907 г.г. он приводит блестящее подтверждение своих взглядов из разбора думской деятельности крестьянских депутатов.

Но, не находя в России достаточно полного расслоения деревни на хозяина и батрака, Ленин вскрывает другое расслоение крестьянства: на бедноту и кулачество. Понятие беднейшего крестьянства у Ленина встречается и раньше 1905 г. (может быть, вследствие детального знакомства его с Великой Французской революцией); подробно это деление разработано им по статистическим данным России в его работах: „Агр. программа 1905—1907 г.г." и особенно в его „Аграрн. вопросе в России к концу XIX века", написанном в 1908 г. и тогда конфискованном (см. Собран. сочинен., IX, стр. 621 и т. д.). В этих работах он показывает, как разлагается крестьянство. Я, однако, уже сказал, что он, особенно под влиянием крестьянских восстаний 1905—1906 г.г., убедился и в известном единстве крестьянства, как класса, хотя и с оговоркою об особенностях этого класса. Все-таки Ленин при том не отказывается от своего взгляда на капиталистическое развитие земледелия, в чем особенно убеждает последняя крупная работа его об аграрном вопросе в Соедин. Штатах Америки („Новые данные о законах развития капитализма в земледелии", Собран. соч., IX, 196—273). Если его работа о книге Каутского и его полемика с критиками Каутского и Маркса ныне отчасти потеряли прежнее значение, то эта книга должна служить образцом нового теоретического подхода к аграрному вопросу вообще. Отбрасывая прежнее пользование цифрами об одной площади земли, он пытается эти цифры, насколько это возможно, сопоставлять с затраченным трудом вообще, и наемным трудом и капиталом в особенности, и ставит новые задачи аграрной статистике в смысле классового расслоения деревни.

Когда в 1917 г. наступила февральская революция и появился первый манифест Ц.К. партии (большевиков) о немедленной конфискации всей помещичьей земли, пошли известные разногласия, ибо многие товарищи вспомнили, что существует, мол, резолюция большевиков о крестьянских комитетах с оговоркою: „впредь до установления Учред. Собранием нового земельного устройства". Как только Ленин по приезде узнал об этом манифесте, он определенно стал на его точку зрения. Он 10 апр. 1907 г. пишет: „все распоряжение национализированной земли должно находиться в руках областных и местных Советов Крестьянских Депутатов". Но Ленин и тогда еще сохранил убеждение о превосходстве крупных хозяйств

перед мелкими, и мы в его тезисах от 4 апреля 1917 г. читаем: „об образцовых хозяйствах в 100—300 десятин“ и т. д. Мы увидим, что фактический ход развития его переубедил, и он в этом отношении изменил свой взгляд о возможности немедленно создать социалистические „хлебные и мясные фабрики“, а, напротив, заговорил о „советских богадельнях“.

Одним из самых дальновидных мероприятий Ленина за весь ход революции, во всяком случае, вторым после „изобретения“ [1]) Советской государственной власти, надо признать его декреты о земле и о социализации земли. Мы уже видели, что программа поддержки крестьянства, вплоть до немедленной конфискации земли, для Ленина была ясна еще задолго до 1917 года. Для него на первом месте стояли интересы революции. А если еще в 1905—1906 г.г. его обвиняли в народовольчестве за его тогдашнюю аграрную программу, то ныне, после октября 1917 года, его обвиняют в прямом захвате аграрной программы эс-эров. Ленин этого и не отрицал. Еще 20 октября он написал статью: „Новый обман крестьян партией эс-эров“. Он уже здесь ссылается на тот „примерный наказ, составленный на основании 242 наказов, доставленных с мест депутатами на 1-й Всероссийский съезд Советов крестьянских депутатов в Петербурге в 1917 г.“.

Этот эс-эровский наказ Ленин кладет в основу декрета о земле. В его речи в защиту декрета (26 октября 1917 года) мы читаем: „Здесь раздаются голоса, что сам декрет и наказ составлены с.-р. Пусть так! Не все ли равно, кем он составлен, но, как демократическое правительство, мы не можем обойти постановление народных низов, хотя бы мы с ним были несогласны“. А позже (в ноябре—декабре 1919 года) Ленин откровенно и едко писал: „Чтобы доказать крестьянам, что пролетарии хотят не майоризировать их, не командовать ими, а помогать им и быть друзьями их, победившие большевики ни слова своего не вставили в декрет о земле, а списали его, слово в слово, с тех крестьянских наказов, которые были опубликованы эс-эрами в эс-эровской газете. Эс-эры кипятились, возмущались, негодовали, вопили, что „большевики украли их программу“, но над эс-эрами за это только смеялись: хороша же партия, которую надо было победить и прогнать из правительства, чтобы осуществить все революционное, все полезное для трудящихся из ее программы“.

Значит, Ленин никогда не умолчивал, что, объявляя социализацию земли, он имел в виду лишь национализацию, т.-е. отмену частной собственности на землю со всем инвентарем, а не утопические планы социалистической обработки ее.

Первый период после октябрьской революции в деревне характеризуется усиленной борьбою против кулачества. Одновременно условия голода увлекают туда массу городских рабочих, отчасти в

---

[1]) Сам Ленин эту власть называет „великим историческим изобретением“.

советские хозяйства, отчасти в образующиеся вновь коммуны, отчасти просто в деревню. Новая рабочая власть не могла не оказывать поддержки таким революционным социальным начинаниям, как, напр., коммунам. С другой стороны, Ленин рассчитывал и на организацию наемных рабочих, батраков. Он не только в своих программных работах после 1905 года и тезисах 1917 г. (4 апреля) требует особого внимания для организации сельских рабочих, он своими статьями в „Правде" (апрель 1917 г.) вызывает даже недоумение среди некоторой части товарищей своей постановкою вопроса о профсоюзах батраков. Но я уже сказал, что ход развития революции (разграбление инвентаря имений и их разрушение) убеждает Ленина в недостаточно-прочном расслоении деревни в направлении чисто-классовом (хозяин и наемный рабочий), и он поэтому выдвигает новую задачу: организацию беднейшего крестьянства.

„Во всем мире передовые отряды рабочих городских, рабочих промышленных объединялись, — объединялись поголовно. Но почти нигде в мире не было еще систематических, беззаветных и самоотверженных попыток объединения тех, кто по деревням, в мелком земледельческом производстве, в глуши и темноте отуплены всеми условиями жизни... Образовывается новая форма борьбы против кулаков, форма союза бедноты, которой нужно помочь, которую нужно объединить". Так приветствовал Ленин в речи от 4 июля 1918 года подписанный им еще 20 мая декрет об организации деревенской бедноты в борьбе за продразверстку („комбеды"). Осенью того же года борьба в деревне уже доведена до такого состояния, что можно назначить (декрет 2 декабря 1918 г.) выборы сельских советов. Состав избирателей тот же, лишь прибавляя известную оговорку: „бедноте и среднему трудовому крестьянству", но с исключением кулаков и контр-революционеров. Этим сельским советам передают свои средства и дела комитеты бедноты, прекращая свою деятельность.

Так постепенно у Ленина назревает мысль „о союзе с крестьянством", включая и середняка. Теоретически он эту свою мысль излагает в своей блестящей речи от 27 ноября 1918 года „о мелкобуржуазных партиях", означающей поворотный пункт в вопросе о крестьянстве и ошеломившей тогда не одного из товарищей. Ленин, верный своей привычке, исходит от солидаризации с взглядами Энгельса 1894 года, но он дает применение этих взглядов к революционным условиям 1918 года.

Отчасти комбеды свое дело уже сделали, отчасти борьба в деревне охватила под названием борьбы против кулаков слишком многочисленные круги. Пришлось выдвинуть лозунг о середняке и о соглашении, союзе с ним, по крайней мере, о его нейтрализации. Беднейшее крестьянство было закреплено в конституции („диктатура пролетариата и беднейшего крестьянства"); задача нейтрализации середняка—ставка, в некотором роде, на середняка. Она была

вызвана затяжным характером революции, а затем хотя и добровольным, но вынужденным отступлением к нэп'у. Прибавилось еще и разочарование в сельских коммунах, построенных сначала несколько утопически, и в советских хозяйствах, как в образцовых крупных хозяйствах, как в основном средстве снабжения города деревней. Я уже сказал, что и те и другие, в условиях голода в городах и массового мешечничества, превратились, наоборот, по словам Ленина, отчасти в „советские богадельни". Ленин все-таки и в дальнейшем был убежден, что крупному производству и в сельском хозяйстве принадлежит будущее, но он одновременно признал, что **пока** в деревне „отсутствуют для этого объективные и субъективные условия", т.-е. труд недостаточно подготовлен технически, объективные условия труда находятся на слишком низком уровне и недостаточно развита пролетаризация деревни. Взгляды Ленина в результате этой эпохи закреплены сначала в программе Р.К.П. (1919 г.), а потом, уже в мировом масштабе, в аграрных тезисах II съезда Коминтерна (1920 г.).

Надо сказать, что все значение тезисов II съезда Коминтерна далеко еще не вполне оценено на деле. Тезисы эти заменили первоначальный проект, составленный в строго ортодоксальном смысле, и были набросаны Лениным, но он, в конце концов, сделал кое-какие уступки по отношению к совхозам в высокоразвитых капиталистических странах Запада. Его первоначальная формулировка гласила категорически, что для крупных социалистических хозяйств еще нет на-лицо ни объективных, ни субъективных условий.

Выступая на VIII съезде Р.К.П., Ленин не только в общей речи о программе партии, но и в специальной речи о работе в деревне высказывается по поводу „середняка". Как всегда, он и здесь осматривает вопрос в его революционно-диалектическом движении. „Первым этапом было взятие власти в городе, установление советской формы правления. Вторым этапом было то, что для всех социалистов является основным, без чего социалисты—не социалисты: выделение в деревне пролетарских и полупролетарских элементов, сплочение их с городским пролетариатом для борьбы против буржуазии в деревне. **Этот этап в основном также закончен.** Те организации, которые мы первоначально для этого сделали, комитеты бедноты, настолько упрочились, что мы нашли возможным заменить их правильно выбранными советами, т.-е. реорганизовали сельские советы так, чтобы они стали органами классового государства, органами пролетарской власти в деревне". Он ставит основною задачею для дальнейшей работы—найти правильный подход к среднему крестьянству, как наиболее многочисленному элементу нашей деревни.

„Пролетариат в массе за социализм, буржуазия в массе против социализма: определить отношение между этими двумя классами легко. А когда мы переходим к такому слою, как среднее крестьянство, то оказывается, что это такой класс, **который колеблется.** Он отчасти собственник, отчасти труженик. Он не эксплоатирует

других представителей трудящихся". В своей статье „Экономика и политика в эпоху диктатуры пролетариата", осенью того же 1919 года, Ленин рисует дальнейшие перспективы по отношению к этому классу словами: „Социализм есть уничтожение классов. Чтобы уничтожить классы, надо, во-первых, свергнуть помещиков и капиталистов. Эту часть мы выполнили, но это только часть, и притом не самая трудная. Чтобы уничтожить классы, надо, во-вторых, уничтожить разницу между рабочим и крестьянином, сделать всех работниками. Этого нельзя сделать сразу. Эта задача несравненно более трудная и в силу необходимости длительная. Это — задача, которую нельзя решить свержением какого бы то ни было класса. Ее можно решить только организованной перестройкою всего общественного хозяйства, переходом от единичного, обособленного, мелкого товарного хозяйства к общественному крупному хозяйству. Такой переход по необходимости чрезвычайно длителен... Ускорить этот переход можно только такой помощью крестьянину, которая бы давала ему возможность в громадных размерах улучшить всю земледельческую технику, преобразовать ее в корне". А ближайшая задача? Соглашение с этим крестьянством, по крайней мере, его нейтрализация.

Я уже сказал, что наиболее развитую форму новая коммунистическая программа получила в аграрных тезисах II съезда Коминтерна. Работа Ленина в этих тезисах не опубликована, но тезисы набросаны им, и туда с его согласия внесены лишь незначительные поправки. В этой резолюции съезда прежде всего дается полный перечень расслоения деревни. Во-первых, три группы: „сельско-хозяйственный пролетариат, полупролетариат или парцельные крестьяне и мелкие крестьяне, взятые вместе, составляют во всех странах большинство деревенского населения; поэтому конечный успех пролетарского переворота обеспечен не только в городах, но и в деревне". Но особенно последняя из этих групп есть группа колеблющаяся и ее завоевание будет окончательно лишь после завоевания власти пролетариатом. Понятие четвертой группы, среднего крестьянства, несколько уже русского „середняка", тут допускается и частица наемного труда. Ее необходимо нейтрализовать, не только сохраняя ее собственность, но и наделяя ее дополнительною землею. Вообще наделение крестьян конфискованною помещичьею землею — этот лозунг Ленин выставляет все более и более решительно в международном масштабе, чему и соответствует его взгляд на преждевременность социалистических крупных хозяйств. Вот почему он на IV съезде Коминтерна, уже больной, заочно настаивает на расширение лозунга наделения землею и весьма раздражен тактикою коммунистов Запада, верных с.-д. традициям, несколько саботировавших этот лозунг. Вот почему и мы обязаны с особенною заботливостью после смерти великого нашего вождя отстаивать этот лозунг в сферах Коминтерна.

Период отступления к нэп'у, вызванным как раз проявлением недовольства со стороны крестьянства и особенно подчеркнутый Кронштадтским мятежом, заполнен именно мыслями Ленина об углублении союза города и деревни, пролетариата и крестьянства. Самою резкою практическою мерою является переход от продразверстки к продналогу, от насильственного отобрания всех излишков к определенному, ограниченному налогу натурою, оставляя все остальное для свободного товарообмена. Это означает переход к так называемому государственному капитализму, с одной стороны, и к допущению частного капитала, с другой. Все это в чрезвычайно острой форме выдвигает вопрос о крестьянстве.

Ленин неоднократно указывал на то, что деятели французского конвента не сознавали, на какой класс им опираться, и поэтому потерпели поражение. Когда у нас наступил „1793 год", Ленин предупредил „поражение" — добровольным и лишь частичным отступлением. А мог он это сделать только благодаря тому, что он ясно перед собой имел проблему классовой основы Советской власти. Это было лишь логическим выводом из того, что он говорил раньше о возможности прочного привлечения крестьянства лишь после завоевания власти. Вообще тот факт, что государственная власть в руках пролетариата, придает всему переходному периоду новый характер, вносит новое освещение. Поэтому Ленин и называет Советскую власть „величайшим историческим изобретением". „Впервые в мире существует государство, где имеются только эти два класса — пролетариат и крестьянство... Мы заключили союз с крестьянством... пролетариат освобождает крестьянство... Но этого союза недостаточно. Военный Союз не может существовать без экономического (Речь от 30/XII 1920 года).

„Наша революция в известной степени была революцией буржуазной. Когда Каутский выдвинул против нас этот аргумент, мы смеялись. Естественно, что без экспроприации крупного землевладения, без изгнания крупных землевладельцев и без раздела земли бывает только буржуазная, а не социальная революция. Однако мы были единственной партией, которая смогла довести буржуазную революцию до конца и облегчить борьбу за социальную революцию. Советская власть и советская система являются институтами нашего государства. Мы уже осуществили эти институты, однако проблема экономического взаимоотношения между крестьянством и пролетариатом еще не разрешена... и результат этой борьбы будет зависеть от того, сможем ли мы разрешить эту задачу или нет" (Речь от 5/VII 1921 года на съезде Коминтерна). Вот откуда явился лозунг о смычке с крестьянством, и вот как его надо понять: не только, и менее всего, в одном политическом, в смысле словесной агитации, а в экономическом, да притом не

только в смысле обмена, но и в смысле производства. Понимание этого не всегда чувствуется в бесконечных речах на тему о смычке с крестьянством. Изучение Ленина, как лучшего аграрного теоретика, должно тут внести новое содержание в нашу работу.

Ленин, опираясь на факт, что существует Советская власть, провозглашает, в ответ на разглагольствования об отсутствии предпосылок революции: достаточной культурности и достаточного экономического фундамента,—борьбу за эти предпосылки, борьбу за культурную революцию, за подведение под революцию более прочного экономического фундамента. Таков гениальный по дальновидности и удивительный по простоте комментарий Ленина к его стратегии частичного экономического отступления. Он полностью применяет его и к аграрному вопросу, и к крестьянству. И тут он солидарен с Энгельсом, писавшим в 1894 году о задачах победивших коммунистов по отношению к крестьянству: „Не будет в нашу пользу, если нам с этими своими преобразованиями придется ждать, пока капиталистический способ не разовьется до последних своих выводов, пока последний мелкий производитель и последний мелкий крестьянин не падет жертвою капиталистического крупного производства“.

В последней статье Собрания сочинений Ленина „О кооперации“ его вывод формулирован словами: „Нам наши противники не раз говорили, что мы предпринимаем безрассудное дело насаждения социализма в недостаточно культурной стране“. „Они ошиблись в том, что мы начали не с того конца, как полагается по теории (всяких педантов), и что у нас политический и социальный переворот оказался предшественником тому культурному перевороту, той культурной революции, перед лицом которой мы все-таки теперь стоим. Для нас достаточно теперь этой культурной революции, чтобы оказаться вполне социалистической страной“. „Теперь мы вправе сказать, что простой рост кооперации для нас тождественен... с ростом социализма“. А в другой заметке „О революции“ он поясняет: „Слов нет, учебник, написанный по Каутскому, был вещью для своего времени очень полезной. Но пора уже отказаться от мысли, что будто этот учебник предусмотрел все формы развития дальнейшей мировой революции“.

Человеку, не знакомому с революционною диалектикою и не привыкшему оценивать все явления с точки зрения данного этапа движения, может показаться, что Ленин кончил полным опровержением самого себя. И это не только по аграрному вопросу. В самом деле, он начал с твердого убеждения о превосходстве и в сельском хозяйстве крупного производства над мелким. Во имя этого взгляда он боролся, и с успехом боролся, против народников-утопистов и их планов непосредственной социализации крестьянства. Он отдал честь (и по заслугам) работе Каутского „Об аграрном вопросе“ и т. д.

А кончил он тем, что провозглашал, как необходимый для победы пролетариата всего мира, лозунг **раздела земли и союза с крестьянством**, а в 1917 г. не постеснялся даже „позаимствовать" из программы эс-эров требование „социализации земли", превратив его в декрет.

Это недоумение особенно по поводу раздела земли, экономического союза с крестьянством и содействия даже укреплению крестьянина, как мелкого производителя, заметно и у многих товарищей, особенно на Западе. Но в исторической перспективе тут нет противоречия! До последнего момента Ленин был убежден, что будущее и в сельском хозяйстве все-таки принадлежит крупному производству. Это—тезис бесспорный. Но столько же бесспорным в нем, особенно в процессе развития революции, укрепляется взгляд на **тесный революционный союз с крестьянством**, подтверждаемый разделом земли и содействием крестьянскому способу производства. Мы видели, что и в голове Ленина, и в самой жизни заметны колебания между этими двумя тезисами, пока не побеждает (в период отступления) второй взгляд, по—невольно напрашивается схема известной триады — в виде **синтеза**, в целях мирного **добровольного перехода крестьянства к крупному производству, в форме организованного социалистического хозяйства**.

Ф. Энгельс эту задачу формулировал в 1894 году словами: „Тогда, после завоевания власти, по отношению к мелкому крестьянству важнейшею нашей задачею будет и его частную собственность, и частное хозяйство перевести в социалистическое, только не силою, а путем примеров, и предлагая ему свою общественную помощь. И в нашем распоряжении тогда будет достаточно средств...

„Те материальные жертвы, какие придется нам тогда нести из общественных средств, с точки зрения капиталистического хозяйства, покажутся выброшенными на улицу деньгами, но на деле это будет весьма дельным использованием капитала, ибо оно даст сбережение, может быть, десять раз больших сумм в пользу всеобщего общественного перелома".

В своей журнальной статье я по этой, чрезвычайно важной теме не могу дать больше краткого конспекта. Чтобы исчерпать тему пришлось бы писать толстую книгу. Но, именно, краткое изложение темы особенно рельефно освещает революционную диалектику не только мыслителя и политика Ленина, но и самой пролетарской революции. Довести до победы буржуазную революцию в форме проведения в жизнь демократической программы-минимум (что может быть достигнуто только победою пролетариата), но одновременно с тем, чтобы **в день победы отменить эту демократию** и перейти к новому устройству высшего порядка, Советской власти! Или в стадии борьбы за революцию привести к расколу единой соц.-демократии и образованию нового Комм. Интернационала, чтобы, отколов преда-

тельские слои и их вождей, под лозунгом единого фронта против буржуазии создать новое единство лучшего качества! Мы видим, что во всех этих случаях ход диалектического развития является настолько одинаковым, что это не может быть простым случаем. Развитие взглядов Ленина по аграрному вопросу рельефно изображает диалектический ход самой аграрной революции, важнейшим, если не единственным, теоретиком которой он и является.

П. Стучка.

В. И. Ленин как экономист.

I. Развитие капитализма в промышленности [1]).

1.

Владимир Ильич выступил на поприще литературно-революционной деятельности еще в первой половине 90-х годов. Это был, так сказать, период переломных настроений нашей революционной интеллигенции, когда борьба народничества и марксизма не была еще разрешена и когда главными „властителями дум“ были еще Михайловский, Кривенко, В. В. и Николай—он. Перед взором наших молодых марксистов открывалась уже картина обостряющихся классовых противоречий, но их научно-литературный арсенал был еще до чрезвычайности беден. Единственным крупным марксистским произведением, трактовавшим специально русские вопросы, оставались „Наши разногласия“ Плеханова,—нелегальная книга, вышедшая за границей в 1885 г.: „К вопросу о развитии монистического взгляда на историю“ появилось лишь в 1895 году. Иначе обстояло дело в лагере наших идейных противников: к их услугам была целая плеяда писателей, которые в легальной печати вели бешеную атаку против немногочисленных тогда адептов нового для России революционного учения.

Владимир Ильич, таким образом, начал свою революционную деятельность в период, когда приходилось плыть против мощного еще течения и отвоевывать каждую позицию у авторитетных и „заслуженных“ противников ценою величайших усилий. И в такой-то момент он выступает перед нами совершенно законченным, ортодоксальным марксистом. В его первой книжке—„Что такое друзья народа“—нас поражает не только тонкое знакомство с Марксом и умение обращаться с его методом, но и та уверенность и решительность, с которыми 24-х-летний В. И. ведет свое нападение на эпигонов народничества. Перед нами—человек, который знает, чего он хочет и куда он идет. Уже в этой книжке вырисовывается могучий облик

[1]) Дальнейшие статьи будут посвящены обзору работ тов. Ленина в области аграрного вопроса и теории рынка.

Ленина, как практика и теоретика, и уже здесь выступает своеобразное сочетание этих двух сторон его личности.

„Социалистическая интеллигенция,—пишет он,—только тогда может рассчитывать на плодотворную работу, когда покончит с иллюзиями и станет искать опоры в действительности, а не в желательном развитии России, в действительном, а не возможных общественно-экономических отношениях. Теоретическая работа ее должна будет при этом направиться на конкретное изучение форм экономического антагонизма в России, изучение их связи и последовательного развития; она должна вскрыть этот антагонизм везде, где он прикрыт политической историей, особенностями правовых порядков, установившимися теоретическими предрассудками. Она должна дать цельную картину нашей действительности, как определенной системы производственных отношений, показать необходимость эксплоатации и экспроприации трудящихся при этой системе, показать тот выход из этих порядков, на который указывает экономическое развитие" [1]).

В этих словах дан и предмет, и метод экономических работ Владимира Ильича. Его задача изучать конкретно нашу экономическую действительность, изучать данное, а не желательное и возможное (В. И. предпочитает „подвергнуться обвинению в сухости изложения, чем подать повод читателю думать, что его взгляд основан на цитировании „Капитала", а не на изучении русских данных") [2]). Он ставит себе целью анализировать все формы экономического антагонизма, и при том в их связи и последовательном развитии. Он хочет дать цельную картину нашей действительности. Все это вместе взятое характеризует материалистически-диалектический метод Владимира Ильича и вместе с тем определяет круг вопросов, составляющих предмет его экономических исследований.

Экономические работы В. И. посвящены изучению развития капитализма. Эта тема, как известно, привлекала к себе и т. н. „легальных" марксистов. Весь дух их сочинений (напр., Струве) и последующая эволюция показывают, однако, что причиной тому было неудержимое стремление видеть Россию могущественной капиталистической страной, руководимой подлинной буржуазией западно-европейского типа. Диаметрально противоположные причины направляли на исследование того же вопроса экономическую мысль Владимира Ильича: развитие капитализма означало для него все возрастающее обострение классовых антагонизмов и накопление революционной энергии. „Если вы станете сравнивать... деревню с нашим капитализмом,—

---

[1]) „Что такое друзья народа" (написано в 1894), стр. 168. Курс. Ленина.

[2]) „Некритическая критика", Собр. соч., т. III, стр. 513.

писал он в цитированной уже книжке,—вы поймете тогда, почему социал-демократы считают прогрессивной работу нашего капитализма, когда он стягивает эти мелкие раздробленные рынки в один всероссийский рынок, когда он создает на место бездны мелких благонамеренных живоглотов кучку крупных „столпов отечества“, когда он обобществляет труд и повышает его производительность, когда он развивает это подчинение трудящегося местным кровопийцам и создает подчинение крупному капиталу. Это подчинение является прогрессивным по сравнению с тем — несмотря на все ужасы угнетения труда, вымирания, одичания, калечения женских и детских организмов и т. д. — потому, что оно будит мысль рабочего, превращает глухое и неясное недовольство в сознательный протест, превращает раздробленный, мелкий, бессмысленный бунт в организованную классовую борьбу, которая черпает свою силу из самых условий существования этого крупного капитализма и потому может безусловно рассчитывать на верный успех“ [1]).

2.

Мы начинаем свой обзор с реферирования и оценки работ тов. Ленина, прослеживающих развитие капитализма в промышленности и прежде всего в кустарном производстве.

Эпигоны народничества не видели и не хотели видеть проникновения капитализма в кустарные промыслы. Последние изображались ими, как особый, „народный строй“ производства, образующий на-ряду с общиной самобытную черту русской хозяйственной жизни. В кустарных промыслах „орудия труда соединены с производителем“; „труду принадлежат орудия и материалы производства, и вместе с тем все результаты труда в виде продуктов производства“; среди кустарей преобладают мелкие заведения; они почти не знают наемного труда, прибегая лишь к „семейным рабочим“; кустари теснейшим образом сращены с земледелием и живут патриархальной жизнью, не подвергаясь разлагающему влиянию фабрик и заводов. Таков был лейт-мотив эпигонов народничества, проводивших резкую грань между „народной промышленностью“, с одной стороны, и капиталистической, с другой. Идеологи мелкого буржуа, живущего под вечным страхом разорения, они закрывали глаза на окружающую действительность и старательно замазывали те могущественные противоречия, которые никак не могли ускользнуть от объективного, непредубежденного наблюдателя. В. В. Николай—он и прочие боги и божки нашего народничества изображали русских кустарей не такими, какими они были в действительности, а такими, какими они хотели их видеть. Боясь как смерти „язвы пролетариатства“, глубоко проникшей в глубины „народного строя“, народническая экономическая литература идеализировала кустаря и пела ему хвалебные гимны.

[1]) „Что такое друзья народа“, стр. 108 – 109. Курс. Ленина.

Тем же духом была охвачена наша земская статистика в 80-х и 90-х годах. Стремясь выявить в цифрах справедливость народнических предрассудков, она при самой постановке своих работ не ставила себе задачей анализ неугодных ей тенденций. Чтобы показать однородность кустарного производства и отсутствие капиталистической эксплоатации, наши статистики избегали группировки отдельных заведений по принципам, которые могли бы дать представление о различной экономической природе отдельных статистических единиц.

Как и при обработке данных по крестьянским дворам, они предпочитали выводить свои знаменитые „средние“. Если статистику народнической школы—а к ней нужно отнести подавляющее большинство земских статистиков указанного периода—нужно было иллюстрировать, например, незначительность дохода кустаря, он ничтоже сумняшеся складывал доходы одиночек-кустарей с доходами крупных „кустарных“ заведений и путем деления полученной суммы на число слагаемых выводил размер „среднего“ дохода. На этой почве бывали случаи, буквально поражающие своей курьезностью [1]).

„Уравнительный“ подход народничества к кустарным промыслам подвергался резкой критике со стороны молодого воинствующего русского марксизма еще до выступлений В. И. Сюда относятся прежде всего „Наши разногласия“ Плеханова [2]). Своим смелым и решительным натиском на противника покойный Георгий Валентинович оставил глубокий след в революционной интеллигенции 80-х и 90-х годов прошлого столетия. Ибо даже явно предубежденная народническая молодежь не могла не призадуматься над плехановскими доказательствами того положения, что кустарные промыслы быстро переходят в домашнюю систему крупного производства. В этом безусловная историческая заслуга Плеханова. Но Г. В. при всей широте и многогранности своего духовного облика был по преимуществу философом и социологом, и это, естественно, накладывало свою печать на его работы, посвященные экономическим вопросам. Вполне выдержанная в методологическом отношении и увлекательная по форме, плехановская критика народничества носила скорее публицистически-просветительский, чем научно-экономический характер. Г. В. иллюстрировал, конечно, свои положения яркими и убедительными цифровыми примерами, но он, судя по всему, ни в начале своей деятельности, ни в 90-х годах не питал особой склонности к детальной разработке объемистых земско-статистических фолиантов,

---

[1]) Так, пермские статистики принимали в расчет „кустарей“, нанимавших свыше 50 рабочих (В. И. Ленин. „Кустарная перепись 1894—5 г. в Пермской губернии“. Напечатано в 1899 г. в сборнике „Экономич. этюды и статьи“. См. „Собрание сочинений“, 1923 г., стр. 421). Московские статистики ухитрились включить в сводки по „фарфоровому промыслу“ 20 заведений с 1817 рабочими (см. „Развитие капитализма в России“, стр. 265—266).

[2]) Г. В. Плеханов. Сочинения, 1923 г., т. II, стр. 214 и сл. К тому же вопросу Г. В. возвращался впоследствии в книге „Обоснование народничества в трудах г-на Воронцова“, СПБ. 1896, стр. 176 и сл.

которые при всех своих огромных недостатках давали материал, направленный непосредственно против их составителей.

Эта работа выпала на долю В. И. Когда читаешь его экономические сочинения, посвященные интересующему нас вопросу, то поражаешься тому сверхчеловеческому труду, который вкладывал В. И. в научную обработку данных нашей земской статистики, собранных зачастую с величайшей щепетильностью, но сгруппированных так, что они кроме искаженной картины действительности ничего другого дать не могли. Классическим примером „черной работы" проделанной В. И., может служить его анализ кустарных промыслов Пермской губернии. Пермские статистики регистрировали, между прочим, доходность отдельных кустарных заведений, но, как водится, не потрудились над составлением общей сводной таблицы, которая могла бы воочию показать всю иллюзорность народнических представлений об однородности наших кустарей. И вот В. И. производит выборки по 28 промыслам, охватывающим 8.364 (!) заведения с 18.760 рабочими, соответственно доходности разбивает их на 6 рубрик (с доходом до 10 до 20, до 50, до 100 и до 200 руб.). В результате—только одна таблица [1], но таблица, дающая в тысячи раз больше, чем целые томы, наполненные прекраснодушными народническими рассуждениями. Другой характерный пример дает разработка В. Лениным материалов по подворным переписям кустарей в Московской губернии. Ставя себе целью анализ социально-экономических отношений, которые складываются между кустарями, как мелкими товаропроизводителями, он применяет тот же метод, что и по отношению к крестьянству. „Вместо размеров земледелельческого хозяйства,—пишет он,—мы должны взять теперь за основание размеры промысловых хозяйств; группировать мелких промышленников по размерам их производства, рассмотреть роль наемного труда в каждой группе, состояние техники и т. д." [2]). Материал для этой работы В. И. находит в двух статистических сборниках („Сборники статистических сведений по Московской губернии", т.т. VI и VII. Промыслы Моск. губ.) и в двухтомном статистическом исследовании проф. А. Исаева („Промыслы Московской губернии", Москва 1876/7). В этих работах по целому ряду промыслов приводятся точные данные о производстве, иногда о числе рабочих и т. д., но в них нет никаких групповых таблиц В. И. самостоятельно берется за составление этих таблиц, распределяя кустарей каждого промысла на 3 разряда и выбирая при этом в качестве fundamentum divisionis те признаки, которые полнее всего представлены в описаниях того или другого промысла: он берет в одном случае число рабочих на одно заведение, в другом—размеры производства, в третьем—техническую постановку и т. д. Полученная т. Лениным сводка охватывает 33 промысла с 2 085 заведениями и

[1]) „Собрание сочинений", т. II, стр. 431.

[2]) „Развитие капитализма", стр. 264.

9427 рабочими и свободно умещается на 4-х страницах обычного формата или на небольшой диаграмме[1]), которая как на ладони показывает истинную природу кустарного производства. Читатель „Развития капитализма" видит только результаты, преподнесенные в красноречивом стиле двух кривых линий, движения которых не оставляют никаких сомнений насчет справедливости законов марксовой политической экономии в приложении к русской действительности. Но подавляющее большинство многочисленных теперь читателей т. Ленина, пробовавших уже „грызть молодыми зубами гранит науки", едва ли имеет представление о той предварительной, лабораторной работе, которую проделывал в таких случаях В. И. Даже не имея биографических данных о кабинетной работе т. Ленина, можно сказать, что Владимиру Ильичу одному приходилось проделывать работу, которая в настоящее время возлагается на целые десятки счетчиков и статистиков.

Тот, кто все свои желания и усилия сосредоточивает на сохранении данной идеализируемой социально-экономической формы и не хочет смотреть вперед, не видит и не может видеть тенденций исторического развития. Он сознательно или бессознательно закрывает глаза на все зачаточные проявления нового, он игнорирует даже крепнущие ростки надвигающихся социальных феноменов и, если он не слепец от рождения [2]), прозревает только тогда, когда процесс объективного развития заходит так далеко, что от прежних иллюзий не остается и следа. Как идеологи мелкой буржуазии, наши народники были совершенно чужды диалектического мышления. Бывали случаи, когда о принадлежности данного промысла к домашней системе крупного производства не могло быть двух мнений. Но кустари, экспроприированные без остатка капиталом, оставались собственниками ничтожных земельных участков. „Это последнее обстоятельство особенно смущает «друзей народа», привыкших мыслить, как и подобает истым метафизикам, голыми непосредственными противоречиями: да—да, нет—нет, а что сверх того, то от лукавого. Безземельные рабочие—капитализм; владеют землей—нет капитализма; и они ограничиваются этой успокоительной философией" [3])... Ленину (тогда еще К. Тулину и В. Ильину) пришлось продолбить глухую стену народнических предрассудков и вскрыть всю бессодержательность и познавательную никчемность понятия „кустарничество", которое на языке

---

[1]) „Развитие капитализма", стр. 267 и 478—481.

[2]) Надо было быть В. Воронцовым, чтобы в 1902 г. продолжать говорить о „беспочвенности новейших успехов индустриализма" и о возвращении „к той самой постановке вопроса экономического развития России, какая была завещана своим преемникам поколением семидесятых годов прошлого столетия". По сообщению Финн-Енотаевского, тот же В. В. в полемике с Туганом в 1910 г. заявил, что он стоит на той же точке зрения, на которой стоял 30 лет тому назад. Роза Люксембург совершенно справедливо усматривала в этом живое опровержение слов Барера: „Il n'y a que les morts qui ne reviennent pas".

[3]) „Что такое друзья народа", стр. 83.

наших самобытников означало нечто устойчивое и экономически однородное. „Мы видели,—писал он, резюмируя кропотливый анализ статистических данных,— что под это понятие подводились самые разнообразные формы промышленности, мы вправе сказать: **почти все формы промышленности, какие только знает наука** (курсив В. И.). В самом деле, сюда вошли и патриархальные ремесленники, работающие по заказу потребителей из их (потребителей) материала, получающие вознаграждение иногда натурой, иногда деньгами. Сюда вошли далее представители совсем иной формы промышленности — мелкие товаропроизводители, работающие своей семьей. Сюда, вошли владельцы капиталистических мастерских с наемными рабочими и эти наемные рабочие, число которых достигает нескольких десятков на заведение. Сюда вошли предприниматели-мануфактуристы с крупным капиталом, господствующие над целой системой детальных мастерских. Сюда вошли и работающие на капиталистов домашние рабочие. По всем этим подразделениям „кустарями“ одинаково считались и земледельцы, и не-земледельцы, и крестьяне, и горожане. Такая путаница вовсе не особенность данного исследования о пермских кустарях. Ничуть не бывало. Она повторяется **везде и всегда** (курсив В. И.), когда и где говорят и пишут о „кустарной“ промышленности... И вот излюбленный прием нашей народнической экономии состоит в том, чтобы свалить в кучу все это бесконечное разнообразие форм промышленности, назвать эту кучу „кустарной“, народной промышленностью, и—risum teneatis, amicii [1])—противопоставить эту бессмыслицу капитализму, „фабрично-заводской промышленности“ [2]).

Разрушение Владимиром Ильичом народнических представлений об однородности кустарных промыслов начинается, можно сказать, с первых шагов его революционно-литературной деятельности. Сжатое и вместе с тем яркое изложение взглядов В. И-ча на кустаря, развитых с такой исчерпывающей полнотой впоследствии (в статье о пермской переписи и в „Развитии капитализма“), мы находим уже в „Друзьях народа“. Доказывая, что капитализм представляет из себя не противоречие „народному строю“, а непосредственное его продолжение и развитие, В. И. нарочно берет пример со „слабой буржуазностью“ — горшечный промысел, который, по словам народнического профессора, представляет собой „промысел чисто-домашний“, т.-е. менее всего прикосновенный к капитализму. Цифры подворной переписи кустарей Московской губернии, приведенные в книге А. Исаева, дают ему возможность разбить 121 заведение указанного промысла по группам с числом рабочих от 1 до 3, от 4 до 5 и свыше 5. В итоге он получает следующую выразительную таблицу:

1) Подождите смеяться, друзья! *Ш. Д.*

2) „Кустарная перепись 1894/5 г.“ и проч.—„Собрание сочинений“, том II, стр. 447—448.

Группы кустарей по числу рабочих.	Среднее число рабочих на 1 заведение.	Процент.		Годов. произв. 1 рабоч.	Процентное распределение.			Абсолютные цифры.		
		Завед. с наемн. рабочими.	Наемных рабоч.		Заведений.	Рабочих.	Суммы производ.	Число заведений [1]).	Число рабочих [2]).	Сумма производства.
I. Им. 1—3 раб.	2,1	39	19	461	60	38	36	72/28	174/33	81.500
II. Им. 4—5 „	4,3	48	20	498	27	32	32	33/16	144/29	71.800
III. Им более 5 „	8,4	100	65	533	13	30	32	16/16	134/87	71.500
Итого...	3,7	49	33	497	100	100	100	121/60	452/149	224.800

Оказывается, что даже в этом наименее дифференцированном в классовом отношении промысле нет и признаков той любезной народническому сердцу однородности, о которой мелко-буржуазные идеологи, владевшие в свое время революционными умами, не переставали кричать на всех перекрестках: 13%, или менее $^1/_8$, всех заведений охватывает $^2/_3$ (65%) всех наемных рабочих, занятых в промысле, и почти $^1/_3$ (32%) всей его продукции; почти такую же долю продукции дают 60% кустарей, объединенных под I разрядом [3]).

Аналогичными таблицами, требовавшими для своего составления сизифова труда, переполнены все экономические работы В. И., начиная с „Новых хозяйственных движений в крестьянской жизни“ [4]) и кончая „Новыми данными о законах развития капитализма в земледелии“ [5]). В. И. с исключительным успехом применял их как в своих работах по сельскому хозяйству, так и в работах, посвященных кустарным промыслам и крупной индустрии. Он был едва ли не первым русским марксистом, широко применившим изложенный метод группировки статистических данных к кустарному производству. До него ни Плеханов, ни Струве, ни тем более Николай—он, считавший себя по простоте душевной марксистом, этим приемом не пользовались, и мы напрасно стали бы искать типичных ленинских табличек в „Наших разногласиях“, в „Обосновании народничества“, в „Критических заметках“, или в „Очерках нашего пореформенного хозяйства“.

[1]) Знаменатель означает число заведений с наемными рабочими.

[2]) Знаменатель означает число наемных рабочих.

[3]) „Что такое друзья народа“, стр. 90. См. также результаты обработанных тем же путем данных по кирпичному промыслу: здесь 10% заведений высшей группы держат в своих руках 44% общей суммы производства (стр. 86).

[4]) Написано в 1893 г., впервые напечатано тов. С. И. Мицкевичем в сборнике „К двадцатипятилетию первого съезда партии“. Москва—Петроград 1923.

[5]) Написано в 1915 г., напечатано в 1918 г. издательством „Жизнь и Знание“.

Мы ограничиваемся здесь цитированной таблицей, ибо в нашу задачу входит лишь характеристика методологии Ленина, а не изучение экономики России по его произведениям. Приведем только некоторые выводы, которые В. И. делает из своих однотипных статистических табличек и которые так же характерны для него, как его таблички. Разбивая по размеру доходов пермских кустарей, занятых в том или другом промысле, он приходит к следующим заключениям. Рогожный промысел: „11 заведений из 99 концентрируют почти половину всего производства. Производительность труда в них выше, более чем вдвое; заработная плата наемным рабочим также; чистый доход более чем вшестеро выше „среднего" и почти вдесятеро выше дохода остальных, т. е. более мелких кустарей". Веревочно-канатный промысел: „из 58 заведений 4 концентрируют больше половины (курсив В. И.) всего производства. В этих заведениях капиталистических, мануфактурного типа) производительность труда втрое выше среднего и более чем вчетверо выше, чем у остальных, т. е более мелких заведений". Пекарный промысел: „опять-таки средние для всей подгруппы [1]) цифры оказываются совершенно фиктивными. Крупные заведения (4 из 27) концентрируют бо́льшую половину всего производства, дают чистую доходность вшестеро выше среднего и в четырнадцать раз больше, чем у мелких хозяйчиков, и выплачивают наемным рабочим заработную плату, превышающую доход мелких кустарей" (курсив В. И.) [2]).

Суммарная таблица по 28 промыслам и 8.364 заведениям дает результат, свидетельствующий о глубочайшем процессе расслоения кустарного производства: 5,7% заведений имеют 26,5% дохода, а 29,8% заведений имеют 64,4% дохода [3]).

Не менее выразительную картину классовой дифференциации кустарей дает обработка В. И. статистических материалов по Московской губернии. Составляя по тому же способу соответствующую таблицу (на этот раз с группировкой данных не по размеру дохода, а по числу рабочих), он приходит к следующим выводам: „В мелких крестьянских промыслах громадную роль играют сравнительно крупные капиталистические заведения. Составляя небольшое меньшинство в общем числе заведений, они концентрируют, однако, весьма бо́льшую долю общей суммы производства. Так, по 33-м промыслам Московской губернии 15% заведений высшего разряда концентрируют 45% всей суммы производства: на долю же 53-х процентов заведений низшего разряда приходится всего только 21% всей суммы производства. Само собою разумеется, что распределение чистого дохода от промыслов должно быть еще несравненно менее равномерным" [4]).

1) Речь идет о подгруппе кустарей, работающих на вольную продажу и имеющих земледельческое хозяйство.

2) „Кустарная перепись 1894/5 г. в Пермской губ.",—Собр. соч., т. II, стр. 423—425. Все курсивы, за исключением оговоренных, принадлежат мне.—*Ш. Д.*

3) Там же, стр. 435. Ср. также „Развитие капитализма", стр. 271—272.

4) „Развитие капитализма", стр. 271.

3.

Рисуя процесс дифференциации мелкого товарного производства, В. И. шаг за шагом прослеживает развитие форм промышленности, начиная с ее зачаточной стадии—ремесла и кончая крупным капиталистическим производством. Опираясь, как всегда, на анализ окружающей действительности, он рассматривает хозяйственные явления в их динамике и показывает, что та пестрая смесь явлений, которую народники наивно принимают за совокупность однородных и равновеликих экономических феноменов, представляет лишь своеобразный конгломерат различных форм промышленности, более ранних и более поздних, но сосуществующих в пространстве и времени.

Первой формой промышленности, отрываемой от патриархального земледелия, является, по В. И., ремесло, т.-е. производство изделий по заказу потребителя [1]). Материал, из которого вырабатывается продукт, может быть и собственностью самого ремесленника, и собственностью заказчика; оплата труда может происходить либо деньгами, либо натурой (содержание ремесленника, вознаграждение долей продукта и т. д.). В своей работе о пермских промыслах В. И. находит довольно высокий процент „кустарей", которых следует отнести к категории ремесленников. Понижаясь по мере повышения уровня развития промышленности отдельных районов губернии, процент ремесленников по отношению к общему числу „кустарей" составляет в уездах с наименьшим развитием промыслов 77,7%, а по всей губернии 29,5%. Кустари-ремесленники характеризуются наиболее прочной связью с землей. По Пермской губернии на 100 ремесленников приходится 80,6 земледельцев,—процент, гораздо более высокий, чем у прочих „кустарей". На этой стадии развития промышленности нет еще товарного производства в полном смысле этого слова, ибо продукт труда ремесленника, как общее правило, не выходит за пределы натурального хозяйства крестьянина и не появляется на рынке [2]). „Естественно поэтому, что ремесло характеризуется такой же рутинностью, раздробленностью и узостью, как и мелкое патриархальное земледелие. Единственным элементом развития, присущим этой форме промышленности, является отход ремесленников на заработки в другие местности" (там же). Но если для ремесленника и характерна работа на заказ, то он, придя в соприкосновение с рынком, неизбежно, хотя и постепенно, переходит к производству на продажу. На первых порах он продает либо продукты, случайно не забранные заказчиком, либо изготовленные специально для продажи в свободные часы. Рынок сбыта носит еще узко локальный характер, и продукт, как и при системе заказов, переходит прямо из рук про-

---

[1]) Там же, стр. 271.

[2]) См. „Кустарная перепись 1894/5 г. в Пермской губ.",—Собр. соч., т. II, стр. 387—388, а также „Развитие капитализма", стр. 353—355.

изводителя в руки потребителя. Для низкого уровня развития этой формы промышленности показательно то обстоятельство, что сделка между покупателем и ремесленником совершается нередко на началах натурального товарообмена, без всякого посредничества денег: гончарная посуда обменивается на зерновой хлеб и т. п. Но товарное хозяйство расширяется, между производителем и потребителем начинает вклиниваться торговец-скупщик, и рынок сбыта от мелкого сельского базара или ярмарки обнаруживает тенденцию расшириться до пределов области, а затем и целой страны. Конкуренция грозит разрушить благополучие ремесленника, покоющееся на его монопольном положении, и „он употребляет всяческие усилия, как единоличные, так и коллективные, чтобы задержать конкуренцию, чтобы не пустить соперников в свой район, чтобы укрепить свое обеспеченное положение мелкого хозяйчика, имеющего определенный круг покупателей" [1]). Отсюда—стремление к самозамыканию и цеховый дух, в той или другой степени свойственные ремеслу всех стран и народов. Ремесленники кустари, пользующиеся каким-нибудь новым изобретением, пускаются на всякие хитрости, чтобы скрыть его от односельчан: они для виду сохраняют старое оборудование, не пускают посторонних в мастерские и не сообщают своих секретов даже родным детям. Дело доходит до того, что заинтересованные лица пытаются добиться приговоров волостного правления о наложении наказания на всех, кто передает мастерство в другое селение. Те же кустари-ремесленники—речь идет о металлообрабатывающем промысле села Безводного Нижегородской губернии—не выдают своих дочерей за женихов соседних деревень и всячески стараются не брать оттуда девушек в замужество...

Анализ В. И. свидетельствует, таким образом, о том, что часть наших кустарей, именно кустари-ремесленники, образуют первую ступень промышленности, не достигшую, правда, такого пышного расцвета, как ва Западе, но обладающую всеми характерными признаками западно-европейского ремесленного хозяйства.

4.

Ремесло в наших условиях представляет, однако, неустойчивую, быстро преходящую форму промышленности. „При ничтожном развитии товарного производства мелкий производитель ограничивается сбытом изделий на мелком местном рынке, иногда даже сбытом непосредственно в руки потребителя. Это—низшая стадия развития товарного производства, едва выделяющегося из ремесла. По мере расширения рынка такой мелкий раздробленный сбыт (находившийся в полном соответствии с мелким раздробленным производством) становится невозможным. На крупном рынке сбыт должен быть круп-

1) „Развитие капитализма", стр. 257.

ным, массовым и вот мелкий характер производства оказывается в непримиримом противоречии с необходимостью крупного, оптового сбыта (курсив мой *Ш. Д.*). При данных общественно-хозяйственных условиях, при изолированности мелких производителей и разложении их, это противоречие не могло решиться иначе, как тем, что представители зажиточного меньшинства забрали сбыт в свои руки, концентрировали его. Скупая изделия (или сырье) в массовых размерах, скупщики таким образом удешевляли расходы сбыта, превращали сбыт из мелкого, случайного и неправильного в крупный и регулярный,—и это чисто экономическое преимущество крупного сбыта неизбежно повело к тому, что мелкий производитель оказался отрезанным от рынка и беззащитным перед властью торгового капитала. Таким образом, в обстановке товарного хозяйства мелкий производитель неизбежно попадает в зависимость от торгового капитала в силу чисто экономического превосходства крупного, массового сбыта над разрозненным мелким сбытом" [1]).

Представитель торгового капитала, осуществляющего своей экономической властью переход от простого товарного производства к производству капиталистическому, сам является продуктом имущественной дифференциации. Тоже происходило и в земледельческом, и в промысловом крестьянстве. Не останавливаясь сейчас на анализе В. И., относящемся к генезису и развитию торгового капитала из земледельческого крестьянского хозяйства, приведем лишь разбираемый в „Развитии капитализма" пример выделения скупщика из среды самих мелких товаропроизводителей и касающийся кружевного промысла в Московской губернии. На первых порах существования этого промысла (с 20-х годов XIX столетия), когда кружевниц было еще немного, они сбывали свой продукт непосредственно помещикам. На дальнейшей ступени развития промысла начался сбыт в Москву, при чем эта операция производилась нерегулярно,—через крестьян, ездивших по своим надобностям в город, а впоследствии через одну из кружевниц, которая получала вознаграждение за потерянное время. Таким образом противоречие между мелким разрозненным производством и широким сбытом нашло свое выражение в выделении торговки, которая, кстати сказать, привозила из города материал, необходимый для плетения кружев. Торговка, намечаемая теми же мастерицами, в начале остается верной патриархальным традициям, господствующим между ее соседками, и организация сбыта носит вполне товарищеский характер. „Но денежное хозяйство немедленно пробивает брешь в патриархальных отношениях". Посредница начинает ценить время на деньги. Она привыкает к своему новому занятию и постепенно превращает его в профессию. Побывавши несколько раз в городе, она устанавливает торговые связи и усваивает приемы торговли. Формально она—еще „комиссионерка". Кружевницы

---

[1]) „Развитие капитализма", стр. 277—278.

платят ей за продажу 10 коп. с рубля, но ее торговая прибыль значительно больше: она продает выше сообщаемой ею цены и покупает заказываемый материал по более дешевым ценам, чем те, которые она ставит кружевницам. Так наша „женщина-кулак“ постепенно сколачивает небольшой капиталец, дающий ей огромную власть над промыслом. Она платит вперед деньги, снабжает кружевниц в кредит материалом и в любой момент может купить готовый товар. Естественно, что это открывает ей широкое поприще для эксплоатации. „Таким образом,—заключает В. И.,—не подлежит сомнению, что в обстановке товарного хозяйства мелкий производитель неизбежно выделяет из своей среды не только более зажиточных промышленников [1]) вообще, но и в частности—представителей торгового капитала. А раз образовались эти последние, вытеснение мелкого раздробленного сбыта крупным оптовым сбытом становится неизбежно“ [2]) И В. И., приводя примеры того, как крупные хозяева из кустарей, являющиеся в то же время скупщиками, организуют сбыт на широкой основе, характеризует те формы, которые принимает торговый капитал в мелких промыслах. Таких форм он различает четыре. Первая—и самая простая—это покупка кустарных изделий торговцем или владельцем более крупной мастерской. При таком порядке сбыта возможны два случая: если скупка развита еще сравнительно слабо или число конкурирующих скупщиков относительно велико, то продажа кустарных изделий представителю торгового капитала ничем не отличается от обычной сделки купли-продажи; если же местный скупщик—единственное лицо, которому кустарь может продавать свои изделия [3]),—а этот случай является преобладающим,—то скупщик фактически находится в положении монополиста, который в состоянии в довольно широких пределах производить понижение цены продукта производителя и, следовательно, присвоить себе значительную часть ценности, создаваемой последним. Вторая форма торгового капитала в связи с мелким производством состоит в соединении функций торговца и ростовщика. Торговец ссужает постоянно нуждающегося мелкого „промышленника“ деньгами, а тот расплачивается по своему долгу готовыми изделиями. Как это всегда в подобных случаях бывает, должник ставится по отношению к ростовщику-продавцу в чисто-кабальные отношения, которые кредитор всячески старается использовать. Этот случай, имеющий широчайшее распространение в отношениях между крестьянами

---

1) Термин этот в прошлом веке имел более широкий смысл, чем в настоящее время: теперь мы под этим словом подразумеваем обычно представителя капиталистической промышленности.

2) „Развитие капитализма“, стр. 281.

3) Оптовый сбыт становится необходимым, поскольку торговые расходы по сбыту кустарных изделий не окупаются даже при продажах на 150—200 руб. („Разв. капит.“, стр. 282). Ясно, что лиц, располагающих такими средствами, в среде „кустарей“ не так уж много.

земледельцами, типичен и для так наз. кустарных промыслов. Он приводит к такому понижению цен, что доход мелкого кустаря чаще всего бывает ниже заработной платы наемного рабочего[1]). Третья форма торгового капитала состоит в том, что скупщик расплачивается за покупаемые кустарные изделия товарами,— особенность, свойственная не только кустарным промыслам, но всем вообще неразвитым ступеням капитализма. Наконец, „четвертой формой торгового капитала является расплата торговца теми именно видами товаров, которые необходимы „кустарю“ для производства (сырые и вспомогательные материалы и т. п.). Продажа материалов производства мелкому промышленнику может составить и самостоятельную операцию торгового капитала, вполне однородную с операцией скупки изделий. Если же скупщик изделий начинает расплачиваться теми сырыми материалами, которые нужны кустарю, то это означает очень крупный шаг в развитии капиталистических отношений. Отрезав мелкого промышленника от рынка готовых изделий, скупщик отрезывает его теперь от рынка сырья и тем окончательно подчиняет себе кустаря. От этой формы остается уже один только шаг до той высшей формы торгового капитала, когда скупщик прямо раздает материал „кустарям“ за определенную плату. Кустарь становится de facto наемным рабочим, работающим у себя дома на капиталиста; торговый капитал скупщика переходит здесь в промышленный капитал. Создается капиталистическая работа на дому“[2]).

Мысль о том, что подавляющая часть так наз. кустарных промыслов представляет собой не что иное, как домашнюю систему крупного капиталистического производства, настойчиво проводится В. И. уже в „Друзьях народа“, где он впервые ставит вопрос о процессе расслоения, протекающем в среде кустарей. Народникам, насчитывавшим от 4 до 7 милл. кустарей и считавшим, что „мелкая народная промышленность дает гораздо большую сумму валового производства

[1]) Анализ пермских промыслов приводит В. И. к заключению, что 28,4% кустарей получают заработок, который значительно ниже средних заработков наемных рабочих у кустарей. 41,8% кустарей получают „не больше или даже меньше заработка наемного рабочего у кустаря“. „Семь десятых всего числа кустарей,—подчеркивает В. И.,—стоят по своим заработкам, на уровне наемных рабочих у кустарей, отчасти даже ниже их“. 24.1% получают заработок, которому не позавидовал бы ни один фабрично-заводский рабочий, и только 5.7% „кустарей“ двух верхних разрядов, эксплоатирующих в более широких размерах наемный труд и менее зависимых (или даже совсем независимых) от скупщиков получают доход более значительный (Собр. сочин., т. II, стр. 430—435). Естественно, что низкий заработок мелкого кустаря по сравнению с крупным является не столько результатом технической отсталости первого (которую он с успехом компенсирует удлинением рабочего дня), сколько следствием того, что скупщик, обычно тот же крупный кустарь, присваивает себе не только часть цены товара, соответствующую предпринимательской прибыли, но и некоторую долю заработной платы.

[2]) „Развитие капитализма“, стр. 284—285.

и занимает больше рук, чем промышленность крупная капиталистическая" (Кривенко), тов. Ленин прямо говорил: „Но кто же не знает, что преобладающей формой экономики наших кустарных промыслов является домашняя система крупного производства? что масса кустарей занимает никак не самостоятельное, а совершенно зависимое, подчиненное положение в производстве, работает не из своего материала, а из материала купца, который платит кустарю только заработную плату?" [1]) И далее следуют разительные иллюстрации, подтверждающую безусловную правильность этого тезиса. В Московской губернии 86,5% годовых оборотов кустарной промышленности дает домашняя система крупного производства; на долю мелких самостоятельных товаропроизводителей приходится лишь 13,5%. В Александровском и Покровском уездах Владимирской губернии доля продукции самостоятельных кустарей составляет не более 4%. Из кустарей Нижегородской губернии, занятых приготовлением столовых ножей, лишь одна шестая не порабощена предпринимателю.

5.

Но границы между капиталистической работой на дому и первой стадией промышленного капитализма начинают стираться: на арену экономической жизни все более явственно начинает выступать капиталистическая мануфактура. Процесс образования этой последней в России, как и в других странах, идет двояким путем. В более крупных кустарных заведениях по мере расслоения промысла число рабочих возрастает; они мало-по-малу вводят все более широкую систему технического разделения труда, и капиталистическая простая кооперация постепенно превращается в капиталистическую мануфактуру. К тому же самому результату приводит и распространение власти торгового капитала на кустарные промыслы. Если „скупщик выделяет некоторые детальные операции и производит их наемными рабочими в своей мастерской, если на ряду с раздачей работы на дома и в неразрывной связи с ней появляются крупные мастерские с разделением труда (принадлежащие нередко тем же скупщикам), то мы имеем перед собой другого рода процесс возникновения капиталистической мануфактуры" [2]).

Трактовка отдельных промыслов как мануфактурной стадии в развитии капитализма в русской экономической литературе встречается впервые в работах Владимира Ильича [3]). И характерно, что он

---

[1]) „Что такое друзья народа", стр. 80.

[2]) „Развитие капитализма", стр. 299—300.

[3]) Он сам отмечает это в статье против П. Н. Скворцова („Некритическая критика", см. III том Собр. соч., стр. 512), правда, с оговоркой: „если не ошибаюсь"! Просмотр работ предшественников тов. Ленина показывает, однако, что Вл. Ил. не ошибался. Впрочем, вопрос о мануфактурной стадии в развитии русского капитализма ставится В. И-чем еще до „Развития капитализма". См., напр., „Что такое друзья народа", стр. 82 и 92, и в особенности работы о пермских кустарях, Собр. соч., т. II, стр. 443 и сл.

в своем анализе выделял эту форму промышленности не потому, что он a priori ставил себе целью во что бы то ни стало найти в нашем экономическом развитии все те ступени, которые были отмечены Марксом при изучении английского капитализма, а потому, что они в своей классической форме выступали перед ним при исследовании нашей хозяйственной действительности.

Детально изученные тов. Лениным образцы нашей капиталистической мануфактуры не уступают иллюстрациям, приведенным в „Капитале": они так и просятся на страницы экономической хрестоматии. Перед нами прежде всего организация ткацких промыслов. „Во главе промысла стояли крупные капиталистические мастерские с десятками и сотнями наемных рабочих; хозяева этих мастерских, обладая крупными капиталами, производили в крупных размерах закупку сырья, отчасти перерабатывая его в своих заведениях, отчасти раздавая пряжу и основу мелким производителям (светелочникам, заглодам, мастеркам - „кустарям" и пр.), которые ткали у себя дома или в мелких заведениях материи за сдельную плату. В основе самого производства лежал ручной труд, при чем между отдельными рабочими распределялись следующие отдельные операции: 1) окраска пряжи, 2) мотание пряжи (на этой операции специализировались часто женщины и дети); 3) снование пряжи (рабочие-„сновальщики"); 4) ткачество, 5) наматывание утка для ткачей (работа шпульников, большей частью детей). Иногда в крупных мастерских есть еще особые рабочие „продевальщики" (продевают нити основы сквозь глазки ремизок и берда стана). Разделение труда практикуется обыкновенно не только детальное, но и потоварное, т.-е. ткачи специализируются на производстве отдельного сорта тканей. Выделение некоторых операций производства для работы на дому не изменяет, конечно, ровно ничего в экономическом строе промышленности подобного типа. Светелки или дома, в которых работают ткачи, представляют из себя лишь внешние отделения мануфактуры. Техническим основанием подобной промышленности является ручное производство с широким и систематическим разделением труда; с экономической стороны мы видим образование громадных капиталов, которые распоряжаются закупкой сырья и сбытом изделий на весьма обширном (национальном) рынке, и в полном подчинении у которых находится масса пролетариев-ткачей; немногочисленные крупные заведения (мануфактуры в узком смысле) господствуют над массой мелких"[1]). Такова же и организация шелкового промысла во Владимирской губернии. Большинство заведений (67%) составляют мелкие мастерские с числом рабочих от 1 до 5. Предприятий крупных с 20—150 рабочими подавляющее меньшинство—всего 8%, но они концентрируют 41,5% всего числа рабочих и 51% всей продукции. Число вполне самостоятельных хозяев не превышает 40%; только они зани-

[1]) „Развитие капитализма", стр. 301.

маются самостоятельной закупкой сырья и самостоятельным сбытом продукта, остальные работают на самостоятельных, получая от них обычно сдельную заработную плату. Тот же тип экономических отношений господствует в позументном промысле в Московской губернии, в сарпиночном промысле Камышинского уезда Саратовской губернии и т. д.

Поскольку В. И. находит мануфактурную стадию капитализма в огромном большинстве анализируемых им промыслов, мы не можем, конечно, за ним следовать. Остановимся лишь на тех примерах, которые характеризуют рассмотренную Марксом гетерогенную мануфактуру. Сюда относится прежде всего сундучный промысел. Изготовление сундука распадается на 10—12 отдельных операций, на которых каждая выполняется „особыми кустарями-детальщиками“. С точки зрения технической, это разделение труда увенчивается в мастерских нескольких, более или менее крупных хозяев, где производится сборка и окончательная отделка сундуков. С точки зрения экономической мы имеем здесь образчик командной власти капитала крупного предпринимателя над всей остальной массой „кустарей“, большинство которых отличается от наемных рабочих периода развитого капитализма только тем, что они работают у себя на дому [1]). Такой же характер носит тульский самоварный промысел. Процесс изготовления самовара распадается на целый ряд детальных операций. Таковы: 1) складывание медных пластин в трубы (наводка); 2) спаивание их; 3) опилка швов; 4) приделка поддонок; 5) ковка изделий („тяхтание“); 6) чистка внутренней стороны; 7) точка самоваров и шеек; 8) лужение; 9) пробивка прессом отдушин на поддонках и канфорках; 10) сборка самовара. Отдельно производится формовка и отливка мелких медных частей. Все эти работы выполняются мелкими мастерскими, при чем каждая из этих работ может составить особый „кустарный“ промысел. Как и в случае с сундучным промыслом, вся эта система возглавляется небольшим числом крупных предприятий, насчитывающих десятки и даже сотни рабочих. Предприятия эти отчасти сами выполняют перечисленные выше операции, отчасти же занимаются лишь сборкой самоваров, поручая последовательное выполнение детальных работ окрестным кустарям-детальщикам [2]).

В. И. особенно резко подчеркивает развитие на этой стадии капиталистической работы на дому. Основываясь на „Перечне фабрик и заводов“ (изд. 1897 г.), он указывает, что в кожевенно-обувных заводов г. Сарапула, Вятской губернии, кроме 214 рабочих, работающих в самих заведениях, занимают еще 1.080 рабочих на стороне. В села Павлове, Ворсме и Вачи (ножовый промысел) 15 хозяев уже в 1866 г. имели 500 рабочих в заведениях и 1.134 раб. на

[1]) „Кустарная перепись 1894/5 г. в Пермской губ.“—Собр. соч., т. II. См. также „Развитие капитализма“, стр. 444—445.

[2]) „Развитие капитализма“, стр. 334.

стороне. В ювелирном промысле с. Красного, Костромского уезда, около 60% кустарей оказываются наемными рабочими на дому [1]). Правда,—отмечает В. И.,—капиталистическая работа на дому встречается на всех стадиях развития капитализма в промышленности, начиная с мелких крестьянских промыслов и кончая крупной машинной индустрией, но она особенно типична именно для мануфактуры. Если мелкие крестьянские промыслы и крупная машинная индустрия легко обходятся без работы на дому, то „мануфактурный период развития капитализма,—со свойственным ему сохранением связи работника с землей, с обилием мелких заведений вокруг крупных,—трудно, почти невозможно себе представить без раздачи работы по домам“ [2]). „Непосредственно примыкая к капиталистической мастерской с наемными рабочими, составляя зачастую лишь продолжение ее или одно из ее отделений, работа на скупщика является просто придатком фабрики, понимая это последнее выражение не в научном, а в разговорном значении его. По научной же классификации форм промышленности работа на скупщика принадлежит большею частью к капиталистической мануфактуре, ибо она: 1) основана на ручном производстве и на широком базисе мелких заведений; 2) вводит между этими заведениями разделение труда, развивая его и внутри мастерской; 3) ставит во главе производства торговца, как это и всегда бывает в мануфактуре, предполагающей производство в широких размерах, оптовую закупку сырья и сбыт продукта; 4) низводит трудящихся на положение наемных рабочих, занятых в мастерской хозяина или у себя на дому. Именно этими признаками характеризуется научное понятие мануфактуры, как особой ступени развития капитализма в промышленности. Эта форма промышленности означает уже глубокое господство капитализма, будучи непосредственной предшественницей последней и высшей формы его, т.-е. крупной машинной индустрии“ [3]).

Вл. Ил. разрушил, таким образом, народническую легенду о некапиталистическом характере нашего „народного“, кустарного производства. На анализе фактов, собранных статистиками-народниками, он подробно обосновал тот тезис, что кустарное производство есть не особый, характерный только для России строй промышленности, но что он представляет собой совокупность последовательных форм, начиная от ремесла и кончая индустриальным капитализмом на его мануфактурной стадии [4]). Этим самым В. И. показал, что в развитии русской промышленности нет ничего самобытного, и что оно только повторяет общий процесс развития капитализма.

---

[1]) Там же, стр. 318, 326, 332—333.

[2]) Там же, стр. 344—349.

[3]) „Перепись“ и пр. Собр. соч., т. II, стр. 447.

[4]) Этот тезис был высказан Вл. Ил. уже в „Друзьях народа“: „Стоит обратиться к анализу этих производственных отношений,—писал он,—и мы увидим, что „народный строй“ представляет из себя те же капиталистические произ-

6.

Но наши народники помимо положения об однородности кустарных промыслов в качестве признаков, долженствующих свидетельствовать об их резком отличии от капитализма, ссылались на прочную связь промыслов с земледелием и на их огромное распространение. В качестве метафизиков, „мыслящих голыми противоречиями“, они представляли себе капитализм не иначе как с наемными рабочими, потерявшими всякую связь с землей. Если рабочие безземельные—капитализм на лицо, если они владеют землей—нет капитализма. Таков был один из излюбленных тезисов народничества. Диалектический анализ Владимира Ильича вскрыл всю вздорность подобного рода утверждений и показал воочию, что Россия и в этом отношении не представляет собой ничего „оригинального“. Развитие товарного хозяйства идет по мере развития общественного разделения труда. А разделение труда состоит в том, что одна отрасль промышленности за другой, один вид обработки сырого продукта за другим **о т р ы в а ю т с я** от земледелия, образуя таким образом индустриальное население [1]). Совершенно естественно, что мы имеем перед собой не скачок, а непрерывный процесс развития, и что отрыв промышленного населения от земледельческого тем сильнее, чем выше развитие самой промышленности. „Они (народники),—пишет В. И. в „Друзьях народа“,—и не знают, кажется, что капитализм нигде не в состоянии был—находясь на низких сравнительно ступенях развития—оторвать совершенно рабочего от земли. По отношению к Зап. Европе Маркс установил тот закон, что только крупная машинная индустрия окончательно экспроприирует рабочего. Понятно поэтому, что ходячие рассуждения об отсутствии у нас капитализма, аргументирующие тем, что „народ владеет землей“, лишены всякого смысла, потому что капитализм простой кооперации

водственные отношения, хотя бы и в неразвитом, зародышевом состоянии (курсив мой. *Ш. Д.*),—что если отказаться от наивного предрассудка считать всех кустарей равными друг другу и выразить в точности различия в среде их,—то разница между „капиталистом“ фабрики и завода и „кустарем“ окажется подчас меньше разницы между одним и другим „кустарем“, что капитализм представляет из себя не противоречие „народному строю“, а прямое, ближайшее и непосредственное продолжение и развитие его“ (стр. 88). В той же книжке (стр. 91) В. И. предлагает народникам „найти такую мало-мальски развитую отрасль кустарной промышленности, которая бы не была организована капиталистически“. И когда Струве в „Критических заметках“ (написанных в то же время, что и „Друзья народа“) с профессорской осторожностью высказывается в том смысле, что настоящего кустарного производства самостоятельного товаропроизводителя, работающего на неопределенный рынок, в русской действительности, „пожалуй, почти не имеется“, то он за это „пожалуй“ подвергается резким нападкам со стороны В. И., ибо „преобладание домашней системы крупного производства и полнейшего порабощения кустарей скупщиками—общераспространенный и преобладающий **факт** действительной организации наших кустарных промыслов“ („Экономическое содержание народничества и критика его в книге г. Струве“. Собр. соч., т. II, стр. 89).

[1]) „К характеристике экономического романтизма“. Собр. соч., т. II, стр. 242.

и мануфактуры нигде и никогда не был связан с полным отлучением работника от земли, нисколько не переставая, разумеется, быть от этого капитализмом" [1]). Анализ статистических данных рассеивает, как дым, народническую легенду о неизменной связи кустарей с земледелием. Владимир Ильич, пользуясь все теми же земскими данными, доказывает, что чем выше стадия развития промысла, чем он ближе к мануфактурному типу производства, тем меньшее число „кустарей" является в то же самое время земледельцами. Разработка пермских данных приводит его к выводу, что неземледельцев по числу рабочих вдвое меньше, чем земледельцев, и что они, тем не менее, дают почти половину (48,1%) всего производства промыслов; чистый доход хозяев и хозяйчиков из числа неземледельцев почти в 2½ раза больше, чем неземледельцев, хотя рабочий период последних короче, чем у первых, всего только на 5 20% [2]). Еще резче выступает фикция связи кустаря с земледелием, когда соответствующий промысел организован по образцу мануфактуры. Здесь в качестве типичного „промышленника" выступает уже не крестьянин, а порвавший с земледелием „мастеровой", с одной стороны, и купец или хозяин мастерской, с другой. Центрами промыслов являются уже не земледельческие, а чисто-промышленные „села", жители которых уже почти не занимаются хлебопашеством. „Техника приковывает рабочего к одной специальности и поэтому делает его, с одной стороны, негодным для земледелия (слабосильным и пр.), с другой стороны, требует непрерывного и продолжительного занятия мастерством... При том полном обнищании масс производителей, которое является условием и следствием мануфактуры,—ее рабочий персонал не может рекрутироваться из мало-мальски исправных земледельцев" [3]). „Правда, мануфактура в России, как и на Западе, не может произвести полного отделения промышленных рабочих от земледелия (при ручной технике мелкие кустари отстаивают свое существование удлинением рабочего дня и понижением жизненного уровня), но она, повторяем, заходит в этом отношении очень далеко. Подтверждением этому служит опять-таки конкретный анализ. Так, село Воронцовка Павловского уезда насчитывает свыше 800 дворов, занятых производством деревянных изделий. Оно „представляет из себя как бы одну большую мануфактуру". Но что это за „село", явствует из того, что его население „земледелием почти не занимается (кроме огородничества)". Села Нижегородской губернии, славящиеся своими сталеслесарными промыслами (Павлово и Ворсма), совершенно оторваны от земледелия. Мало того, они отвлекают от земледелия и окрестных крестьян: вне названных сел было занято промыслами 4.492 раб., из которых 2.357, т. е. **более половины**, не занимались земледелием.

[1]) „Что такое друзья народа", стр. 83.

[2]) „Кустарная перепись и пр.". Собр. соч., т. II, стр. 409 и сл.

[3]) „Развитие капитализма", стр. 341.

Село Богородское Нижегородской губ., славящееся кожевенным, шорным и др. промыслами, „не только само почти не занимается земледелием, но и отрывает от земли и окрестных крестьян, переселяющихся в этот «город». В селе Безводном Нижегородской губ. (металлический промысел) „большая часть жителей вовсе не занимается земледелием". В Безводной волости в 1889 г. 67,3% дворов не имели посева; 78,3% было безлошадных, но зато 82,4% дворов занимались промыслами. В упомянутом уже с. Красном (ювелирный промысел) население за весьма немногими исключениями вовсе не занимаются земледелием...

Кроме аргумента о связи „кустаря" с земледелием, экономисты типа В. В. выдвигали в качестве доказательства жизненности и силы „народного производства" быстрое развитие мелкого производства в промышленности. Им представлялось, что это явление, обусловленное наличностью у земледельца свободного зимнего времени, представляет собой самобытную черту русской экономики и что оно свидетельствует о некапиталистическом типе ее развития. „Рассуждение это,—писал В. И.,—совершенно неправильно. Рост мелкого производства в крестьянстве означает появление новых производств, выделение новых отраслей обработки сырья в самостоятельные сферы промышленности, прогресс в общественном разделении труда, начальный процесс капитализма, тогда как поглощение мелких заведений крупными означает уже дальнейший шаг капитализма, ведущий к победе высших форм его. Распространение мелких заведений в крестьянстве расширяет товарное хозяйство, подготовляет почву для капитализма (создавая мелких хозяйчиков и наемных рабочих), а поглощение мелких заведений мануфактурой и фабрикой есть утилизация крупным капиталом этой подготовленной почвы. Совмещение в одной стране в одно время двух этих, повидимому, противоречивых, процессов, на самом деле не заключает в себе никакого противоречия: вполне естественно, что капитализм в более развитой области страны или в более развитой отрасли промышленности прогрессирует тем, что стягивает мелких кустарей на механическую фабрику, тогда как в захолустных местностях или в отсталых отраслях промышленности процесс развития капитализма только начинается, проявляясь в возникновении новых производств и промыслов"[1]). Эти две линии в развитии промышленности—увеличение числа предприятий, выделяющихся из земледелия и параллельное поглощение мелких предприятий крупными, являющееся выражением концентрации капитала, В. И. имел в виду во всех своих исследованиях. „С чисто-теоретической точки зрения,—писал он в другом месте,—a priori нельзя сказать, чтобы в развивающемся капиталистическом обществе непременно и всегда должно было происходить сокращение числа промышленных заведений, ибо на-ряду с процессом с концентрации промышленности идет

[1]) „Кустарная перепись и пр.", Собр. соч., т. II, стр. 402.

процесс отвлечения населения от земледелия, процесс роста мелких промышленных заведений в отсталых частях страны вследствие разложения полунатурального крестьянского хозяйства и т. д.“ [1]).

В. И. доказал таким образом, что „особая стать“ нашего „народного производства“ представляет собою не более как миф, сочиненный в свое собственное утешение представителями мелких буржуа—народнической интеллигенции. Подойдя к экономической действительности с „общим аршином“ метода Маркса, он „обмерил“ ее вдоль и поперек и показал воочию, что то, что представлялось лишенному всякой перспективы народнику чем-то вроде геометрической плоскости, есть на самом деле лестница, ведущая от мелкого товарного производства к крупной капиталистической промышленности. Тот же „общий аршин“, приложенный к машинной индустрии, дал т. Ленину возможность установить, что Россия и здесь подчиняется общим законам экономического развития.

7.

Исследование тенденций развития нашей машинной индустрии стоило Вл. Ил. таких же гигантских усилий, как и изучение промыслов, ибо он и в этой области (не имея почти предшественников) не мог итти по проторенной дороге и должен был пользоваться почти исключительно сырыми статистическими материалами. А материалы эти по методам регистрации и группировки представляли собой не менее неприглядную картину, чем данные по кустарным переписям. Наша официальная статистика не выработала даже точного понятия „фабрика и завод“. Расплывчатые признаки, которые преподносились из центра, самым различным образом истолковывались губернскими и уездными властями. Бывали случаи, что в число фабрик попадали типичные крестьянские красильни, окрашивающие за плату чужую пряжу и холст, лесопильные „заводы“ с 3-мя рабочими, ветряные и водяные мельницы, имеющие по одному рабочему, и т. д. и т. п. Центрального органа, который руководил бы единообразным собиранием сведений, не было: промышленные предприятия находились в ведении различных департаментов (горного, департамента торговли и мануфактур, департамента неокладных сборов и т. д.). Все это вносило невероятную путаницу и делало часто совершенно несравнимыми как данные по разным отраслям, так данные по разным годам. Главный источник, которым приходилось пользоваться т. Ленину („Перечень фабрик и заводов“, СПБ. 1897 г.), представлял собою простую справочную книгу, груду материала, без всяких сводных цифр. Понятно, что оперировать такими данными можно было лишь после тщательной проверки и кропотливой группировки по принципам, которые В. И. клал в основу всех своих статистико-эконо-

[1]) „К вопросу о нашей фабрично-заводской статистике“. Собр. соч., т. II, стр. 363. См. также „Развитие капитализма“, стр. 337.

мических исследований (по числу рабочих, по размеру производства и т. д.) [1]).

Качество наших официальных данных было таково, что они давали нашим народникам возможность „констатировать“ либо отсутствие роста численности нашего фабричного пролетариата, либо, в лучшем случае, рост более медленный, чем увеличение населения. Не решаясь отрицать наличности крупного капиталистического производства в России,—на это не был способен даже В. В.,— они старались доказать, что мы и здесь имеем дело с своеобразным „уклоном“. В. И. ответил на это детальным анализом цифр. Он изучил весь материал по этому вопросу [2]), подверг его критической обработке и получил следующий недвусмысленный ответ:

Число рабочих в крупных капиталистических предприятиях (в тысячах):

Годы.	В ф.-з. пром.	В горн. пром.	На жел. дор.	Всего.
1865	509	165	32	706
1890	870	340	253	1432

Таким образом число рабочих, занятых в крупной капиталистической промышленности, за четверть века возросло **более, чем вдвое**, и рост этот в своем темпе обогнал не только рост численности населения вообще, но и рост населения городов, которое за более длительный период (1863—1897 г.г.) увеличилось **менее чем в два раза**. В добавлении ко второму изданию „Развития капитализма“, В. И., опираясь на результаты переписи 1897 г., пришел к заключению, что торговопромышленное население России (включая членов семей) насчитывает около 13,2 миллиона пролетариев и полупролетариев при 1,5 милл. крупной буржуазии, 2,2 милл. зажиточной мелкой буржуазии и 4,8 милл. нуждающихся мелких производителей.

В отношении крупной капиталистической промышленности В. И. му пришлось, наконец, разделаться еще с одним предрассудком, а именно с „констатированием“ народниками того факта, что наш промышленный рабочий, в отличие от западно-европейского, неразрывно связан

---

[1]) См. „К вопросу о нашей фабрично-заводской статистике“, Собр. соч., т. II, стр. 350 и сл., а также „Развитие капитализма“, стр. 361 и сл. Когда читаешь у В. И. критику нашей старой ф.-з. статистики, то становится совершенно понятной та настойчивость, с которой т. Ленин направлял работу по организации у нас строго централизованного статистического управления (Ц.С.У.) Он на основании огромного личного опыта превосходно понимал, что значит делать выводы на основании несравнимых данных, добытых различными методами.

[2]) „Военно-статистич. сборник“, вып. IV, 1871 г.; „Ежегодник м-ва фин.“, вып. I, 1869 г.; „Указатель фабрик и заводов“ Орлова и Будагова; „Сборник свод. и мат. по вед. м-ва фин.“ за 1867 г.; „Сборник стат. свед. по горн. части“ за 1864—1867 г.г; „Сборн. стат. свод. о горн. пром. за 1890 г.“, 1893 г.; „Стат. обзор жел. дор. и внутр. водных путей“, 1893 г. и т. д. Кстати приложенный к III тому „Собр. соч.“ т. Ленина „список материалов, использованных автором“ (стр. 533—534) составлен нерадиво, целый ряд весьма существенных материалов просто пропущен...

с земледелием и что этот факт, как свинцовая гиря, висит на русском капитализме. Пресловутый В. В. толковал о позорной зависимости нашего капиталистического производства от рабочего-земледельца, а проф. Каблуков излагал с „высоты университетской кафедры“ такие „истины“: „Тогда как на Западе труд на фабриках составляет единственный источник существования, у нас, за сравнительно небольшими исключениями, рабочий считает труд на фабрике побочным занятием, его более тянет к земле“... Мы уже отмечали выше, как В. И. диалектически подходил к вопросу о связи промышленности с земледелием. Он показал, что относительно степени связи промышленного работника (будь он наемным рабочим или quasi-самостоятельный товаропроизводитель) с земледелием нельзя выдвигать общей нормы, пригодной для всех этапов развития капитализма, ибо отрыв индустрии от сельского хозяйства представляет собою процесс, который начинается с момента разрушения натурально-хозяйственных отношений. Этот отрыв,—учил В. И.,—в любой стране тем сильнее, чем ближе данный этап к крупному капиталистическому производству, и только эта последняя стадия в процессе своего развития порывает последние узы, связывающие промышленного рабочего с земледелием, производя таким образом решительный переворот в условиях существования индустриального населения. Как и всюду, В. И. не ограничивается само по себе совершенно законным абстрактно-теоретическим анализом и бьет своих противников разбором цифрового материала. Обработка данных московской санитарной статистики, произведенной А. Дементьевым и охватывающей около 20 000 рабочих, дает ему возможность установить степень отрыва последних от земледелия. Средний процент фабричных рабочих, уходящих на сельские работы, составляет 14,1%. Но разбор тех же данных, разбитых по отраслям, работающим ручным способом, и отраслям, перешедшим к механическому производству, показывает, что связь с земледелием при крупном производстве тем слабее, чем выше с точки зрения капиталистической соответствующая отрасль. Так, оказывается, что „из ткачей ручных фабрик уходит на полевые работы около 63%, а из рабочих, работающих на самоткацких станках, не уходит никто, из рабочих в тех отделениях суконных фабрик, которые работают механической силой, уходит 3,3%“ [1]). Другим источником, послужившим тов. Ленину для подтверждения того же тезиса, служил „Перечень фабрик и заводов“ 1897 г. (данные за 1894/5 г.). Народники, в качестве любителей „средних“, пользуясь „Перечнем“, не считались, конечно, с неопределенностью понятия „фабрика“, свойственной нашей официальной фабричной статистике; они ничтоже сумняшеся складывали в одну кучу мельчайшие и крупнейшие предприятия и в итоге получали, что „в среднем русская фабрика работает 165 дней в

[1]) „Развитие капитализма“, стр. 426.

году". Совершенно иначе подошел к тому же источнику В. И. „Мы произвели,—пишет тов. Ленин,—подсчет соответствующих данных „Перечня" относительно тех крупных фабрик (имеющих 100 и более рабочих), которые занимают... около ³/₄ всего числа фабрично-заводских рабочих. Оказалось, что среднее число рабочих дней в году составляет по разрядам: *A*) 242; *B*) 235; *C*) 237 [1]), а для всех крупных фабрик—244. Если же определить среднее число рабочих дней на одного рабочего, то получим 253 рабочих дня в году—среднее число для рабочего крупной фабрики. Из всех 12-ти отделов, на которые разделены производства в „Перечне", только в одном среднее число рабочих дней оказывается для низших разрядов меньше 200, именно в XI отделе (питательные продукты): *A*) 189; *B*) 148; *C*) 280. На фабриках разряда *A* и *B* этого отдела занято 110.588 рабочих—11,2% всего числа рабочих на крупных фабриках (655.670). Заметим, что в этом отделе соединены совершенно разнородные производства, напр., свеклосахарное и табачное, винокуренное и мукомольное и пр. По остальным отделам среднее число рабочих дней на одну фабрику следующее: *A*) 259; *B*) 271; *C*) 272. Таким образом, чем крупнее фабрики, тем большее число дней заняты они в течение года. Общие данные о всех крупнейших фабриках Евр. России подтверждают, следовательно, выводы московской санитарной статистики и доказывают, что фабрика создает класс постоянных фабричных рабочих" [2]).

Совершенно исключительный образчик марксистской обработки статистических материалов представляет данный тов. Лениным анализ концентрации производства в крупных капиталистических предприятиях России. Во всей марксистской литературе трудно найти более яркую иллюстрацию основного закона развития капитализма, чем та, которую мы находим в бессмертной книге Владимира Ильича. Пользуясь все теми же „Перечнями" и „Указателями" фабрик и заводов, т. Ленин предпринимает огромную работу по выборке и группировке данных за 1866, 1879, 1890 и 1894/5 г. Он тщательно отбирает промышленные предприятия, имеющие не менее 100 рабочих, и располагает их по 3 группам с 100—499, с 499—1000 и свыше 1000 рабочих, определяя для каждой из этих групп общее число рабочих и общую стоимость продукции. Сведенные в таблицу, подсчеты Владимира Ильича дают следующую выразительную картину [3]):

[1]) Разряд *A* включает фабрики с 100—499 раб., *B*—с 500—999 раб. и *C*—с 1000 раб. и больше.

[2]) „Развитие капитализма", стр. 427—428. Курсивы мои. *Ш. Д.*

[3]) Приведенная в тексте табл ца охватывает 71 производство, о которых имеются сведения за 1866 г.; во втором варианте этой таблицы В. И. сопоставляет данные за 1879—1890 г.г., охватывающие все производства, как обложенные акцизом, так и необложенные; наконец, в третьем варианте приведены данные за 1879—1890—1894/5 г.г. по всем производствам, за исключением рельсового. Для иллюстрации метода тов. Ленина мы можем ограничиться 1866—1879—1890 годами.

Группы фабрик по числу рабочих.	1866 г.			1879 г.			1890 г.		
	Число фабрик.	Число рабочих.	Сумма производства в тыс. руб.	Число фабрик.	Число рабочих.	Сумма производства в тыс. руб.	Число фабрик.	Число рабочих.	Сумма производства в тыс. руб.
A) с 100—499 раб.	512	109.061	99.830	641	141.727	201.542	712	156.699	186.289
B) с 500—999 раб.	90	59.867	48.359	130	91.887	117.830	140	94.305	148.546
C) с 1000 и б. раб.	42	62.801	52.877	81	156.760	170.533	99	213.333	253.130
Итого .	644	231.739	201.036	852	390.374	489.905	951	464.337	587.965

О чем говорят эти цифры? Прежде всего о том, что число крупных фабрик возрастает: если принять число фабрик в 1866 г. за 100, то мы получим для 1879 г. 132, а для 1890 г. — 147. За 24 года мы имеем, таким образом, увеличение почти в полтора раза [1]). Выраженные в процентах по отношению к количеству предприятий в 1866 г. числа фабрик и заводов по отдельным разрядам возрастают следующим образом:

	1866 г.	1879 г.	1890 г.
A.....	100	125	139
B.....	100	144	156
C.....	100	193	236

Отсюда следует, что чем крупнее фабрики, тем быстрее возрастает их число, а это и указывает на все растущую концентрацию производства.

Еще более показателен в этом отношении подсчет доли продукции, падающей на каждый из трех разрядов предприятий. Принимая всю сумму производства за каждый из учтенных в таблице годовых периодов, мы для каждого разряда фабрик и заводов получаем следующие цифры:

	% общей продукции 1866 г.	1879 г.	1890 г.
A. Предпр. с 100—499 раб. . . .	49,6	41,2	31,7
B. „ с 500—999 „	24,5	24,0	25,2
C. „ с 1000 и бол. „	26,3	34,8	43,1

[1]) Разбирая те же данные, проф. Карышев приходил к заключению, что число фабрик в России уменьшается. Этот вывод получился у него благодаря тому, что он принимал на-веру итоговые данные старых статистических сборников, которые включали в число фабрик и заводов тысячи сельских мельниц, маслобоек, табачных плантаций и т. д. Покойный Н. А. Карышев наивно видел в этом „факте“ подтверждение закона концентрации промышленности. См. ст. Ленина „К вопросу о нашей фабр.-зав. статистике“. Собр. соч., т. II, стр. 361.

Доля первого разряда, концентрировавшего в 1866 г. почти половину всей продукции (и рабочих), к 1890 году падает до 31,7%; зато соответствующая цифра для высшего разряда повышается с 26,3 до 43,1%. Это значит, что по мере развития капитализма все возрастающая сумма производства сосредоточивается в крупнейших капиталистических предприятиях и что соответственно с этим происходит падение удельного веса более мелких предприятий в общей продукции капиталистически развивающейся страны [1]). В другом месте Владимир Ильич доказывает, что то же самое положение оправдывается не только по отношению к фабрикам, насчитывающим свыше 100 рабочих, но и по отношению ко всем капиталистическим предприятиям вообще. Сопоставляя сумму производства всех промышленно-капиталистических заведений с общей продукцией предприятий разрядов А, В и С (с числом рабочих от 100 и выше), он получает, что доля последних составляла в 1879 году 54,8%, в 1890 г.—57,2% и в 1894—1895 г. 70,8%—опять-таки блестящее подтверждение основной тенденции развития капитализма [2]).

Разобранная нами таблица тов. Ленина была, между прочим, введена Туган-Барановским во второе издание его „Фабрики" [3]) и вообще стала классической иллюстрацией процесса концентрации промышленности,—иллюстрацией, без которой не обходится в настоящее время ни один лектор по политической экономии.

Мы не можем, к сожалению, остановиться на других сторонах исследуемого процесса капиталистического развития в промышленности, ибо мы иначе вышли бы за пределы журнальной статьи. Для нас, повторяю, важно было показать, как В. И., вооруженный марксистским методом, приложил его к изучению развития нашей промышленности, и каковы были те результаты, к которым он пришел.

8.

Резюмируя наш очерк, мы можем сказать, что В. И. дал исчерпывающую картину капиталистического развития в области индустрии. Конечно, не В. И. „открыл" в России капитализм, и не он первый поднял свой голос против идиллических иллюзий русских романтиков; если последние и проспали те колоссальные социально-экономические сдвиги, которые произошли в пореформенной России, то среди наших марксистов (включая сюда и „легальных") были люди, ви-

---

1) „Развитие капитализма", стр. 402—405.

2) „К вопросу о нашей фабр.-зав. статистике". Собр. соч., т. II, стр. 362.

3) В первом издании „Фабрики", вышедшем менее, чем за год до выхода в свет „Развития капитализма", Туган для 1866, 1879 и 1894 г.г. разбирает данные лишь по хлопчатобумажной промышленности. „К сожалению,—писал он,—я не могу настолько же детально анализировать изменению размера фабрик в других производствах, так как это потребовало бы слишком много труда" („Русская фабрика", т. I, СПБ. 1898 г., стр. 355).

девшие действительность во всем ее конкретном многообразии и умевшие отличать обреченное историей на слом от явлений, знаменующих собою новые этапы развития. Однако все, что было сделано в этой области нашими марксистами до тов. Ленина, носило случайный характер. В. И. первый дал исчерпывающий анализ всего процесса нашего индустриального развития в целом. Во всей помарксовой литературе,—это можно сказать, не рискуя впасть в преувеличение,—нельзя найти исследование динамики национального капитализма, которое могло бы итти в сравнение с основной экономической работой Владимира Ильича: даже немецкая марксистская литература не создала ничего аналогичного.

После Марксова анализа развития капиталистических отношений в Англии, который мы находим в исторических главах I тома „Капитала“, книга тов. Ленина есть единственная в своем роде. Мимо нее не может пройти и не проходит ни один человек, ставящий себе задачей изучение истории капиталистических отношений в России. Ее не может обойти ни один историк общественной мысли в России, ибо она завершила победоносную борьбу марксизма с народничеством по линии экономической точно так же, как книга Бельтова ознаменовала собой победу над народничеством по линии социологической.

Ш. Дволайцкий.

(Продолжение следует).

Предисловие к статьям П. Лафарга.

Институт Маркса и Энгельса подготовляет теперь к печати собрание избранных сочинений Поля Лафарга, крупнейшего теоретика марксизма во Франции. Если Жюль Гед был самым выдающимся организатором, тактиком и оратором рабочей партии во Франции, то Лафарг был ее главным теоретиком и пропагандистом. Несмотря на ряд ошибок, в большинстве случаев объяснявшихся специфическими условиями развития рабочего движения в романских странах, Лафарг всегда оставался непримиримым врагом буржуазного общества. Если он допускал в области программы некоторые отступления от ортодоксии, то делал это только в интересах того, что мы теперь называем „смычкой с крестьянством" и расширения базиса партии в рабочих массах. По отношению к буржуазии он не признавал никаких уступок, никаких соглашений.

После Маркса и Энгельса Лафарг является—и в этом отношении он всегда оставался их верным учеником—самым беспощадным критиком всех прелестей буржуазной цивилизации. Как сатирик едко осмеивавший „прогресс", и „культуру", как блестящий памфлетист, он и теперь не имеет себе равного в марксистской литературе. Лафарга часто сравнивали с Вольтером, который, с точки зрения буржуазии, подвергал такой же уничтожающей критике все преимущества „дворянской цивилизации". Не надо, однако, забывать, что автор „Права на лень", и „Проданного аппетита" имел во Франции еще и другого предшественника в области сатиры, направленной против буржуазной цивилизации: Шарля Фурье, влияние которого отразилось не только на писательской манере Лафарга. Не только чисто теоретически, но и всем „нутром" своим он отстаивал права человеческой личности, свободу развития индивидуальности для рабочих масс против нивеллирующего влияния капитализма, обезличивающего эти массы в интересах маленькой кучки капиталистов.

Именно эта особенность — личное бунтарство, питавшееся еще жгучей ненавистью ко всякому расовому и национальному угнетению—объясняет, вместе с некоторыми влияниями французской среды,

почему Лафарг, в общем один из последовательнейших марксистов, всесторонне образованный экономист и историк,—в своей практической деятельности, делал ошибки, и иногда уклонялся в сторону чисто демократического революционизма или бунтарства. Маркс называет эти промахи уклоном к бакунизму.

Для нас изучение главных сочинений и пропагандистских статей Лафарга представляет еще особый интерес. Я уже указал в предисловии к первому тому Плеханова, что на него, как раз тогда, когда он превращался из „чистого“ марксиста заключительной эпохи чернопередельчества в настоящего марксиста, несомненно оказали влияние статьи Лафарга. Для наших молодых марксистов, которые будут изучать и писать историю русского марксизма, знакомство с новыми работами Лафарга—особенно до середины девяностых годов прошлого столетия—является безусловно необходимым. Никто не влиял после Энгельса так сильно, как Лафарг, не только на Плеханова, но и на Каутского как раз в начале восьмидесятых годов, когда Лафарг в ряде статей—достаточно напомнить его статьи в защиту теории стоимости Маркса и его комментарий к программе—которые он писал в 1880—83 гг., впервые во французской литературе защищал принципы марксизма.

Первая статья, которую мы печатаем в этом номере, имеет не только исторический интерес. Вопрос, который она ставит, это—вопрос, поставленный вновь, после опыта Парижской Коммуны, теоретически Лениным в „Государство и революция“; практически—октябрьской революцией. Достаточно напомнить читателю речь Плеханова на втором съезде партии, чтобы он установил известную связь между нею и статьями Лафарга. Но еще многочисленнее нити, которые протягиваются от них к речам и резолюциям октябрьских дней и эпохи „военного коммунизма“. Сравнение взглядов Лафарга с одной стороны и взглядов Ленина, а также заявлений т. Зиновьева на первом съезде профсоюзов—с другой стороны, дает интересный материал для выяснения того, что нужно делать „на следующий день после революции“. Не надо забывать, что Лафарг писал свои статьи в 1887 году.

Вторая статья представляет перевод с рукописи и писана в 1897 г. Она представляет очерк развития марксизма во французском рабочем движении от 1876 до 1896 г. На ней заметен сильнейший отпечаток „текущего момента“. Это было время максимального расцвета рабочей партии во Франции, когда она втянула в сферу своего влияния не только Жореса, но и Мильерана, Бриана, Вивиани, будущих президентов и премьер-министров буржуазной республики. Уклон в сторону оппортунизма, увлечение парламентскими успехами, которые замечаются во Французской рабочей партии с 1893 г., при-

несли свои плоды. Крутой поворот, сделанный рабочей партией, Гедом и Лафаргом, когда началось дело Дрейфуса, что бы бороться с новыми довольно успешными попытками стереть ту резкую демаркационную линию, которую Лафарг и Гед съумели провести в восьмидесятых годах между рабочей и буржуазной демократией, не привел к желанному результату. Началась эпоха министериализма. От наступления французскому марксизму пришлось перейти к обороне. Добровольная смерть Лафарга в 1912 г. отняла у французского рабочего движения почти накануне мировой войны его самую крупную марксистскую силу.

Статья Лафарга, которая местами повторяет его статью, написанную для Neue Zeit в 1897 году, предназначалась для русского легального марксистского журнала „Новое Слово“.

Д. Рязанов.

На следующий день после революции [1]).

В прекрасной Франции, столь симпатизирующей прогрессу, все делается лишь путем насилия, посредством революций. Чтобы не допустить тонкинца на президентское место, пришлось пригрозить бунтом в Париже [2]); понадобилось сожжение более 200 лиц для того, чтобы в театрах было введено электрическое освещение.

Достижение власти буржуазным классом, которое совершалось мало-по-малу и без социальных потрясений в других великих европейских странах, послужило во Франции поводом к одной из ужаснейших в истории человечества революций.

Французский правящий класс настолько реакционен, что приходится прибегать к оружию, чтобы добиться от него малейшей прогрессивной меры. С 1815 г. во Франции существует парламентский образ правления под разными ярлычками, и все-таки для осуществления некоторых парламентских реформ, напр., свободы печати и собраний, всеобщего избирательного права и т. д., понадобилось прибегать к революциям, которые с тех пор повторяются с такою регулярностью, как движение небесных светил. Скоро наступает срок, к которому должна произойти революция; поэтому полезно заняться выяснением вопроса о том, что сделают социалисты на следующий день после революции.

В 1871 г. власть досталась народу, который не был подготовлен к тому, чтобы принять ее. Захватить власть в революционный период сравнительно легко, но удержать ее и, главное, применять ее, неимоверно труднее.

Коммуна, овладевшая Парижем, не сумела принять ни одной действительно социалистической меры; это неумение социалистов объясняется многими причинами, но теперь не время выяснять их. Пусть буржуа не ликуют по поводу ошибок Коммуны; они могут быть

---

1) „Le Socialiste“, 1887 г., №№ 113, 114, 115 и 116.

2) Известные, чрезвычайно бурные демонстрации, устроенные оппозицией, преимущественно социалистами, когда была выдвинута кандидатура Жюля Ферри в президенты республики. Прим. ред.

уверены, что если бы когда-нибудь события привели к захвату власти социалистами, то последние немедленно приняли бы столь радикальные меры, что торжествующая реакция не была бы в состоянии восстановить прежнее положение вещей.

I.

На следующий день после революции пред социалистами будут стоять три великие задачи:

1. организовать революционную власть и принять меры для ее защиты.

2. немедленно удовлетворить народные нужды.

3. ниспровергнуть капиталистический строй и заложить основы социалистического строя.

Революционной партии придется иметь дело с тремя классами, интересы которых различны и даже противоположны, а именно, с классом рабочих крупной промышленности, с классом крестьян и с классом капиталистов с его придатком—мелкой промышленной и торговой буржуазией.

Рабочий класс будет господствовать в промышленных городах, которые все станут революционными центрами и образуют федерацию, чтобы привлечь деревню на сторону революции и преодолеть то сопротивление, которое будет организовано в таких торговых и приморских городах, как Гавр, Бордо, Марсель и т. д.

В промышленных городах социалисты должны будут захватить власть в местных учреждениях, вооружить рабочих и организовать их по-военному; кто имеет оружие, тот имеет и хлеб,— говорил Бланки. Они отворят двери тюрем, чтобы выпустить мелких воришек и держать под замком таких крупных воров, как банкиры, капиталисты, крупные промышленники, крупные собственники и т. д. Им ничего худого не сделают, но их будут считать заложниками, ответственными за хорошее поведение их класса.

Революционная власть сформируется путем простого захвата, и лишь тогда, когда новая власть вполне овладеет положением, социалисты обратятся за утверждением своих действий к голосованию, которое называется всеобщим. Буржуа так долго не допускали к избирательным урнам неимущие классы, что они не должны слишком удивляться, если все бывшие капиталисты будут лишены избирательных прав до тех пор, пока не восторжествует революционная партия.

В XIX столетии не только революционные лозунги исходили из Парижа, но он совершал революции для всей Франции. Эта концентрация революционного движения оказывалась возможной лишь потому, что революции XIX столетия были не истинными революциями, а простыми парламентскими кризисами, сопровождавшимися баррикадами, ружейными выстрелами и напыщенными словами о великих

принципах, о свободе, справедливости и других баснях. Парижане, эти неисправимые легковеры, любят мелодраматические представления; политические деятели устраивают для них сколько угодно таких представлений; но в то время, как разыгрывалась уличная драма, Ледрю-Роллены, Луи-Бланы, Жюли Фавры и Жюли Ферри пробирались из оппозиции на еще теплые насиженные места своих только что свергнутых предшественников, а в области экономических отношений все оставалось по прежнему.

Но так как ближайшая революция должна быть экономическою, а не простой заменой одних правящих лиц другими, она одновременно вспыхнет как в Париже, так и во всех промышленных центрах. Когда будут установлены местные революционные учреждения, последние должны будут организовать путем делегаций—или иначе—центральную власть, на которую будет возложена обязанность принимать общие меры в интересах революции и воспрепятствовать образованию реакционной партии.

Но для того, чтобы масса рабочих поддержала революционные власти—местные и центральную—и для того, чтобы революция, даже побежденная, оставила после себя такие результаты, уничтожить которые не будет в состоянии никакая реакция, необходимо, чтобы немедленно были удовлетворены нужды городских и сельских рабочих, чтобы буржуазный строй был потрясен сверху донизу и чтобы было приступлено к преобразованию капиталистической собственности.

II.

Революционная власть будет в силах противостоять ожесточенным и коварным нападениям со стороны реакции лишь в том случае, если ее будут поддерживать рабочие массы. Следовательно, она должна будет привлечь рабочих на свою сторону немедленными мерами, дающими удовлетворение их настоятельнейшим нуждам.

Придется, в эпоху полного расцвета цивилизации вернуться к первобытному взгляду на общество и признать, что все гражданки и все граждане нации составляют часть одной громадной семьи, в которой не существует уже права первородства; революционная власть должна будет принять меры для удовлетворения их важнейших потребностей, в ожидании момента, когда можно будет установить уравнительное распределение всех продуктов.

Поэтому революционная власть, которая сорганизуется в каждом городе, должна будет дать жилища всем жителям, одеть и прокормить их.

Для этого она декретирует, что все здания являются национальной собственностью, она произведет перепись квартир, выселит праздных богачей из их особняков, предоставляя лучше всего расположенные

дома таким семействам, у которых много детей. В Париже и в больших городах, где есть шести-и семиэтажные дома, она предоставит первые этажи беременным женщинам и заставит переселиться на пятый и на шестой этаж толстых капиталистов, чтобы избавить их от лишнего жира, заставив их подниматься по лестницам. Нездоровые лачуги, в которых бедность заставляет скучиваться рабочих, будут уничтожены и оздоровлены огнём; для того, чтобы это дело пошло скорее, их взорвут динамитом. Сожгут не дворцы, как говорят анархисты, а—лачуги и избы; пора рабочему классу поселиться в дворцах и в особняках, которые он построил.

Революционная власть национализирует такие большие магазины, как Бон-Марше, Лувр, Прентан и т. п., и будет обращаться как с ворами с их прежними владельцами, если они осмелятся похитить оттуда хотя бы одну катушку ниток. Комиссиям, организованным в каждом квартале и на каждой улице, будет поручено распределить их содержимое между рабочими, которые в первый раз будут одеты в костюмы, сшитые из красивых и добротных материй, ими изготовленных.

Прежде чем дать жилища трудящемуся населению и одеть его, необходимо будет позаботиться о том, чтобы прокормить его. Революционная власть откроет в разных частях городов большие коммунистические рестораны, в которых минимум сытной пищи будет ежедневно подаваться жителям как ленивым, так и трудолюбивым, безразлично. Кухня будет общественной, и те, кто пожелает есть у себя, будут уносить свои порции, но нужно будет поощрять обычай обедать вместе: за столом человек наиболее общителен. В эпоху революции XVIII века Парижская коммуна организовала эти братские обеды; столы помещались посредине улицы и каждый житель приносил туда свою провизию, которую ели вместе.

Дабы иметь возможность бесплатно кормить население, революционная власть конфискует продовольственные магазины, винные склады, погреба в замках, гостиницах, пивных и пр. и тотчас же организует муниципальное распределение продовольствия, войдя для этого в соглашение с окрестными огородниками и мелкими крестьянами. Такой способ распределения, уничтожив посредника, обворовывающего как производителя, так и потребителя, даст возможность крестьянам получать б о л е е в ы г о д н у ю ц е н у за свои п р о д у к т ы.

Завоевать крестьянина для революции является во Франции одной из великих обязанностей социалистической партии; в пользу его нужно будет принять такие общие меры, как аннулирование ипотек и всякого рода долгов, отмена налогов, рекрутского набора и т. д. Но необходимо будет безо всякого колебания позаботиться об увеличении его доходов и облегчить его труд, ссужая ему семена и удобрения лучшего качества, которые он возместит земледельческими продуктами.

в 1848 году, чтобы дать Ледрю-Роллену, Луи-Блану и другим буржуа, членам временного правительства, возможность основать республику, рабочие „решили голодать в их пользу три месяца". Когда, по истечении этого срока, они потребовали исполнения их обещаний буржуазная реакция, окрепнув и успев овладеть положением, заплатила свой долг картечью. Революционная власть, чтобы основать социальную республику, начнет с того, что даст рабочим три месяца комфорта.

Та власть, которая на следующий день после революции примет эти социалистические меры, будет непобедима; ее поддержит масса рабочих, которые будут удивлены и восхищены тем, что, наконец, найдут такое правительство, которое заботится об удовлетворении их нужд.

III.

Социалистов воодушевляет великая идея, стоящая выше личных дрязг и честолюбия групп, а именно, идея отмены личной собственности. Даже анархисты, бессознательно являющиеся представителями принципа собственников: laissez faire, lassez passer, даже поссибилисты, как Брусс и Жоффрен, эти бесстыдные защитники буржуазных интересов, захвачены общим воодушевлением. Идея отмены личной собственности не зародилась самопроизвольно в человеческом мозгу,—она является идеологическим отражением экономических явлений, последовательно развивающихся в капиталистическом мире.

Какова характерная черта личной собственности? Она заключается в том, что собственник сам эксплоатирует свою собственность, не прибегая к наемному труду. Это настолько верно, что крестьянин, это существо, до мозга костей пропитанное собственническими инстинктами, делит свою землю между своими детьми, когда возраст лишает его возможности самому обрабатывать ее, лишь бы не допустить, чтобы ее обрабатывали и на ней сеяли наемники; и решается он на такой раздел, несмотря на то, что отказ от своей земли, единственного предмета его любви, столь же мучителен для него, как если бы ему вырезали его внутренности. Старинная французская поговорка,—с о б с т в е н н о с т ь   е с т ь   п л о д   т р у д а,—хорошо выражает этот факт. Таким образом истинным собственником в старинном смысле слова является крестьянин, сам обрабатывающий свою землю домовладелец, который сам живет в своем домике и сам ремонтирует его, лавочник, который сам покупает и сам продает товары, находящиеся в его лавке, столяр, который сам работает своей пилой и своим стругом. Все то, чем владеют эти собственники, принадлежит им по всей справедливости, так как их достояние является плодом их собственного, а не чужого труда, ибо они эксплоатируют свою собственность, не прибегая к наемному труду.

Но разве капиталистическая собственность характеризуется этими чертами? Разве обладатели акций и облигаций рудников,

железных дорог и каналов, владельцы сотен и тысяч гектаров земли являются истинными собственниками? Разве они когда-нибудь работали сами на своих предприятиях или обрабатывали сами свою землю? Они знают эту собственность лишь постольку, поскольку она приносит им ренту; наемные работники не-собственники трудились на принадлежащей им собственности. В капиталистическом мире нужно исправить старинную поговорку и говорить: собственность есть плод труда и вознаграждение за леность.

Не работая сами, а пользуясь своею собственностью для присвоения плодов чужого труда, капиталисты уничтожили существенный признак личной собственности.

Собственник-капиталист абсолютно бесполезное существо в принадлежащей ему собственности. Все акционеры и владельцы облигаций железных дорог могли бы быть потоплены в Ламанше или в Средиземном море, а европейские железные дороги продолжали бы по-прежнему перевозить людей и товары. Собственник-капиталист является бесполезным ртом, который потребляет ужасно много. Все, что едят богач, его слуги и прочий люд, прислуживающие ему и удовлетворяющие его нужды и капризы, является потреблением, исключительно убыточным,—словно бы жгли уголь на открытом поле вместо того, чтобы сжигать его в машине и превращать получающуюся благодаря сгоранию теплоту в движущую силу. Так как капиталист бесполезен, его следует уничтожить, чтобы уменьшить издержки общественного производства. Социальная революция должна осуществить эту экономию, она не уничтожит собственности, как безрассудно требуют анархисты, а сбросит с нее паразитов.

В первый же день революции первым декретом, который издаст революционная власть, будет декрет о конфискации капиталистической собственности (рудников, прядильных фабрик, банков, доменных печей, железных дорог и т. д.) и об ее превращении в национальную собственность.

IV.

Социалисты-утописты, вроде гражданина Б. Малона и последователей Колена, думают, что государство может стать на место собственников-капиталистов и эксплоатировать крупные орудия труда (железные дороги, рудники, доменные печи, прядильные фабрики и пр.) при посредстве профессиональных союзов рабочих, которые превратятся в товарищества арендаторов, пользующиеся государственным кредитом; другие социалисты желали бы, чтобы государство продолжало эксплоатацию крупных орудий труда, на прежних основаниях, но чтобы оно при этом провело некоторые улучшения в положении рабочих, как сокращение рабочего времени, повышение заработной платы и т. п.; их идеалом является усовершенствование капиталистического производственного механизма.

Мы же полагаем, что самим фактом образования революционной власти государство со всеми своими органами (почтами, телеграфами,

полицией, чиновничеством, армией, государственным долгом и т. д.) упраздняется.

Государство есть машина, искусно построенная для того, чтобы служить интересам капиталистов, подавлять и порабощать пролетарские массы. Революционная власть, которая временно заменит его, должна будет дезорганизовать буржуазную машину, опираться всецело на социалистически организованную пролетарскую массу и заложить первые основы нового строя.

Вместо того, чтобы государство оставалось хозяином почт и телеграфов, чтобы оно чеканило монету, заведывало железными дорогами, которыми оно уже заведует почти во всех капиталистических странах, вместо того, чтобы государство стало хозяином прядильных и ткацких фабрик, директором заводов и т. д., как желал Лассаль,—революционная власть должна будет устроить так, чтобы сами рабочие сделались своими собственными хозяевами и предпринимателями, своими собственными директорами.

Революционная власть не должна навязывать почтальонам, служащим на телеграфах и на железных дорогах, рудокопам, рабочим, занятым на литейных заводах, ни директоров, ни правил, регулирующих труд, и расценок: наоборот, эти рабочие сговорятся между собой, чтобы выбрать своих инженеров, своих заведующих мастерскими и чтобы распределять между собой доходы от эксплоатации. Я говорю здесь о доходах только потому, что на следующий день после революции придется сохранить капиталистическое вознаграждение за труд, но в будущем мы предусматриваем коммунистическое общество, в котором рабочий не будет получать ни заработной платы, ни индивидуального дохода, а будет уравнительно пользоваться всеми общественными богатствами. Но на следующий день после революции нация, в лице революционной власти, предоставит орудия труда в распоряжение производителей; специальным комиссиям будет поручено установить размеры ложащихся на предприятия обязательств, т.-е. размеры вознаграждения за оказываемые предприятию услуги, размер отчислений на амортизацию, ремонт и улучшение оборудования, и какую сумму следует вносить в общественные кассы для обеспечения всем членам общества продовольствия, жилища и одежды.

На следующий день после революции работа, которую нужно будет выполнить, будет столь колоссальна, что не следовало бы увеличивать ее, превращая революционную власть в директора прядильных фабрик или фабриканта обуви; наоборот, необходимо будет ускорить развитие в рабочих массах всех органов, на которых будет лежать руководство общественным трудом. Организаторские таланты имеются, потому что именно наемные работники руководят теперь всем капиталистическим производством; нужно будет лишь сгруппировать их, чтобы создать комиссии, которым будет поручено урегулировать производство и справедливо распределять продукты.

Ибо целью революции является не торжество справедливости, морали, свободы и прочих басен, которыми морочат человечество целые века, а как можно меньше работать и как можно больше наслаждаться умственно и физически. И эта цель, действительно достойная человека, будет достигнута только постоянным улучшением механического оборудования, только разумным разделением труда между всеми членами общества, только надлежащим соответствием между производством и потребностями общества.

Но, прежде чем осуществить это коммунистическое общество, в котором труд и наслаждение будут свободны и общественны, нужно будет пережить переходный период, в котором придется сохранить заработную плату в денежной форме и соразмерять ее с оказываемыми обществу услугами и со сделанными усилиями, и мы думаем, что рабочие лучше сумеют распределить между собой часы труда и доходы от эксплоатации, чем чиновники какого бы то ни было государства.

Впрочем, в этом отношении можно высказывать лишь пожелания; те или другие пути и формы действия будут диктоваться событиями, и более чем вероятно, что различные системы преобразований, которые предлагались социалистами, будут комбинироваться различно в зависимости от условий.

На следующий день после революции люди захотят и развлечься. В XVIII веке крестьяне врывались в замки и в городские думы; захватывали всякие феодальные и даже буржуазные бумаги, сжигали их, устраивая огромные потешные огни, над которыми виднелись надписи: отмена десятин, окончательное прекращение уплаты оброков и т. д. Нужно будет возобновить эти общественные празднества. Мы должны будем сжечь книгу государственных долгов, всевозможные крепостные акты, а затем трактаты морали, богословские книги, а главное, весь свод гражданских и уголовных законов, эту ужасную книгу, в которой кодифицированы все буржуазные и капиталистические мерзости, мы должны будем также отвести здания судов под свиные хлева и не найдется достаточно грязных и достаточно отвратительных животных, чтобы водворить их там. Вместо того, чтобы сжигать церкви, как требуют свободные мыслители, их обратят в рестораны, в танцовальные залы; часовни обратятся в отдельные кабинеты, в которых будут пить, а затем каждый будет веселиться со своей избранницей.

На следующий день после революции должны будут вооружить рабочих и организовать их по-военному, отвести им бесплатные жилища, бесплатно кормить и одевать их, конфисковать и национализировать капиталистическую собственность. Нация, которая испробует хотя бы на один месяц такой полукоммунистический режим, навсегда будет завоевана социальной революцией.

Поль Лафарг[1]).

---

[1]) Перевод А. Ведена.

Социализм во Франции.

(От 1876 до 1896 г.г.)

(Перевод с рукописи автора, хранящейся в Институте Маркса и Энгельса).

I.

Ренан, который во многих случаях подменял науку редким историческим чутьем, сравнивал социалистические группы, их съезды и их распри с христианскими сектами первых веков, их соборами и их бесконечными спорами о божественном происхождении Христа и других символах веры. Сопоставление это верно во многих отношениях. Патриции древнего Рима не питали большего презрения к несчастным христианам, чем то пренебрежение, с которым относились к рабочим без академического образования и к социалистам без известности и без состояния, обсуждавшим и решавшим социальные проблемы, выдвигаемые капиталистическим производством, декретировавшим на своих конгрессах отмену частной собственности и переустройство общества на коммунистических началах. И, однако, эти решения и эта коллективистская организация производства, еще недавно казавшиеся столь смехотворными, ныне властно приковывают к себе внимание ученых и государственных деятелей; и эти социалисты, настолько же лишенные престижа и общественного влияния, как и первые христиане, создали в Европе мощную партию, которая во Франции, например, играла решающую роль в недавних парламентских битвах. Сами противники их вынуждены признавать, что в тех странах, в которых существует всеобщее избирательное право, эта партия призвана в более или менее отдаленном будущем взять в свои руки управление обществом. И лучше всякого другого аргумента доказывает имманентную и захватывающую силу социализма то обстоятельство, что эти невежественные рабочие и неизвестные социалисты могли выполнить такое дело меньше, чем в двадцать лет.

Ибо хотя во Франции и велась социалистическая агитация в первую половину нашего века, но социалистическое движение, увлекающее в настоящее время рабочие массы, начинается лишь с 1876 г.

Революция 1848 года и государственный переворот 1851 года завершили эру того первоначального социализма, который Фридрих Энгельс так справедливо назвал утопическим. Развал чартизма и открытие золотых приисков в Австралии обусловили и провал социалистической агитации Роберта Оуэна и его учеников. В то время, как австралийские прииска вызвали, начиная с 1852 года, неудержимый поток эмиграции, уносивший в далекую страну наиболее энергичные, наиболее недовольные своим положением и наиболее неспокойные элементы трудящегося населения Великобритании, постройка железных дорог и быстрое развитие промышленности и земледелия вызвали во Франции после 1852 года лихорадочную деятельность, поглощавшую энергию рабочего класса и вытравлявшую из его памяти воспоминание об учении Шарля Фурье, Кабе и других утопистов, на мгновение привлекших к себе общественное внимание. Во время империи социализм впал в такое забвение, что немногие могли объяснить точный смысл этого слова. Г. Тьер, известный своими бессмысленными предсказаниями,—он в 1848 году объявил невозможным установление обязательного курса банкнот французского банка и облигаций железных дорог,—мог тогда думать, что сделал верное предсказание, когда, в 1849 году, после появления своей книги о „Собственности", объявил своим друзьям из улицы Пуатье, что „задушил гидру социализма, разоблачив его заблуждения и его софизмы" [1]).

Когда, после разыгравшегося в 1866 году, периодически повторяющегося через каждые десять лет, экономического кризиса, поразительный хозяйственный расцвет, отметивший собою первые годы царствования Наполеона III, претерпел заминку, общественное недомогание, которое последовало за ним и ощущение которого охватило все классы нации, проявилось в политической агитации против империи. Императору платили теперь его же монетой. Он похвалялся тем, что создал экономический подъем,—теперь на него возлагали ответственность за экономическую депрессию. Наполеон воспользовался борьбою между буржуазией и пролетариатом, чтобы выставить себя спасителем собственности и порядка, которым угрожала опасность со стороны социалистов, и чтобы таким образом заставить примириться со своим государственным переворотом. И он пытался снова разжечь теперь эту борьбу. Он восстановил в 1866 году свободу публичных собраний, отмененную с 1851 года, но поставив непременным условием, что на них будут обсуждаться только социальные вопросы и что на них ни слова не будет говориться о политике. Он надеялся,

---

[1]) Охранители порядка собирались в улице Пуатье,—оттуда и название их общества; они собирались брошюрами разбить социализм, бойцов которого только что расстреливали на июньских баррикадах.

что социализм возродится, напугает имущие классы и заставит их как в 1851 году, искать у него защиты. Бисмарк попытался прибегнуть к той же тактике, но не с бо́льшим успехом, чем Наполеон. Стекавшаяся на собрания публика, не ведавшая, что такое социализм, желала и требовала только нападок на империю, ставшую козлом отпущения за все общественные бедствия. Даже Прудон, как и Жорж Дюшен, его ученик, хотя и называли себя социалистами, разделяли общее ослепление и обвиняли императорский режим в том, что он является причиной банкротства Промышленного банка (Crédit mobilier) и других финансовых крахов, разорявших множество мелких капиталистов.

Социалистическое движение возобновилось на европейском континенте только вместе с Интернационалом, зародившимся в Англии и находившимся под руководством Карла Маркса. Лежащие в основе современного социализма идеи, которые Интернационал поставил себе задачей распространять на международных съездах, находили своих главных противников среди французских делегатов, главным образом, среди представителей Парижа. Франция в момент возникновения войны с Пруссией, подобно Англии, до последнего времени казалась недоступной для социализма.

II.

Война 1870—1871 годов повлекла за собой политические и экономические события, подготовившие почву для научного социализма.

Война и поражение, разорение и ограбление целой трети страны прусскими войсками, потеря двух наиболее промышленных провинций и двух миллионов населения, миллиарды, поглощенные обороной страны и военной контрибуцией, не только не разорили Францию, но и вызвали дотоле небывалое промышленное развитие [1]. Машинная индустрия, медленно проникавшая в некоторые части северо-восточной области еще с начала столетия и, в особенности, после заключения торгового договора с Англией, быстро распространилась по всей стране, ломая условия труда и жизни населения и вызывая к жизни новый класс, оторванный от всякой собственности и живущий только своей заработной платой. Только рабочий класс, экономически таким образом подготовленный, способен к восприятию научного социализма.

Социализм пережил судьбу всех других наук, которые начинали с идеалистических попыток объяснения мира, когда они еще не имели возможности наблюдать и классифицировать явления, и кончали методическим изучением явлений, связанных воедино общими

[1] Следующие, почерпнутые из статистических сборников министерства торговли и промышленности, данные о потреблении каменного угля—*этого хлеба промышленности*, о выработке железа и стали и о росте числа паровых машин до и после обоих политических кризисов 1848 и 1871 годов отмечают вызванное ими развитие французской

законами. Социализм Маркса и Энгельса отличается от социализма Оуэна и Фурье не тем, что он не строит идеального счастливого и чарующего Иерусалима, а тем, что он является научным выражением капиталистического производства, разрушающего мелкую индивидуалистическую промышленность и создающего крупную коллективистскую промышленность, как теория Ламарка и Дарвина является научным выражением развития органического мира. Но точно так же как научный социализм стал возможным лишь после экономического развития капитализма, точно так же он мог быть понят и воспринят лишь рабочими массами, развивающимися в общественной среде, созданной механическим производством [1]). Влияние экономических

промышленности: Промышленное развитие после войны тем более замечательно, что уступка Эльзаса и Лотарингии отняла у Франции 1.964.143 жителей. Десять лет спустя после подписания мира дефицит, вызванный потерей двух провинций, был заполнен—и с большим излишком (паровые машины железных дорог и флота не включены в приводимые ниже цифры).

Годы.	Потребл. кам. угля (в тоннах).	Производство (в тоннах).		Паровые машины в промышленности.	
		Чугуна.	Стали.	Число.	Чис. лош. сил
1846	6.608.000	882.500	12.954	4.395	54.467
1856	12 890.000	1.491 000	19 000	9.972	127.344
1869	20.911 000	2.049 000	110 000	26.221	320.447
1875	24.657.000	2.293.000	256.000	32.006	400.756
1880	28.846 000	2.690 000	388.000	41.772	544.152
1884	30.941.000	2 747.000	502.000	70.252	638.090

[1]) Первый том „Капитала" Маркса появился в 1867 году; первый конгрес Интернационала приветствовал его появление, назвав его Библией рабочего класса. Правда, теория современного социализма, по крайней мере, в ее главных очертаниях, содержится уже в „Нищете философии" Маркса и в „Коммунистическом Манифесте" Маркса и Энгельса, вышедших в свет в 1847 и 1848 годах. Оба социалистические мыслителя специально изучили промышленность Англии, которая первою в мире развила в широком масштабе механическое производство.

Не раз уже выдвигалось то соображение, что Англия, давшая Марксу и Энгельсу материал для изучения, должна была бы также первою принять построенную на основании этого материала теорию. Возможно, что Англия одною из последних капиталистических стран присоединится к социалистическому движению, но еще не известно, не станет ли она во главе его в более или менее близком будущем. Ее слабая склонность к восприятию социализма может быть приписана двум главным причинам: с одной стороны, эмиграция,— которая каждый год уносила из Великобритании сотню тысяч рабочих, а с другой,— организации мощных трэд-юнионов, которые приучили рабочих искать улучшения своего положения только в экономической борьбе и ограничивать всю свою деятельность лишь борьбою за повышение заработной платы и за сокращение рабочего времени, но принимая участия в политической борьбе.

явлений, развернувшихся вслед за войной 1870—1871 г.г., было столь мощно, что уже через несколько лет после падения Коммуны возобновилось рабочее движение. А между тем, Париж проиграл революционную битву, совершенно его обескровившую: те, кто принял участие в восстании и не пал с оружием в руках, находились в бегстве или в тюрьмах. Значительная масса рабочих покинула терроризованную столицу, чтобы уйти от исступленного бешенства победоносной реакции. Спустя несколько месяцев после падения Коммуны в Париже не досчитывались свыше ста тысяч рабочих всех ремесл: одно лишь ремесло составляло исключение—число исчезнувших типографских рабочих было столь ничтожно, что в мастерских их отсутствие осталось совершенно незамеченным. Эмигрировавшие рабочие понесли с собою за границу технические познания и профессиональную ловкость, обеспечивавшие первенство парижской промышленности; они были в большом спросе у заведующих мастерскими, сумевших использовать их таланты.

Но если после кровавой расправы 1848 года прошло восемнадцать лет тишины и оцепенения, прежде чем проявились первые признаки возрождающейся социалистической агитации, то уже спустя пять лет после массовых убийств, ссылки на каторгу, в колонии и эмиграции 1871 года социализм стал проявлять признаки жизни. Всякое политическое движение, прерванное на определенное время, не возобновляется никогда в том пункте, в котором его оставили предшественники. Новые люди, его возобновляющие, вынуждены, подобно детям, заучивающим свой урок, вернуться к исходным пунктам движения и быстро снова пройти уже пройденные этапы. Вместо того, чтобы продолжать движение, вызванное Интернационалом, парижские рабочие отступили назад, вплоть до кооперации: первый рабочий съезд, собравшийся в 1876 году в Париже, был исключительно съездом кооператоров. Несмотря на свой реакционный характер, этот съезд должен считаться исходным пунктом современного социалистического движения, хотя в Париже и велась некоторая агитация среди рабочих во время выбора делегатов на Венскую выставку 1873 года.

Это возрождающееся движение было поддержано республиканской буржуазией, которая опасалась, чтобы республика, провозглашенная в суматохе поражения, не была ниспровергнута каким-нибудь монархическим заговором, ибо общие законодательные выборы 1871 года наполнили палату депутатов ожившими роялистами, которых считали давно умершими и похороненными. Буржуазные республиканцы, понимая, что они могут рассчитывать только на рабочих в деле защиты республики против все более и более смелеющей монархической реакции, помогали и поддерживали их в их первых организационных попытках. Рабочий конгресс 1876 года был делом буржуаз-

ных республиканцев: радикальная газета „La Réforme“ выдвинула мысль о конгрессе, а Кремье, бывший коллега Гамбетты в правительстве национальной обороны, дал средства на посылку делегатов из провинции в Париж.

Правительство г-на Тьера еще не закончило своего дела, в Сатори еще расстреливали борцов Коммуны, когда открылся съезд 1876 года. Те рабочие, которые во время империи принимали участие в политической борьбе, а во время Коммуны участвовали в восстании, умерли или находились в бегстве, либо же скрывались и старались не привлекать к себе внимание полиции. При таких условиях делегатами на съезде могли быть только очень молодые люди либо лица, ничего не ведавшие ни о социализме, ни об Интернационале; впоследствии они вступили в борьбу с коллективистами. Съезд считал, что взбирается выше геркулесовых столбов социализма, предлагая для улучшения положения рабочих производительную кооперацию, кассы взаимопомощи, народные банки и склады натурального обмена; он откапывал мелко-буржуазные утопии, пропагандистом которых Прудон выступал еще до 1848 года. А склады натурального обмена, учреждения которых съезд требовал в 1876 году, представляли собой те же „базары справедливого трудового обмена“ (equitable-labour exchange-bazar), которые под влиянием Брэя (Bray) учреждены были в 1840 году в Лондоне, Шеффильде, Лидсе и других городах, и которые, поглотив крупные капиталы, скандально обанкротились. Но Брей, в своем замечательном труде „Labours wrongs and labours remedy“ (Лидс 1839 г.), не выставлял, по крайней мере, подобно Прудону, эти склады в качестве разрешения социальной проблемы, а лишь в качестве паллиатива и переходной меры от капиталистического строя к строю коммунистическому.

Но этому рабочему движению, выступившему в столь умеренной форме, пришлось вскоре испытать влияние человека, который должен был сдвинуть его с первоначального пути и заставить его отказаться от утопических и безобидных филантропических реформ и ринуться на путь революционного социализма. Человек этот—Жюль Гэд. Он тогда только что вернулся во Францию, которую покинул, чтобы избегнуть 5-летнего тюремного заключения, к каковому был приговорен за отстаивание дела Коммуны в редактировавшейся им в Монпелье газете „Право Человека“ (Le Droit de l'Homme); он скрылся в Швейцарию, а затем в Италию, где вошел в соприкосновение с деятелями Интернационала, давшими ему его первые понятия о социализме. Гэд, одаренный первоклассным писательским и ораторским талантом, тотчас же стал центральной фигурой возрождающегося социалистического движения. Он является основателем французской социалистической партии.

Гэд сгруппировал вокруг себя некоторых молодых людей и иностранных эмигрантов; с их помощью он основал газету „Равенство“ (Egalité), первую социалистическую газету, издававшуюся во Франции с 1848 года. Идеи, пропагандировавшиеся „Равенством“, были новы и шли вразрез с филантропической фразеологией, составлявшей весь социализм буржуазных радикалов и обуржуазившихся рабочих; они приводили в ужас добрых рабочих-кооператоров из парижского съезда, которые, не решаясь открыто порвать с Гэдом и его товарищами, повели против них глухую борьбу. Они их объявили деклассированными буржуа с крайними и неосуществимыми взглядами, честолюбцами в пиджаках, к которым люди в блузах с мозолистыми руками должны относиться с недоверием, между тем как сами они являются работниками физического труда, подлинными представителями своих товарищей по мастерской, практическими людьми, требующими только осуществимых преобразований без ущерба чьим бы то ни было интересам и без коренной ломки общества. Анархисты, не могущие похвастать даже тем, что они сами выдумали вздор, который они болтают, позаимствовали из терминологии рабочих-кооператоров часть глупых оскорблений, бросаемых ими социалистам.

Пропаганда „Egalité“ принесла свои плоды. Образована была партия, деятельность которой дала себя почувствовать, как это констатировал в январе 1878 года один бисмарковский орган—„Berliner Korrespondenz“. „В беспорядочной массе сообщений, получаемых нами из Франции,—говорит он,—все с большею ясностью выступает тот факт, что социальная демократия стала в этой стране мощною силой... Конечно, главари французского социалистического движения, столь усердно пишущие о себе в германских социалистических органах, могут несколько преувеличивать факты, но это движение нельзя больше ни отрицать, ни замалчивать... Движение это, заглохшее в Париже вследствие поражения Коммуны и находившееся под строгим надзором полиции, вынуждено было опустить паруса и тихо лавировать; но вот уже около шести месяцев, как социалисты открыто возобновляют свою деятельность... Интересно отметить, что во Франции, как и в Пруссии, вожди социалистов пользуются всеми средствами, чтобы продвинуть своих сторонников во все выборные учреждения“.

Социалистическое движение, развившееся в тиши, засверкало ярким светом на Лионском съезде (февраль 1878 года), который созван был организаторами Парижского съезда и грозил стать простым повторением съезда 1876 года. На первых заседаниях воспевали хвалебные гимны Свободе (с большой буквы) во всех фальшивых тонах; достаточно, дескать, дать рабочим право учреждать синдикальные

камеры [1]), кооперативные товарищества, кредитные банки и т. п., чтобы устранить все социальные бедствия. Но появление делегатов-коллективистов, сгруппированных Гэдом, расстроило этот прекраснодушный освободительный концерт, и, к великому возмущению кооператоров, нашлось меньшинство в двадцать голосов в пользу следующих резолюций, предложенных двумя прибывшими из Парижа делегатами:

„Принимая во внимание, что экономическое освобождение рабочих станет совершившимся фактом только тогда, когда они будут пользоваться полным продуктом своего труда; что для достижения этой цели необходимо, чтобы рабочие были владельцами нужных для производства элементов: сырых материалов и орудий труда;—

„ввиду этого съезд предлагает всем рабочим организациям подвергнуть изучению вопрос о практических средствах к осуществлению принципа коллективной собственности на землю и на орудия труда".

Выступление коллективизма на Лионском съезде было настоящим событием. Орган Гамбетты, „La République Française", пришел в негодование. „Один делегат посмел утверждать,—говорил он,—что дореволюционный французский крестьянин не был в более бедственном положении, нежели современный крестьянин, освобожденный революцией, что для улучшения его положения нужно совершенно уничтожить личную собственность и заменить ее коллективистским строем. Земля и орудия труда также должны стать нераздельной коллективной собственностью, и только плоды труда должны предоставляться отдельным личностям. Против этих странных утверждений резко выступили некоторые делегаты... Принять коллективизм значило бы обратиться вспять, ибо он процветал еще в самую раннюю пору человеческого общества; это значило бы подражать самым отсталым народностям Индии и России... Сторонники реакционного коллективистского строя, выставляемого в последнее время некоторыми заблуждающимися людьми в качестве некоей социальной панацеи, натолкнулись на Лионском рабочем съезде на возражения, проникнутые подлинным французским здравым смыслом". Подобным же образом уверяли, что здравый смысл английских рабочих убережет их от безумия социализма, который, в крайнем случае, может быть, и годится для рабочих континента. Но так как французский здравый смысл показался недостаточным для охраны здоровых доктрин капиталистической собственности, то правительство возбудило преследования против заблудших умов из „Egalité", пропагандировавших превратные коллективистские теории. Оно преследо-

[1]) Т.-е. профессиональные союзы. *Прим. перев.*

вало их всяческими способами, но, видя, что ему не удается их напугать и заставить их прекратить свою пропаганду, оно решило уничтожить газету штрафами и щедро назначаемыми редакторам годами тюремного заключения.

Прежде чем исчезнуть, „Egalite“ пустила свой боевой лозунг в последнем номере газеты: „Мы вскоре вновь появимся,—мы не говорим—более решительными, а более вооруженными,—для того дела, которое мы предприняли и которое, как известно, состоит в организации или реорганизации французской революционной социалистической партии. И вот почему мы говорим нашим читателям: до свидания—и в скором времени“.

Движение развернулось—и ничто не могло его остановить: коллективистская пропаганда продолжалась с новой силой, несмотря на то, что Гзд, Девилль и некоторые их товарищи очутились в тюрьме. И эта пропаганда принесла свои плоды. Если на Лионском съезде хватило лишь меньшинство в 20 голосов, чтобы голосовать за резолюцию, предлагавшую подвергнуть изучению вопрос о коллективистском разрешении социального вопроса, то Марсельский съезд, происходивший в следующем году (октябрь 1879 г.), громадным большинством приветствовал учение коллективизма.

Марсельский съезд является наиболее важным из всех съездов, происходивших до 1889 года во Франции, и по числу членов, и по принятым резолюциям, и по влиянию, оказанному на дело организации социалистической партии.

Рабочий класс, всколыхнутый событиями войны и Коммуны и совершенно исключительным экономическим развитием страны, имевшим место после уступки Эльзаса и Лотарингии, испытывал потребность проявить себя и выявить свою силу. И 132 делегата от 37 городов, рассеянных по разным промышленным округам, собрались в Марселе.

Французы имеют безобидную манию — стремление немедленно давать ответы на все вопросы и создавать себе таким образом, известного рода „credo“, которое служило бы им как бы путеводителем в повседневном поведении. Неудивительно поэтому, что порядок дня Марсельского съезда был перегружен всеми вопросами, имеющими более или менее близкое касательство к социальной проблеме. Профессиональные союзы, кооперативные товарищества, профессиональное образование, наемный труд, женский труд, профессиональные трибуналы, стачки, организация труда и собственности, налоги, рента, свобода торговли и протекционизм, представительство пролетариата в выборных учреждениях, формы организации рабочих-социалистов и пр. и пр.,—нужны были месяцы обсуждения, чтобы разработать эти вопросы, а их разрешили в одну неделю. И, однако, некоторые

резолюции, хотя они и слишком общи, довольно поверхностны, окутаны в устарелую прудонистскую фразеологию и уснащены Свободой, Равенством, Справедливостью и другими категориями политической метафизики, все же проникнуты новым настроением, которое до той поры никогда во Франции не проявлялось, а некоторые из этих резолюций даже замечательны своей ясностью и смелостью.

Оба предшествующие съезда—Парижский и Лионский—рассматривали кооперацию, как самое действительное и даже единственное средство освобождения рабочих,—Марсельский съезд заявил, наоборот, что „производительные и потребительные товарищества могут в слабой степени улучшить положение только небольшого числа привилегированных... и ни в каком случае не могут стать достаточно мощным средством для достижения освобождения рабочих. Но так как эта форма организации может сослужить службу, как средство пропаганды и распространения коллективистских и революционных идей, целью которых является передача орудий труда в руки рабочих, то она должна быть принята наравне с другими формами организации“.

Столь же ясна и резолюция по вопросу о наемном труде: „Принимая во внимание, что наемный труд является следствием разделения общества на два класса, из которых один владеет всем и не трудится, а другой трудится и ничем не владеет, наемный труд может быть уничтожен лишь при том условии, если все трудящиеся владеют капиталами, которые они оплодотворяют своим трудом. Поэтому съезд постановляет, что целью трудящихся должна быть национализация капиталов (копи, железные дороги и пр.) и передача их непосредственно в руки тех, кто делает их производительными, т.-е. самих рабочих“.

Коллективизм еще более энергично провозглашается в резолюции о собственности: „Вопрос о собственности есть единственный социальный вопрос. Принимая во внимание, что современная система собственности противоречит уравнительным правам, которые должны быть выражением будущего общества; что несправедливо и нечеловечно, когда одни производят все, а другие не производят ничего, между тем как именно эти последние обладают всеми богатствами, всеми наслаждениями, так же как и всеми привилегиями; принимая во внимание, что этот порядок не прекратится по доброй воле тех, кто всецело заинтересован в том, чтобы он существовал,—съезд ставит целью обобществление земли, подземных недр, орудий труда и сырых материалов, предоставляемых всем и возвращаемых затем снова обществу, которое не имеет права их отчуждать“.

Эта резолюция, характеризующая настроение Марсельского съезда, составлена была Гэдом, находившимся в то время в тюрьме. Предло-

женная съезду парижскими делегатами, она вызвала возражения со стороны некоторых членов, но принята была значительным большинством, при чем принятие ее встречено было продолжительными аплодисментами. Впервые на знамени французского пролетариата написана была национализация собственности Если вспомнить, что на конгрессах Интернационала большинство французских делегатов всегда высказывалось за частную собственность на землю, если припомнить робость революционеров Коммуны в области экономических преобразований, приходится удивляться, что восемь лет спустя после парижского поражения и расправ „Кровавой недели“ нашлось на Марсельском съезде большинство для принятия национализации орудий производства.

Возобновившееся социалистическое движение начато было кооператорами, к которым вскоре присоединились анархисты, стремившиеся захватить движение и направлять его. Кооператоры и анархисты, стоящие, казалось бы, на противоположных полюсах, по существу представляют различные капиталистические течения: кооператоры выражают благожелательные взгляды филантропов, пытающихся малозначительными мерами усыпить преобразовательные стремления рабочего класса; анархисты же, поскольку они не являются сознательными или бессознательными агентами полиции, выражают идеи экономистов манчестерства, идеи, которые они доводят до их крайних логических выводов. Марсельский съезд открыто высказывался против тех и других: если он, с одной стороны, отверг кооперацию, как средство освобождения рабочего класса, то, с другой стороны, он энергично выступил за политическую деятельность и вхождение социалистов в выборные учреждения и за „обязательность,—по крайней мере, моральную,—выставлять социалистических кандидатов при всех выборах, при которых это будет возможно“. Но прежде, чем начать борьбу на политической почве, съезд указывает, „что пролетариат должен прежде всего отколоться от политических партий буржуазии“ и организоваться „в классовую партию“ под названием „Французская партия рабочих-социалистов“. Марсельский съезд вернулся таким образом к традиции Интернационала, советовавшего пролетариату организоваться в самостоятельную политическую партию, с целью захвата политической власти и превращения капиталистической собственности в собственность национальную.

Международный социалистический конгресс, происходивший в текущем году [1]) в Лондоне, отметил, что в каждой из представленных на конгрессе стран, рабочий класс самостоятельно, для надобностей повседневной борьбы, осуществил советы Интернационала. Поэтому

[1]) Т.-е. в 1896 году. *Прим. перев.*

Лондонский конгресс, задачей которого было не разрабатывать вопросы теории или формулировать доктрину, а сблизить и объединить в международном братстве социалистические партии Европы и Америки и осветить общие этим партиям теорию и методы деятельности, ратифицировал, от имени организованных партий старого и нового света, резолюции Интернационала.

Коллективистские резолюции, хотя и приняты были значительным большинством, встретили в недрах Марсельского съезда резкую оппозицию. Голосование по вопросу о собственности вызвало даже столкновение; меньшинство шумно протестовало против резолюции, которую оно называло бессмысленной, утверждая, что она навязана съезду парижскими „сектантами“. Республиканская печать, до той поры поддерживавшая рабочие съезды и воспевавшая хвалебные гимны их благоразумным постановлениям, резко повернула фронт и дружественное и покровительственное отношение сменила враждебным. Она очень тепло приветствовала протесты меньшинства, представлявшего чудесный французский „здравый смысл“, и нападала на большинство, давшее себя соблазнить бессмысленными идеями, которые одни только бешеные фанатики могли выдумать и отстаивать; лишь впоследствии стали обвинять коллективистов в том, что они—анти-патриоты, импортирующие из Германии туманные социальные теории и прусский капитализм.

Для борьбы с буржуазной печатью и для укрепления одержанной в Марселе победы оказалась необходимость в органе—и возобновилась „Egalité“ с расширенной редакцией, в которую вошли некоторые находившиеся в эмиграции коммунары и, между ними, Поль Лафарг, ставший усердным сотрудником газеты и писавший, за малым исключением, все теоретические статьи. К тому же времени Малон стал издавать журнал „Revue Socialiste“, в котором Энгельс поместил свою замечательную работу „Socialisme utopique et socialisme scientifique“, переведенную затем д-ром Эвелингом на английский язык. Возобновившаяся „Egalité“ сыграла большую роль в деле распространения экономического и исторического учения Маркса и Энгельса и в деле организации французской рабочей партии.

III.

Социализм не мог развиваться во Франции, пока не была проведена амнистия борцов Коммуны: рабочая масса как в Париже, так и в провинции жила только мыслью об амнистии. „Никаких празднеств без амнистии“—гласил припев к популярной песенке, которую распевали повсюду и по всяким поводам. Прежде, чем заниматься вопросами социализма, рабочие хотели вызволить из каледонийских

каторжных тюрем повстанцев, счастливо ушедших от пуль реакции. Сотрудники „Egalité“, продолжая пропагандировать социалистическое учение, отдались борьбе за достижение амнистии. Девилль был одним из инициаторов кандидатуры Бланки, содержавшегося без всякого суда в тюрьме с 18 марта 1871 года, хотя он и был арестован до того, как успел принять участие в восстании, как раз в то время, когда он направлялся из Периге в Париж, уже охваченный революцией. Избрание в Бордо уже старого и неукротимого Бланки раскрыло двери Франции осужденным и изгнанникам Коммуны. Вырванная у реакционеров амнистия была истинно народной победой, первым реваншем после майского поражения 1871 года. Побежденные борцы Коммуны возвратились настоящими триумфаторами. Прием, оказанный парижским населением первым партиям каторжников, вышедших из тюрем Новой Каледонии, был поистине восторженный.

Когда волнение, вызванное амнистией и возвращением борцов 18 марта, улеглось, можно было вновь приняться за социалистическую пропаганду. Марсельский съезд превосходно определил цель, к которой должны были стремиться усилия пролетариата,—теперь надлежало дать ему программу для избирательной борьбы. И вот, в квартире Энгельса, где, кроме хозяина, собрались Маркс, Гэд и Лафарг, составлена была программа, которой суждено было послужить причиной длительной и ожесточенной борьбы и расколов. Маркс продиктовал принципиальную мотивировку, столь замечательную по своей ясности и краткости.

Избирательная программа рабочих социалистов.

Принимая во внимание,

что освобождение производительного класса является освобождением всех людей без различия пола и расы;

что производители смогут быт свободны лишь постольку, поскольку они будут владеть средствами производства;

что существуют только две формы, в которых средства производства могут им принадлежать:

1) индивидуальная форма, которая никогда не существовала, как общее явление, и которая все более и более вытесняется промышленным прогрессом;

2) коллективная форма, материальные и интеллектуальные элементы которой слагаются самым развитием капиталистического общества;

принимая во внимание,

что это коллективное присвоение может быть результатом только революционной деятельности производительного класса, или пролетариата, организованного в отдельную политическую партию;

что такая организация должна осуществляться всеми средствами, какими располагает пролетариат, в том числе и всеобщим избирательным правом, превращаемым таким образом из орудия обмана, каким оно было до сих пор, в орудие освобождения,—

французские рабочие-социалисты, ставя целью своих усилий в экономической области возврат коллективности всех средств производства, постановили, считая это средством организации и борьбы, принять участие в выборах со следующей программой...

За этой мотивировочной частью следует ряд подлежащих немедленному проведению политических и экономических реформ, как-то: свобода печати и собраний; уничтожение государственного долга; отмена постоянных армий и всеобщее вооружение народа; законодательное ограничение рабочего дня 8-ю часами; законодательное воспрещение предпринимателям платить рабочим иностранцам низшую, по сравнению с рабочими французами, заработную плату; равенство заработной платы за равный труд трудящимся обоего пола; содержание за счет государства и муниципалитета детей, стариков и инвалидов труда; ответственность предпринимателей за несчастные случаи; участие рабочих в установлении внутреннего распорядка в мастерских; отмена договоров, отчудивших государственное достояние (банки, железные дороги, копи и пр.); заведывание государственными мастерскими работающими в них рабочими и т. д.

Принципиальная мотивировка программы выставила социализм в совершенно новом свете. Выше можно было видеть, что в резолюции о собственности делегаты Марсельского съезда исходили из „несправедливости и нечеловечности режима современной собственности“ и требовали коллективной собственности во имя „уравнительных прав, которые должны быть выражением будущего общества“, т.-е. прав, существовавших лишь в головах членов съезда. Делегаты последнего облекли ощущаемую нашей эпохой настоятельную потребность социального преобразования в субъективную и идеалистическую фразеологию философов и историков, полагавших до Маркса, что революции совершаются лишь для осуществления религиозного, общественного или политического идеала. Принципиальные мотивы программы исходят из совсем других положений. Они говорят: капиталистическое общество, все более и более вытесняющее промышленным прогрессом мелкую личную собственность, несет в своих недрах новое коллективистское общество, материальные элементы которого (фабрики, копи, железные дороги, банки и пр.), как интеллектуальные элементы (лишенные всякой собственности пролетарии физического и умственного труда), складываются самым развитием капиталистического общества. Дело социалистического движения состоит, следо-

вательно, в том, чтобы довести до рокового конца капиталистическое общество, извлекши заключенное в его недрах коллективистское общество. Ибо революция есть лишь выявление уже образовавшегося общественного организма. Социалисты, сознавшие исторический ход развития капиталистического общества, должны, таким образом, посвятить свои усилия организации пролетариев в классовую партию и двинуть их на завоевание государственной власти, дабы, завоевав ее, экспроприировать революционным путем капиталистический класс в пользу нации, подобно тому, как английское католическое духовенство было экспроприировано Генрихом VIII, а французское дворянство—буржуазией 1789 года. Принципиальная мотивировка программы требует, следовательно, национализации капиталистической собственности не потому, что эта национализация соответствует требованиям Справедливости, Равенства, Свободы, Человечности и других метафизических категорий, но потому, что навязывается экономической необходимостью общества, в котором живут, страдают и борются за улучшение своего положения пролетарии.

Этот объективный и материалистический подход к истории и к исторической проблеме нашего времени не мог быть понят и воспринят умами, привыкшими к субъективному и идеалистическому методу мышления. Поэтому, когда программа появилась в „Egalité“ от 30 июня 1880 года, она вызвала бурю гнева как со стороны тех, чьи интересы она задевала, так и со стороны тех, кого она сбивала с привычных идейных позиций. Реакционеры, радикалы, кооператоры и анархисты стремились друг друга перещеголять в нападках на нее. И, действительно, большой новостью был научный социализм, формулированный „лондонской программой“, как называли ее противники, чтобы подчеркнуть, что она не могла зародиться во Франции, что она была импортирована из-за границы. Вернувшиеся после амнистии борцы Коммуны, считавшие себя подлинными представителями здоровой французской революционной традиции, высказались против коллективизма и его программы, проповедывавшей борьбу классов: особенно яростно нападала на нее, руководимая бывшим членом Коммуны Феликсом Пиа (Felix Pya), газета „Commune“, в которой писал и Эмиль Готье, тогда оратор и руководитель анархистской партии, ныне „услужающий“ журналист оппортунистской и бульварной прессы: часто, кстати сказать, бывает, что неистовые анархисты становятся с годами добрыми реакционерами.

Отношение деятелей Коммуны к новой программе понятно. Восстание 18 марта, выпощенное в оранжерее осады Парижа и политических раздоров правительства национальной обороны, было далеко не социалистическим движением. Оскорбленное поражением чувство патриотизма, болезненно обостренное изменами Жюля Фавра, Жюля

Ферри и других членов правительства национальной обороны, крайне возбужденное настроение по поводу, несомненно, грозившей вновь завоеванному республиканскому строю опасности от монархических козней заседавшего в Бордо Учредительного Собрания и неосознанное, неопределенное стремление к социальным реформам,—таковы главные мотивы, поднявшие парижские народные массы против г. Тьера и его правительства. Коммуна была правительством мелко-буржуазных республиканцев и революционеров-бланкистов. Те несколько рабочих из Интернационала, которые проникли в ряды революционного правительства, были слишком неопытны и слишком малочисленны, чтоб завоевать господство идеям Интернационала. И эти разнообразные элементы не объединяла социалистическая мысль, между тем как поражения и тяжесть борьбы их разъединяли. Коммуна. побежденная г. Тьером. обливаемая бранью и клеветой всеми капиталистическими газетами, была взята под свою защиту Генеральным советом Интернационала, в котором руководящую роль играли Маркс и Энгельс „Манифест о гражданской войне", написанный Марксом от имени Генерального совета, придал Коммуне социалистический характер, которого она не имела в течение своего кратковременного существования. Изгнанники Коммуны, принятые за социалистов, стали серьезно считать себя представителями социализма, о котором не имели ни малейшего понятия. Вернувшись во Францию после амнистии, они, под руководством двух членов Коммуны. Лонге и Журда, основали „Республиканско-социалистический союз". который они решили противопоставить постепенно слагавшейся рабочей партии. „Союз". после нескольких лет незаметного существования, то замирая, то снова давая знать о себе, растаял, не оставив после себя никаких следов".

Рабочая партия зародилась и росла посреди всяких затруднений. Подвергаясь нападениям со стороны внешних противников, она в то же время раздиралась и внутренними распрями. Но, обладая жизненной силой. способной справиться со всякими препятствиями, она развивалась тем же путем, которым развивается органическая клетка—путем ассимиляции и отталкивания. Коллективистские идеи ее программы пропитывали собой вновь примыкающих членов, стекавшихся со всех концов политического горизонта, и отталкивали тех, что присоединялись по временному увлечению или с надеждою найти в ней возможность осуществить свои честолюбивые мечты.

Гаврский рабочий съезд (ноябрь 1880 года) значительным большинством голосов высказался за принятие новой программы: меньшинство, состоявшее из делегатов, находившихся под покровительством Гамбетты и оппортунистской партии синдикальных камер, с шумом покинуло съезд, чтобы продемонстрировать свое негодование к нелепому и преступному учению коллективизма. Два года спустя. из

съезде в Сент-Этьене (сентябрь 1882 года), произошел более серьезный раскол: кооператоры, члены парижских профессиональных союзов и революционеры, с Бруссом (Brousse) и Аллеманом (Allemane) во главе, взбунтовались против навязанной им—утверждали они—программы. Они основали отдельную организацию и составили новую программу, более радикальную, чем социалистическую, и люди, объединившиеся под знаменем этой программы, беспомощно отдавались всякому подхватывавшему их течению, то присоединяясь к оппортунистам, как это было во время буланжистского кризиса, то солидаризуясь с анархистами, как это произошло недавно на международном конгрессе в Лондоне. Попытавшись-было создать партию, они раскололись на группы, расколовшиеся, в свою очередь, еще на более мелкие группы, которые существуют только в Париже и влияние которых не переходит за пределы круга их непосредственной деятельности.

IV.

Теперь, когда социализм формулировал свою программу и наметил свою тактику, оставалось набрать социалистическую армию, научить ее маневрировать на политической арене и пользоваться всеобщим избирательным правом, чтобы захватить государственную власть. Пропагандисты из группы инициаторов партии, при содействии вновь присоединившихся выдающихся деятелей, энергично принялись за дело, издавая в Париже и в провинции еженедельные газеты, выпуская брошюры и устраивая пропагандистские лекции и собрания. Слово есть лучшее оружие социалистической пропаганды, и в течение ряда лет „коммивояжеры беспорядка" (les commis-voyageurs du désordre), как их называют реакционеры, пересекали Францию по всем направлениям, возвещая массам новое евангелие и вызывая защитников противоположных взглядов на публичные диспуты,—такие диспуты всегда увлекают французскую публику, любительницу всяких дуэлей.

Наиболее активная пропаганда велась сперва в промышленных центрах. Так поступлено было по ряду причин. Промышленный процесс лишил производителей их орудий труда и сосредоточил их в капиталистических мастерских, где они работают сообща при принадлежащих работодателю машинах. Там у них вытравляются все инстинкты мелких собственников, еще сохранившиеся у них, как воспоминание о личной собственности их отцов; постоянно имея перед собою колоссальное техническое оборудование, ими обслуживаемое, они инстинктивно понимают, что никогда они не смогут лично им владеть, что им доступно лишь коллективное владение им. Так механическое производство вымело из пролетарской головы идею личной собственности и взрастила в ней идею собственности коллек-

тивной. Эта идейная эволюция произошла независимо от воздействия коллективистов, она есть следствие механического производства, организованного под управлением капиталистического класса. Коллективистские идеи живут в латентном состоянии в головах наемных работников крупной индустрии, - пропагандисты лишь будят их и вызывают их дальнейшую работу. Капиталисты, сосредоточивая пролетариев сотнями тысяч в промышленных городах и сотнями и тысячами в своих мастерских, облегчают социалистическую пропаганду; они не только подготовляют головы к восприятию пропагандируемых идей,—они их собирают вместе, чтобы легче было воздействовать на эти бессознательно уже коллективистские головы. Поэтому, когда социалисты объезжают промышленные центры, они находят там рабочие массы уже готовыми к восторженному восприятию коммунистического учения, выводимого социалистами из экономических явлений, игрушками и в то же время мучениками которых являются рабочие.

Когда рабочая партия завоевала некоторую мощь в городах, она стала думать о привлечении деревни, которую реакционеры выставляли совершенно недоступной для социализма. Раньше говорили, что „здравый смысл“ французских рабочих никогда не воспримет ложное учение коллективизма. Теперь повторяли, что „здравый смысл“ крестьян отвергнет разглагольствования об общей или национальной собственности, которая если и приемлема для кого-нибудь, то разве только для пролетариев крупной промышленности, и что крестьяне вилами встретили бы апостолов социализма, которые осмелились бы показаться в деревне. Нет, собственника социализмом не заманить, а во французских деревнях насчитывается, дескать, свыше 7 миллионов собственников. Правда, всего только 29 тысяч собственников владеют 30 миллионами акров, т.-е. приблизительно четвертой частью всей пахотной земли страны, между тем как 5 миллионов крестьян имеют немного больше 6-ти миллионов акров, или, в среднем, несколько больше одного акра на крестьянина. И так как этого кусочка земли не хватает на то, чтобы прокормить крестьянина и его семью, то он вынужден наниматься на работу к крупному землевладельцу; да и оставляет землевладелец крестьянину его землицу только для того, что бы удержать его в деревне, дабы во всякое время года иметь под рукою поденного работника.

Далее—13 миллионов акров принадлежат 3.180.000 собственникам, владения которых охватывает от $2^1/_2$ до 122 акров, но на них столько долгов и закладных, что крестьяне являются лишь номинально собственниками земель, заложенных и перезаложенных у банкиров и ростовщиков.

Это распределение поземельной собственности, хотя оно и отличается от распределения промышленной собственности, весьма, однако-

благоприятно для социалистической пропаганды, и как только эта пропаганда началась, она делала быстрые успехи повсюду, где находились пропагандисты, умеющие говорить с крестьянами об их интересах и о бедствиях, выпадающих на их долю, когда они пытаются бороться с крупными землевладельцами. Тогда рабочая партия выработала аграрную программу, которая с радостью принята была ознакомившимися с нею крестьянами и на почве которой на муниципальных выборах в мае этого года избраны были муниципальные советники в самых маленьких деревушках. Д-р Делон, живущий в Ниме (в департаменте Гард), представлял на международном конгрессе в Лондоне муниципальный совет небольшой общины Гарда, насчитывающей всего 97 жителей; последние, хотя и мелкие собственники, все социалисты, потому что—как говорил д-р Делон—они „понимают, что над мелкой собственностью нависла грозная опасность, что она осуждена на исчезновение, так как средства производства в сельском хозяйстве становятся все дороже и требуют обладания мощными капиталами".

Социалистам помогло в их пропаганде правительство, которое было достаточно наивно, чтобы думать, что оно сможет остановить рост социализма путем преследования его апостолов. И оно стало щедро преподносить им месяцы и годы тюремного заключения, чем оно, однако, достигло только одного результата: оно подхлестывало их энергию, которая без этого, может быть, охладела бы, и выставляло их перед рабочими, как людей, к которым они должны относиться с доверием. Так, Каретт (Carette) и Дормуа (Dormoy), ныне являющиеся мэрами городов Рубэ и Монлюсона, стали вождями местных социалистов именно с того времени, как правительство сочло необходимым присудить их к тюремному заключению; Лафарг, отбывал годичное тюремное заключение,—в третий раз уже республиканское правительство любезно предоставляло ему бесплатную квартиру,—когда рабочие избрали его депутатом от Лилля.

Занимались репрессиями и предприниматели: каждый рабочий, изобличенный в приверженности к социализму, изгонялся из мастерской, и имя его сообщалось другим предпринимателям местности, которую рабочий, в конце концов, вынужден бывал покинуть, потому что не находил работы. Эти репрессии, более опасные, нежели правительственные, потому что они отнимали кусок хлеба у всей семьи рабочего, имели не больше успеха в борьбе с социализмом. Социалисты, вынужденные покинуть родной город, разносили социалистические идеи по тем местностям, куда они перебирались в поисках работы. Точно таким же образом Бисмарк явился распространителем социалистических идей в Северо-Американск. Соедин. Штатах: все изгоняемые им из Германии социалисты приносили их туда с собою.

И владельцы пивоваренных заводов северной Франции, хотя они и капиталисты, а, сверх того, реакционеры, брали под свое покровительство выгнанных за участие в социалистическом движении рабочих. И вот почему. Во Франции всякий, кто пожелает, может без всякого разрешения стать продавцом пива и алкогольных ликеров, и пивовары, имеющие множество мелких трактиров, устраивали у себя продавцами пострадавших за социализм: Саламбье, нынешний мэр города Калэ, Делори, мэр Лилля, и многие другие были таким образом устроены в качестве трактирщиков пивоварами с целью распространения их пива. Число трактирщиков-социалистов так велико в Северном департаменте, что газета „Le Temps“ окрестила социалистическую партию кличкой „партии трактирщиков“.

Католическое духовенство также сочло нужным стать попустителем пропагандистов в деле распространения коллективистского учения. Когда священники увидели успех социалистов среди рабочих масс, они думали, что стоит им начать подражать социалистам, как они восстановят старое влияние, которым церковь пользовалась в народе в средние века. Тогда-то папа Лев XIII и выпустил свою пресловутую энциклику о „положении рабочих“, и священники, по его совету, решились выступать на открытых собраниях, чтобы отбивать рабочих у социалистов, превращавших их в коллективистов. Они сфабриковали некий „христианский социализм“, видоизменявшийся в зависимости от среды, в которой его проповедывали: когда христианский социалист находился на рабочем собрании, он обрушивался на богатых с такой же яростью, как Иоанн Златоуст и другие святые демагоги древнего христианства, заискивавшие пред константинопольской и александрийской чернью; во когда он излагал свое учение перед собранием предпринимателей, он становился ласковым, как ягненок, и ограничивался тем, что давал богатым благоразумные филантропические советы, дабы не возбуждать завистливых поползновений бедных; он просил их только выплачивать рабочим необходимое жалованье, которое проповедники христианского социализма исчисляли в промышленной области Севера в сказочную сумму в 21 франк в неделю для семьи из пяти лиц. Священники, выставляя себя социалистами, сделали почтенным слово „социализм“, которое в глазах многих означало убийство, поджоги, воровство; а появляясь на рабочих собраниях и соглашаясь принимать участие в диспутах о заслугах и недостатках христианства и социализма, они почти всегда терпели поражения и вынуждены бывали признать, что после 18-ти веков проповеди евангелия христианство пришло к капиталистическому строю, который они сами признавали нестерпимым для рабочих. И, в конце концов, христианские социалисты пришли к результату, столь противоположному тому, к которому они стремились, что опи-

скопы и архиепископы должны были приостановить этот крестовый поход и воспретить священникам участвовать в публичных диспутах. Но злое для них дело было уже сделано, когда они покинули поле борьбы.

Буланжизм, который подверг опасности самое существование республики, на время остановил рост социализма. Буланжизм представлял собою синдикат недовольных: рабочие недовольны были тем, что их положение ухудшается с развитием промышленности; радикалы—тем, что не проводятся обещанные реформы; торговцы и промышленники—застоем в делах; мелкие капиталисты и „сберегатели" (épargnistes—мелкий люд, несущий свои гроши в сберегательные кассы)—потерей дорого доставшихся им денег в разных Панамах, португальских займах и т. п.; бонапартисты и монархисты—тем, что „босячка" (la gueuse), как они называют республику, продолжает держаться. И вся эта пестрая толпа тянулась к генералу и его черной лошади, как к возвещенному Мессии. И так как всеобщее недовольство есть источник жизни для социализма (если бы все были довольны своим положением, никому не нужно было бы ни социализма, ни Мессии), то буланжизм, стягивая к себе недовольных, оказался чрезвычайно сильным конкурентом социализма. Но когда храбрый генерал бежал при первой угрозе быть арестованным министром Констаном, рабочие и радикалы убедились, что он был бесчестным соперником, и что он вовсе не был тем героем, каким они его воображали. Тогда они обратились к социализму, в уверенности, что социализм, не будучи воплощен ни в каком-либо боге, ни в чудодейственном человеке, никогда не сможет вызвать в них подобного разочарования. Разразившиеся в то же время панамский крах и финансовые скандалы, лишившие политических партий их более или менее скомпрометированных главарей, со своей стороны, бросили рабочих и мелкую буржуазию в ряды социалистов. Народные массы городов и деревень, глубоко всколыхнутые этими событиями, выразили свое недовольство, подавая свои голоса на подоспевших законодательных выборах 1893 года за социалистов. Около сорока социалистических кандидатов было избрано, а те, что не получили большинства голосов, собрали все же столь значительное меньшинство, что оно сулит им близкую победу. Коллективизм приобрел при этом новых двух ценных сторонников—Жореса и Мильерана, которые, благодаря своему общественному положению и ораторским талантам способствовали проникновению его в среду, еще не затронутую социалистическим движением. Социалистическая фракция в палате депутатов стала, под их искусным руководством, серьезной силой, низвергавшей министерства, свалившей президента республики и одним своим благоприятным нейтралитетом давшей возможность министер-

ству Буржуа держаться,—и оно, вопреки сенату и президенту Феликсу Фору, держалось бы и по сей день, если бы не малодушие Буржуа, подавшего в отставку в момент, когда его противники собирались сложить оружие.

Шумный успех парламентской деятельности социалистических депутатов не только не был заглушен негодованием и ужасом, вызванным анархистскими покушениями, еще более глупыми, чем преступными, но дал новый толчек развитию социализма, который теперь нельзя было уже смешивать с анархизмом, как это корыстно делала капиталистическая печать по указаниям полиции и правительства. Состоявшиеся в мае 1896 года муниципальные выборы обнаружили огромный рост социализма по всей стране с 1893 года. Такие крупные города, как Лилль, Рубэ, Калэ, Монлюсон, Нарбонн и др., избрали для управления городскими делами социалистические большинства, и даже там, где было лишь меньшинство социалистическое, в мэры города выбраны были социалисты, как напр.: д-р Флэссьер в Марсели и Кусто в Бордо. Но особенно много побед одержано было в небольших городах и в деревнях; одна только рабочая партия [1]) насчитывает свыше 1.800 муниципальных советников, избранных на почве ее коллективистской программы, а на ее съезде в Лилле, состоявшемся за несколько дней до международного социалистического конгресса в Лондоне, 38 социалистических муниципальных советов и социалистическое меньшинство 21 муниципального совета представлены были их мэрами или делегатами, избранными из числа членов партии.

Нельзя преувеличивать важность этой муниципальной победы, которую министерство Мелина, придерживающееся страусовой политики, пыталось скрыть какой-то фантастической статистикой; оно установило, как дважды два четыре, что по сравнению с муниципальными выборами 1892 года социализм потерял ряд позиций. Правительство и капиталистическая пресса одержимы какой-то странной болезнью зрения: по мере того, как социализм разрастается и вширь и вглубь, им представляется, что он все слабеет и постепенно становится совсем уже ничтожной величиной. Они имеют столь же наивную, сколь и героическую смелость благовестить по всему миру о своем необычайном открытии, и эта болезнь поражает, повидимому, не одних только французов,—она свирепствует во всех странах, в которых социалистические партии стали мощными политическими силами.

1) Социалистическое движение во Франции насчитывало тогда несколько фракций. Самой многочисленной и наилучше организованной была фракция, во главе которой стояли Жюль Гэд, Лафарг и др., т.-е. фракция марксистская. Она называлась—французская рабочая партия. *Прим. перев.*

Муниципальные советы, завоеванные социалистами, становятся для последних школами, в которых они обучаются административному делу; учась управлять материальными интересами города, они подготовляются к администрированию и управлению интересами всей Франции. Обнаруженные социалистами административные способности настолько же удивили их противников, насколько они обрадовали их друзей. Такие рабочие, как литейщик Дормуа и ткач Каретт, которые никогда в своей жизни не имели сразу 500 франков, вели с 1892 года по 1896 хозяйство городов с годовым бюджетом от 2 до 5 миллионов—и при этом сумели сделать значительные сбережения и осуществить ряд реформ. Так, в Рубе все дети, обучающиеся в городских школах, числом около 11.000, получают безвозмездно от социалистического муниципалитета частичное пропитание и одежду: им в школе дают горячие завтраки, состоящие из супа, неограниченного количества хлеба, овощей, 30 грамм вареного или жареного мяса и стакана пива, а к началу зимы и лета они получают соответствующую одежду. И Каретт и его товарищи по муниципалитету нашли средства на покрытие расходов по „школьным столовым" (cantines scolaires), не повышая налогов, лежащих на рабочих.

В начальный период социалистического движения, десять и пятнадцать лет тому назад, правительство должно было заботиться о том, чтобы процессами и тюремным заключением рекомендовать народному доверию социалистов, известных лишь по бесчисленному количеству преступлений, которые на них возводились. Это время миновало. Социалисты, которых их самые вежливые противники величают утопистами, неспособными ни к какому практическому делу, не нуждаются теперь уже в такой милостивой правительственной рекомендации,—они дают меру своих способностей в муниципальных советах и завоевывают симпатии рабочих и мелкой буржуазии и даже уважение не ослепленных своекорыстными интересами капиталистов. Доверие, которое социалистические мэры и муниципальные советники внушают населению руководимых ими городов, будет играть решающую роль в предстоящих в мае 1898 года законодательных выборах: в небольших общинах часто бывает, что кандидат, за которого голосует мэр или муниципальный советник, получает голоса и большинства избирателей.

Выборы 1898 года будут победой для социализма; они подготовляют его конечное торжество.

Поль Лафарг. [1]

---

[1]) Перевод Е. Смирнова.

Теодор Дезами.

(Продолжение.)

V

Как же организован труд в коммуне, которую строит Дезами? Надо принять во внимание, что вопрос об организации труда занимал всех утопистов, предшественников и современников Дезами, что „Организация труда“ Луи-Блана, как раз в это время—до 1847 года—выдержала 7 изданий, что передовая мысль тщетно билась над разрешением этого вопроса, полагая, что от его разрешения зависит, если не все, то почти все в деле установления нового строя. Неудивительно, что Дезами уделяет этому вопросу в своей „Code de la communauté“ очень большое внимание.

Он посвящает особую главу так называемым „индустриальным и земледельческим законам“, в которой, прежде всего, указывает на всю нелепость утверждения, что человек, по природе, существо ленивое. Как верный ученик французских материалистов, Дезами, вслед за Фурье, считает, что отвращение к своей работе у рабочего объясняется эксплоатацией, которая является сущностью капиталистического строя.

„Наука—говорит Дезами—доказывает нам, что человек есть существо преимущественно активное и только, вследствие монотонности и скверной организации труда, он иногда впадает в спячку“ [1]).

В современном строе труд—проклятие. Но разве можно удивляться, что крестьянин, который работает на своем поле 12 часов, в надежде получить хотя бы кусок хлеба, что рабочий, который один в своей мансарде двигает своей иголкой весь день и часть ночи, побуждаемый единственной необходимостью: найти себе пропитание, что служащий, который работает 12 часов в день, нагнувшись над конторкой и в неблагодарной нужде; что все эти парии цивилизации не могут питать другого чувства, кроме отвращения к своей ежедневной работе“ [2]).

Совершенно понятно, что рабочие ненавидят свою работу, так как в настоящий момент они являются людьми, невинно-осужденными на каторгу: буржуазия держит этих каторжников закованными в цепи нищеты; это—бесправные граждане, обреченные на болезнь и смерть где-нибудь под забором, ибо лишь только капиталист высосет из него все, что можно, он выбрасывает его на мостовую, на произвол судьбы [3]).

1) „Code de la communauté“, стр.
2) Ibid., стр. 57.
3) Ibid., стр. 59—60.

Только при правильной организации труда последний станет не проклятием, а радостью. Труд не будет принуждением, хотя и будет регулироваться особенными законами. Но в будущем обществе законы, конечно, не будут похожи на современные. „Когда коммунизм будет полностью осуществлен, закон станет не чем иным, как **простым правилом, простым приглашением**... В эту эпоху все дела пойдут, так сказать, сами собой, потому что общественные законы будут тогда истинным и прямым отображением **естественных** законов“ [1]).

Эти „индустриальные и земледельческие законы“ формулированы Дезами следующим образом: разделение труда, совершенствование и изобретение новых машин, расположение и постройка мастерских таким образом, чтобы были предусмотрены все удобства с точки зрения гигиены и красоты; то же—относительно земледельческих работ, для облегчения которых будут введены сельско-хозяйственные машины и другие изобретения и, наконец, индустриальные армии, для производства грандиозных общественных работ.

Конечно, организация труда Дезами тесно связана с воспитанием, которому наш автор, вслед за Фурье, посвящает очень много внимания (о воспитании мы подробно будем говорить ниже).

Общественные мастерские основаны на принципе—обязательности труда всех,—от работы освобождаются только инвалиды, старики, больные и дети; обязательность труда, его начало и конец—„определяются природой и наукой“; всякая работа является общественной функцией, одинаково уважаемой.

Труд станет потребностью каждого гражданина, вследствие: 1) воспитания; 2) разнообразия работ; 3) короткого времени—5—6 часов в день: 4) удобства обстановки мастерской; 5) доброкачественности материалов и простоты процессов; 6) употребления все новых машин; 7) общности труда; 8) могущества общественного мнения, которое будет считать всякого лентяя человеком, подрывающим основы нового строя; 9) стремления к общественному уважению и, наконец, 10) вследствие „той инстинктивной и осмысленной любви к равенству и братству, которую можно только встретить в единой республике,—этого гордого чувства, которое рождает и делает вечным во всех сердцах всеобщий энтузиазм и которое можно было бы назвать волшебством разума“ [2]).

Во избежание монотонности работы, которая наблюдается при разделении труда, Дезами развивает мысль Фурье о разнообразии работ.

Он полагает, что причиной монотонности и скучности труда являются два обстоятельства: 1) продолжительность одной и той же работы, 2) необходимость при изучении какого-нибудь ремесла изучить целый ряд побочных процессов, на что тратится очень много времени.

Между тем, всякая отрасль труда должна быть разбита разделением труда на ряд мельчайших и простейших приемов. Каждый обучающийся должен будет тогда тратить очень мало времени на обучение этим процессам и, таким образом, обучившись разнообразным приемам, сумеет участвовать во всевозможных работах, меняя их—монотонность и однообразие труда отойдет тогда в область предания.

Кроме того, при сокращенном до минимума рабочем дне, при удобствах и обстановке новых мастерских—монотонность работы, вооб-

[1]) Ibid., стр. 61.
[2]) Ibid., стр. 61.

ще, будет чувствоваться меньше. Но Дезами считает так же необходимым введение следующих мер, делающих труд приятным: работу под музыку, которая будет наигрывать—„мелодичные и полные ликования" мотивы [1]) и, наконец, „приятные сердечные беседы", которые должны вестись во время работы.

Что касается земледелия, то Дезами придает огромное значение завоеваниям химии, которая дает возможность увеличить производительность труда [2]), и обращает внимание, как мы уже упоминали, на применение сельскохозяйственных машин, которые, по его словам, особенно разовьются при коммунистическом строе [3]).

В числе вспомогательных мер, которые Дезами вводит для облегчения труда земледельца, зависящего от природы и ее капризов, кроме всеобщей ирригации и осушительных работ, есть такая: земледельцу необходимо будет выезжать в поле в повозках, которые могут закрываться или открываться, в зависимости от погоды, а в качестве особой меры рекомендуется производство всех земледельческих работ „под непромокаемыми и передвижными палатками".

В результате, введение новой организации труда приведет к тому, что увеличатся жизненные удобства, повысится производительность труда и исчезнет целый ряд непроизводительных работ. К числу бесполезных институтов, которые исчезнут с введением коммунистическоо режима, Дезами относит (кроме министров, чиновников, армии, священников и проч.) кабаре, кафе, игорные дома, фабрики оружия, слесарные мастерские, выделывающие замки—так как не от кого будет запираться при отсутствии частной собственности; даже зонтиков не надо будет, так как при существовании галлерей-улиц люди не будут страдать от дождя и жары.

Вообще, „коммунистический режим даст оздоровление человека и животных" [4]): исчезнет целый ряд болезней:—лихорадка, холера и все хронические болезни, „которые родились вместе со скверной организацией нашего федералистически-неравного общества" [5]). Общество будет нуждаться только во врачах-хирургах и то к ним будет редко обращаться; что касается врачей других отраслей—то их совсем не надо будет: люди будут гораздо здоровее чем сейчас и, наконец, они сами будут знать способы ухода за больными.

Таковы будут последствия рациональной организации труда, которая покоится на „естественных законах". Как мы видим, в этой области Дезами был мало оригинален: он заимствовал очень многое у Фурье, приспособив его основные идеи к современной обстановке, сняв с его мыслей каббалистические одежды и подойдя к вопросу более реалистически.

1) „Code de la communauté", стр. 65.

2) В „Almanach de la communauté" Дезами посвящает последним применениям химии в земледелии особую статейку.

3) Какое огромное значение придает Дезами завоеваниям техники, видно из целого ряда его энергичных заявлений на этот счет. Так, напр., на возражения, что его система стара, как мир, но что она никогда не будет иметь успеха, так как она является сплошной утопией, Д. отвечает: „Ничто не указывает, что новый коммунизм должен протекать так, как античный... кто, напр., посмеет утверждать, что научные открытия нечего не изменили? Что современная цивилизация может бояться тех же препятствий, как античная, которая не знала ни книгопечатания, ни пара, ни железных дорог, ни машин и т. д." (Стр. 279). Особое значение Д. придает завоеванию пространства при помощи железных дорог... (См. там же, стр. 278, ответ Д. на возражение легитимиста, что Франция может быть только монархией, так как, по словам Монтескье, „Франция слишком велика, чтобы быть республикой".)

4) „Code de la communauté", стр. 100.

5) Ibid., стр. 101

Свою организацию труда Дезами называет „le travail parcellaire composé"—„объединенный, разделенный труд". Обстановка преобладающего ремесла в Париже сказалась на некоторых его рассуждениях, на приводимых им примерах (о труде портного, сапожника или наборщика): все это виды больше ремесленного труда, чем крупно-фабричного, если взять их в обстановке, современной Дезами.

Но Дезами уже не придает преобладающего значения, подобно Фурье, труду земледельца; хотя пиэтет перед деревней отчасти чувствуется и у него. Не возвращение к деревенской жизни, а, наоборот, внедрение в нее новой техники и завоевание науки—вот цель Дезами. А основным остается для него все же фабрика, мастерская с их пролетариатом, и на него Дезами обращает главное внимание. Это—несомненный шаг вперед, по сравнению с прежними системами. И если Дезами располагал свою коммуну на фоне зелени, лесов и полей, то прежде всего потому, что в его время загнанный в душные подвалы предпринимателей забитый пролетариат властно тянулся к вольному воздуху и к свету солнца.

VI.

Идеи воспитания занимают у Дезами такое же большое место, как у всех утопистов. Если среда формирует человека, то с изменением среды изменится и человек: целью воспитания и является это изменение совершить возможно быстрее и рациональнее. „Все исходит от воспитания,—говорит Дезами:—добро и зло, вера, нравы, чувства, привычки. Но воспитание не покоится только на словах: оно—результат самого общества, это—краеугольный камень здания" [1]).

Если деятели революции как Рабо де Сент-Этьенн или С.-Фраго имели, по существу, правильные идеи о воспитании, если они даже приходили к мысли об обучении всех детей от 5 до 12 лет вместе, при полном режиме равенства, то они не могли провести этого в жизнь, по мнению Дезами, по той причине, что эта система воспитания противоречила всему общественному строю, выдвинутому французской революцией, устройству, имевшему базой частную собственность. „Это реальное равенство, которое они (дети. *Г. З.*) чувствовали бы в школах, как могло бы оно остаться нетронутым под сенью домашнего очага, под вредоносным влиянием м о е г о и т в о е г о и денег?" [2])—спрашивает Дезами. Это было невыполнимо. Поэтому идеи деятелей французской революции оказались висящими в воздухе.

Только с уничтожением частной собственности возможно подлинное рациональное воспитание, основанное на равенстве.

Как же мыслит себе это воспитание Дезами в коммунистическом строе? „Воспитание,—заявляет Дезами,—будет общественным, равным, сериальным, индустриальным и земледельческим". Все дети, начиная с раннего возраста, когда они становятся более или менее способными к восприятию, вводятся в разные мастерские, плодовые сады, огороды, поля и пр., где они имеют перед своими глазами различные организованные работы. Наблюдающие и руководители составляются из стариков обоего пола, т. к. старость наиболее симпатизирует молодому возрасту. Детям дают полную свободу в различном применении их молодых сил. Инстинкт подражания так сильно развит у ребенка, что достаточно, чтобы пробудить их любовь к труду, дать им миниатюрный набор инструментов или отвести клочек сада: они не-

---

[1]) „Code de la communauté", стр. 139.
[2]) Ibid., стр. 141.

медленно сделают из этого соответствующее употребление. При чем они не будут ничего разрушать и ломать, так как движимые соревнованием к успехам детей более старшего возраста, которые уже делают полезную работу, младшие дети будут стараться приложить все свое умение к выполнению своих миниатюрных работ.

Когда дети подрастают, они участвуют в работах, производимых взрослыми: в садах, на полях, на кухне и проч., где они производят легкие работы.

Профессиональное воспитание дети получают следующим образом: они разбиваются на группы, соответственно отдельным процессам труда. Им дается полная свобода в выборе работы; их нельзя заставлять что-нибудь делать, ими можно только руководить. При чем, так как детство делится на несколько ступеней, то начинают с самой легкой и простой работы, чтобы потом перейти к более сложной. Обучение отдельным процессам не требует много времени: таким образом „каждый ученик сможет охватить большое количество функций и быстро пройти последовательно через много групп. Ученики будут друг с другом в „беспрерывном и активном соревновании“, так как каждый захочет перейти в более высокую группу. Антагонизма между учениками не будет, ибо сегодняшние соперники могут завтра работать в одной и той же группе.

„Конкуренция превратится в соревнование: соперничество, вместо того, чтобы существовать между людьми, будет только возникать в промышленности не в форме, конечно, ненависти, а в форме развития, гармонии, прогресса“ [1]).

В коммуне Дезами „труд и наслаждение—одно“. Работы всегда пропорциональны силам детей: они не чувствуют ни тяжести ее, ни усталости. Работая группами и короткими сеансами, дети не чувствуют скуки и отвращения к труду. Наоборот, „побуждаемые всегда примерами, устремленными на них взорами, ожиданием испытания, желанием пройти более высокое деление, они будут полны пыла и рвения. Они будут обладать еще более могущественными двигателями: расположением к ним всего, что их окружает, желанием ответить тем же, братской любовью, энтузиазмом“ [2]).

Общие знания ребенок получает от руководителей-профессоров Но профессора не будут, как при современном строе, полными рутины, скучными и грубыми начальниками. Наоборот, это будут скромные ученые, „истинные учителя детских игр“. Это не будет привилегированная корпорация, какая-либо каста. Это просто люди, обладающие знаниями, которые имеют призвание эти знания сообщать другим [3]). Вообще, все граждане в большей или меньшей степени профессора.

Ученые профессора не просто чистые теоретики, но в то же время и практики в промышленности, люди искусства и ремесла, почти все занимаются земледельческими работами. Так как теория соединена с практикой и без нее не представляет никакой ценности в коммуне, то профессора обыкновенно демонстрируют свой предмет работой в мастерской или на поле [4])...

1) „Code de la communauté“, стр. 148.

2) Ibid., стр. 150.

3) Ibid., стр. 151.

4) Вот сформулированные самим Дезами „законы, относящиеся к воспитанию“: 1) Воспитание будет общественным, равным, сериальным, индустриальным и земледельческим. 2) Каждая коммуна будет иметь для каждого пола специальное помещение, разделенное на столько делений, сколько имеется различных возрастов. Каждое из этих помещений будет соответствовать наиболее желательным условиям здоровья, удобства, приятности

Таковы основные идеи, легшие в основу воспитания в коммуне Дезами. Это углубленные и развитые взгляды французских материалистов, из которых черпали свои мысли все утописты, начиная с Сен-Симона и кончая Кабе. Но, несмотря на влияние отсталых ремесленных отношений в области профессионального обучения, заметных у Дезами, вся система воспитания представляет даже для нас, современников, глубокий интерес. Недаром Маркс называл Дезами представителем „реального гуманизма“.

VII.

Не только в области воспитания Дезами является наиболее передовым из утопистов, но и в отношении взглядов на брак, семью и религию Дезами идет значительно дальше своих современников. Вот как мыслит себе он отношения между полами в коммуне: 1) Взаимная любовь, интимная симпатия, родство душ двух существ образуют и узаконяют их соединения. 2) Между обоими полами существует полнейшее равенство. 3) Никакая другая связь, кроме **взаимной** любви, не может соединить друг с другом мужчину и женщину. 4) Ничто не мешает разошедшимся и любящим друг друга соединиться вновь и столь же часто, сколько они чувствуют друг к другу влечения. 5) Коммуна образует только одну и единую семью, одно и единое хозяйство. Она печется о всех своих членах с одинаковой и непрерывной заботливостью [1]).

Указывая, что современный строй калечит чистое чувство любви, что неравенство и нищета создают проституцию в низах, разврат в высших классах населения, Дезами с презрением отвергает обвинения, которые распространяла буржуазия, будто коммунисты проповедуют смешение полов. Он энергично нападает на Кабе, который в своем „Путешествии в Икарию“ сохранил буржуазную семью со всеми ее атрибутами. Кабе, идеализируя буржуазные семейные отношения, утверждает, что супруги в Икарии чувствуют друг к другу и детям нежную любовь, так же, как и дети к ним; но в то же время глава этой идеальной семьи не покидает своей супруги, следит за каждым ее шагом, чтобы она не поддалась „соблазнам“.

Дезами клеймит это лицемерие. „Кабе,—говорит он,—не принимает идей Платона на том основании, что наше воспитание, наши привычки, наши **предрассудки** отвергают эту чуждую нам идею. Но разве истина не выше предрассудков? Разве автор „Путешествия в Икарию“ не замечает всей аномалии подобной ссылки? Не стоит ли такое рассуждение в противоречии и с нашей революционной философией“ [2]).

Для Кабе, который боялся одного слова—„революция“, весьма характерны его уступки предрассудкам буржуазии. Надо было обладать большим мужеством, чтобы открыто выступить с проповедью свобод-

строч 3) Тремя главными принципами воспитания являются: 1) сила и ловкость тела, 2) развитие духа, 3) доброта и энергия сердца. 4) Для облегчения изучения ремесла и наук каждая школа будет разделена на многочисленные классы или серии. 5) Так же, как и к взрослым, по отношению к детям не может быть никогда применено принуждение. Чтобы возбудить в них любовь к господству коммунистического режима, достаточно той привлекательности, которую само по себе доставляют эгалитарное обучение и воспитание. 6) Преподавание будет энциклопедическим и в то же время теоретическим и практическим. 7) Будет предоставлена полная свобода проникновению человеческого духа в спекулятивные и опытные науки, объектом которых являются открытие тайн природы и совершенствование изящных и полезных искусств (См. стр. 274).

[1]) „Code de la communauté“, стр. 275.

[2]) Ibid., стр. 131.

ной любви перед лицом клевещущей буржуазии. Ведь из этого буржуазия делала один из самых страшных жупелов, которыми она пугала всех добропорядочных мелких буржуа, крестьянство и даже рабочих.

Дезами твердо стоит на своем, делая, впрочем, одну маленькую „уступку". „Принципы эти,—говорит он,—могут быть полностью проведены только к тому времени, когда установится подлинный коммунистический строй. Для переходного времени будут установлены другие законы" [1]).

И, резюмируя свои рассуждения о браке, он восклицает: „Довольно индивидуального хозяйства! Довольно домашнего воспитания! Довольно семейственности! Довольно супружеского владычества! Свобода брака! Полное равенство между обоими полами! Свободный развод!" [2]).

Во взглядах на религию, как мы уже отмечали, Дезами идет дальше всех современников: он отвергает всяких богов, как земных, так и небесных. „Счастье,—здесь, на земле, среди вещей, которые вас окружают",—говорит он в „Almanach de la communauté" [3]);—мы пришли вам указать средства реализовать это счастье. Подумайте, братья, здесь, на земле, в этой жизни надо искать счастье; так как,—воскликнем громко,—**вне земли его вовсе нет!**" [3]).

Об отношении к духовенству мы уже говорили. Вот слова Дезами: „Духовенство должно быть полностью и радикально уничтожено. Если высчитать расходы, которых стоит сейчас не только личный состав, но и материальное содержание церквей и храмов, украшение, одеяние, ремонт и пр., мы увидим, какую огромную экономию даст нам это уничтожение, которое кроме того совершенно совпадает со здравым смыслом философии. Коммунизм — слишком здоровая и позитивная религия, чтобы иметь нужду в передаче морали на хранение какой-либо касте" [4]).

Дезами, действительно, полный и последовательный атеист...

Из этих основных взглядов проистекают также и политические идеи Дезами. В будущем строе будет царить полное и настоящее народовластие. Проект или предложение может стать законом только в том случае, если оно будет выражением общего мнения народа. Право участия в политических делах имеют все граждане, независимо от пола, достигшие соответствующего возраста.

Дезами идет значительно дальше Кабе, который уравнивает женщин только в отношении гражданского и семейного права, но который совершенно умалчивает об участии женщин в политической жизни, считая их неучастие как бы подразумевающимся.

Законодательные функции в каждой коммуне Дезами передает народному собранию данной коммуны. Отношениями между национальными коммунами ведает национальное собрание. Наконец, для объединения всех коммун периодически созывается всечеловеческий конгресс. В будущем обществе все дела пойдут сами собою, „потому что все законы, все социальные отношения будут истинным выражением естественных законов" [5]).

Политические народные собрания „будут одновременно и парламентами и институтами, академиями, школами и проч." [6]).

---

1) Ibid., стр. 131.
2) „Almanach", стр. 14—15.
3) „Almanach de la communauté", стр. 14—15.
4) „Code de la communauté", стр. 70—71.
5) Ibid., стр. 237.
6) Ibid., стр. 255.

Будущая демократия будет подлинной демократией. Если бы при современном строе все население получило избирательные права, демократии не наступило бы, так как остается неравенство имуществ, а это неравенство означает фактически господство буржуазии.

Но „будущая демократия, основанная на труде, всеобщем изобилии, распространении просвещения и общественном воспитании, перестанет быть только беспокойным меньшинством, тяготеющим к рабству и силе... она несет в своем лоне трех дев, которые неизвестны миру: свободу, равенство и всемирное братство“ [1]).

VIII.

Наибольший интерес представляют для нас взгляды Дезами, относящиеся к так называемому переходному строю, – от капиталистического к коммунистическому. Как мыслит себе этот переход Дезами? Мирными средствами или путем восстания—революцией? Какова будет организация власти в переходный период? Кто должен взять власть и каково должно быть отношение власти к господствующим классам?

Все эти вопросы стояли перед каждым утопистом, строящим свою систему. И как ни разнились друг от друга Сен-Симон, Фурье, их ученики и последователи, Луи-Блан, Кабе и др.—одна яркая черта их объединяла: отрицание насилия, вера в добрые чувства буржуазии, которая, убедившись в правоте новых начал, сама откажется от своих привилегий.

Известна фраза Кабе: „Если бы я держал революцию в своей руке, я оставил бы ее закрытой, даже если бы мне пришлось умереть в изгнании“. Но тогда, как же перейти к коммунизму? Очень просто: разъяснять человечеству всю пользу и преимущество нового строя по сравнению с капиталистическим. По существу, это старая мечта Сен-Симона о том, что избегнуть революции можно только единственным средством—устной и печатной пропагандой. В сущности той же идеи мирного перехода к новому строю придерживались и Консидеран, и Прудон, и Луи-Блан.

Чем объяснить эти мирные настроения? По мнению Плеханова, мирное настроение этих идеологов являлось психологической реакцией против революционных увлечений 1793 года. В своем огромном большинстве французские социалисты-утописты приходили в ужас при мысли о таком обострении взаимной борьбы интересов, каким ознаменовался этот, всем тогда хорошо памятный, год“ [2]).

Действительно, если принять во внимание, что рабочий класс ничего не получил не только от революции 1793-го года (вспомним знаменитый закон Ле-Шапелье, просуществовавший во Франции до 1864 года), но и от революции 1830-го года, это разочарование в необходимости революционной борьбы станет понятным. Вот почему Фурье, Консидеран, Кабе, Прудон и проч. стремятся согласовать интересы всех классов общества: дать возможность и богатым получить свою довольно львиную долю в распределении благ.

---

[1]) В отношении борьбы за всеобщее избирательное право, ныне ставшее реакционным лозунгом, но сыгравшее огромную революционную роль в развитии международного рабочего движения эпохи II Интернационала, Дезами разделяет взгляды большинства современников на вредность этой чисто политической борьбы для пролетариата. У Леру, Видаля, Пеккера, Консидерана, Кабе и др. этот взгляд тесно связан и вытекает из признания ими необходимости классового примирения. Дальше мы увидим, что Д. совсем не сторонник сотрудничества классов. Если же он все-таки заявляет себя „аполитичным“,—то это дань современности, увлечение социальной реформой прежде всего—остаток того догматизма, который являлся плодом недостаточного понимания законов общественного развития.

[2]) Г. В. Плеханов, „Осн. научн. соц.-ма“, ст. „Фр. утоп. соц.“, стр. 169.

При том эта вера в мирное разрешение социального вопроса есть логическое следствие взгляда, что мнение правит миром. Нужно только изменить мнение людей, нужно, чтобы люди, и в первую голову, имущие классы, поняли, что нынешний строй несправедлив, что он есть уклонение от „естественных законов"—и коммунизм сам собой наступит.

Дезами теоретически все еще стоит на той же точке зрения: та же антиномия, что мнения создаются средой и, наоборот, среда создается мнением [1]).—плод механического представления о мире и общественных явлениях. „Мы,—говорит Дезами,—скрупулезно изучили и взвесили элементы современного общества; мы рассмотрели все пороки, которые приносят несчастья человеческому роду,—и результатом этого долгого изучения, этого строгого экзамена является для нас уверенность, что система общности станет действительной тотчас же, **лишь только ее справедливость и превосходство будут признаны общественным мнением**" [2]).

Тем не менее антиномия, теоретически не осознанная Дезами, уже бросалась в глаза, классовые противоречия были обнажены уже настолько, что, несмотря на свое теоретическое единомыслие с современниками, Дезами в своей проповеди, в своей практической деятельности переходил далеко за рамки мирной борьбы, исповедываемой всеми реформаторами в его время.

Он уже фактически не верит и не надеется, что господствующие классы поймут и согласятся со справедливостью нового строя [3]).

Вот что говорится в „Appel aux travailleurs", напечатанном в его „Almanach'e": „Рабочие, то, что мы пришли сделать, это вовсе не призыв к оружию. Мы вас не приглашаем **бунтовать, конспирировать, приготовлять оружие**; совсем не об этом идет речь. Как бы мы ни ненавидели власть, которая нами управляет, мы все же не зовем вас свергнуть ее при помощи тайных заговоров, которые оканчиваются обыкновенно только поддержкой деяний развращенных министров. Но менее всего мы вам пришли проповедывать доктрину **покорности, самоотрицания, самопожертвования**. Мы не принадлежим к числу тех, которые надеются на счастье в небесах" [4]). Анализируя затем причины слабости пролетариата, автор „Обращения" приходит к следующему выводу: „Причины вашей общей болезни исходят прежде всего из того, что вы во все времена исключались из всякого участия в управлении общественными делами, а затем из вашего незнания общественных принципов" [5]). Как же лечить эту болезнь?—„Изучать общественную организацию, знать свои права, свои обязанности, затем принять участие, принадлежащее вам, в администрации и управлении всеми делами" [5]).

Это очень мало похоже на благочестивые размышления утопистов о согласовании классовых интересов. Здесь нет еще ясной и отчетливой формулировки задач, стоящих перед рабочим классом, подчеркивается даже, что „это—не призыв к оружию", но в то же время совершенно категорически отрицается необходимость смирения и подчинения.

---

1) См. об этой антиномии цит. ст. **Плеханова** „О Гольбахе", стр. 38 и д.

2) Курсив наш—см. „Almanach de la communauté", стр. X—XI.

3) Состояние источников в Москве не дало нам возможности ознакомиться с газетами, которые издавал Дезами. Поэтому изложение его взглядов на политич. борьбу, представляющая для нас наибольший интерес, нам придется делать по неоднократно цитированным работам Дезами: „Code" и „Almanach de la communauté".

4) „Almanach de la communauté", стр. 15

5) Ibid , стр. 16.

Еще дальше идет Дезами в своей статье „Маккиавелизм и безнравственность“, напечатанной в том же „Almanach'e“ [1]) „Когда аристократия,—говорит он,—не осмеливается отрицать принципа народных реформ, она имеет обыкновение противоставлять указаниям эксплоатируемых рассуждения такого рода:—народ не созрел для равенства, прежде чем создать для него благополучное положение, необходимо его просветить и сделать нравственнее; вот все, что можно требовать сегодня от самых мудрых законодателей...—Лицемерный софизм! Разве привилегированные цензовики имеют меньшую необходимость стать нравственнее, чем народ?—Порочный круг; так как, чтобы просветиться и сделаться нравственными, господа привилегированные, надо прежде всего реформировать ваши законы монополии и цензуры, обскурантизма и подкупа. Но мы не замечаем в вас никакой бодрости пойти по этому пути. А если мы озаботимся спросить историю, то мы увидим напротив, что владыки народа основали крепость своей власти на невежестве и деморализации на одных масс“.

Итак, „господа привилегированные“, „владыки народа“, т.-е. буржуазия, не способны вступить на путь реформ. Это понял Дезами, и это значительный шаг вперед, по сравнению с остальными утопистами, надеявшимися на добрую волю господствующего класса. Это—ориентация на классовую борьбу, а не ее отрицание. Действительно, Дезами возрождает, вслед за Буонаротти, бабувистские идеи, революционные идеи 1793-го года. Он не только примыкает к Бланки с его мыслью о революционной диктатуре, он представляет себе установление этой диктатуры как выдвинутой массами, а не родившейся из оторванных от масс заговорщических организаций.

IX.

Идея революционной диктатуры, выдвинутая Бабефом, была возрождена в 1830-х годах Буонаротти, одним из участников „заговора равных“, возвратившимся из изгнания и начавшим проповедь революционного восстания против существующего строя. Задавленный и забитый пролетариат мало прислушивался к этой проповеди: заговорщический характер революционных, тайных обществ, которые тогда организовывались, привлекал к себе только отдельных представителей рабочего класса, больше всего питаясь мелкой буржуазией и ее представителями—интеллигентской молодежью.

Бланки, Кабе, Дезами подверглись воздействию бабувистской проповеди: все вместе принимали участие в тайных обществах. Но в то время как Бланки, развивая дальше идею бабувизма, пришел к учению о свержении существующего режима силою заговорщических групп, а Кабе перешел на легальную почву мирного коммунизма, Дезами пытался обратиться к пролетарским массам.

Идея заговора, как мы видели, Дезами отвергается. Отмежевываясь от буржуазии, Дезами пытается противопоставить общественному движению республиканцев-буржуа такое же движение пролетариата, со своими целями и лозунгами. Отсюда его банкетная проповедь, его работа в обществе „Les travailleurs égalitaires“.

Он довольно тонко разбирается в причинах неудач, постигших пролетариат в прежние революции. „Прежние революции,—говорится в том же „A'manach'e“,—приносили пользу только некоторым классам. Больше всех от революции 1789-го года получила буржуазия. Рабочие были только „пассивным орудием“, с помощью которого буржуазия завое-

[1]) Ibid., стр. 164—165.

вала себе права. Июльская революция 1830-го года была „точным повторением того, что произошло в 1789 году“ [1]). Почему? Потому, что буржуазия была деятельной и знала, за что она борется, а рабочие — наоборот. Буржуазия была „активным, ловким классом, который подготовлял и развивал движение“, а рабочий класс „стоял в стороне, со своим невежеством, легковерностью, неограниченным доверием, великодушно жертвуя своей жизнью и служа пассивным орудием первому“ [2]).

Отсюда — призыв к рабочим: „Отныне перестаньте обольщаться, откажитесь от иллюзий некоторых легких изменений, неполной реформы; только полная и радикальная реформа, полная реорганизация необходима обществу, чтобы окончательно уничтожить бесконечные несчастия, обременяющие род человеческий [3]).

Это — призыв революционера это ясные и твердые слова бойца, а не мирного реформатора, надеющегося на классовое сотрудничество. Если мы не слышим призыва к оружию, то это отнюдь не означает, что Дезами был против вооруженных способов борьбы. Он считал революционное насилие одним из самых могущественных орудий пролетариата в его борьбе за коммунизм. Это становится ясным, когда мы знакомимся с мерами, выдвинутыми им на время переходного периода от старого строя к новому. Критикуя реформы Кабе и в особенности отмечая пиэтет, высказываемый Кабе „ко всем религиозным культам и приобретенным правам“, Дезами заявляет: „Вашими полумерами вы не сумеете никого удовлетворить. Поскольку вы не уничтожаете последних следов привилегии, народ всегда будет опасаться их возрождения и восстановления... Что касается аристократии, которую вы собираетесь уничтожить постепенно, а не одним ударом, то это вам меньше всего удастся, наоборот, беспрерывные и многократные раны, которые вы принуждены будете ей причинять, будут ежедневно возбуждать ее неудовольствие и гнев“ [4]). Аристократия не примирится со своим положением Опять будут заговоры, измена, подвохи, клевета и проч. Мира не будет в обществе, того мира между всеми классами, о котором больше всего заботился Кабе.

Поэтому Дезами против таких полумер. Он за беспощадную расправу с врагами пролетариата, за революционную диктатуру.

„Единственное средство уничтожить все эти опасности — не есть ли лишение врагов возрождения их единственных средств влияния, единственного нерва тирании: собственности и денег? Говорят, — продолжает Дезами, — о человечности, о великодушии. Что сказали бы о человеке, который, после того, как он обезоружил бешеного и отчаянного врага, тотчас же вложил бы ему в руки смертоносное оружие? Вместо того, чтобы провозгласить его гуманным и великодушным, не назвали ли бы его фанфароном и сумасшедшим?“ [5]).

Итак, захватив власть, следует прежде всего выбить самое опасное оружие из рук врага — лишить его экономической базы, экспроприировать экспроприаторов, а затем немедленно провести ряд мероприятий, направленных к улучшению положения низших классов населения. Эти мероприятия: сосредоточить и централизовать в магазинах все богатства и всю продукцию страны; перекинуть их во все пункты страны, справедливо и по-братски их распределяя [6]).

---

[1]) „Almanach de la commun.“, стр. 18.
[2]) Ibid., стр. 19.
[3]) Ibid., стр. 19.
[4]) „Code de la communauté“, стр. 29.
[5]) Ibid., стр. 291.
[6]) Ibid., стр. 283.

Никакая эпоха—по мнению Дезами—не была так готова к этим мерам, как нынешняя. Магазины во всей Европе полны товарами, которых хватит на десятки лет, а, между тем, больше половины рода человеческого ходит в лохмотьях.

Но этого мало. Старая мера, предложенная еще Бабефом, проводимая затем Коммуной 1871-го года, проведенная во время нашей революции, выдвигается также и Дезами. Это—переселение бедняков из подвалов в дома богатых („этих палат—замечает Дезами—хватит на всех") [1]. И установление общественного питания.

Если Комитет Общественного Спасения 1793-го года потерпел поражение, то только потому, что он стоял на почве частной собственности и не принимал действительных революционных мер для облегчения положения низших классов населения. „Если бы правительство 1793 года осмелилось свободно водрузить знамя коммунизма, организовать везде общественные мастерские, установить общественное питание, как инстинктивно делал народ в течение нескольких месяцев, революция имела бы, без всякого сомнения, совершенно другой успех" [2]).

Указывая на Шоммета и Клотца, которые, по его мнению, „уже имели некоторые коммунистические идеи, еще смутные и не отчетливые", Дезами восклицает: о, если бы они поняли, что „коммунизм—средство разрушить, гильотинировать одним ударом не людей, не братьев но, напротив, все пороки, всю мерзость, всякую безнравственность, всякую измену" [3])..

Напрасно нас пугают, что революционное правительство будет изолировано после переворота и никто его не будет поддерживать. „Я предполагаю, что на завтра после социальной революции новое правительство во всех общественных зданиях устроит общие столовые; я предполагаю, что оно примет аналогичные меры по отношению к жилищу, мебели, одежде и проч.,—можно ли думать, что при виде таких ощутительных и великолепных последствий найдется много людей, много рабочих, мелких коммерсантов, мелких земледельцев, которые сумеют еще кричать: утопия, или сомневаться в возможности реализации нашей программы? Можно ли думать, что эта бесчисленная масса несчастных париев, которые, в общем, составляют $^9/_{10}$ населения, не будет приветствовать с энтузиазмом коммунистический строй?" [4]).

Итак, Дезами совершенно недвусмысленно проповедует революционную диктатуру. Его беспощадная расправа с господствующими классами, его меры по отношению к низшим классам населения суть подлинные революционные мероприятия, которые, действительно, могут обеспечить победу. Это не реформистские полумеры Кабе, не идеалистические ламентации фурьеристов, не филантропические мечты Сен-Симона и его школы. Это—настоящий суровый, революционный язык.

Но кто же произведет этот переворот? Кого понимает Дезами под пролетариатом?—А что он ориентируется на пролетариат, что он ему служит—ясно без дальних слов из всего предыдущего. Надо сказать, что в этом отношении у Дезами нет настоящей теоретической ясности, как, впрочем, и в других вопросах, уже освещенных нами выше.

„Мы называем пролетариями,—говорит Дезами,—всех граждан,

---

1) „Code de la communauté", стр. 284.
2) Ibid., стр. 285.
3) Ibid., стр. 285.
4) Ibid., стр. 291.

которые не имеют доходов, или же тех, которым этих доходов не хватает для обеспечения средств существования" [1]). Поэтому и крестьянин, который имеет одну хижину, или владеет одним гектаром земли, по мнению Дезами, также является пролетарием, так как этого не достаточно для того, чтобы прокормиться.

Дезами явно уступает своим определением четкости определения Рейно, с которым он полемизирует и который понимает под пролетариатом „людей, производящих все богатства нации, не имея никакого другого дохода, кроме платы за свой труд". Впрочем, и Рейно причисляет к пролетариям „деревенских крестьян" [2]).

Эта теоретическая беспомощность—следствие неразвитых капиталистических отношений: Париж был в то время городом, в котором преобладал ремесленный пролетариат. Поэтому Дезами, очевидно, ориентируется не столько на рабочий класс в нашем смысле этого слова, сколько на городскую и сельскую бедноту. Зато он уже великолепно понимает, что движущим элементом в революции может быть прежде всего **г о р о д с к о й** пролетариат, житель „столиц, которые узаконяют неравенство, в которых куются элементы революции, столиц, которые столько раз были орудиями тирании, но которые становились иногда очагами свободы" [3]).

X.

В одном из писем к Руге 25-тилетний Маркс писал: „До сих пор философы имели в своем портфеле разрешение всех загадок, и глупому, непосвященному миру оставалось только раскрыть рот, чтобы ловить жареных рябчиков абсолютной науки... Поэтому я не желаю, чтобы мы выставили какое нибудь догматическое знамя. Наоборот, мы должны помогать догматикам понять смысл их собственных положений. К догматическим абстракциям относится в особенности **к о м м у н и з м** (подчеркнуто у Маркса. *Г. 3*), при чем я имею в виду не какой-нибудь воображаемый и возможный коммунизм, а тот действительно существующий коммунизм, который проповедуют Кабе, Дезами, Вейтлинг и проч. Этот коммунизм есть только своеобразное выражение гуманистического принципа, в своем роде столь же ограниченное, как его противоположность—система частной собственности" [4]).

Маркс не был еще тогда коммунистом—это был для него период, как выражается Рязанов, перехода от „реального гуманизма" к научному коммунизму [5]). И, однако, Маркс прав, когда он называет догматические системы коммунизма, даже систему Дезами, „в своем роде ограниченными".

Громадная заслуга Маркса уже в то время состояла в том, что он сумел преодолеть этот догматизм и поставил себе пока ясную и отчетливую цель: „беспощадную критику существующего строя" [6]).

Ибо, несмотря на все свои достоинства, Дезами все же не мог выпрыгнуть из утопической оболочки. И прежде всего потому, что он попытался построить свою схему на основе уже устарелых принципов философии XVIII века. Не преодолев основного недостатка

---

1) „Almanach de la communauté", стр. 79.

2) См. по этому поводу **П л е х а н о в а**, цит. ст. о „Фр. утоп. соц.", стр. 168.

3) „Code de la communauté", стр. 283.

4) **М а р к с и Э н г е л ь с**, Соч., т. I, под ред. Рязанова,—„Из переп. 1843 г.", стр. 361.

5) Ibid. См. предисловие Рязанова, стр. XVIII.

6) Ibid., стр. 361.

этих боевых представителей воинствующего материализма эпохи буржуазной революции—его механичности, отсутствия историзма,—Дезами не сумел окончательно порвать с догматическим хламом современников.

Но из всех утопистов Дезами выделяется целым рядом выгодных сторон, которые делают его систему „более научной", чем системы его современников и предшественников. Это—прежде всего, дифференцированное понимание классовой борьбы, правильная постановка вопроса о трудовом принципе, материализм, последовательный атеизм, интернационализм и безусловная революционность. Поставить в эпоху, когда все передовые люди, считавшие себя идеологами пролетариата, выставляли основным стержнем своей программы мирное сожительство классов, поставить в такую эпоху ребром вопрос о революционной диктатуре трудовых масс, окончательно отмежеваться от буржуазии и выставить для пролетариата особые цели в борьбе за будущее—это был огромный шаг вперед; в этом большая заслуга Дезами.

Если пролетариат в массе своей до революции приветствовал расплывчатые и „поверхностные", по выражению Маркса, идеи Кабе, если „Путешествие в Икарию" стало чуть ли не самой популярной книгой среди рабочих масс, если в революцию 1848 года пролетариат, увлекшись утопической идеей „права на труд", пошел за Луи Бланом,—если за Дезами шли незначительные группы рабочих, то в этом меньше всего вина Дезами.

Причина лежит глубже—в общей отсталости французского пролетариата,—в его слабой классовой сознательности, слабой организованности. И в той же отсталости пролетариата надо искать причину того, что французский утопический социализм разбился на множество ручейков, создал множество систем. Не оторвавшись еще от пуповины деревни, тесно связанный с мелко-буржуазным классом, наполовину ремесленник, наполовину индустриальный рабочий—французский пролетарий метался от „христианского социализма" пламенного Ламенне с его „Письмами верующего" до унитарного коммунизма Дезами. Все заявляли на него (пролетариат) права, все хотели руководить им.

В этом желании руководить пролетариатом больше всего имел прав Теодор Дезами и его группа. Среди социалистов до Маркса он занимает одно из почетнейших мест. Не потому, что он окончательно стряхнул с себя ветхого утопического Адама—этого, к сожалению, не случилось. Но потому, что он многое, чего не дано было его современникам, правильнее понял, что он расстался со многими наивными представлениями, что он умел держать знамя революции, что он был врагом реформизма...

Дезами забыт незаслуженно. Нужно не только помнить о том, что он существовал, нужно знать его для того, чтобы понять дальнейшие судьбы французского социализма, который прошел не только через Бабефа, Прудона, Бланки, но в который вложил свой значительный вклад—Теодор Дезами.

Г. Зайдель.

Элементы диалектики и экономического материализма в воззрениях Шарля Фурье.

1. Диалектика у Фурье.—Экономические основы социальной эволюции.

Фридрих Энгельс, как известно, называет Шарля Фурье замечательным диалектиком, ставя его в этом отношении на одну доску с Гегелем. Действительно, эпитет „диалектик", приложимый в известной степени ко всем трем великим утопистам, более, чем двумя другими, заслужен автором „Теории четырех движений". Фурье стоит на почве диалектики не только в своей критике строя цивилизации, но и при построении своей утопии, где главной двигательной силой является противоречие.

Фурье мыслит диалектически, когда утверждает, что наши страсти, ведущие к розни и бедствиям в строе цивилизации или индивидуализма, приведут к гармонии и счастью в сосьетарном строе, т.-е. в строе ассоциации. Точно также он применяет этот метод к вопросам любви и брака, утверждая, что в современном строе любовь ведет к поощрению праздности, расточительности, нарушению правильного хода индустриального труда и многочисленным личным страданиям и бедствиям, между тем как в сосьетарном строе она будет стимулировать промышленный труд, содействуя созданию и приобретению богатств, и явится для личности обильным источником наслаждения и счастья. Подобного рода явления Фурье называет dualité d'essor (дословно „двойственность полета"). Он—диалектик, когда констатирует, что цивилизация приводится в движение противоположными крайностями, между которыми она колеблется, и находит в этом строе duplicité d'action, т.-е. двойственность во всех основных его проявлениях. И вполне диалектически он мыслит, когда в начало всемирного социального развития кладет строй „упрощенных серий", чтобы через ряд периодов, основанных на противоположном принципе (индивидуализма), притти вновь к строю „усовершенствованных" серий, или когда он сравнивает цивилизацию, дошедшую до апогея, с шелковичным червем, который, пресытившись, должен переменить свою сущность, т.-е. превратиться в куколку. Он, наконец, одним диалектическим штрихом очерчивает весь этот нелепый строй

насилия, двуличия и лжи, когда называет его „миром наизнанку“ (un monde à rebours), который он намерен вновь вывернуть на лицевую сторону.

Таких примеров применения нашим автором диалектического метода можно привести множество. Вооруженный этим методом, Фурье углубляется в анализ развития человеческого общества и современного строя цивилизации и, вскрывая этим скальпелем сущность капитализма, он предвосхищает ряд выводов, сделанных впоследствии в более ясной, законченной и категоричной форме творцами научного социализма.

Сначала мы остановимся на его анализе социальной эволюции. Легко убедиться, что Фурье в основу этой эволюции кладет экономический фактор, редко отступая от этого принципа и отступая для того, чтобы снова к нему вернуться [1]).

Фурье, как известно, всю социальную жизнь на земле—или, вернее говоря, всю вообще жизнь на земле—делит на четыре стадии неодинаковой продолжительности, которые он по аналогии с стадиями человеческой жизни, называет детством, юношеством, возмужалостью и старостью. Здесь мы рассмотрим только первую стадию, которую Фурье делит на 8 периодов. Вот таблица этих периодов, даваемая нашим автором в „Новом индустриальном и сосьетарном мире“ [2]).

Периоды, предшествовавшие индустрии.	— Хаотический без человека. 1. Первобытный, называемый Эдемом. 2. Дикость или инертность.
Индустрия раздробленная, ложная, отталкивающая.	3. Патриархат, мелкая индустрия. 4. Варварство, средняя индустрия. 5. Цивилизация, крупная индустрия.
Индустрия общественная, правильная, притягательная.	6. Гарантизм, полу ассоциация. 7. Социантизм, простая ассоциация. 8. Гарантизм, сложная ассоциация.

Уже из этой схемы мы видим, что Фурье связывает социальное развитие сначала с развитием промышленности, а затем—с развитием и усовершенствованием индустриальной ассоциации, кладя таким образом в основу социальной эволюции экономический и именно производственный фактор. К сожалению, Фурье нигде не дает более или менее полных и законченных характеристик периодов рассматриваемой стадии, которые можно составить только на основании отдельных отрывков и замечаний, разбросанных в различных местах его произведений [3]).

---

[1]) Известно, что Фурье еще в „Теории четырех движений“ выдвинул тезис, гласящий, что характер того или иного социального периода целиком определяется положением женщины и изменяется вместе с изменением этого положения. Как мы увидим дальше, наш автор очень часто отступает от этого тезиса в пользу экономического фактора.

[2]) „Nouveau Monde industriel et sociétaire“, 4-ое изд., 1870 г., стр. XI.

[3]) Наиболее полно он рассматривает этот вопрос в „Теории четырех движений“.

„Первый период или период смешанных серий,—говорит Фурье в „Теории 4-х движений“,—продолжавшийся не более 300 лет, был периодом первобытного счастья, называемый людьми Эдемом. Организованные в серии люди были счастливы потому, что могли свободно развивать свои страсти, которые тогда отличались большей силой, чем теперь. Люди тогда не имели ничего общего с той пастушеской простотой, которая существует только в писаниях поэтов... Люди были горды, чувственны, рабы своих фантазий; женщины и дети отличались такими же свойствами. Эти мнимые пороки были залогом всеобщего единодушия и вновь будут играть ту же роль в человеческом общежитии с того момента, как будут восстановлены серии, но в более усовершенствованном виде“.

Причинами перехода от первого периода ко второму (дикости) были: во-первых, увеличение населения, поведшее к бедности, так как первобытные серии не были знакомы с индустрией, которая одна только могла дать изобилие продуктов, необходимое для правильного функционирования механизма серий; во-вторых, размножение диких зверей, поведшее к изобретению смертоносных орудий и к убийствам и грабежам. В результате возникло разделение на отдельные семейные хозяйства (ménages incohérents), как следствие распада серий.

Отличительным признаком дикости является отсутствие индустрии, так как дикарь пользуется естественными благами природы; это приводит к свободе и беззаботности, положительной стороной этого строя; но он имеет также и отрицательные стороны. Первая отрицательная сторона или первое „противоречие“ этого строя, как выражается Фурье, заключается в несовместимости общественного строя дикарей, живущих ордами, с индустриальной деятельностью, что, во-первых, препятствует развитию всех сторон человеческой жизни и поднятию человека на должную высоту, и, во-вторых, делает благосостояние дикарей непрочным, подвергая их опасностям голода, повальных болезней, непрерывных военных столкновений с другими племенами и пр. Второе противоречие строя дикости заключается в том, что „женщины здесь не приняты во внимание“, т.-е. что они очень мало или совсем не пользуются естественными правами.

В патриархальный период возникает мелкая семейная индустрия, как ее определяет Фурье. Такова первая отличительная особенность этого периода; второй не менее важной чертой является порабощение женщины в патриархальном браке. „Относительно периода патриархата,—замечает Фурье,—существует такое же незнание, как и относительно первобытного состояния. Авраам и Яков, даже в том виде, как их нам рисует предание, отнюдь не были людьми добродетельными; это были маленькие тираны, насквозь проникнутые деспотизмом и несправедливостью, имевшие гаремы и рабов по обычаю варваров. Это были паши или тираны, в своих владениях предававшиеся всем злоупотреблениям. Что может быть более низкого и несправедливого, чем поступок Авраама, изгнавшего Агарь с ее сыном Измаилом в пустыню

на голодную гибель потому только, что он достаточно ею насладился и не хочет ее больше? Вот за что он осуждает молодую женщину и ее ребенка на верную смерть. Вот хваленая патриархальная добродетель во всем ее блеске! И нужно сказать, что все дела патриархов носят одинаково отвратительный характер. Однако философия стремится проповедывать и внушать нам патриархальные нравы".

Период варварства отличается от патриархата более сильным развитием индустрии, которая здесь достигает такой степени, что ее можно назвать средней в сравнении с крупной индустрией строя цивилизации. Порабощение женщины принимает более оформленный характер, чем в патриархальный период, становится одним из главных устоев всей жизни [1]).

Рассматривая ход мыслей Фурье в предыдущем изложении, мы видим следующее. Отсутствие индустрии в первом периоде эдемизма не давало возможности накопления богатств; вследствие этого первобытные серии при естественном развитии населения впали в бедность, не будучи поэтому в состоянии функционировать надлежащим образом, они распались на отдельные семьи. В период дикости положение женщины еще не было столь тяжелым, так как дикари пользовались естественными благами природы; но в периоды патриархата и варварства вместе с развитием мелкой и средней индустрии положение женщины все более и более ухудшалось. Таким образом, согласно указанному ходу мыслей, ухудшение в положении женщины явилось результатом развития индустрии и образования семьи.

Между тем в дальнейшем при объяснении перехода от патриархата и варварства к цивилизации, Фурье меняет местами причину и следствие. Констатируя тот несомненный факт, что в цивилизации правовое и общественное положение женщины изменяются к лучшему в сравнении с предыдущими периодами, он делает вывод, что для перехода от этих периодов к цивилизации необходима была такая промежуточная социальная форма, при которой произошли бы изменения к лучшему в положении женщины. Замечая, что дикари и варвары неохотно переходят к строю цивилизации, он полагает, что указанная перемена могла совершиться в какой-нибудь разновидности строя патриархата, к которой он относит „патриархат федеративный или сложный".

„Этот вид патриархата,— как уверяет Фурье,—образуется из смежных семейств, свободно объединившихся по соглашению, как, например, у татар. В этой промежуточной форме патриархата наблюдается стремление к улучшению положения главной супруги постепенным улучшением ее гражданских прав до дарования ей той полу-свободы, которой она наслаждается у нас. Эта мера создает выход из патриархального состояния в цивилизацию, так как циви-

[1]) Характеристику периодов 1-й стадии см. „Oeuvres complètes" de Charles Fourier, t. I, „Théorie de quatre mouvements", изд. 1841 г., стр. 77—100.

лизация не может быть порождена ни диким состоянием, ни варварством. Нет случая, чтобы дикий или варварский народ добровольно перенял нравы цивилизации; и американцам, несмотря на все употребляемые ими средства соблазна и все интриги, не удалось превратить ни одно дикое племя в цивилизованное состояние. Этот переход мог родиться по естественному ходу движения из сложного патриархата или из очень измененной формы варварства, каким было варварство древних восточных народов, которое во многих отношениях было связано с федеративным патриархатом" [1]).

Фурье, однако, недолго задерживается на подобном отступлении от своего основного объяснения социальной эволюции; он возвращается к нему самым категорическим образом в следующем утверждении. Период первый, второй и третий,—говорит он,—не допускают крупной индустрии (ne comportent pas la grande industrie) земледельческой и промышленной, которая зарождается только в четвертом периоде—варварстве. Если было возможно, чтобы крупная индустрия родилась в первом периоде (курсив наш. *А. А.*), человеческий род избег бы несчастья пройти через пять периодов бедствий и сразу из первого периода перешел бы в седьмой, т. е. из периода первобытных смешанных серий в период „черновых" (ébauchées) серий, составляющих переход к строю прогрессивных серий [2]).

Точно также Фурье остается целиком на экономической почве в следующем отрывке, где он затрагивает вопрос о способах перехода из 5-го периода в 6-ой.

Указав, что дикость и варварство страшатся каких-либо перемен, Фурье подчеркивает, что цивилизация, наоборот, стремится к усовершенствованиям. „Властители ежедневно вводят,—говорит он,—те или иные административные новшества; философия ежедневно предлагает новые системы политические и нравственные. Так цивилизация выбивается из сил на теоретическом и практическом поприще, чтобы перейти в 6-ой период, но не в состоянии этого достичь, потому что эта перемена, повторяю, связана с операциями домашне-хозяйственными [3]) и индустриальными (курсив наш. *А. А.*; parce que ce changement, je le répète, tient à des opérations domestiques et industriell s), а не с административными системами, которыми исключительно занимается философия, никогда не желавшая задуматься над обновлением домашне-хозяйственного и общественного строя" [4]).

---

[1]) Цит. соч., стр. 89.

[2]) Там же, стр. 98. В этом же отрывке наш автор, объясняя, почему жители других планет не подвергались бедствиям перехода от строя серий в состояние дикости, патриархата и т. д., говорит: они сохранили организацию серий и сохранят ее до конца своего существования, благодаря богатству естественных продуктов, которыми их снабдила природа с момента их создания.

[3]) Под словами „opératons domestiques", как видно из дальнейшего, Фурье подразумевает хозяйственные операции разрозненных семейных хозяйств (des ménages incohérents).

[4]) „Th. de quatre mouv.", стр. 100.—Аналогичную мысль еще более рельефно выражает Фурье в следующих словах:

Говоря о том же предмете, т.-е. о переходе из одного социального периода в другой, Фурье высказывает мысль, как бы заимствованную из произведений творцов научного социализма.

„Общество,—говорит он,—**может склониться к упадку под влиянием собственного социального прогресса** (курсив наш. *А. А.*; une société peut tomber en déclin par l'effet de ses progrès sociaux). Если дикари Сандвичевых островов и Огио усвоят некоторые отрасли земледелия и мануфактурной промышленности, то результатом этого будет усовершенствование их социального строя, но в то же время это и удалит их от дикого состояния, одной из главных характерных особенностей которого является отвращение к земледелию. Таким образом социальный строй Сандвичевых островов и Огио будет представлять собой период дикости в упадке, вызванном социальным усовершенствованием“ [1]).

Иначе говоря, в недрах рассматриваемого социального строя, благодаря развитию земледелия и мануфактуры, т.-е. благодаря экономическому прогрессу, разовьются элементы, которые приведут к гибели этого строя и превращению его в строй высшего типа.

Из сказанного видно, что Фурье, в согласии с идеей диалектичности социальной эволюции, понимал, что нет периодов чистых или типичных, что в каждой социальной форме заключаются черты предшествующего периода и последующего.

„Среди различных социальных периодов,—говорит он,—есть смешанные или ублюдочные (bâtards), которые заключают в себе черты нескольких периодов. К числу таких смешанных обществ принадлежит Россия, имеющая черты варварства и цивилизации. Китайский строй в этом отношении самый любопытный на всем земном шаре, потому что он заключает почти в равных пропорциях особенности патриархата, варварства и цивилизации... Невозможно почти найти строй совершенно **чистый** без примеси, т.-е. не имеющий каких-либо характерных особенностей, заимствованных у строя высшего или низшего“ [2]).

Цивилизация в современной фазе тоже смешанный строй. Она заключает в себе, кроме присущих ей собственных черт, еще черты усовершенствования, как, например, единство индустриальных и административных отношений, наблюдаемое в самых передовых государ-

---

„В течение 1-ой фазы социальное движение можно сравнить с человеком, который отступает перед глубоким рвом, чтобы лучше разбежаться и перескочить через него. Это я в своей таблице („Таблице хода социального движения“) обозначил словами: отступление назад, разбег и прыжок. Отступление, это—переход из 1-го счастливого периода в 4-ый самый несчастливый; но, благодаря этому отступлению, приобретается новая сила—**крупная земледельческая и мануфактурная промышленность**,—которая, расширясь в 5-ый, 6-ой и 7-ой периоды, т.-е. периоды разбега, даст, наконец, человеческому роду средства перескочить из хаоса в гармонию“ („Th. de quatre mouv.“, стр. 54).

[1]) Там же, стр. 133—134.

[2]) „Th. de quatre mouv.“, стр. 135—136.

ствах, как Франция или религиозную веротерпимость, однородность мер и весов [1]) и некоторые другие черты, которые, в сущности говоря, являются чертами уже последующего 6-го периода—периода полуассоциации. Таким образом в недрах цивилизации зарождаются элементы нового строя. Наблюдая эти явления,—говорит Фурье,—мы приходим „к забавному выводу, что то немногое хорошее, которое мы находим в цивилизации, обязано своим происхождением влияниям, враждебным цивилизации [2]), которые, все более и более развиваясь, приведут к гибели цивилизации.

2. Диалектика периода цивилизации и ее экономические основы.

Вышеочерченный метод Фурье применяет при рассмотрении самого важного, т.-е. последнего исторического периода—периода цивилизации.

Период цивилизации, как и все прочие периоды, Фурье делит на четыре фазы, которым, по аналогии с возрастами человека, дает названия детства, юности, или роста, возмужалости, или убыли, и дряхлости Кроме четырех фаз, период имеет в середине своего развития апогей или полноту; весь период и каждая фаза имеют свои отличительные особенности, из коих самые важные зародыш (или ядро) и стержень.

В согласии с указанными основами Фурье строит свою знаменитую „Прогрессивную таблицу хода развития периода цивилизации". Эта таблица достаточно известна, и мы ее не приводим. Кроме этой подробной таблицы в „теории всемирного единства" (ч. II) имеется следующая более сжатая таблица, где главные особенности периода цивилизации и каждой ее фазы выделены рельефнее.

Характерные черты периода и каждой фазы цивилизации.

Стержень периода.	Индивидуальная характерная особенность.	Эгоизм
	Общественная характерная особенность.	Двойственность действий.

[1]) Фурье считает характерными для цивилизации религиозную нетерпимость, которая существовала в Англии, и несогласие мер, весов, монетных систем, законов и обычаев, как в различных государствах Германии той эпохи (начала XIX в.), ибо подобный хаос, как он выражается, благоприятствует наилучшему функционированию механизма цивилизации, имеющей целью развитие обмана до высшей ступени".

[2]) Цит. соч., стр. 127.

Детство.

Входящее колебание.

1-я фаза. { Зародыш—Единобрачие или исключительный брак.
Стержень—Гражданские права супруги.

Рост.

2-я фаза. { Зародыш—Дворянский феодализм.
Стержень—Освобождение производительного класса.

Апогей или полнота. { Экспериментальная химия.
Искусство мореплавания.

Убыль.

Нисходящее колебание.

3-я фаза. { Зародыш—Меркантильный дух.
Стержень—Морская монополия.

Дряхлость.

4-я фаза. { Зародыш—Различные формы исключительного господства.
Стержень—Коммерческий феодализм.

Приведенная таблица, как можно легко убедиться при первом обозрении, отличается не только удобопонятностью (чего нельзя сказать относительно других социальных и экономических таблиц нашего автора), но обнаруживает также большую глубину в понимании рассматриваемого социального периода.

Таблица, приведенная в тексте, начинается с указания на стержень (pivot), т.-е. самые характерные особенности цивилизации. Фурье констатирует, что такими характерными особенностями являются: в действиях индивида—эгоизм, в действиях общества—двойственность, вернее двухсторонность, т.-е. что каждое проявление общественной жизни имеет свою положительную и отрицательную сторону. Нельзя отказать Фурье в том, что отмеченные характерные черты взяты им из действительности. В таблице далее указываются зародыши и стержни каждой фазы и апогей или высшая точка всего периода. Фурье сам дает объяснения своей схеме. Хотя здесь, как и всюду, в его объяснениях мало систематичности, но мы обратимся к его собственным словам.

„Обе фазы в о с х о д я щ е г о к о л е б а н и я (составляющие первую половину периода цивилизации),—объясняет Фурье,—ведут к постепенному уменьшению личного или прямого рабства, между тем как обе фазы н и с х о д я щ е г о к о л е б а н и я (2-я половина периода цивилизации) содействуют увеличению рабства косвенного или кол-

лективного)". (Здесь Фурье подразумевает порабощение трудовых классов капиталом.)

„В эпоху апогея цивилизация принимает формы наименее подлые; я не говорю наиболее благородные, потому что цивилизация всегда неблагородна и в различных своих фазах отличается только оттенками эгоизма и двойственности, которые всегда являются господствующими чертами, составляя стержень механизма цивилизации. Точная химия и искусство мореплавания являются характерными признаками **апогея**, ибо на этих двух ветвях знания покоится совершенство индустрии и быстрота сообщения.

„С того момента, как период цивилизации снабжен этими двумя рычагами, он созрел для перехода в 6-й период, и всякое замедление с этим приносит ему вред, ведя к усвоению четырех (отрицательных) черт нисходящего колебания. В этом случае научные завоевания начинают приносить ему больше вреда, чем пользы. Партию, стремящуюся держать народ в невежестве, нельзя обвинить в политической недальновидности. Я далеко не разделяю подобных взглядов, но они имеют и свою здравую сторону, ибо не подлежит сомнению, что наука становится опасной для цивилизованных с того момента, как они вступают в третью фазу. *Как только цивилизация получает обе характерные черты апогея, она становится зрелым плодом, который, не будучи сорван, должен начать портиться* (курсив наш. *А. А.*) [1]. Прогресс знания очень желателен для цивилизации, как полная зрелость необходима для плода; *но по достижении этой зрелости плод должен быть сорван для употребления* (курсив наш. *А. А.*).

„Какое же употребление можно сделать из цивилизации в лестнице социального движения? Приблизить ее к шестому периоду—гарантизму [2]. С того момента, как она созрела, она должна уйти от самой себя, найти надлежащий путь и перейти в период гарантизма. Если она будет медлить, то ее знания станут для нее вредным бременем; на нее будет навалено больше, чем она в состоянии поднять.

„Доказательство этого мы можем видеть в том, что искусство мореплавания, наилучший трофей человеческой индустрии, уже породило две характерные черты третьей фазы—меркантильный дух и островную монополию, а также другие бедствия, которым не будет места в 6-м периоде. Излишек наших знаний и нашего индустриального развития становится для нас вредным подобно тому, как самая здоровая пища приносит вред, если принять ее в чрезвычайном ко-

[1]) „Если общество слишком долго пребывает в одном периоде или одной фазе, оно начинает портиться, как застоявшаяся вода" („Nouv. Monde", стр. 418).

[2]) Фурье между цивилизацией и гармонией вводит переходную ступень или полуассоциацию; эта переходная ступень представляет собою соединение элементов периода цивилизации (индивидуальная работа, работа семьями) с принципами ассоциации, чему будет содействовать основание различного рода кооперативов (общинных контор, ферм-приютов, конкурирующих складов, сельских банков и пр.).

личестве. Точно также мы переступаем меру, оставаясь цивилизованными, когда мы снабжены основными рычагами для перехода в 6-й период. Достигши той ступени, которую я назвал в таблице апогеем цивилизации, мы может быть сравнены с шелковичным червем, который, пресытившись пищей, должен переменить свою сущность, т.-е. превратиться в куколку.

„Мы дошли до этой индустриальной зрелости в середине XVIII века; уже в тот момент мы обладали обеими хорошими чертами апогея; нам следовало без замедления выйти из цивилизации. Но у нас не хватило помощи гения, и наши знания стали приносить нам больше вреда, чем пользы; они стали зародышем социальных бурь и политической и нравственной порчи. Мы, таким образом, пережили целиком 3-ю фазу или упадок и быстрыми шагами идем к четвертой или дряхлости цивилизации“ [1]).

После общей характеристики всего периода цивилизации Фурье дает краткие характеристики каждой отдельной фазы, или, вернее, стержень каждой фазы.

Третья фаза,—говорит он,—развилась под влиянием коммерческой политики, родившейся из колониальной монополии. Этот ход вещей не был предусмотрен философами, и они не изобрели никакого средства, чтобы парализовать зло или, по крайней мере, обрушиться на его наиболее вредное проявление—островную монополию. Они вмешивались в коммерческую политику с целью превозносить ее пороки, вместо того, чтобы их искоренять, как я это докажу в дальнейшем“ [2]).

„Прошло всего лишь одно столетие с тех пор, как мы вступили в 3-ю фазу цивилизации,—говорит Фурье в „Новом индустриальном мире“,—но за этот короткий период времени фаза протекла чрезвычайно быстро, благодаря колоссальному прогрессу индустрии (курсив наш. *А. А.*); так что теперь 3-я фаза уже достигла своего естественного предела. У нас слишком много материалов для столь слабой ступени развития, и эти материалы, не находя для себя естественного применения, перегружают социальный механизм и причиняют ему недомогание. Отсюда и возникает брожение, подтачивающее этот механизм; появляются вредные признаки, симптомы усталости, происходящие в результате несоответствия между средствами промышленности, и той, более низкой, ступенью развития, к которой они применяются (курсив наш. *А. А.*). Для нашей отсталой 3-й фазы промышленность слишком сильно развита; для нее требуется хотя бы 4-я фаза; отсюда и рождаются все излишества и упадок, о которых я собираюсь говорить“ [3]).

[1]) „Th. de l' Unité univ.“, изд. 1841 г., стр. 207—210.
[2]) Там же, стр. 211.
[3]) „Nouv. Monde l'indust. et Soc.“, изд. 1870 г., стр. 418.

Подобную же мысль мы находим в „Теории четырех движений", где Фурье, говоря о единообразии системы мер и гражданских законов, установленных во Франции Наполеоном, замечает, что „эти два нововведения противоречат строю цивилизации, одной из характерных черт коей является несоответствие индустриальных и административных отношений (deux institutions contraires à l'ordre civilisé, qui a parmi ses caractères, l'incohérence des relations industrielles et administratives)" [1].

Здесь, как и выше, Фурье мимоходом выражает, хотя и недостаточно точно, ту важную истину, что в капиталистическом строе, на известной ступени его развития обнаруживается несоответствие между его производительными силами и окружающей их общественной обстановкой и что первые перерастают последнюю, которая для них становится помехой „вследствие своей низкой ступени развития".

Высшей фазой цивилизации является 4-я фаза, фаза дряхлости, фаза гибели цивилизации (читай „капитализма"). „К этой фазе,— говорит Фурье,—цивилизация стремится под влиянием возникновения торговых компаний, которые, при содействии правительства, устраняют своих конкурентов. Подобные компании таят в себе зародыш обширной феодальной коалиции, которая в скором времени должна захватить всю индустриальную и финансовую систему и привести к коммерческому феодализму. Вот что философы совершенно не в состоянии были предвидеть; и в то время, как они целиком увлекались идеями меркантилизма, последствия которого ускользали от их понимания, постепенно подготовлялись события, долженствовавшие изменить эту политику и заставить нас спуститься в 4-ю фазу цивилизации" [2].

Наш автор пользуется моментом, чтобы напасть на философов, которые не умеют ни исправлять существующие недостатки социального строя, ни предвидеть будущее зло и помешать его наступлению.

„... Эти философы,—замечает он,—не стараются предвидеть грядущих бурь; они начинают понимать социальное движение, когда оно позади их и интересуются только прошлым и настоящим, но не будущим. И так как меркантильный дух ныне является господствующим, они решили, согласно их обычаю, что современное состояние вещей есть совершенство разума. Они ограничиваются разглагольствованиями о том, что видят, не предполагая, что строй цивилизации может принять новые формы. И когда цивилизация, наконец, дойдет до своей 4-й фазы, когда коммерческий феодализм разовьется во всей широте, тогда только философы постфактум вмешаются, чтобы образовать новую секту для словопрений; они будут восхвалять порядки 4-й фазы и продавать груды книг об этом новом строе, раз-

[1] „Th. de quatre mouv.", стр. 127.

[2] „Th. de l'Unité univ.", ч. II, стр. 211.

славословствуя об усовершенствовании „строя совершенства“, как они ныне делают, когда говорят о торговле“ [1]).

Уже из этой краткой характеристики периода цивилизации мы видим, как глубоко Фурье проник в ее сущность. Он констатирует: 1) что основной внутренней особенностью строя цивилизации в его расцвете является развитие индустриальной техники и усовершенствование способов транспорта, а внешней особенностью этого строя— противоречия во всех его проявлениях, из коих наиболее резкой является противоречие между интересами индивида и коллектива; 2) что одной из таких противоречий, обнаруживающих негодность строя цивилизации, как формы общежития, является несоответствие между ее производительными силами и окружающей их общественной оболочкой; 3) что высшей ступенью цивилизации является коммерческий или промышленный феодализм, концентрирующий в руках немногих лиц и торговых компаний всю индустриальную и финансовую систему; 4) что, достигши полного развития всех своих особенностей, цивилизация должна перейти в следующий период, иначе те элементы, которые содействуют ее наивысшему расцвету, превратятся в причину ее гибели; 5) что из этих элементов научные достижения в особенности становятся опасными для цивилизации по мере их распространения и проникновения в народные массы, содействуя развитию их самосознания; 6) он, наконец, констатирует, что все перечисляемые им противоречия цивилизации стали зародышем социальных бурь, и предсказывает, что в недалеком будущем нас ждут беспощадные войны бедных с богатым.

Близость социального переворота он предсказывает в выражениях, как бы написанных для нашего времени.

„Несчастные нации,—восклицает он,—вы стоите перед великой метаморфозой, предвестником которого является пережитое всемирное потрясение. Теперь действительно можно сказать, что **настоящее чревато** (дословно: беременно) **будущим и самая чрезмерность наших страданий должна повести к целительному кризису** (курсив наш. *А. А.*). При виде этих длительных и колоссальных политических потрясений кажется, что природа делает усилия стряхнуть с себя бремя, которое ее давит. Войны и революции зажигают земной шар со всех концов; пожары, еле потушенные, вновь разгораются из-под пепла, как головы гидры, умножавшиеся под ударами Геркулеса. Мир и порядок превратились в призрак, в мечту, длящуюся несколько мгновений. Промышленность стала мучением народов с тех пор, как островные пираты пре-

[1]) „Th. de l' Unité universelle“, ч. II, стр. 211—212. Нужно признать, что Фурье, не в пример критикуемым им философам, обнаруживает гениальную прозорливость, предсказав на заре развития капитализма возникновение и конечной фазе этого строя „коммерческого феодализма“, вполне правильно охарактеризованного им в общих чертах. Не подлежит сомнению, что глубиной и верностью своего прогноза он обязан применяемому им при анализе цивилизации диалектическому методу.

граждают все пути сообщения, уничтожают культуру двух материков и превращают все мастерские в приюты нищеты... Меркантильный дух открыл новые пути для преступлений. Ныне каждая война ввергает в междоусобицу оба полушария и заносит вглубь диких стран скандалы и жадность цивилизованных народов. Наши корабли обшаривают весь свет лишь для того, чтобы приобщить варварские и дикие народы к нашему пороку и неистовству. Да, цивилизация становится тем отвратительнее, чем ближе она к своему концу: весь свет превратился в один политический хаос. Требуется рука нового Геркулеса, который очистил бы нашу планету от позорящих ее социальных гнусностей!" [1]).

„Пока мы не решим этой задачи (т.-е. задачи перехода в новый строй),—говорит он в другом месте,—мы будем добычей непрерывных переворотов; наши империи будут игрушкой естественного хода вещей, забавляющегося их разрушением посредством революции: становясь ему в тягость, они сделаются добычей его мести. Наши чудеса будут приводить к бедствиям и потрясениям: наши герои и законодатели будут строить на песке... Строй цивилизации все более и более расшатывается. Подготовленный философами 1789 год был только первым извержением этого вулкана. За ним последуют другие извержения, в особенности если слабые правительства будут потворствовать агитации. Война бедных против богатых была так успешна, что интриганы всех стран мечтают о ее возобновлении. Напрасно стараются ее предотвратить: естественный ход вещей смеется над нашей просвещенностью и нашей предусмотрительностью; он сумеет вызвать революцию из тех самых мер, которые мы принимаем для обеспечения порядка: и если цивилизация продержится только еще полстолетия, то мы будем свидетелями, как дети будут просить милостыню у дверей палат, где жили их отцы" [2]).

Самым худшим злом периода цивилизации является, по мнению Фурье, стержень 4-ой фазы — коммерческий феодализм [3]).

„Крайности соприкасаются,—говорит наш автор, затрагивая этот вопрос в „Теории четырех движений", — и чем более возрастает коммерческая анархия, тем более мы идем навстречу безграничным привилегиям, т.-е. ударяемся в противоположный эксцесс. Такова судьба цивилизации, которая всегда колеблется между противоположными крайностями, не останавливаясь на мудрой середине.

„Много обстоятельств содействуют объединению негоциантов, организации их в компании, их превращению в коалицию монополистов. В союзе с крупными собственниками они способны превратить всех торговцев и промышленников, ниже их стоящих, в своих васса-

---

[1]) „Th. de quatre mouv.", стр. 149—150.

[2]) Там же. стр. 413—414.

[3]) Как видно из таблицы социальных периодов, в „Новом индустриальн. мире" Фурье одинаково употребляет выражения „коммерческий" и „промышленный" феодализм.

лов и стать при посредстве цепи интриг хозяевами всех видов производства.

„Мелкий собственник косвенными средствами принужден будет распоряжаться своим урожаем по указанию этих монополистов, он будет превращен в приказчика, работающего для торговой коалиции. Так водворится новый феодализм, основанный на торговых союзах вместо союзов знатных родов.

„Все стремится к подготовке такого исхода. Дух ажиотажа овладевает высокопоставленными лицами. Старое дворянство, разорившееся и лишившееся своих владений, ищет удовлетворения в торговых интригах. Потомки древних рыцарей славятся своими познаниями в коммерческой мудрости и биржевой игре, как их предки славились своими победами на турнирах. Общественное мнение лебезит перед этими господами, получившими название „деловых людей“, которые в столицах делят власть с министрами и изобретают каждый день новые средства, чтобы взять на откуп какую-нибудь новую отрасль индустрии. Под их влиянием правительство, само того не желая, стремится забрать в свои руки коммерцию, которая подвергается захвату со всех сторон и которая в конце концов должна стать жертвой всемирного откупа, ибо все прекрасные обещания гарантировать свободу торговли вполне похожи на клятвы наших республиканцев: произнося эти клятвы, они уверяли в смертельной ненависти к королевской власти, мечтая в то же время о том, чтобы добраться до трона.

„Мы идем громадными шагами к коммерческому феодализму, т.-е к 4-ой фазе цивилизации. Ученые, привыкшие относиться с глубочайшим уважением ко всему, что делается во имя коммерции и для нее, без всякого беспокойства смотрят на нарождение этого нового порядка и готовы посвятить свое банальное перо его прославлению. Начальный период коммерции таким образом устлан розами, как это было с клубами, а концом ее будет индустриальная инквизиция, порабощение всех граждан интригами объединившихся монополистов“ [1]).

Выходом из всех этих бедствий цивилизации явится сосьетарный строй [2]).

„Сосьетарный строй осуществит главное желание всех людей, дав каждому обеспеченное существование, что является предметом всеобщих желаний. Что же касается цивилизации, от которой мы

[1]) „Th. de quatre mouv.“, стр. 395—397.

[2]) В другом месте („Nouv. Monde ind. et soc.“, стр. 388) Фурье, возражая тем, которые видят спасение в политических реформах, говорит: „Только через систему гарантизма (основанную, как мы выше указывали, на кооперировании населения) можно войти в обитель добра (т.-е. сосьетарный строй). Эту систему (т.-е. гарантизм) надо было бы противопоставить либерализму, устарелый дух которого годен разве только для 2-ой фазы—для представительной системы, мыслимой, пожалуй, в маленькой республике, вроде Спарты или Афин, но совершенно иллюзорной для такой крупной и богатой страны, как Франция.

скоро освободимся, то она ни в коем случае не является назначением человека; она является временным бедствием для большинства планет в первые тысячелетия их существования; она для человеческого рода преходящая болезнь вроде прорезывания зубов в период младенчества. Этот период продолжался свыше 25 веков, вследствие нерадивости и гордости софистов, пренебрегших всяким изучением ассоциации и притяжения. Наконец, периоды дикости, патриархата, варварства и цивилизации не более как тернистые преграды, ступени по пути к сосьетарному строю, являющемуся назначением человека: вне этого строя усилия самых благожелательных монархов не принесут никакого исцеления народным бедствиям"[1]).

Обращаясь к философам, он говорит:

„Поэтому напрасно, философы, вы будете нагромождать груды книг, ища счастья, которого вы не найдете до тех пор, пока вы не уничтожите *корня всех социальных бедствий—раздробленности индустрии*[2]) *или разрозненного неассоциированного труда* (курсив наш. *А. А.*), являющегося полной противоположностью намерений и планов божества. Вы жалуетесь, что природа отказывает вам в раскрытии ее законов. Но раз вы не могли их открыть по сию пору, чего же вы медлите сознаться в недостаточности ваших методов и не спешите искать других? Одно из двух: или природа не желает человечеству счастья, или ваши методы отвергнуты природой, раз вы не в состоянии вырвать у нее тайну, узнать которую вы добиваетесь. Видали ли вы, чтоб она столь же сопротивлялась усилиям физиков, как вашим? Нет. А почему? А потому, что они изучают законы природы вместо того, чтобы диктовать ей свои. Вы же изучаете искусство заглушать голос природы, *подавлять притяжение, являющееся истолкователем ее намерений и ведущее нас с необходимостью к строю сельскохозяйственной ассоциации*" (курсив наш. *А. А.*)[3]).

3. Экономика и политика.—Господство капитала и биржи.—Порабощение правительства классом ажиотёров.

Сила фурьеровской критики, как известно, лежит не в анализе социальной эволюции в целом, а в оценке, данной им экономическому строю конца 3-ей и начала 4-ой фазы, т.-е. периода расцвета

[1]) „Th. de l'Unité univ.", ч. II, стр. 128.

[2]) Всюду, где Фурье говорит о „раздробленности индустрии" (le morcellement industriel), он имеет в виду мелкое производство, а разрозненный неассоциированный труд (travail incohérent).

[3]) „Th. de l'Unité univ.", ч. II, стр. 128—129. Последняя фраза нуждается в некотором объяснении. Притяжение (страстей) по терминологии Фурье есть проявление в человеческом обществе закономерности, господствующей во всей природе. Эта закономерность, говорит Фурье, ведет нас с необходимостью к строю ассоциации и именно с. хоз., так как Фурье в основу своего будущего строя гармонии кладет земледелие (преимущественно огородничество, садоводство, скотоводство и цветоводство); ремесленно-фабричные производства являются у него только дополнением к земледелию, занимая $1/_{3}$ всего рабочего времени.

капитализма. Благодаря диалектическому подходу к анализу этого периода, Фурье вскрыл и формулировал ряд противоречий, в которых бьется капиталистический строй.

На этой стороне его критики, достаточно оцененной и известной, мы не будем останавливаться подробно; отметим только некоторые пункты из этой критики, наиболее рельефно характеризующие диалектическую манеру Фурье.

Фурье один из первых отметил и доказал, что основа классической экономии, свобода торговли (путем произвольной оценки труда, произвольного по усмотрению хозяина удлинения рабочего дня, вследствие крайней антигигиеничности обстановки труда, спекуляций, фальсификаций, банкротств и пр.) приводит к экономическому порабощению прежде всего всех трудящихся, а затем и всего народа, как потребителей.— Фурье в числе первых отметил основной дефект существующего экономического строя, который он назвал промышленной манией, манией производить без определенного плана, не сообразуясь ни с общественными потребностями, т.-е. с вопросом о том, сколько и для кого производится, и без заранее выработанной таблицы вознаграждения за труд, т.-е. без всякой гарантии для производителя и рабочего, что они получат свою долю в произведенных богатствах. Результатами этого являются, с одной стороны, кризисы от изобилия, а, с другой стороны, такое поразительное противоречие капиталистического строя, что в странах, где промышленность процветает, имеется больше нуждающихся и нищих, чем в странах, где производство находится на первоначальной ступени [1]). Анализируя положение и организацию труда в современном обществе, Фурье устанавливает, что эта нелепая организация ведет к непомерному труду одних и к праздности или нецелесообразной затрате труда других; что эксплоатация трудового народа, выжимание из него соков ведет к созданию множества ненужных профессий, должностей, занятий, в виде несметных кадров чиновников, полиции, надсмотрщиков, судей и адвокатов и, наконец, военных армий, нужных и в мирное время для того, чтобы держать в повиновении рабочих и всех недовольных. Фурье отметил и подчеркнул, что по мере накопления национального богатства доля бедных классов не увеличивается пропорционально этому накоплению, но, наоборот, значительно отстает от него, т.-е. формулировал в общих чертах теорию обнищания; он, наконец, в двух словах заклеймил этот экономический строй, как строй, в котором голод рождается от избытка.

Но если в экономической области диалектическое жало Фурье наносило особенно чувствительные уколы буржуазной экономии и ее идеологам, то не менее глубоко проникал он им и в другие части капиталистического организма.

[1]) „Размышляя о понижении заработной платы в странах с наиболее развитой индустрией,—замечает Фурье в своих „Манускриптах“,—приходишь к выводу, что всякий, кто делает экономические открытия, является врагом человечества и человечности“.

Мы говорим о глубине и остроумии, проявленных Фурье при анализе взаимоотношений между экономикой и политикой в строе цивилизации. Фурье прежде всего разоблачает призрачность и лживость буржуазной политической свободы; он в сильных и красочных выражениях вскрывает подоплеку буржуазного государственного строя, изображая подчинение правительства капиталу и бирже, порабощение его классом ажиотёров.

Критикуя политическую свободу, декретированную Великой Французской революцией, он указывает на то, что свобода без возможности ее использовать, в лучшем случае, пустой звук, но чаще всего превращается в насмешку над бедняком-тружеником. Такова юридическая свобода, предоставляемая народу современными конституциями. Чтобы быть действительной, свобода должна заключать в себе рядом с юридической стороной также и социальную, под которой Фурье подразумевает обладание материальными средствами, дающими возможность использовать свободу и наиболее полно и всесторонне удовлетворить свои страсти и стремления.

Свобода юридическая или „телесная", как ее называет Фурье, является уделом малосостоятельных людей; при этом активной телесной свободой пользуются наиболее счастливые представители низших классов, те, которые добывают средства к жизни самостоятельным трудом, а не отдачей его в наем. Такие самостоятельные граждане, под которыми Фурье подразумевает мелко-буржуазные элементы, „пользуются активной телесной свободой, потому что они не прикованы к работе, подобно рабочим, принужденным продавать свой труд, но в то же время они скованы по рукам и ногам, поскольку речь идет об удовлетворении их страстей и стремлений. Фебон имеет полное право пойти в оперу, но для этого нужна монета, которой у него нет. У него еле хватает средств, чтобы как-нибудь себя пропитать и одеть. Он имеет право добиваться звания депутата, но для этого нужно хорошее состояние, а он от этого очень далек; гордое звание „свободного человека" дает ему мираж вместо социальной свободы. Он остается за дверью хорошего ресторана или театра и не имеет доступа к избирательной урне; он пассивный член общества, его страсти не имеют средств для своего активного проявления, его мнением общество не интересуется.

Но все же он свободнее рабочего, принужденного трудиться под страхом умереть с голода, имея в продолжение недели только один день активной телесной свободы—воскресенье; во все остальные дни рабочий пользуется только пассивной свободой, так как мастерская является для него косвенным рабством".

Что касается социальной (или действительной) свободы, „то ее совершенно лишен весь бедный класс общества, принужденный закабаливать себя наемным трудом, порабощающим душу в не меньшей степени, чем и тело. Подчиненный, который позволил бы себе высказать мнение, противоречащее взглядам его хозяина или начальника.

был бы уволен и лишен заработка. Бедный не пользуется активной социальной свободой даже в отношении свободы мнений и взглядов. Отовсюду, где он позволил бы себе высказать мнение, противоречащее взглядам богача, его бы вежливенько выпроводили, даже в случае, если б он был совершенно прав. При таком положении вещей можно ли говорить о существовании социальной свободы в цивилизации? Конечно, нет, потому что ею пользуется незначительное меньшинство богатых людей—и то не всем из них предоставлено право свободно высказывать свои мнения"[1]).

Сравнивая положение современного рабочего с положением дикаря, Фурье констатирует, что дикарь, живущий без всякой конституции и без опеки депутатов и пэров, несравненно свободнее современного рабочего, потому что он пользуется фактической свободой, создаваемой материальной обеспеченностью.

„Спросите у несчастного рабочего,—говорит он,—страдающего от безработицы и голода, преследуемого кредиторами и откупщиками, не предпочел ли бы он, подобно дикарю, пользоваться правами охоты и рыбной ловли, правом на дико-растущие деревья и дико-пасущиеся стада. Без сомнения, он согласился бы поменяться с дикарем. Ибо что дает ему взамен этого цивилизация? Счастье жить при конституционном строе? Но бедняк не может заменить недостающий ему обед чтением конституционной хартии; предлагать ему такую замену—значит издеваться над его бедностью. Он счел бы себя счастливым, если б мог наслаждаться свободой и теми правами, которыми пользуется любой дикарь, и которые не существуют для него в строе цивилизации".

Фурье таким образом ясно понимал классовый характер современного ему государства, обеспечивающего права только богатым и прислушивающегося только к их мнению; он устанавливает неоспоримый тезис, что политическая свобода часто превращается в пустой звук при необеспеченности существования, при зависимости одного класса от другого.

„Трудно представить более постыдное злоупотребление словами,—говорит он далее в „Теории всемирного единства" (ч. II),—чем восхваление „свобод", созданных цивилизацией, которая при всех политических режимах и более всего в эпоху якобинцев, опиралась и ныне опирается на военную силу, удерживаемую в повиновении железной дисциплиной и в свою очередь имеющую назначением укрощать и подавлять голодные массы. Цивилизация—это не система сложной свободы, а сложного порабощения, т.-е. система, порабощающая солдат, которые в свою очередь порабощают граждан. Наши софисты открывают в этом риконшете порабощения какой-то народный суверенитет. Не вправе ли мы при виде такого злоупотребления словами назвать этих софистов нанизывателями слов, строящими на основе

[1]) „Th. de l'Unité univers", ч. II, стр. 157—159.

нескольких пустозвонных фраз механизмы либеральных конституций, где **номинальными** пружинами являются свобода, равенство и братство, а **действительными** — принуждение, сыщики, виселицы" [1]).

Как и все утописты (и в особенности Р. Оуэн), Фурье теряет чувство действительности, когда от анализа общественной среды обращается к своей излюбленной утопии. При изображении своего строя гармонии он обнаруживает необыкновенную политическую наивность, наводняя ее монархами, принцами и принцессами, роль которых состоит только в том, чтобы фигурировать на парадах и осчастливливать своей любовью весталок и весталов. Но, повторяем, эта политическая близорукость и наивность сразу испаряются, как только Фурье обращается к анализу действительности, т.-е. строя цивилизации в 3-ей фазе, вернее, строя капитализма. Здесь, как мы видели, он обнаруживает несомненное понимание классового характера современного государства, разоблачая его в самых саркастических выражениях. Если он не выражается словами „Коммунист. Манифеста", что „современное государство есть не что иное, как комитет, заведующий общественными делами буржуазии", то, как мы это сейчас увидим, он высказывает ту же мысль иными словами.

Ставя вопрос о причинах, приведших к изменению идеологии политических мыслителей и государственных деятелей в XVIII веке и торжеству школы экономистов, он, после некоторых предварительных рассуждений, отвечает: „**Проще говоря, произошла смена фаз цивилизации, перешедшей из 2-ой в 3-ью фазу, в которой господствует коммерческий дух, один только направляющий всю политику**" (курсив наш. *Л. А.*) [2]).

„В древности торговцы были только мелкими воришками,—говорит Фурье, они не цапали сразу по 50 и 100 миллионов, как ныне. Гораций и прекрасная древность потешались на их счет и высмеивали науку ростовщичества, столь уважаемую в наше время.

„Дело приняло совершенно иное направление со времени открытия обеих Индий. Коммерческий оборот удесятерился, а потому прибыли торговцев утридцатерились, ибо к торговым прибылям присоединились барыши от ростовщичества, ажиотажа, скупщичества и монополий. Короче говоря, торговцы наших дней перестали быть мелкими воришками, какими они были в те времена, когда Иисус их изгонял из храма розгами, а Гораций подвергал осмеянию. Ажиотёр нашего времени в год больше пожинает один, чем десять монархов вместе. Говорят, что один лондонский торговый дом заработал в продолжение года на французском займе 80 миллионов"...

„Можно было еще извинить древних,—продолжает Фурье,—которые только посмеивались над этим Минотавром, пока он был в пе-

[1]) Там же, стр. 184.

[2]) „Th. de quatre mouv.", стр. 334.

ленках. Но в настоящее время этот львенок превратился в льва. Ныне это уже новая власть, которая хочет господствовать рядом с правительством (курсив наш. *А. А*) и даже противопоставляет себя колоссальному влиянию духовенства...

„Правительства цивилизованных стран,—говорит он дальше,—находятся в положении тех обремененных долгами землевладельцев, которые видят, как ростовщики извлекают из их земель больше доходов, чем они сами, трудящиеся над их обработкой. Так как государственные долги непрерывно растут, то коммерция, ныне делящая власть с правительством, стремится к тому, чтобы стать выше его, взять его под свою опеку (курсив наш. *А. А.*) или по крайней мере стать с ним на равную ногу. Ни в чем двойственность общественного курса не проявляется с такой очевидностью.

„Насколько велика сила мошны в строе цивилизации, видно из действий Аахенского конгресса, который не осмелился принять определенных решений до прибытия двух ожидавшихся банкиров. Если политические комбинации отдают всю налоговую систему в распоряжение класса кредиторов—банкиров, то класс этот, в силу таких обстоятельств, становится соперником и конкурентом правительства. Таково современное положение ажиотёров, которые видят правительство у своих ног. Эти будущие взиматели десятины дирижируют всем игорным домом, так что министр, обнаруживший намерение воспрепятствовать ажиотажу, должен немедленно расстаться с своим постом... Теперь порабощение правительства все усиливается, а господство ажиотёров дошло до того, что игорный дом, т. е. биржа, стал компасом общественного мнения. Если на бирже ценные бумаги пали, это для обывателя неопровержимое доказательство, что министерство плохо управляет...

„Итак,—заключает Фурье,—мы видим, что посредством искусственного повышения ценности государственных фондовых бумаг можно вызвать в публике недоверие к правительству и таким образом произвести политическое потрясение. Ажиотеры и аферисты держат в своих руках судьбы правительств и целых империй. Может ли порабощение правительств классом торговцев быть доведено до более сильной степени?" (Курсив наш. *А. А.*)

Из этих немногих строк мы видим, насколько правильно понимал Фурье роль капитала в деле управления государственной машиной. Если он говорит о господстве мошны рядом с правительством и над ним, этим как бы противопоставляя друг другу эти две силы, то причина в том, что в эпоху, когда писались цитируемые сочинения, буржуазия во Франции еще не овладела вполне государственной властью, центральный государственный аппарат еще в значительной степени находился в руках дворянства, и часто против воли, в силу внешнего давления, подчинялся непреоборимому влиянию и натиску

развивавшегося капитала. Тем больше силы и значения в вышеизложенной характеристике, которая в известной степени была предвосхищением будущего.

4. Экономика и идеология. — Экономические основы морали. — Влияние коммерции на общественную мысль. — Гастрономия, как средство развития чувства изящного и прекрасного.

Уже из предыдущего можно видеть, какое значение Фурье придавал влиянию экономики на идеологию. В этой области Фурье, сам того не подозревая и вопреки своим спиритуалистическим бредням, дает ряд объяснений, приближающих его к миросозерцанию, получившему впоследствии название экономического материализма.

Как выше было указано, Фурье констатирует, что причиной возникновения школы экономистов и изменения идеологии политических мыслителей и деятелей конца XVIII века является переход цивилизации из 2-й в 3-ью фазу, в которой господствует коммерческий дух, „один только направляющий всю политику".

„Муза, воспой нам подвиги этих смелых новаторов, повергших вирах древнюю философию", — так начинает Фурье рассмотрение вопроса о „Происхождении политической экономии и меркантильных словопрений". — Секта, родившаяся из ничего, — секта экономистов — осмелилась вдруг напасть на уважаемые догмы Греции и Рима. Истинные образцы добродетели, циники и стоики, все славные приверженцы Бедности и Золотой Середины теперь разбиты на-голову и сгибают колени перед экономистами, рьяными защитниками роскоши. Божественный Платон и божественный Сенека свергнуты с их тронов; черная похлебка спартанцев, репа Цинцинната, балахон Диогена — весь арсенал моралистов — повергнуты вирах, все обращено в бегство нечестивыми новаторами, разрешившими любовь к предметам, до сих пор столь строго запрещенным, любовь к хорошему столу и презренным металлам, каковы золото и серебро.

„Напрасно разные Жан-Жаки и Мабли так мужественно защищали честь Греции и Рима: напрасно они восхваляли перед всеми народами вечные истины Морали, уверяя, что „бедность есть благо, что нужно отказаться от богатств и не задумываясь броситься в объятия Философии" (таково дословное выражение Сенеки, человека, владевшего 80 миллионами). Напрасные усилия! Ничто не могло устоять против натиска новых догм: испорченный век способен поглощать только коммерческие трактаты; знамена портика и лицея покинуты для коммерческой академии и общества друзей коммерции; одним словом, нашествие экономистов кончилось для неточных наук своей битвой при Форсале, где мудрость Афин и Рима потерпела непоправимое поражение.

„Указанная перемена, — продолжает далее Фурье, — роди-

лась из прогресса морского искусства и из колониальных монополий (Курсив наш. *А. А.*). Философия, вмешивающаяся обыкновенно уже постфактум в социальное движение, подогнала свои взгляды к господствующему мнению и начала хвалить коммерческий дух, когда убедилась в его господстве. Вот откуда родилась секта экономистов и с ними вся меркантильная мудрость.

„С чего это вдруг философы, после стольких веков осмотрительности, стали вмешиваться в коммерческие дела, предмет их прежнего презрения? Разве они не высмеивали непрестанно в продолжение всей прекрасной древности торговлю и не издевались на все лады над купцами?

„Правда, уже в древности можно было видеть по той роли, которую играли Тир и Карфаген, что сила коммерции может в один прекрасный день взять верх над земледелием и подчинить своему влиянию всю административную систему. „Но так как у нас до этого еще не дошло, следовательно, до этого никогда не дойдет",—так думали философы, согласно свойственному им методу суждения. Они способны увидеть новую эру в социальном движении, когда на нее нужно смотреть, оглядываясь назад (Курсив наш *А. А.*). Грядущие поколения будут изображать мудрость цивилизации в виде существа с головой, поставленной на туловище задом наперед, вследствие чего она способна видеть только то, что позади нее" [1]).

Итак, Фурье констатирует, что поворот в воззрениях социальных мыслителей от морали умеренности к восхвалению торговли и богатства явился результатом торговопромышленного расцвета Европы, иначе говоря, торжество капитализма и выступление буржуазии на общественно-политическую арену повели к изменению идеологии, которая до того носила печать мелко-ремесленной умеренности и добродетели самоограничения. Фурье с удивительной глубиной констатирует, что социальные мыслители только тогда становятся проповедниками новой эры в социальном движении, когда уже ясно обозначились ее отличительные черты, т.-е. что изменение идеологии следует за изменением общественного субстрата.

„До середины XVIII века,—говорит наш автор,—неточные науки продолжали упорствовать в своем старом предубеждении против презренной торговли. Доказательством может служить дух, господствовавший во Франции еще в 1788 г. Тогда даже школьники в своих стычках употребляли, как ругательство, слово „купчишка". Это было жестокой обидой... И только в 1789 году торговцы были вдруг превращены в полубогов; вся ученая шайка поднялась на их защиту и стала превозносить торговлю" [2])...

[1]) „Th. de quatre mouv"., стр. 334 — 336.
[2]) Цит. соч., стр. 337.

Та же мысль в еще более язвительной форме высказана нашим автором в следующем отрывке:

„В прежние времена философы презирали торговлю и отворачивались от нее... Коммерция только тогда завоевала расположение ученых, когда достигла полного расцвета, в этом отношении ее можно сравнить с откупщиками, которых начинают превозносить, когда они появляются в карете, запряженной шестеркой лошадей. Тогда ораторы начинают восхвалять их добродетели, уплетая в то же время их вкусные обеды. Так вели себя философы относительно торговли; они начали ласкать ее с того момента, когда она вознеслась на верхи величия, а до этого они даже не считали ее достойной внимания. Испания, Португалия, Голландия и Англия давно уже извлекали пользу из торговой монополии, а философия и в мыслях не имела ни хвалить их, ни порицать. Голландия сумела нажить громадные богатства, не обращаясь за помощью к экономической науке; секта экономистов еще не успела народиться, когда голландцы уже собрали целые бочки золота" [1]...

Но когда капитал стал общественной силой, социальные мыслители не только констатировали его появление на общественной арене, но стали его идеализировать и превозносить, не замечая его отрицательных сторон.

„Решившись восхвалять коммерцию, они стали замечать только принадлежащие ей глыбы золота, затем независимость, связанную с этим состоянием, самым свободным из всех и самым благоприятным для развития необузданного честолюбия, далее — внешний вид глубокомыслия и умственности, прикрывающий все эти подлые маневры, которые последний дурак способен изучить в продолжение одного месяца, наконец, роскошь и чванство ажиотеров и аферистов, стремящихся соперничать в этом с самыми знатными и высокопоставленными лицами в государстве. Весь этот блеск ослепил ученых, которые должны употребить большой труд и много интриг, чтобы заработать несколько экю или заручиться какой-нибудь унизительной протекцией. Они были сбиты с толку и растерялись при виде коммерческих богов и некоторое время колебались, избрать ли им путь лести или критики. Но брошенные на весы глыбы золота перетянули; они решили стать преданными слугами торговцев и сторонниками меркантильной науки, над которой они столько издевались" [2].

Нравственный облик того или иного периода Фурье в конечном итоге связывает с хозяйственным фактором. С этой точки зрения он касается характерных черт—дикости, патриархата, варварства. Мы видели выше, какими чертами он обрисовал патриархат. Вопреки мнению философов XVIII века, изображавших патриархат в идиллическом свете, он определенно его называет строем деспотизма, насилия и

[1]) Там же, стр. 337 — 338.

[2]) Там же, стр. 339 — 340.

жестокости. Причина этого явления—в возникновении индустрии, повсдшей к образованию патриархальной полигамной семьи, что повело в семейных отношениях к угнетению и эксплоатации женщины и всех подчиненных власти патриарха, а в общественных отношениях—к взаимным раздорам и угнетению сильным более слабого. Строй цивилизации Фурье называет строем лжи и обмана; основой этого является свободная конкуренция, ведущая к противоречию между интересами индивида и коллектива. В строе цивилизации поэтому истина и правда в людских отношениях становятся невозможными. Истина и правда в людских отношениях установятся вместе с водворением строя ассоциации, т.-е. строя, в котором интересы индивида не будут расходиться с интересами коллектива, как это мы наблюдаем в настоящее время, а наоборот будут целиком совпадать.

„Истина будет господствовать, — говорит Фурье, — в обществах, организованных в серии, а ложь господствует в обществах, состоящих из разъединенных хозяйств. В первых употребление истины обеспечивает каждому больше благ, чем во вторых—практика лжи. Там всякий индивид, добродетельный или безнравственный, будет любить истину и руководствоваться ею в своих поступках, **так как применение истины будет единственным путем к благосостоянию** (Курсив наш. *А. А.*). Вот почему во всех 24 обществах (т.-е. во все 24 периода), организованных в серии, будет господствовать во всех индустриальных отношениях только кристально-чистая истина.

„Противоположное явление мы наблюдаем в восьми обществах (т.-е. периодах), состоящих из разъединенных хозяйств; там можно добиться благосостояния только посредством хитрости и предательства; поэтому мошенничество всегда должно торжествовать во все эти периоды. Вот почему мы видим, что в цивилизации, являющейся одним из обществ, в основе которого лежат необъединенные семейные хозяйства, невозможно достичь успеха без обмана, разве только в редких исключительных случаях, которые, как исключения, подтверждают только правило...

„Отсюда вытекает заключение, которое может показаться шатким и которое тем не менее будет доказано со всей точностью, что в 18 обществах комбинированного (или сосьетарного строя) **самым важным свойством, необходимым для торжества истины, будет любовь к богатству.** Тот, кто пускается во всевозможные мошенничества и обманы при строе цивилизации, будет самым правдивым человеком в комбинированном строе, потому что этот человек обманывает не ради удовольствия обманывать, а единственно для достижения богатства. Покажите ему какое-нибудь дельце, где он смог бы заработать 1.000 экю посредством лжи и 3.000—посредством правды, он предпочтет правду, будь он даже архимошенник. Вот каким путем самые заядлые обманщики станут в кратчайший срок самыми горячими друзьями истины в строе, в котором истина скоро

приведет к большим выгодам, а практика лжи будет неизбежно приводить к разорению.

„Таким образом нет ничего легче, как заставить восторжествовать истину на всей земле. Достаточно для этого выйти из 2, 3, 4, 5 и даже 6 периодов и войти в строй прогрессивных серий... Все склонности строя серий будут вести к контрастам с нашими обычаями и заставят нас покровительствовать тому, что мы теперь называем пороками, как, например, чревоугодию и любовным похождениям. Кантоны, где эти так называемые пороки будут более всего процветать, будут принадлежать к самым совершенным в отношении развития индустрии“ [1]).

Фурье подводит итог совокупному влиянию торговли на общественную мысль в следующих выражениях:

„В настоящее время у нас разучились думать, говорить или писать о чем-либо другом, кроме пользы или процветания коммерции. Самые выдающиеся гении XIX века—это те, которые в своих произведениях самым подробным образом нам разъясняют тайны Биржи. Поэзия и изящные искусства в загоне, и Храм Памяти открывается только для тех, которые нас просвещают относительно того, почему сахар „ослабел“, почему мыло „пало“. С тех пор, как философия воспылала нежной страстью к коммерции, Полимния устилает цветами ее путь; самые утонченно-приятные выражения заменили прежний грубоватый купеческий язык и теперь выражаются в элегантных терминах: сахар „ослабел“, „поддался“, т.-е. пал в цене; мыло „играет хорошую роль“, т.-е. поднялось в цене. В прежние времена такие подлые поступки, как скупка товаров для перепродажи по высоким ценам, вызывали негодование писателей; теперь подобные поступки способны увенчать их авторов неувядаемой славой. Молва об этом говорит пиндаровским стилем: „Быстрое и неожиданное движение почувствовалось в царстве мыла“. Когда вы читаете подобные вещи, вашему умственному взору представляется, как ящики с мылом отделяются от земли и устремляются превыше облаков. О каком бы коммерческом предмете ни шла речь,—о векселе или $1/_4$ фунта мыла,—философы говорят о нем в возвышенном стиле и тоном восхищения. Под их пером боченок водки превращается в флакон эссенции, сыр благоухает розами, а белье, выстиранное новоизобретенным мылом, способно конкурировать по белизне с лилиями...

„Уже не Музам и их питомцам сторукая философия посвящает свое перо, а Л а в о ч к е и ее героям. Мудрость, Добродетель, Мораль—все отступило на задний план, и только Торговле воскуряется фимиам“ [2]).

„Между тем,—замечает наш автор,—существовало ли когда-либо больше расстройств в области индустрии, чем с тех пор как меркантильный дух овладел общественным мнением. Ибо одна островная

[1]) „Th. de quatre mouv.“, стр. 101—102.
[2]) Там же, стр. 403—405.

нация, пользуясь беспечностью старой Франции, обогатилась посредством монополий и морских грабежей. Вот при помощи каких средств Лавочка стала единственным путем к истине, мудрости, благополучию! Вот благодаря чему купцы стали столпами общественного благоденствия... Можно поверить в колдовство, глядя, как монархи и народы становятся жертвой нескольких коммерческих софизмов и возносят до облаков зловредный класс ажиотёров, скупщиков и прочих индустриальных корсаров, пользующихся своей силой для того, чтобы посредством крупных капиталов колебать рыночные цены и расстраивать то одну, то другую отрасль индустрии и обирать производительные классы (земледельцев, промышленников), которые массами лишаются своего состояния, благодаря одной только скупщической спекуляции, подобно тому как в море тысячи сельдей сразу исчезают в глотке кита" [1]).

Очень любопытную постановку с рассматриваемой нами точки зрения Фурье дает вопросу об усовершенствовании индивидуального и общественного вкуса как в области материальной, так и духовной. Он ставит их развитие в зависимость от развития гастрономии или чревоугодия.

Известно, что Фурье считает основой человеческого счастья наслаждение, а среди наслаждений выдвигает на первый план наслаждения чрева.

„Разве бог дал бы этой страсти такую власть над людьми,—говорит наш автор,—если бы он ей не предопределил выдающуюся роль в строе, для которого он нас предназначил? И если этот новый строй основан на индустриальном притяжении, то не должен ли он быть тесно связан с гастрономическим притяжением, т. е. с чревоугодием? Да, чревоугодие должно стать основой, связью всех индустриальных серий, душой их интриг и соревнования.

В дальнейшем мы приводим целиком рассуждения Фурье, путем коих он приходит к обоснованию эстетического развития масс на материальном базисе, а именно на базисе чревоугодия [2]). Как мы сейчас увидим, он приходит к этому двояким путем, — путем самой широкой демократизации гастрономического вкуса, с одной стороны, и всестороннего развития, благодаря этому, всей индустрии,—с другой.

„В строе цивилизации, — говорит наш автор, — гастрономия не связана с индустрией, потому что производитель, физический труженик, не наслаждается изысканными продуктами земледелия и мануфактуры, которые он вырабатывает. Удовлетворение этой страсти является у нас прерогативой праздных классов и по одной этой причине она должна быть отнесена у нас к числу пороков, не говоря уже об издержках, с которыми сопряжено ее удовлетворение, и об излишествах, к которым она ведет в современном строе.

[1]) Там же, стр. 405—406.

[2]) Фурье употребляет в одинаковом смысле слова „gastronomie“ и „gourmandise“.

„В сосьетарном строе чревоугодие играет совершенно противоположную роль: оно там является наградой не за праздность, а за труд, потому что там самый бедный рабочий участвует в потреблении наиболее дорогих продуктов. К тому же в этом строе гастрономическая страсть будет гарантирована от излишеств, вследствие большого разнообразия в средствах ее удовлетворения, и будет стимулировать труд, соединяя интриги потребления с интригами производства, изготовления и распределения. Так как производство является самым важным из этих 4-х процессов, то принципом, его направляющим, будет всеобщее удовлетворение гастрономической страсти".

Таким образом, заключает Фурье, „всестороннего усовершенствования индустрии можно будет достичь посредством всеобщего усовершенствования вкусов потребителей в отношении съестных продуктов и одежды, предметов обстановки и удовольствий" [1]).

Отсюда изощрение вкуса, замечает Фурье, должно распространиться и на духовные области—на поэзию и литературу, театр и изобразительные искусства.

„В этом вопросе,—продолжает наш автор,—как во многих других, моралисты впадают в противоречие с самими собой, потому что они хотят изощрить наши вкусы в литературе и искусстве и в то же время хотят нас оставить в состоянии грубости в более существенных областях социальной системы—в области потребления, являющейся основой, на которой должно вырасти индустриальное влечение, чтобы отсюда распространиться на все другие отрасли. Таким образом моралисты—вечные неудачники как в теории, так и на практике,—приложили принцип усовершенствования или изощрения вкуса к предмету, который они должны были бы поставить на последний план, а именно к искусству, потому что, начиная с этого предмета, они впадают в двойную ошибку: 1) они развращают само искусство, прилагая к нему меркантильную точку зрения, все более и более увлекаясь ложным блеском утрированного романтизма и заблуждениями всякого рода, проникаясь духом системы и презрением к природе или естественному влечению; 2) если утончение чувств начать с искусств, то оно ограничится этой областью, не распространяясь на более простые отношения, на отношения потребления и приготовления пищи и одежды, откуда оно должно распространиться на производство. Таким образом распространение хорошего вкуса или утонченности направляется на ложную дорогу и здесь задерживается, благодаря промаху моралистов, желающих ограничиться областью искусств вместо того, чтобы ввести его в гастрономию, откуда хороший вкус распространился бы на все отрасли материальной и духовной жизни" [2]).

---

[1]) „Nouv. Monde industr. et soc.", стр. 264—265.

[2]) Там же, стр. 266.

Фурье считает нужным подчеркнуть, что гастрономия может сыграть вышеуказанную роль при двух условиях: „1) когда она будет влиять непосредственно на производительные операции, тесно связанные с земледельческой культурой, и, посредством процессов приготовления пищи, привлекать людей с утонченным вкусом к работам в поле и кухне; и 2) когда она будет содействовать благосостоянию рабочей массы, т.-е. даст народу возможность участвовать в тонкостях питания, которыми в современном строе пользуются только праздные классы“ [1]).

Из приведенных немногих строк мы видим, на какую широкую и реальную основу наш автор ставит рассматриваемый вопрос. Утончение материального вкуса, а именно вкуса в области пищи, одежды, предметов обстановки и удовольствий должно стать одним из главных стимулов улучшения производства и в то же время содействовать утончению вкуса во всех отраслях духовной жизни человека. Но все это возможно при том условии, чтобы гастрономия стала достоянием широких трудовых масс; пока она остается привилегией богатых и праздных, она будет давать не положительные, а отрицательные результаты, она будет не добродетелью, а пороком.

В „Теории четырех движений“ Фурье, хотя и вскользь, указывает на отрицательное влияние духа коммерции на французский театр и свободные профессии, которые прониклись торгашеским духом и следуют в своей деятельности методам торговли и спекуляции.

Заметим, наконец, что с рассматриваемой нами точки зрения большой интерес представляет та постановка, которую Фурье дает вопросам любви и брака, воспитания и просвещения. Но это слишком крупные вопросы, чтобы о них говорить мимоходом, и мы их сделаем предметом следующей статьи.

Арк. А—н.

---

[1]) „Nouv. Monde ind. et soc.“, стр. 264.

„Писатели об искусстве и о себе“.

В старое время был хороший обычай; люди разных взглядов и стремлений, следовательно и разных методов строения жизни, избегали выступать в печати под одной обложкой, дабы читатель легче и вернее мог решить,—кто этот писатель, какова его жизненная задача, где проходят его путн-дороги и с кем он по ним идет. Русский читатель, раскрывая различные литературные художественно-критические сборники и альманахи, нередко задумываясь над творчеством писателя, мысленно спрашивал его: „скажи, кто твои друзья, и я скажу, кто ты“. В старое время каждый посматривал, кто с ним рядом.

Теперь не так. Все печатаются во всех журналах, не справляясь о своих соседях и даже, с толстовским непротивлением злу, мирясь с тем, что сосед по журналу начинает наносить удары по обоим щекам. Особенно ярко это сказывается в области художественной литературы и критики.

Такое впечатление производит недавно вышедший сборник „Писатели об искусстве и о себе“. Люди, хотя и из одной семьи, но самых различных литературных понятий и вкусов, встали вряд вапоказ,—но встали не по росту и глядят врозь. Одна шеренга, но кривая: по разным предметам равняются. Каждый из них спешно, иногда с самовлюбленностью, иногда со смирением, что паче гордости, на перебой друг перед другом рассказывают, кто и во что верует.

И в этом шуме не сразу разберешь, кто с кем собирается драться. обниматься, или же, по старинному русскому обычаю, собирается проделать то и другое сразу.

Был в русской литературной среде и другой добрый обычай: на сборники одного направления выступать со сборниками другого направления. „Проблемы идеализма“ вызвали появление „Очерков реалистического мировоззрения“,—литературно-художественные альманахи упадочного настроения, после поражения революции 1905 года, породили „Литературный распад“, не остались без ответа кадетские „Вехи“ и т. д.

Разбираемый нами сборник должен был бы быть встречен с самым резким отпором со стороны критиков-марксистов, отпором не в

одиночку, а целым фронтом, чтобы сразу же пресечь попытку прорыва идеологического фронта со стороны Замятиных, Никитиных, Пильняков и других. Тем более, что за сборником с пометкой № 1, очевидно будет сборник второй и третий...

Покуда же выстраивается единый марксистский фронт, а выстраивается он медленно и лениво, мы попытаемся, насколько позволяет характер журнала и места в нем, разобраться в исповедях наших „попутчиков".

———

Мы не будем говорить о каждом авторе в отдельности, что вызвало бы повторения, да в представленном море противоречий и не сразу найдешь начало и конец „веры" того или иного писателя из заколдованного „круга". Мы попытаемся выяснить общую идеологическую позицию, направление всего сборника.

Читатель, конечно, сам понимает, что ничего марксистского в этом сборнике нет. За это со всей убедительностью говорят марка издательства и имена авторов.

Люди разных взглядов сошлись и образовали замкнутый круг. Это не случайность. Сошлись они не только для того, чтобы печататься, но чтобы и защищать то старое, общее им, что не изжито ими и до сего дня.

Прежде всего многие из них боятся идеологии, разумеется, главным образом марксистской. Они приходят в ужас и негодование, когда революционная современность, диктатура пролетариата с непреклонной настойчивостью не в первый раз ставит вопрос о том, чтобы писатель был гражданин.

В этом вопросе главным спорщиком является Н. Никитин. Привстав на цыпочки, вытянув шею, чтобы слышнее было, больше всех, до хрипоты, старается он,—и не в первый раз. Его мысли действительно вредны, без всякой иронии, как это он делает в заголовке своей статьи,—его мысли совершенно чужды пролетариату. Никитин „хочет быть в рабочем классе, но он хочет быть и „еретиком", ибо без этого, по его понятиям, не мыслится искусство, как один из „абсолютов свободы". Чтобы быть с пролетариатом, одного желания недостаточно, в первую очередь надо перестать быть „еретиком", даже и в ковычках.

Никитин как будто бы понимает вместе с А. Толстым, что „искусства, как вещи самодельной — нет... и мы любим Пушкина за то, что он дает нам возможность видеть в самом себе большого человека и любить его". Он как будто бы сознает, что литература и критика—не абсолюты, а развиваются и приобретают свой характер и направление в зависимости от эпохи, от ее условий и классовых отношений.—Теперь, как говорит один из авторов сборника, нет ни бога, ни черта, которые направляли бы человеческие судьбы. А между тем он негодует, да еще как, что русская литература „свихну-

лась на учительности", а критика не только современная, но и прежняя „к каждой строчке русского писателя прикладывает социальный амперметр". В этом он видит—„тянут за шиворот".

Смутно чувствуя, а в наши дни этого нельзя не чувствовать, что „бытие определяет сознание", и даже заикаясь об „острой социальности момента", который требует быть не только поэтом, но и гражданином, Никитин не понял, что вся „учительность" русской литературы и критики—Гоголь, Толстой, Достоевский, Белинский, Чернышевский—обусловливается русским бытием, „остротой социального момента", момента, тянувшегося на протяжении всей романовской монархии.

„Тянут за шиворот"... Если Никитин когда-либо читал, и притом внимательно, Плеханова, то он должен был бы заметить и твердо запомнить одно из основных положений Плеханова, а следовательно, и современной марксистской критики, что марксизм никаких предписаний художнику не дает, тем ему не навязывает; критик-марксист, анализируя художественное произведение, выясняет его классовый и общественный характер, ставит писателя на его надлежащее место, не на то, на которое он претендует, а которое обусловливается классовыми тенденциями его творчества. Марксист-критик, как общественник и гражданин-революционер, в конечном итоге ставит вопрос, с кем идет писатель,—с пролетариатом или его врагами. Решение этого вопроса в значительной степени окрашивает отношение к писателю.

Если голос марксистской критики создает настроение, что „тянут за шиворот", то в этом ничего плохого нет. Всякий, ведь, понимает, что мы не даем готовых тем, не предлагаем готовых форм и даже не подкладываем материала для творчества. Кто думает, что мы марксисты требуем обязательно поносить контр-революцию и воспевать советский аппарат и вообще писать агитки, тот жестоко ошибается, или лжет. Мы прекрасно знаем, что наша противоречивая эпоха создает противоречивую литературу, представители которой объединились в данном сборнике. Мы хотим видеть „Большого Человека" нашей эпохи, но его нам не показывают, не дают, и если настойчивый голос критика-марксиста „тянет за шиворот" найти этого „Человека", то, право же, это не так плохо и скверно, как хочет представить дело Никитин,—никакого насилия тут нет. Подобные разговоры чепуха, выдумка, плод индивидуалистических мещанских настроений, отголосок архибуржуазных теорий о свободе воли. Нельзя же воспитание рассматривать, как насилие.

Художник может писать о чем-угодно, лишь бы он мог найти „Большого Человека" и как угодно, лишь бы это было понятно другим. Но чтобы найти „Человека", он должен настроить себя, идеологически и психологически, созвучно переживаемой пролетарской эпохе, вытесняя все то, что мешает этому созвучию, а без него нельзя не только искать, творить, но и просто жить.

Никитин уверяет, что „никогда и никому не следует беспокоиться,—что художник всегда будет верен передовому в своей эпохе, не продаст и не предаст его". Так ли? История русской литературы говорит иное. Разве мы не помним „Бесов" Достоевского, или мы забыли, как Горький в „Исповеди" заменил пролетариат народом-богоносцем. Позвольте в данном вопросе на слово не полагаться. Мы, марксисты, вообще ценим не по словам, а по делам. И бытие нашего времени требует, чтобы каждый человек, в том числе и писатель, был прежде всего гражданин в высоком смысле этого слова, как, например, понимал его Белинский в своем знаменитом письме к Гоголю. И дело уже художника, вслушаться ли в предостерегающий голос критики и свернуть с ложной дороги, или же итти по старому пути, пока не остановит сама история.

Никитин, например, боится, как бы художник не стал „общественным сейсмографом", потому что у искусства есть „свое ухо", „своя игра, только ему присущая". Мы, наоборот, полагаем, что художник, в особенности большой художник, поскольку у него есть свое, особенно чуткое ухо, не может не отразить общественного толчка и сдвига. Он сейсмограф. В этом его общественная сила, как художника. И если мы, анализируя кривые толчков и сдвигов, воплощенных в различных положениях героев повестей, рассказов и романов, справляемся с паспортом писателя, с его трудкнижкой, то мы просто следуем научному методу академика Павлова и всех тех, кто занимается психоанализом. Мы, марксисты, должны знать, откуда художник пришел, куда он идет, что творит и почему так, а не иначе творит.

Исчерпав все доводы в защиту того, что писатель может и не быть гражданином (читай: не должен быть), Никитин заявляет: „надо уметь выступать политически, но не впутывать политграмоту в искусство". Краткое разъяснение: политграмоту не следует смешивать с политикой; грамотный рабочий давно различает это. А теперь по существу. Самая постановка вопроса возможна только у людей, которые живут так сказать на два фронта: общественный и личный. Для тех же людей и в особенности целого класса и притом такого, как пролетариат, когда личное растворяется в общественном, и оба начала слитно выступают в едином целом, никитинская постановка вопроса свидетельствует о дуализме бытия и мышления, вскрывает затаенную мысль, что гражданство мешает личной жизни и творчеству, оно связывает и висит над писателем, как дамоклов меч, напоминающий о долге.

Основной спор о „верах" Никитин предлагает заменить разговорами о морфологии, синтаксисе, фонетике. О всем этом следует и надо говорить, но спрятаться за эти вопросы нельзя. Основной вопрос об идеологии и гражданстве писателя долго еще не сойдет со страниц наших изданий. Он будет разрешен не в полемических статьях, а под ударами истории, ударами жестокими, и мы твердо

убеждены, что будет разрешен в указанном нами направлении: писатель будет гражданином, и это не только помешает его творчеству и художественности его созданий, но, наоборот, поможет художественному росту, размаху, созвучию с эпохой и, следовательно, общезначительности.

Многие из авторов сборника ретиво повторяют: „напрасно думают ретивые риторы, что они—пастухи, а мы стадо. Мы знаем с кем и как итти, ибо мы думаем об искусстве“. Фет много думал об искусстве, но с кем он шел? Белинский, столь нами, марксистами, любимый и чтимый, что, тов. Троцкий признает его достойным быть членом политбюро, тоже много думал об искусстве, но всегда ли он шел верной дорогой? Нельзя же пустяками отделываться, где требуются серьезнейшие аргументы, и свысока, хотя бы и художественного, насмехаться и издеваться над читателем.

А вот Ив. Касаткин рассуждает иначе. Он тоже защищает писателей от критиков-марксистов, но он сознает и доказывает, что писатели—стадо и нуждаются в добром рачительном хозяине. Он пишет: „пора бы знать, что литературные табуны сегодня пасутся на новых, необследованных пастбищах, где еще требуется прочистка трав от белены и ядовитого лопуха... В табунах же, бок-о-бок с матерыми жеребцами тавра прежних заводов, припущен приплод-молодняк, требующий долгого выхаживания да выезживания, умелой и терпеливой выучки насчет понятий об оглоблях и упряжи,—с молодятиной не оберешься хлопотни, прежде чем пуститься на ней с развеселым посвистом в путь“... Что же? Это хорошие слова. Жаль, что они не всегда с одинаковой твердостью произносятся. Оказывается, одних дум об искусстве недостаточно, критик должен этот табун молодняка воспитывать, учить, как белену и ядовитый лопух отличить от клевера, что такое оглобли и упряжь и как пользоваться ими, чтобы не только взлягивать в табуне, но и служить человечеству. Многих бросает в озноб и жар, у некоторых глаза на лоб лезут... вот, вот нас хотят ввести в оглобли, конец искусству, погибла красота, конец миру... Но, ведь, Касаткин прав, тысячу, десять тысяч раз прав, когда говорит об упряжи и оглоблях, разумея под ними определенную идеологию, созвучную нашей красочной многрагранной эпохе, понятия о чем часто нехватает современному писателю.

А вот и А. Соболь настаивает, что писатели „до сих пор еще не удосужились твердо и четко сказать, что в наше время, когда от одного конца земного шара до другого мир содрогается в судорогах рождения нового строя, когда намечается водораздел человечества на веки вечные, писатель не может, не смеет быть аполитичным“ (курсив наш *В. И.*).

Другим языком начал говорить и В. Лидин. Он утверждает, что современная русская проза, поскольку она бессознательно созвучна эпохе, „обрела огромные недостатки“.„В ней, нет того зерна, которое могло бы прорасти в подлинную большую литературу“. В ней

„нет—како веруешь, нет авторского утверждения, или порицания". „Автор в стороне (далеко не всегда,—добавим мы), он словно только показывает (в роде Замятина в Петербургском сборнике – напомним мы), осуждения или похвалы боится: боится, потому что сам еще ни в чем не разобрался и сам не знает, на каком материке он стоит". Прав Лидин. Слова его должны быть прежде всего обращены к наивному Никитину, очень бойкому, но не всегда сведущему.

Материк обязательно найти нужно. Однако, этого мало. На материке надо быть гражданином и в наше время с определенным и твердым мировоззрением, новый мир рождается в муках; и тогда писатель сможет сказать: вот моя вера. „Творческий императив — совесть и вера писателя — без этого, как говорит Лидин, литература пуста, безжизненна, не убеждает". Превосходно сказано: четко и решительно. Сумейте воплотить это в жизнь, а творческий императив извольте получить у пролетариата, как сегодняшнего хозяина жизни.

Никитин, — мы часто цитируем его потому, что он, благодаря своему драчливому темпераменту и молодости, откровеннее пишет,— так вот он утверждает, „что художник может слушать и слушает революцию только вольно". Он прав, конечно, на счет своего „вольно", но мы, ведь, говорим о другом, мы указываем, что большой художник эпохи не слушает революцию, а участвует в ней, живет ею, не как наблюдатель, а как борец в рядах революционного пролетариата, как строитель по планам, созданным рабочим классом, интересы которого совпадают с интересами всего человечества и т. д. Мало слушать революцию, надо действовать, чтобы не быть обывателем, мещанином в этот невиданный в истории героический момент.

Несмотря на то, что Касаткин, Соболь и Лидин—братья по перу, так крепко зажали Никитина, они вместе полны страха, перед „гувернерством" классовой критики, предпочитающей больше говорить о содержании творчества и менее о форме.

Современный писатель, как видит читатель, блуждает, мятется, ищет путей. Он откровенно заявляет, что созданное за это время— „ненужная эпохе пыль" (Никитин). Пусть даже прекрасная, во всетаки пыль. Выхвачены „острые минуты, события, случаи, клочки жизни, но целого не видно", а „новые типы, кто пылал на кострах революции,—все они ждут воплощения". „Вон там—руки, вон—глаз, вон—мелькнул обрывок одежды. Но целого человека нет" (А. Толстой). Многие „копались в мелочах, когда жизнь кругом утверждалась на гибели мелочей". „Обсасывали вещи—порой очень талантливо, гурмански, с полным пониманием прелести всех вкусовых ощущений, но все-же только вещи, — в то время, как вокруг нас, рядом с нами вставал, жил, утверждался, боролся человек" (Соболь).

Такой плачевный итог по словам авторов сборника — результат того, что преобладает „эстетическое ощущение искусства", есть на-

людения, но нет созидания, нет синтеза, — идет лишь „слепая и чень зигзагообразная прощупь путей и подступов к уловлению но-ого человека, творящего жизнь",—писатель „не овладел ни мерой и весом, ни объемом" и занимается „пустым коллекционированием густых разрозненных фактов", „голым перечислением голых фактов".

Искреннее признание, но тяжелое, печальное, — печальное не олько для художника, но и для всякого строителя новой жизни. Писатель не кладет своего камня, не помогает, он еще целиком во власти „дурной наследственности индивидуалистической близорукости", тогда как, чтобы „дать закругленный художественный анализ и синтез общему подъему, ходу, огненному кипению величайшей революции, и не менее величайшей, свирепой, раздавленной с нечеловеческими усилиями, контр-революции", „требуется" граничащий гением талант, во всеоружии всяческого опыта, глубоких знаний, молниеносной интуиции"... Но наша беда в том, что гения у нас нет, сть талантливые, но не граничащие с гением. И, к сожалению, они е имеют нужных знаний, и у них нет ни опыта, ни интуиции для осприятия эпохи. Их идеология, их психика, как выходцев из мелкобуржуазной среды, не в состоянии понять глубокой сущности поха, они легко скользят по поверхности, останавливаясь на мелких, разрозненных явлениях по преимуществу с внешней стороны. И все то оттого, что художник только слушает революцию, но не участвует в ней, а те, которые участвуют, не имеют за собой нужной литературно-художественной культуры. Творя, они учатся. Выучатся и, несомненно, придут на смену „попутчикам", хотя их удельный вес и больше, как думают некоторые, занимаясь меценатством и не делая строгих подсчетов завоеваниям рабоче-крестьянской литературы а годы революции.

Беспомощность отобразить нашу жизнь заставляет писателей, даже талантливых, как, например, Замятин, искать „самых последних, самых страшных, самых бесстрашных „зачем" и „дальше". Но как идти „дальше", когда неопознаво, не прочувствованно сегодняшнее, не маленькое, ни нестоющее внимания, как думает Замятин, а большое, грандиозное, мировое, превосходящее мачтовые, аэропланные, философские кругозоры Замятина, не выходящие из рамок уездного кругозора, мещанского, глубоко антипролетарского. Надо сбросить с себя ветхие одежды, чтобы участвовать в новом строительстве, иначе старый дух мещанства, индивидуализма, пассеизма отравляет новое, свежее, молодое. Кто сумеет себя перевоспитать, тот и сможет участвовать в новой жизни. В противном случае судьба готовит нудное прозябание, бестолковое топтание на месте, обрекает на бесплодное прозябание и увядание, на ненужность в жизни. И, дело ясное, в таком случае не дашь искусства „честного, деловитого, великого духом, грандиозного, строгого и простого, как купол неба над безкрайней степью" (А. Толстой). Все выверты современников — от их художественной узости, от непонимания происходящего. Напрасно они си-

лятся пленить читателя жонглерством форм и слов и обмануть его, выдавая блестящие стекляшки за настоящие камни.

При таком положении критика, или, как выражаются авторы сборника, „гувернеры", не бесполезны. Особенно, когда эти „гувернеры",—критики,—марксисты,—коммунисты. Ведь они не „слушают" революцию со стороны, вольно, а ее творят и творят долгие годы. У них есть нужный опыт и знания, и не стыдитесь, писатели, (ложное самолюбие) прислушаться к их голосу. То, что продиктовано у них раздражением—отбросьте, а существо впитайте в себя. Помните, что это раздражение отчасти питалось и вашими ошибками, вашим неприятием пролетарской революции, вашим глубоким непониманием ее. Если хотите, Белинский был „гувернер", когда превращал в пыль Гоголя, а разве не были „гувернерами" Чернышевский и Добролюбов? Разве они не руководили общественным мнением и не направляли его? Не употребляйте слова „гувернер" в мещанском смысле. Но вы скажете, теперь нет Белинских и Чернышевских. Но, ведь, нет и Толстых с Тургеневым. В будущем история установит роль современной марксистской критики. Когда то Тургенев считал Добролюбова неотесанным, необразованным мальчишкой, который по своему невежеству нападает на таланты, а история установила, что Добролюбов стал Добролюбовым, мимо которого в истории русской мысли пройти нельзя. Скромно думаем, что и марксистская критика дала не мало ценных указаний писателю (его дело принять их или отбросить), и многие из них уже входят постепенно и незаметно в плоть и кровь, хотя бы, например, отрицание аполитичности искусства. Не все еще это признали, но уже признают и пишут об этом. И только такие, затвердевшие в своих классовых предрассудках, как Пильняк, нудно повторяют, что писатель должен быть „абсолютно объективен", что он не должен „насиловать литературный дар", т.-е. пусть попрежнему беспомощно барахтается в современности. Мы это вскрываем, показываем читателю, чтобы он знал, с кем он имеет дело, но „гувернерством", в понимании авторов сборника, мы не занимались и не можем заниматься. К тому же таких людей, как Замятин и Пильняк, десять гувернеров не исправят, слишком крепко их классовое мелко-буржуазное нутро.

Мы вправе были ожидать от нашей литературы больших достижений, но оказалось, что все гордые короли от литературы ходят в лохмотьях или просто голыми, как констатирует один из участников сборника. Современный переворот, пролетарское миростроение не понятно, не по плечу художнику из рядов мелкой буржуазии.

К. Маркс в предисловии к „Критике политической экономии" писал: „при рассмотрении таких (социальных—*В. П.*) революций следует всегда иметь в виду разницу между материальным переворотом в экономических условиях производства, который можно определить

с естественно-научной точностью, и политическими, юридическими, религиозными, художественными или философскими, словом, идеологическими формами, в которых люди воспринимают в своем сознании этот конфликт и во имя которых борются. Как нельзя судить об отдельном человеке потому, что он о себе думает, точно также нельзя судить о такой революционной эпохе по ее сознанию, скорее это сознание следует объяснить из противоречий материальной жизни, из существующего конфликта между общественными производительными силами и производственными отношениями".

Это классическое замечание К. Маркса дает нам возможность разобраться и выяснить положение дела,—почему так бедна наша литература и почему писатель обливается потом, когда выступает марксистская критика. Сознание нашей эпохи глубоко противоречиво, даже в рядах Р.К.П., на-ряду со строго классовой точкой зрения, уживаются элементы грубой буржуазности пошлого мещанства. Это положение будет наблюдаться и в других странах, у нас же, в С.С.С.Р., благодаря особенным и ненормальным условиям культурного развития широких масс, оно особенно ярко и выпукло выпячивается, принимая временами сказочный, невероятный характер.

Вот Касаткин, рассказывая о восстании крестьян где то на Ветлуге, указывает, как „до всех уважительный" великан—красавец—царь Иван Терентьевич, это звание возложили на него бородатые повстанцы,... „теперь в родном селе мирно торгует горшками, для вящего привлечения баб вызванивания по горшечным краям кнутовищем"... Эта поэма требует не только пера „Капитанской дочки", но и глубокого классового анализа, она говорит о величайшей путанице в человеческих отношениях в период гражданской войны, когда восстали сын на отца, брат на брата.

Во всех этих противоречиях без классового анализа, только чутьем, трудно найти выход, трудно отыскать коренное, основное, новое, ту жемчужину, которую так часто топтали наши писатели, топтали частью сознательно, а частью не замечая ее, благодаря своей классовой слепоте. Сложную противоречивую действительность, хаотичную и грандиозную, пришлось отражать людям близоруким, воспевающим дальтонизм, своими основными корнями ушедшими в прошлое, а боковыми, скользящими на поверхности. Людям, благодаря своему классовому положению, как мелкой буржуазии, насквозь пропитанным противоречиями, колеблющимися, шатающимися между двумя воюющими лагерями—людям, не знающим, где преклонить свою голову. Не случайно и то, что за последнее время некоторые из них, одиночки, начинают льнуть к пролетариату. Мелкая буржуазия, склонна задерживаться на стороне победителей. Поскольку крепнет пролетарская победа, постольку она в лице писателей—„попутчиков", начинает прилаживаться к пролетариату. Эта тенденция давно установлена, установлена еще К. Марксом. И вот этим людям, с противоречивым положением в обществе, с противоречивой идеологией и

психологией пришлось отражать противоречивость нашего времени. Поистине грандиозная и непосильная задача, особенно для тех, кто еще рядится в свои прежние одежды.

Более или менее сносно эту задачу может разрешить пролетарская литература, в которой также есть указанные болезни, но с другой окраской и в меньшей степени. К тому же их творчество контролируется если не ясным классовым сознанием, то твердым классовым инстинктом.

Писатели—„попутчики" (некоторые из них, впрочем, весьма сомнительные попутчики) прекрасно поступили, выпустив указанный сборник. Они подвели итог, из которого видно, что некоторые из них кое-что приняли от современности и... „гувернеров". Главное же они увидели, что созданное ими только пыль, хотя и прекрасная, но все же пыль; осознали, что у них нет лакмусовой бумажки, чтобы отличать кислоту от щелочи,—нет крепкого цемента, чтобы скреплять наблюдаемое,—нет нужных очков, чтобы нейтрализовать близорукость и уметь видеть дальше своего носа, уметь различать среди кричащего и яркого, может-быть, мало заметное, но основное.

Нам хотелось бы, чтобы за сознанием своей беспомощности, за покаянным настроением наступил перелом в характере их творчества, чтобы их болезнь была не роковым недугом, а болезнью их роста и расцвета, хотя бы в тех пределах, что могут дать накопленные ими жизненные соки,—в тех пределах, что отвела им беспристрастная и неумолимая история, которая, разрушая одно, творит другое, новое.

Но все это ни в какой степени не снимает с нас обязанности вести непреклонную борьбу с теми из указанных писателей, которые еще живут затхлым прошлым и очевидно им будут жить до тех пор, покуда, выражаясь словами К. Маркса, „общественные производительные силы и производственные отношения" не будут в полном соответствии, когда сознание не будет целиком отражать производственных отношений.

Валерьян Полянский.

О гносеологической экскурсии проф. Синицына.

> „Ни одному из этих профессоров, способных давать самые ценные работы в специальных областях химии, истории, физики, нельзя верить ни в едином слове, раз речь заходит о философии"...
>
> Н. Ленин. Материализм и эмпириокритицизм.

Д. Ф. Синицын—профессор серьезный, почтенный. Его работы по биологии заслуживают одобрения и поощрения. Нашей студенческой молодежи есть чему поучиться у проф. Синицына. Но проф. Синицын не хочет ограничиться биологическими исследованиями, он печатает „Этюды по теории биологического детерминизма" [1], в которых совершает длительную и самоуверенную экскурсию в область гносеологии, и вот эта-то экскурсия приводит (увы!) к очень печальным (это бы еще ничего) и реакционным (вот что скверно!) выводам.

Передо мною этюд „Вечные цепи", первая глава которого „Принципы и Метод" посвящена гносеологическим проблемам. Начинается она с попытки установить отличие научного мышления от обычного и видит его в том, что научное мышление более внимательно к законам логики и более разборчиво в употреблении слов-понятий. Всякий автор научного исследования должен поэтому дать точное определение употребляемых им слов-понятий, а для этого необходимо, чтобы понятия заключали в себе определенное содержание и касались существенных сторон определяемого. Впрочем, требованием можно назвать лишь первое, второе же—только пожеланием. Общих норм для выбора существенных сторон определяемого не существует и не может существовать. Необходимо только, чтобы выбор „существенного" соответствовал принципам, которым верит автор. Каждое определение должно обязательно строиться на системе „трех гносеологических координат", т. е. определять форму, функцию и происхождение. Понятия-определители, в свою очередь, должны быть построены на „системе

[1]) „Записки Белорусского Государственного Института сельского хозяйства", выпуск 2. Минск. 1924.

трех координат" и т. д. вплоть до последних, условно-неопределимых, координат: пространства, времени и материи (у Синицына—с прописной буквы). Впрочем, профессор очень либерален: „Это не исключает возможности существования и других условно-неопределимых понятий, которые должны служить конечными гносеологическими координатами; здесь каждому предоставляется свободный выбор в соответствии с тем, чему он верит" (стр. 62). Однако, число их во всяком случае не должно быть меньше трех. Далее говорится о том, что понятие материи гносеологически равноценно с понятием времени и пространства, что движение есть самое общее понятие, определяемое непосредственно тремя вышеуказанными, что „вечность, бесконечность, дух, абсолютный покой,—мы рассматриваем как мнимые или фиктивные понятия, искусственно полученные из понятий времени, пространства, материи и движения, взятых с отрицательным знаком" (стр. 63). Есть в этой главе и критика понятия энергии, которым пытались Оствальд-Дастро заменить понятия материи, есть и учение об аналогии, как орудии мышления и границах ее применения. Есть, наконец, и параграф, опревергающий телеологию в пользу каузальности (до общественных явлений включительно). Изложение всех этих проблем глубоко формалистично и превращает гносеологический анализ в игру с выхолощенными метафизическими понятиями, в пустые конструкции из дефиниций. Но все это однако терпимо и не заслуживало бы специального рассмотрения на страницах нашего журнала, если бы не реакционно фидеистические заключения, откровенно провозглашаемые в той же главе проф. Синицыным.

„Пространство, время и материя, читаем мы, являются естественными границами наших исследований, так как наши органы, в том числе нервная система и органы чувств, сжаты в тиски этих трех категорий" (стр. 62). „Мы мыслим в пределах трех координат и мыслить иначе не можем" (стр. 63). Здесь уместно было рассказать читателю (в полном соответствии с биологическими воззрениями Синицына) о том, как означенные свойства наших органов и нервной системы объясняются биологической эволюцией и естественным отбором, как вымер бы человек, если бы его органы чувств не отличались этими формами восприятия, соответствующими формам существования объективно-реального мира. Но увлеченный „гносеологическим анализом" профессор биологии забывает обо всем этом и его научное грехопадение совершается на столь благодарном для биолога месте. „Время, пространство и материя имеют очень ограниченное распространение: они только там, где есть место для интеллекта, и существуют ровно столько времени, сколько существует интеллект" (64). Так окончился пир наш бедою... Профессор Синицын для того только боролся с энергетизмом в защиту материализма, чтобы и материю вместе с остальными координатами превратить в субъективную категорию, в форму сознания. „А материалом для интеллекта служат только ощущения, получаемые от органов чувств". (Вы хотите сказать, при по-

средстве, через органы чувств? верно ли я понимаю ваше выражение „посредственно или непосредственно воздействовать на наши органы чувств“?) Так, легким росчерком пера, не мудрствуя лукаво, без всяких сомнений и обсуждений провозглашает Д. Ф. Синицын трансцендентальный идеализм. Что для него тот омут неразрешимых противоречий, к которому приводит эта точка зрения, что для него многотомная критика этой дуалистической по существу концепции? Профессору Синицыну все ясно и понятно. И то, откуда получают наши органы чувств свои ощущения, и что остается от ощущений, если лишить их пространственности, временности и материальности, и соответствует ли трансцендентализм данным психологии, филологии и доистории... Возвестив трансцендентализм путем отрыва субъекта от объекта восприятия, он беззаботно замечает двумя страницами ниже, что „мысль, отторгнутая от действительности попадает в метафизический тупик, из которого ей не выбраться“ (стр. 66). В одной и той же статье прекрасно совмещается отрицание внеинтеллектуального пространства, времени и материи с утверждением: „мы отрицаем возможность появления общества каким-либо другим путем, кроме того, который является обязательным для всего мира, заключенного в пределах материи, пространства и времени“ (стр. 106—107). Ну как не согласиться после этого с проф. Синицыным, что он „не искушен в тонкостях (понятие очень растяжимое. Б. Б.) гносеологического анализа“ (стр. 69). Жаль, что из этого справедливого замечания наш профессор не сделал практических выводов.

Впрочем, было бы несправедливо назвать Д. Ф. Синицына дуалистом трансцендентально-идеалистического толка. Наш гносеолог очень быстро забывает о данных органов чувств и в дальнейших „рассуждениях“ не выходит за пределы человеческой головы, т.-е. трансформируется в субъективного идеалиста. „Высказывая ту или другую истину или,—что то же, определяя какое-нибудь понятие или суждение, как истинное, мы, в сущности говоря, совершаем только собственную оценку данной вещи, т. е. определяем отношение ее к нашему собственному идейному содержанию. Отсюда прежде всего следует, что истина есть понятие не статическое, а динамическое, целиком лежащее в сфере нашей душевной и интеллектуальной деятельности. В мире по ту сторону нашего „Я“ нет ничего соответствующего нашему понятию истина. Истина есть то, чему мы верим“ (стр. 66). То, что истина есть понятие, и как всякое понятие лежит в сфере нашей интеллектуальной деятельности, не подлежит сомнению так же, как и то, что вне „Я“, вне сознаний мыслящих существ „в мире нет ничего соответствующего понятию истина“. (Курсив мой.) Весь вопрос в том, выражением чего служит термин истина: определяется ли им отношение восприятия (представления, понятия) к объекту восприятия (как утверждаем мы, материалисты) или „отношение ее (его, понятия? Непонятно откуда у Сини-

цина появилась „вещь“) к нашему собственному идейному содержанию“ (как говорят субъективные идеалисты). То, что „истина“ есть содержание познания, как видит читатель, совсем не „отсюда следует“. Весь вопрос в том, есть ли истина соответствие понятий между собой, следовательно, не выходит из пределов формальной логики, или соответствие понятий с их реально сущими объектами, с вещами. Настоящая наука (в том числе и биология) стремится к истинам второго года, ибо только в этом случае она служит на пользу человеку. Критерием истины является соответствие ее действительности. Субъективный критерий равноценен отсутствию всякого критерия истины. С вашей, гр. Синицын, точки зрения, имеет право на существование и наименование „истинного всякий, формально-логически последовательный вымысел; равно истинен диаметрально-противоположный вздор, если он не грешит против силлогизма. Неужели вы это всерьез? Что ж, занимайтесь, если угодно логическими (логическими ли?) бирюльками. Нам с вами не по пути: нам надо дело делать, общество перестраивать, сельское хозяйство интенсифицировать, людей лечить (материальных, временных, пространственных), а для этого надо их изучать, идти по пути приближения наших понятий к адэкватному восприятию объектов изучения. Все это не ново, как не новы и ваши субъективно-идеалистические сентенции, тысячи раз опровергнутые. То, что можно было писать в 17—18 столетии, нельзя, без риска подвергнуться осмеянию, повторять в 20-м. Попытались бы вы хоть слегка коснуться той груды опровержений, которая нагромождена на развалинах ваших воззрений! А невежество, как известно, не есть довод. Конечно, оставаясь в рамках формальной логики, никогда не докажете существования „нечто“ за пределами „Я“, того „нечто“, которое придает принудительность нашим понятиям, в том числе и „истине“. Но вы же сами пишете, что мысль, отторгнутая от действительности, попадает в метафизический тупик, из которого ей не выбраться. И если хотите из этого тупика выбраться, взгляните на себя как на часть этой действительности, действующего в пределах действительности (именно действующего, а не только мыслящего, так как интеллектуализм есть лишь вздорная психология профессоров психологии). Поймите, что человеческая практика, предвидение, все достижения культуры и, наконец, самый факт вашего существования являются критерием истинности, т.-е. соответствия наших представлений объективной реальности. Впрочем, для того, чтобы доказать противоположное, необходимо опровергнуть все то, что писали по этому поводу Маркс и Энгельс, Плеханов, Ленин, Деборин и другие материалисты. Когда вы попробуете их опровергать (а их еще никто не опровергнул), тогда мы с вами поспорим. А пока вы этого не сделали, советую на их работах поучиться, если хотите заняться философией. Да, мы „разрубаем Гордиев узел“ гносеологической проблемы критерием человеческой практики, и от этого не увильнешь при помощи qui pro quo вроде сле-

дующего: „Если мы отказываемся признать существование „нечто",— а на это мы имеем право, так как мы в него не верим,—то их определение, за этим вычетом, получает форму тавтологии—„истина есть то, что мы считаем истиной" (стр. 67). Не правда ли, прекрасен „этот вычет"? Но, ведь, „за этим вычетом", т.-е. за вычетом объективного мира, мы оказываемся на вашей, гр. Сиңицын, точке зрения, и справедливая оценка формулы „истина есть то, что мы считаем истиной" (курсив мой), как тавтологической, есть оценка вашего определения истины. Ведь, вы же сами на предыдущей странице курсивом проповедывали эту тавтологию! „А на это мы имеем право, так как мы в него не верим". Позвольте, как же так, ведь, право считать истинным все, во что вы верите, вы получите, лишь доказав, что нет этого „нечто", лежащего в основе понятий и являющегося их критерием? Это уж „не истинно", даже с вашей точки зрения, так как противоречит азбуке логики, где называется petitio principii. Нельзя же в одной фразе допускать две логические ошибки. Впрочем, вы, конечно, сами начинаете верить в существование „нечто", как только перестаете философствовать и начинаете заниматься по специальности и, уж конечно, в своей обыденной жизни.

Чтобы не оставлять сомнений в сокрушительности аргументов Сиңицына, приведем его заключительный довод: „Можно ли между первой и второй половиной нашей формулы поставить знак равенства. другими словами — исчерпывают ли друг-друга нацело понятие „истины" и понятие „того, чему мы верим"? (другими словами—абсолютна ли тавтология проф. Синицына. Б. Б.). Для того, чтобы ответить на этот вопрос, мы построим наше определение в следующих перифразах: „все то, во что мы верим, есть истина" и в отрицательной форме „все то, во что мы не верим, не есть истина". Проделанный нами эксперимент (!!) убеждает (!) нас в том, что между обеими половинами нашего суждения „истина есть то, чему мы верим" существует полное тождество... (конечно, конечно. Б. Б. Стр. 67). Неправда ли, между нашим глубокомысленным профессором и мольеровским врачем „существует полное тождество"?.. Разве после этого сокрушительного довода могут остаться какие-либо сомнения в том, что „истина есть то, во что мы верим"? В самом деле, если профессора, высланные нашим правительством (по. заслугам) за границу, на 7-м году существования рабоче крестьянской России продожают верить в ее близкую и неизбежную гибель, то разве из этого не следует, что близкая гибель Совроссии—„истина"? И стоит ли, после этого нам, большевикам, заниматься тщательным анализом социально-экономической действительности империалистических государств для того, чтобы установить их неизбежную гибель? Стоит ли напрягать все силы на организацию подготовки к свержению империализма, если достаточно „верить" в его гибель? Разница между нами и вами, гр. Синицын, что мы верим только тому, что необходимо истинно, а вы утверждаете, что необходимо истинно все то, чему вы верите.

Чтобы „лучше развить наше определение истины", Синицын считает необходимым исследование состояния интеллекта, называемого „верой". Оказывается, что „это есть сознаваемое повиновение или сознаваемое подчинение своего интеллекта. Но всякое повиновение или подчинение предполагает две стороны: приказывающую и повинующуюся. По рационалистической (!) формуле приказывающая сторона лежит за пределами сознания, а по-нашему, приказывающая сторона—это собственные наши ощущения (стоит ли говорить о том, откуда они происходят? Б. Б.), облеченные в форму суждений". Итак, в отличие от „рационалистической" точки зрения, полагающей причину принудительности восприятий вне сознания, проф. Синицын считает, что интеллект подчиняется нашим собственным „представлениям, облеченным в форму суждения". „С точки зрения развиваемых представлений, „свободное" состояние интеллекта немыслимо, так как он всегда должен находиться в подчинении какому-нибудь суждению" (68) [1]).

Вы недоумеваете, вы не знаете, чему же все-таки повинуется интеллект, который „не может быть свободным", так как представления, порожденные деятельностью интеллекта, никак принудительность этой деятельности не могут „объяснять". Но у нашего профессора „на все сомнения готов ответ": „Сознание есть явление актуальное, следовательно, представляет динамическое состояние интеллекта, в то время, как суждение есть выражение статистического состояния интеллекта в определенный момент его существования" (68). Казалось бы, что поэтому суждения, являющиеся моментами существования интеллекта, „повинуются" последнему, а не наоборот. Но дело, оказывается, в том, что „в тот момент, когда создается суждение, оно составляет неотделимое от сознания его содержание, но когда оно уже образовалось и запечатлелось в нервных элементах головного мозга, тогда оно уже существует независимо от сознания и, приходя время-от-времени с ним в соприкосновение, может тогда становиться приказывающей стороной (68). Так докатились мы до теории „отчуждения". Интеллект повинуется им самим порождаемым суждениям. Как бы то ни было, это повиновение больше похоже на самоповиновение.

„Всякое суждение, заключает Синицын,—выработано ли оно собственным или чужим интеллектом,—обязательно должно войти в сознание как истина... но только прибавим, покоряет себе интеллект то суждение, которое не встречает себе противодействия со стороны других суждений, раньше его вошедших в интеллект" (68). К такому выводу мы необходимо придем, оставаясь в схоластических

[1]) „Отсюда же, читаем мы, может быть выведено и так называемое „стремление" человека повиноваться: факт, всегда учитываемый умными родителями и мудрым правительством". И это пишется в эпоху социалистической революции, в эпоху величайшего в истории „неповиновения"! Что же, по-вашему, уважаемый профессор, революция противоречит человеческой природе? является патологическим явлением?

рамках самодовлеющей гносеологии, оторвав человека от всего мира, человеческую голову—от туловища, оперируя формалистическими схемами и конструкциями, не выходя из узких границ лишенного почвы и всех своих реальных связей интеллектуального механизма. В конечном счете, мы приходим к извечному первопротиворечию между материализмом и идеализмом. Для первого истина есть познание объекта соответствующее объекту познания; критерием является человеческая практика и самый факт существования человеческого сознания. Для идеалиста, напротив, самый объект есть проекция сознания; никакого критерия истинности у идеализма нет. „Истина есть объектированное выражение статистического состояния интеллекта, находящегося в данный момент в подчинении у определенного суждения“ (68). Истина есть для идеалиста соответствие идей между собой, а не идей с вещами. Спор здесь идет не о механизме образования суждений внутри человеческого сознания, а о коренном вопросе всей философии, об отношении объективного мира к человеческому сознанию. И в этом вопросе мы с проф. Синицыным стоим на разных точках зрения. Вывод „гносеологии“ Синицына превосходно формулировал Горьковский Лука: „Если веришь, значит, есть, а не веришь—нету“. Это обнаженно-фидеистическое „учение“ не только пытается взорвать почву под научным мышлением, отказываясь от критерия истинности, не только превращает науку в многозначную логическую эквилибристику, но—и в этом долгой речи краткий смысл—широко открывает дорогу религии, суеверию, мракобесию. Вот почему мы не можем пройти мимо гносеологических потуг проф. Синицына на страницах издающегося на государственные средства издания.

Б. Быховский.

ТРИБУНА.

О литературном наследстве Р. Люксембург.

I.

С появлением на книжном рынке за последние месяцы ряда работ Розы Люксембург можно и должно поставить вопрос об ее литературном наследстве.

Мы видим за последний год, как начинают выходить собрания сочинений Плеханова, Каутского. Предпринимается колоссальное по замыслу, объему, затратам издание сочинений русских критиков, писателей и публицистов.

Но мы не слышали нигде, чтобы кто-нибудь систематически и всерьез занялся подготовкой изданий теоретиков (Маркс, Энгельс, Ленин не в счет) революционного марксизма, как Люксембург, Меринг, (довоенный) Гэд.

Нас сейчас интересует только первая. Кто не знает, что Люксембург была вождем революционных элементов II Интернационала? Кому не известен тот факт, что она была одним из главных противников мильеранизма и жоресизма, что она была лидером всей кампании против Бернштейна [1]), т.-е. что она выступала как лидер литературной кампании против ревизионизма всех стран и разновидностей. А разве не она была тем первым зап.-европейским с-д. и марксистом, который, собрав и обобщив опыт 1-ой русской революции, учтя ее уроки с точки зрения революционного борца и мыслителя, стал во главе пропаганды и агитации их в рядах западно-европейского пролетариата? Именно Роза Люксембург выдвигает и защищает новые методы борьбы в 1905—1907 годы, вместе с Лениным вынуждая Штутгартский съезд II Интернационала встать формально на революционную позицию в борьбе с империализмом. Именно она становится в 1909—1913 г.г. вождем радикальных групп Германии, тщетно стремившихся увлечь с.-д. и профсоюзы на путь революционной, классово-непримиримой, а самое главное активной борьбы. Она открывает кампанию в Германии с началом

---

[1]) Ссылаемся, между прочим, на авторитетное заявление Д. Б. Рязанова: „Полемику“ (в „Лейпцигской Нар. газете“) против Бернштейна вела Р. Люксембург, *стоявшая во главе всей кампании против ревизионизма*“ (курсив мой. Плеханов, XI т. Сочин. Предисловие редактора, стр. 2).

войны и против шейдемановцев, и против Каутского, на $^3/_4$ является автором знаменитых писем Спартака. Наконец (за исключением печальной славы, посмертной сентябрьской брошюры), Люксембург вдохновляет немецких коммунаров в их первой великой борьбе — спартаковской неделе.

Я перечислил все это не для того, чтобы восхвалить Люксембург. Я эти факты привел просто для того, чтобы они сами сказали, какой богатый источник революционного опыта таится в литературном наследстве Люксембург для молодых коммунистов-марксистов.

Каждая ее брошюра и статья дает неизмеримо-ценный материал для изучения революционной классово-непримиримой тактики. Именно с точки зрения последней ее наследство нам сейчас более нужно и ценно, чем ряд сочинений Каутского, русских публицистов и проч.

Широкие круги комсомольской, рабфаковской и студенческой публики лишены почти всяких источников об эпохе последнего пятидесятилетия в области международного рабочего движения и социализма. Нет почти ни одного систематического учебника, мало-мальски серьезного, выдержанного сборника, хрестоматии. Материал сырой, огромный. На фоне такого положения вещей подготовка и выпуск собрания сочинений Люксембург представляет громадное значение для учащейся молодежи. В свете прошедших немецких событий, когда партийный молодняк более внимательно изучает прошлое и настоящее Германии, он будет вдвое ценнее.

II.

То, что вышло за последние месяцы, является только небольшой частью литературного наследства Люксембург. Если хронологически и бегло перечислить оставленное Розой Люксембург, то необходимо указать: 1) ее статьи в „Neue Zeit" (1896—1899) по польскому вопросу и статьи, написанные в этот же и более ранний периоды на польском языке, 2) ее статьи в „Лейпцигской Народной газете" (против Бернштейна) и т. п., 3) ее работу о „Промышленном развитии Польши", 4) ряд статей о бюджете, профсоюзах, забастовке, мильерановщине в период 1896—1903 г.г., 5) ее статьи о русской революции в 1904—1906 г.г., 6) ее полемику с Каутским в „Neue Zeit" в 1909—1913 г.г., 7) ее речи на конгрессах (международных, немецких; имеется блестящая речь Люксембург на Лондонском съезде Р.С.Д.Р.П. 1907 г.), 8) польские и русские (с.-д. и т. д.) статьи в довоенный период, 9) статьи в „Равенстве" и других немецких журналах и газетах (есть, напр., статьи в Дортмундской газете, заметки в русском журнале „Правда" и т. д., агитационные речи, за которые прусский суд ее приговорил к тюрьме, 10) письма Спартака, ее брошюра о кризисе с.-д. и другие листки и статьи, 11) ее статьи и брошюры в период 1917—1918 г.г., 12) речи и статьи в ноябре 1918 г., января 1919 г., 13) помимо этого, несомненно,

большой и ценный материал заключен в письмах Люксембург (об этом свидетельствуют ее письма к супругам Каутским, выпущенные Луизой Каутской); не говоря уже просто об архиве и материале, который найдется при серьезном собирании и систематизации литературного наследства Люксембург. (Я не упоминаю труда о накоплении, вышедшем на русском языке в переводе Ш. М. Дволайцкого.)

Всякий видит, сколько работы предстоит для того, чтобы собрать это все воедино. А между тем, мы не слышим и не видим, чтобы эта работа была быстро, активно проводима.

Правда, Исполком Коминтерна в прошлом году формально решил приступить к изданию сочинений Люксембург. В немецкой партийной печати был объявлен даже план издания сочинений. Но тот темп, с которым идет эта работа в Германии (вполне вероятно, что по причинам, во многом независящим от издателей), едва ли предвещает, чтобы хотя в ближайший год (даже на немецком языке) мы имели систематизированное и выпущенное собрание сочинений.

За это дело должна взяться и наша партия, и наши соответствующие ученые и издательские учреждения (во избежание того, чтобы не задеть наших „Verlag'ов" и „Herausgeber'ов", имен и учреждений не называем). Солидная часть материала имеется наверно и в России (и Польше). Издательства, работающие быстро, у нас также имеются. Читатель, несомненно, ждет сочинения Люксембург с нетерпением.

Мы ждем.

Н. Ленцнер.

Несколько замечаний на рецензию т. Троицкого о моей книге.

...Я перечитываю еще раз рецензию и с удивлением замечаю, что единственная моя вина заключается в следующем: где-то там, в азиатском Оренбурге, за тридевять земель от столицы, я отважился выпустить целый том, посвященный пересмотру вопросов психологии с точки зрения диалектического материализма, „между тем как Москва в прошлом году удосужилась сделать зимой всего лишь вылазку по этому вопросу".—Мотив, конечно, знакомый: „Из Назарета может ли быть что доброе?". Но совершенно ясно, что с точки зрения логики мотив этот, если оставить в стороне мою авторскую личность, никакой критики не выдерживает, и я решительно не вижу, почему бы нельзя было в Оренбурге поднять те или иные вопросы раньше, чем они разрешены в Москве. Раз в Москве до сих пор еще значительная часть психологов стоит на точке зрения субъективной психологии и даже выступает на съездах с докладами в защиту позиций этой психологии, то отсюда может следовать только тот вывод, что необходимо самим приниматься за решение проблем, которые еще не стоят перед сознанием многих московских психологов, и не дожидаться, пока спадут повязки с глаз этих психологов, авторитетно распространяющих психологические заблуждения. Если рецензент философского журнала думает иначе и хочет наложить свое властное вето на проблески критической мысли в Оренбурге,—это его личное дело, но такие окрики никого не испугают.

Другое дело, стоило ли мне, как автору, писать, а тем более выпускать в свет свою книгу? Разумеется, рецензент решительно против этого. Однако должен сказать, что, тщательно обходя самую сущность выдвигаемых мной проблем, рецензент на всем протяжении своей сердитой статьи сумел выудить и показать только два недочета в моей работе: а) я, притязающий быть чем-то вроде и т. д., приписал Марксу открытие, которого за ним по доподлинным сведениям рецензента не числится; б) приводя цитату против Плеханова из Маркса, я передернул ее в надежде, что читатель не станет проверять и что такой опытный рецензент, как т. Троицкий, не заметит передержки. И это все фактические недочеты, которые мог установить рецензент и которые привели его в неописуемую ярость. Конечно, это должны быть очень важные погрешности. Попытаемся присмотреться ближе.

Первая погрешность: по поводу моей фразы, что со времени Маркса мы все хорошо уже знаем, что нельзя судить об отдельном человеке на основании того, что он сам о себе думает, рецензент ехидно замечает: „Видишь ты, какие открытия за Марксом числятся". Трудно доподлинно понять, что означает такое замечание, но я дол-

жен думать, что—или такое открытие за Марксом совсем не числится, или что оно представляет собой нечто очень несущественное для строя мыслей основоположника теории исторического материализма. Не знаю, какая из этих двух возможностей предносилась сознанию рецензента, но в том и в другом случае он не прав; что касается первой, то на первых страницах Марксовой работы „18 брюмера" он легко найдет как формулировку, так и доказательство этого открытия. Что касается второй возможности, то предоставляю рецензенту взять на себя доказательство того, что это открытие является несущественным для всего строя мыслей Маркса. И как бы рецензент ни пугал меня именами Рязанова и Бухарина, я все-таки думаю, что за это доказательство он не возьмется, если не желает покрыть срамом свою рецензентскую голову. Спрашивается, чем же руководился рецензент, когда столь ядовито писал свое замечание? Да просто зубоскалил по пословице—„на чужой роток не накинешь платок".

Вторая погрешность: проверяя, насколько прав был Плеханов в своем утверждении, что „материализм **не пытается** свести психические явления к движению материи", я привел выдержку из Маркса, который дает характеристику французскому материализму, при чем как раз оказалось, что материализм **пытается** свести психические явления к движению. Так как в выдержку попали строки, относящиеся к Леруа, Бэкону, Гоббсу, а в моем тексте, резюмирующем выписку, эти строки названы данными о материализме XVIII ст., то т. Троицкий приходит в неистовый восторг от моего невежества и, что самое главное, от моих подтасовок: „Нужны особые качества, чтобы с таким знанием вопроса опровергать Плеханова" и т. д.—Успокойтесь, т. Троицкий: вы не справились, как следует, с цитированным мной экскурсом из Маркса, вы поверхностно читали мою книгу, не знаете Плеханова и вдобавок шумите. Если бы вы справились с Марксом, вы заметили бы, что, выясняя взгляды на психику Леруа, Бэкона и Гоббса, он, действительно, дает характеристику материализма XVIII ст., начиная с его истоков, и так как взгляды на психику определились уже здесь, т.-е. в XVII ст., то, переходя к XVIII ст., Маркс уже не повторяет их и говорит о других сторонах материалистического мировоззрения. Понятно, что у меня не было физической возможности, приводя выдержку из Маркса, цитировать те места, в которых он говорит о материалистах XVIII в., так как при упоминании этих материалистов Маркс о психике уже не говорит, считая, что вопрос этот в общих чертах вырешен еще с Декарта и Бэкона. Тем не менее, весь экскурс в целом **самим Плехановым** озаглавлен так: „К. Маркс о французском материализме XVIII ст.". Обрушьтесь тогда, т. Троицкий, на Плеханова! Заодно уж можете обрушиться и на Маркса, который, трактуя о Бэконе, Гоббсе, Локке, называет этот трактат трактатом о французском материализме (неправда ли, какое поразительное невежество, т Троицкий?!). А за всем тем дело шло вовсе не о материализме XVIII ст. специально, а вообще о материализме, поскольку Плеханов просто утверждал, что никто из материалистов не сводил психических явлений к движению. Моя выписка из Маркса говорила обратное. Опровергли вы ее чем-нибудь? Ровно ничем. Вы только показали, что этого вопроса вы не изучали, привязавшись к случайно проникшей в текст цифре XVIII. Могу кстати сообщить вам, что в той „вылазке", которую, по вашему выражению, удосужились произвести московские психологи прошлой зимой, высказано это самое положение, что в системе материализма психика должна быть мыслима, как род движения. Об этом черным по белому написано в вашем же журнале. Заодно уж примите к сведению, что в вашем журнале печатаются отрывки из произведений

великих материалистов, напр., Гольбаха, из которых вы можете усмотреть очень ясно, что психику они мыслили, как род движения. —Вот теперь и защищайте Плеханова! А я в свою очередь спрошу, нет ли у Плеханова друзей, которые подчас оказывают ему ненужные услуги? В раболепном поклонении и в безоговорочной защите ошибок его мысли, которые он сам принципиально допускал у себя, Плеханов, конечно, не нуждается, а критический пересмотр и оценка его мыслей нисколько не исключают того уважения к этому гиганту мысли, какого он. действительно, заслуживает. В своем пересмотре плехановских взглядов на психику я исходил не только из самим Плехановым сознанной необходимости такой работы, но в частности и из того наблюдения, что в своей борьбе против монистов Плеханов перегибал палку в противоположную сторону больше, чем следует. Еще В. И. Ленин заметил, что „в своих замечаниях против махизма Плеханов не столько заботился об опровержении Маха, сколько о нанесении фракционного ущерба большевизму". Во всяком случае, результатов фактической проверки плехановских позиций т. Троицкий ничем не опровергает.

Если не считать сетований на стиль, который сам же рецензент называет делом вкуса, то никаких больше фактических недочетов в моей работе он не указывает. Зато он часто жалуется и еще чаще показывает на деле, что он кое-чего не понимает. По этому поводу я могу выразить т. Троицкому только свое сочувствие, да еще, пожалуй, дать совет—не писать о том, чего не понимаешь,—потому что уже на основании рецензии я имею данные к тому, чтобы говорить не только о недобросовестности рецензента, которая выше показана, но также о том, что он действительно не вошел еще во вкус психологических проблем современности. Переделывая его же фразу, я сказал бы, что ни диалектического материализма, ни психологии он не знает, а задорные рецензии под знаменем марксизма пишет.

Об основательности его упреков мне, с точки зрения диалектического материализма, можно было только что убедиться. Что касается собственно психологии, то справедливость требует заметить, что дальше „Психологии" Ланге т. Троицкий, повидимому, не ушел и считает работу названного психолога конечным достижением в области психологии. Замечание Ланге, что „психолог наших дней подобен Приаму, сидящему на развалинах Трои", он растерянно и послушно принимает, как лучшее доказательство того, что в современной психологии нет никаких основных положений, которые стоило бы пересматривать. „Ну, как, скажем, произвести пересмотр основных положений в психологии, когда их столько, сколько психологических школ?". Неужели так много, т. Троицкий, и неужели вы, московский психолог, настолько растерялись в этой множественности, что в бессилии опускаете руки? Хоть бы справились о том, что делается и в Москве у вас, и в Петрограде. Помнится, и в прошлом, и в нынешнем году происходили очень многолюдные съезды психоневрологов и, помнится, психологи там резко группировались всего только на две враждебные половины. Вы не раздумывали, на каких принципиальных положениях сходилась каждая из этих половин? Очевидно, нет, потому что вы застыли на Ланге. А если бы пораздумали, прежде чем браться за рецензии, то для вас стало бы вполне ясным, что в современной психологии, несмотря на множественность школ, есть основные положения, которые можно пересматривать и из-за которых можно разделяться.

Свою книгу я как раз посвятил такому пересмотру. На новаторство я не рассчитывал и постоянно указывал на тех авторов и мысли-

телей, которые мне помогли проделать свою объединяющую работу. Указывал я в своем месте и на Ланге, как на психолога, который внес нечто новое в понимание проблем психологии. Ставя мне в укор работу проф. Ланге, т. Троицкий умалчивает, что я не замалчивал в своей работе того, на мой взгляд, ценного, что сделано было этим психологом, и ссылался именно на него. С другой стороны, т. Троицкому совершенно неясно, в чем и где можно в настоящее время пойти дальше Ланге. Это и неудивительно, так как рецензент отказывается понимать даже такую простую вещь, как подзаголовок книги: „Принципиальное методологическое введение к изучению психологии". Неужели ему неясно, что методологическое введение может носить практический характер в смысле руководства к ведению психологических исследований и что, вовсе не преследуя задачи дать такое именно руководство, а ограничиваясь чисто-принципиальными вопросами, я и должен был сделать свою оговорку?—Что т. Троицкий, действительно, мало понимает и разбирается в современных проблемах психологии, я вынужден судить по тому, что ни одна из обсуждаемых мной проблем не попала в поле его зрения. Он перечисляет темы, мною намеченные для I вып. „Психологии", и наивно спрашивает: „Ну, какая здесь, с позволения сказать, система?". Бедный рецензент, что мне сказать вам, когда вы, действительно, не улавливаете того жизненного нерва, вокруг которого трепещет современная психологическая мысль, и можете только зубоскалить?!

Вы требуете от меня системы, вернее,—не видите ее. Во введении она может выразиться только в определенной логической связи поднимаемых вопросов. Эта связь бесспорно имеется, но вы поленились ее проследить. В первую очередь я попытался объективно выяснить роль психологии, как науки, в условиях современности. Вполне допускаю, что вы этого не понимаете, так как у Ланге этого нет, но вопрос этот, касающийся самой постановки науки в условиях современности, крайне серьезен, хотя и недостаточно разработан мною. Затем я попытался пересмотреть, как основные проблемы психологии решаются с точки зрения диалектического материализма современными теоретиками марксизма. Это естественно, раз моя работа ставит себе задачей изложение вопросов психологии с точки зрения этой доктрины. Возражайте мне по существу, если я неправильно что-либо сделал, и я с благодарностью приму ваши указания, но не делайте подлогов с той только целью, чтобы „раскатить" меня. Далее я приступил к самостоятельному исследованию психики с принятой точки зрения, и первый вопрос был вопрос о роли психологических идей в общественном процессе производства. Может быть, вопрос поставлен не по-марксистски? Может быть, он уже разрешен Ланге? Может быть, следовало начать не отсюда? Докажите, но не ругайтесь. Может быть, я недостаточно обследовал вопрос? Я все время оговариваюсь, что это непосильная для единичного лица работа. Но в заслугу я себе ставил без всяких задних намерений и целей то, что я пытался выщупать отдельные проблемы и ставить вопросы, еще не поставленные. Далее следовала попытка нарисовать диалектический процесс роста психики в соответствии с ростом хозяйственной жизни и вместе с этим попытка уяснить основные проблемы, которые завещаны нам прошлым. Тоже не по-марксистски? Или уже кто-нибудь раньше разрешил эти вопросы? Или, может быть, недостаточно основательно? Доказывайте, т. Троицкий, я вас слушаю. В естественном порядке следовали две главы, посвященные обсуждению основных проблем—психо-физической и социологической. Быть может, они не занимают центрального положения в ряду принципов, опре-

деляющих собой направление современного психологического исследования? За вами слово, т. Троицкий. Далее следовали краткие очерки по вопросам об общих контурах и методах той психологии, которую должно создать ближайшее будущее. К сожалению, вы тут заметили только имя какого-то психолога, которого тут же переврали, назвав его Эддингтоном, а затем поставили мне в вину эпизодическое упоминание о „психологическом институте имени Щукина", которое, конечно, должно резать ухо москвича, но вы-то, утонченный москвич, не находите ли странным в философском журнале пояснение к фразе Ланге о психологах наших дней, что это относится к последним десятилетиям? Во всяком случае, не разменивайтесь на мелочи, а покажите, что моя система мыслей в 1 вып. не логична, или покажите другую. Этого вы не сделали.

За всем тем, т. Троицкий, я вполне допускаю тысячи недостатков в своей работе, о чем и предупреждал читателя в своем предисловии, но не могу допустить одного, чтобы не важны были те проблемы, которые я выдвинул и которые вас совсем не задели. Ни одна! Это изумительно для современного московского психолога (ибо я не допускаю, чтобы рецензия была написана не психологом и не марксистом), который без трепета проходит мимо этих проблем, требующих напряженной работы, может быть, не одного поколения. Я не могу удержаться, чтобы не назвать некоторых из этих проблем, поскольку они получили такое или иное освещение в разных местах книги:

1. Психика, как конкретная в данных жизненных условиях реакция на среду. Вы понимаете всю жгучесть этого вопроса для современности и вместе с тем для психологии, которой, как никакой другой науке, чужда доселе мысль о конкретности истины? Ощущаете ли вы ту пустоту, которую испытываешь, поняв это, заглядывая в Ланге? Ну, конечно, нет.

2. Психика, как реальный процесс, а не как сознание об этом процессе. Опять проблема, которая для громадного большинства решается еще в плоскости отождествления психики и сознания.

3. Отождествление в современном марксизме психики и идеологии. Это задача для современной теории марксизма. Вы пугаете меня Бухариным: прокатит, дескать, по скучной дороге. Пугайте, не пугайте, а факта не скроешь и от обсуждения его не укроешься даже под крылышко Бухарина.

4. Психика, как явление социального порядка. Проблема хотя и не новая, но психологами совершенно не использованная, и вы совершенно напрасно тычете мне в глаза единственную фразу по этому вопросу из Ланге, потому что на построении его курса эта фраза ровно ничем не отразилась.

5. Психика, как диалектически изменяющееся бытие в соответствии с ростом и развитием хозяйственной жизни. Быть может, укажете, кем ставилась эта проблема?

6. Старая психология, как наука о сознании, наука индивидуалистическая, наука статическая в противоположность психологии будущего, как науке о психическом бытии, науке о бытии социального порядка, бытии, изменяющемся диалектически.

7. Пережитки дуализма не только в современной психологии, но и в современной теории марксизма и попытки их преодоления.

Но, т. Троицкий, я, следуя вашему примеру, тоже испытываю уважение и к читателю, и к редакторскому карандашу и приглашаю вас, бросив сквернословие, давайте обсуждать действительно психологические проблемы, если только вы этого хотите.

В. Струминский.

Ответ В. Струминскому.

Сердитый автор отважной „Психологии" обиделся на редакцию нашего журнала за то, что она поручила рецензировать такую книгу, которую ставит себе в заслугу сам ее автор, тому, кто „не улавливает того жизненного нерва, вокруг которого трепещет современная психологическая мысль, и может только зубоскалить". Да что еще зубоскалить,—он „сплетничает, делает подлоги" с той только целью, чтобы „прокатить меня" — жалуется автор. Так как здесь столь серьезное обвинение в недоброжелательности по отношению к автору перемахивают через мою „покрытую срамом рецензентскую голову" и на журнал, то я считаю себя обязанным отвечать за свои прегрешения.

Я приписал книге следующее: 1) она написана с какой-угодно точки зрения, но не с точки зрения диалектического материализма, 2) она может представлять все, что угодно, но не „опыт систематического изложения основных вопросов диалектического материализма", 3) она написана языком варварской тарабарщины. Вот что должно, выражаясь языком автора, „выглядывать изо всех пор, в строках и между строками" моей по понятным причинам не понравившейся автору рецензии. Эта рецензия отнюдь не была обвинительным актом новоявленному Христу из Оренбургского Назарета, а желанием журнала, стоящего под знаменем марксизма, отмежеваться от союзника, ценность которого весьма проблематична. Автор, разумеется, с моим суждением не согласен. И мне понятно его желание не согласиться, но нужно было, если уж затевать спор, членораздельно высказаться по этим трем существенным пунктам, а не просто разносить: невежда, мошенник, неуч и т. д.

...Попробую доказать, что я, если и виноват, то все-таки заслуживаю снисхождения в своих вольных прегрешениях. Я неодобрительно отозвался о кокетничании вычурностью языка нашего автора и заявил, что это мешает понимать его. Автор обиделся, презрительно пожалел о моем непонимании „даже такой простой вещи, как подзаголовок книги: „Принципиальное методологическое введение к изучению психологии". „Неужели ему (это мне. *А. Тр.*) неясно, что методологическое введение может носить практический характер в смысле руководства к введению психологических исследований"... После этого разъяснения стало ясно, что автор не понимает значения слова „методологическое" и слабоват по части пользования предлогами. Вот и скажешь поневоле, что не всегда хорошо авторитеты-то ниспровергать: автор вот Челпанова ниспроверг, а рано: ведь, в книжке последнего „Введение в экспериментальную психологию" на первой странице можно прочитать, что работа, ставящая себе целью научить производить исследование, называется методической, а не „методологической". Вот почему, сердитый автор, я и говорил, что до диалектики

вам нехватает Сократова очищения: ведь, для диалектика дело не в том, чтобы бесцеремонно отбросить в сторону ту или иную доктрину, а в том, чтобы превзойти ее. Превосходство же по части коверкания языка вовсе не является превосходством диалектика, а просто... издевательством над языком и читателем. А что вы, посрамляющий рецензентов автор, по этой части грешны, на это есть сторонний свидетель: составленную вами хрестоматию „Настольная книга для работников просвещения трудовой школы" рецензировал в журнале „На путях к новой школе" № 1 1924 г. т. Б. Есипов. Остановившись специально на вашей статье об искусстве и отметив вашу решительность по части ниспровержения („целиком отметает и Пушкина, и Гоголя, и Лермонтова... Не признает и пролетарского искусства"), он прибавляет, что автор „при этом устраивает путаницу в голове читателей, не давая в сущности вполне определенных и ясных ответов на поставленные вопросы... Здесь мы видим термины сомнительного качества" („На путях к новой школе" № 1, 1924 г., 144 стр.). И после этого вы утверждаете, что я из вашего текста устраиваю „нелепое попури": на авторство этих красот я претендовать не имею никакого права, так как оно целиком за вами.

Теперь позволю себе дать объяснение относительно моего греха, состоящего в непризнании за книгой права называться представительницей диалектической точки зрения. Прежде всего, чтобы оценить характер обвинений в подлогах, недобросовестности и незнании со стороны автора по моему адресу, я отмечу, что и в этом я вовсе не являюсь крикливым исключением, а, очевидно, подтверждаю общее мнение. Ведь, книга нашего автора открывается „Предисловием" А. И. Вайнштейна, в котором буквально значится: „Он (автор книги. *А. Тр.*) явно старается связать свой подход к изучению психологических проблем с коммунистическим воззрением, но, повидимому, очень далек от коммунизма, как мировоззрения боевого, порожденного классовой борьбой" (V стр.). Этот отзыв принадлежит не „утонченному москвичу", позорящему страницы философского журнала сквернословием и прочими прелестями, а человеку, которого сам „автор хотел бы с благодарностью вспомнить" (VIII стр.), и, стало быть, здесь и речи быть не может о недоброжелательстве к автору. Видно, и здесь напрасно сердится на меня автор и причисляет меня к нахалам, берущимся не за свое дело. Не согласиться, что бряцание словом „производство" является выражением марксистской точки зрения, отнюдь не является нарушением добрых нравов, точно так же, как несогласие с весьма развязной, но совершенно неправильной оценкой того или другого мыслителя вовсе не свидетельствует о „раболепном поклонении" перед ним. Автор тешит себя мыслью, что мой отказ от разбора его „критического пересмотра" Плеханова является выражением бессилия перед мощностью его аргументации. Совсем не так: я прошел мимо этого пересмотра потому, что он не заслуживает внимания в силу своей бессодержательности и банальности. Кто сочтет нужным защищать Плеханова от обвинений в дуализме, которые выдвигаются с точки зрения „учения об едином объекте", особенно после того, как Плеханов сам отвечал на подобные обвинения? Кто всерьез из людей, не осененных философской мудростью таких „монистов", как Авенариус, Мах, Богданов и др., может принять „критический пересмотр" диалектического материализма Маркса-Энгельса в смысле установления в нем дуализма, а, ведь, как бы там ни распинался автор по адресу основоположников, а пересмотр Плеханова в той области, о которой идет речь, фактически является пере-

смотром марксизма. Ссылка здесь на Ленина новому „критику“ не поможет, так как она касается частности и отнюдь не говорит о несогласии с Плехановым по основным вопросам. Наоборот, никому другому, как тому же Ленину принадлежит заявление, что „критики“, подвергая „критическому пересмотру“ материализм Плеханова, пересматривают под шумок и материализм учителей Плеханова, Маркса-Энгельса. Ему же принадлежит и высокая оценка Плеханова, как последовательного и ценного материалиста, свидетельством чего является заявление, вроде такого: „В скобках уместным, мне кажется, заметить для молодых членов партии, что **нельзя** (разрядка Ленина. *А. Тр.*) стать сознательным, **настоящим** коммунистом без того, чтобы не изучить — именно **изучить** — все написанное Плехановым по философии, ибо это лучшее во всей международной литературе марксизма“ (Собр. сочин., т. XVIII, ч. 1, стр. 60). Ну, как же не сказать, что автор весьма неудачно привлекает Ленина к такому занятию, в котором последний никакого участия не принимал? В том то и беда у нашего автора, что он не знает, как говорил Ленин, „что к чему“ — и свою развязность принимает за одно из качеств диалектика. Никаких других качеств, кроме этой развязности, я не предполагал за вами, великий сокрушитель авторитетов, и сейчас продолжаю смотреть на дело по прежнему, несмотря на ваши громогласные возражения. И чтобы исключить возможность новых попыток с вашей стороны по части всяких обвинений, рассмотрю вопрос о характере „критического пересмотра“ Плеханова снова. С высоты олимпийского величия и тоном библейского пророка вы заявляете о „голословности“ ссылок Плеханова на Маркса-Энгельса и неправильности понимания материализма. Разумеется, все это делается вами на основании „проверки“. Эта „проверка“ является убийственной для Плеханова, так думаете вы; а всякий, кто познакомится с этой „проверкой“, тот придет к несколько иному выводу: убийственна-то проверка, убийственна только не для Плеханова, а для вас, ужасный критик. Вот вы кичитесь знанием Плеханова, а, ведь, не знаете, о ком говорил последний: по-вашему Плеханов говорил, будто „никто из материалистов не сводил психических явлений к движению“, а, ведь, на деле выходит совсем не так: Плеханов говорил о „**материалистах-классиках** XVII и XVIII в.в.“, о „**наиболее выдающихся** материалистах XVII и XVIII ст.“, о материалистах, **оставивших заметный след в истории**. Вы имеете, выражаясь мягко, отважность утверждать, что мнение Плеханова несостоятельно, а на основании чего вы это утверждаете? Ведь, Плеханов свои мнения подтверждает изучением источника и подкрепляет соответствующими выдержками—см. очерки о Гольбахе, Гельвеции, ст. „Бернштейн и материализм“, ответ Богданову. Вы как опровергли все это? „Цитированным экскурсом“ из Маркса, где вы просмотрели то, что увидеть было можно, и увидели то, чего увидеть там нельзя? Или „цитированными экскурсами“ из Фейербаха, которые делали по тому же самому Плеханову? Ведь, все это опровержение у вас голословно, ровнехонько ни на чем не основано. А вы делаете вид, что вами все изучено (у Маркса так даже сосчитали, сколько раз цитируется слово „душа“ и сколько—выражение „под черепом“—ну, как же не разинуть рот перед такой ученостью?), а, ведь, на поверку выходит вот что. Вы утверждаете, что московские психологи заодно с вами утверждают, что материализм учил и учит, будто психические явления сводятся к движению материи; а, между тем, в статье, на которую вы ссылаетесь, „черным по белому“ написано: „Конечно, мы не будем мыслить это сведение психического к материальному так,

как это мыслили древние материалисты... Ни даже так, как это мыслили некоторые из материалистов XVIII и даже XIX в.в., что мысль есть выделение мозга, подобно выделению желчи из почки,—эти так называемые вульгарные материалисты,—ни даже таким образом, чтобы выводить психические процессы из движения материи или сводить к движению матери..." (Корнилов, К. Марксизм и психология, „Под Знаменем Марксизма" 1923 г., № 1, 42—43 стр.). На каком же основании вы, добропорядочный литератор, говорите, что в системе материализма психика должна быть мыслима, как род движения. Об этом ни черным по белому, ни белым по черному в нашем журнале не написано, — это проявление вашей развязности. „Заодно уж примите к сведению", что в отрывках из Гольбаха, напечатанных в нашем журнале, имеется то, что в свое время указал Плеханов, но не имеется того, что предполагаете там встретить вы. Вот в № 11 – 12 за 1923 г. на 103 стр. читаю: „...Она (душа. *А. Тр.*) составляет часть нашего тела, ее можно отличить от него лишь в абстракции, она есть это самое тело, рассматриваемое только в отношении некоторых его функций или способностей, которыми наделила его особенная природа его организации". Или на стр. 105, прим. 1 е: „...Но не естественней ли было бы умозаключить, что так как человек, который есть материя и имеет идею лишь о материи, обладает способностью мыслить, то материя может мыслить или способна к той специфической модификации, которую мы называем мыслью". На 106 стр.: „.. Душа не только не отлична от тела, но есть самое это тело, рассматриваемое по отношению к некоторым из его функций или к некоторым способам бытия и действия, на которое оно способно,—пока живет"... На 109 стр.: „...Как бы то ни было чувствительность мозга и всех его частей является фактом. Если нас спросят, откуда взялось это свойство мозга, то мы ответим, что оно—результат специфически свойственного животному сочетания: грубая и бесчувственная материя, оживотняясь, т.-е. сочетаясь и отождествляясь с животным, становится чувствительной... Некоторые философы думают, что способность чувствовать (sensibilité)—это вообще свойство материи" и т. д.

И после этого вы упрекаете людей в том, что они осведомленность заменяют наглостью,—развязна ваша „психическая активность", слов нет, но вся развязность, если и фигурирует где-нибудь как достоинство, то только в „науке страсти нежной", но никак не в научной работе.

Что же касается вашего утверждения, будто Маркс открыл, что „нельзя судить об отдельном человеке на основании того, что он сам о себе думает", то я должен вам сказать следующее: ни одна из ваших интерпретаций моего „ехидства" не „предносилась" моему сознанию, когда я рецензировал вашу книгу; я думал, и думаю, что вовсе не нужно обладать гением Маркса для открытия сей почтенной истины и что, родись вы до Маркса, вы все же были бы поставлены в той или иной форме в известность о наличии у человечества этой последней.

Теперь последнее: о прегрешениях против автора, как психолога. Тяжбу вести с автором относительно знания психологии я не собирался и не собираюсь, но все же должен сказать, что его улюлюканье по поводу моего незнания похоже на то, как жених, получивший отказ у невесты, мажет ворота невестиного двора дегтем. Автору угодно было дело изобразить так, что я уклонился от разбора поставленных им проблем, убоялся премудрости его и отдал предпочтение указаниям на разные мелочи, вроде того, что книга написана в Оренбурге, а не в Москве и т. д. Не так обстоит дело: я рассматривал и „пересмотр" психологии, учиненный автором, и его „выяснение основных

контуров и упоров „новой психологии. Автор не нашел возражений с моей стороны, но что же я стану возражать психологу, ставящему в качестве одной из основных вех истории психологии... Христа. Разумеется, это очень оригинально, прямо до умопомрачения; но, ведь, все-таки включение „господа нашего Иисуса Христа" в разряд психологов, чему, очевидно, единственное объяснение лежит в факте его происхождения из Назарета, исключает возможность всякого серьезного отношения к такой истории. Автор думает, что, сдобрив этакую историю психологии рассуждениями о Христе и средневековом производстве, он написал ее с точки зрения диалектического материализма. Думать так, разумеется, вам не возбраняется, но зачем же вы обижаетесь, когда это отвергается в качестве понимания психологии „с точки зрения этой доктрины"? С чего вы взяли, что ежели истории рассказываются на манер той скотницы, что этим делом занималась у г-жи Простаковой, то это и выйдет „история с точки зрения диалектического материализма"? В действительности—это очень хитрая штука, дозвольте доложить вам, мудрый психолог, и своей игрой разумностью и неразумностью очень часто оставляет в дураках весьма солидных людей, — в действительности это не так просто. Вот почему возражать вам „по существу", как этого вы требуете, я не могу. А ведь все существо вашей психологии и сводится к таким историям, конечно, имея в виду только то, что является плодом вашего „средоточного центра бытия". Разумеется, ваши претензии велики: вы не можете не поставить себе в заслугу, что вы пытались „высвободить отдельные проблемы и ставить вопросы, еще не поставленные". А вот как дело обстоит. Вы пишете: „Я приступил к самостоятельному исследованию психологии с принятой точки зрения, и первый вопрос был вопрос о роли психологических идей в общественном процессе производства". Хорошо сказал автор, даже сам залюбовался, — вот я каков! Это ли не ново, это ли не по-марксистски, риторически вопрошает самовлюбленный автор. Но, ведь, ежели это ваше красочное описание не предполагает какого-нибудь нового сверхпонимания, тогда вопрос сведется к вопросу о роли психологии в хозяйственной жизни. Уж разве это так ново? Уж разве взять старый вопрос, обругать сплетниками всех ранее работавших над ним—это значит поставить проблему по-марксистски? Долго вам придется ждать возражений „по существу" против такого „высвобождения" проблем. А то вот еще целый ряд „из этих великих для психологии и крайне значительных проблем принципиального характера": „психика, как конкретная в данных жизненных условиях реакция на среду... психика, как реальный процесс... отождествление в современном марксизме психики и идеологии... психика, как явление социального порядка... психика, как диалектически изменяющееся бытие в соответствии с ростом и развитием хозяйственной жизни... старая психология, как наука о сознании... пережитки дуализма не только в современной психологии, но и в современной теории"... Вон сколько „этих великих" проблем, да и список их увеличить можно было бы до пределов весьма отдаленных, так как вводятся они по признаку трепета автора. И вот из „высвобождения" всяких проблем, которыми „трепещет" наш автор, должен получиться „опыт систематического изложения основных вопросов научной психологии с точки зрения диалектического материализма". Автор уверен в этом так же, как уверен в своем знании диалектического материализма и психологии. Я же и первое, и второе, и третье ставлю под сомнение и продолжаю думать, что изучение проблем куда интереснее и полезнее, чем обсуждение их в „духе" Струминского.

А. Троицкий.

БИБЛИОГРАФИЯ

Новые книги по вопросам права и государства.

Ф. Ксенофонтов. „Государство и право" (опыт изложения марксистского учения о существе государства и права). С пред. Н. В. Крыленко. Юридическое издательство Н.К.Ю. Москва 1924. Стр. 171.

Вл. Вегер. „Право и государство переходного времени". Хрестоматия. Издание Ком. Ун-та им. Я. М. Свердлова. Москва 1924. Стр. 245.

Е. Пашуканис. „Общая теория права и марксизм". (Опыт критики основных юридических понятий). Социалист. Академия, секция права и государства. Москва. 1924 Стр. 160.

И. Разумовский. „Социология и право". Социал. Академия, секция права и государства. Москва 1924. Стр. 29.

Г. С. Гурвич. „Нравственность и право". Соц. Академия, секция права и государства. Москва 1924 Стр. 46.

Ближайшие истекшие месяцы несколько обогатили нашу довольно бедную юридическую литературу. Количественное увеличение этой литературы—явление не только своевременное и положительное, но и вполне закономерное и необходимое. Если пару лет назад наша экономическая структура не давала объективных условий для культивирования юриспруденции, то сейчас в силу той же объективной экономики уже создана почва для роста „юридической надстройки". Государство, закрепляющее правовые отношения,—иную сторону производственных отношений,—перевело уже эти последние на юридический язык, закрепило их в нормах, санкционировало ряд кодексов. Этим юридическая надстройка получила свое собственное бытие и предоставила место правовым идеям.

И если в недавно вышедших у нас работах по гражданскому, бюджетному, уголовному, международному праву мы уже видим абстрагирующую деятельность рассудка, пытающегося обобщить, теоретизировать указанные области права, то еще более необходимо диалектически поставить вопрос о праве вообще, подвергнуть общую теорию права анализу с марксистской точки зрения. Весьма легко заявить, что право—надстройка, идеология, но этим вопрос еще не разрешается: нужно марксистски осветить проблемы: право и идеология, право и государство, право и нравственность и т. п., то-есть те проблемы, от которых, по крайней мере, наши юристы, по существу, только отмахивались. И если „марксистская общая теория права" в устах некоторых будет звучать несколько иронически, принимая во внимание обычное содержание этой отрасли правоведения, то сказать свое слово по существу этого содержания марксист обязан.

Подведение „социального базиса“ под ту или иную философскую, этическую и т. п. систему, не исключает необходимости критики этой же системы по содержанию. Подобно этому скоропалительная уничижающая, но не всегда уничтожающая, критика общей теории права в целом настоятельно требует от марксиста внедрения в самое эту теорию и тщательного анализа даже таких юридических категорий, как субъект права, объект права, правоотношение, а не высокомерного зачисления их по ведомству голой метафизики, схоластики, спекуляции и т. п. Инакомыслящих можно по-просту отослать к общей части гражданского кодекса Р.С.Ф.С.Р., где они встретятся со всеми указанными понятиями.

Проблема права издавна связывается, и, конечно, не без основания, с проблемой государства. Марксизм, говоря вообще, также связывает эти два понятия, и потому почти все рецензируемые нами работы рассматривают обе проблемы в связи. Книги Ксенофонтова и Вегера занимаются проблемой государства по преимуществу; остальные работы посвящены общей или частным проблемам права. Краткий обзор указанных в начале работ и составляет задачу настоящей заметки.

„Дать краткий очерк марксистского учения о государстве и отчасти—праве“,—такова цель книги Ф. Ксенофонтова, как он сам ее формулирует. Он не претендует на „исключительно самостоятельную трактовку вопроса“; его книга—результат отчета перед самим собой в прочитанной и проработанной литературе по вопросам государства и права. Приведя в систему и обработав свои записки, автор признал, что „задача—составить целостное марксистское понимание государства и права, особенно первого,—в основном исчерпана“. Так некогда молодые Маркс и Энгельс, проработав современную им философскую литературу, составили себе тоже „целостное марксистское понимание“; но свои систематизированные записки, полного опубликования которых мы все еще продолжаем с нетерпением ждать, они предоставили „грызущей критике мышей“. Тов. Ксенофонтов поступил со своими записками иначе. Он напечатал их в назидание молодым рабочим и крестьянам в качестве пособия и одновременно в качестве вентилятора воздуха, который „очень изрядно портят своими зловониями“ Каутский и всякие буржуазные профессора государственного права.

Скромная задача автора обнаруживает нескромные притязания, и не потому, что марксистский арсенал беспомощен или буржуазная наука о государстве цветет, благоухает и приносит плоды, но только потому, что автор не всегда соразмеряет свой молодой задор с теми средствами, которыми он владеет. Как только он отходит от изложения Маркса и Энгельса и пытается или развить их взгляды, или применить их точку зрения на современном нам материале, он не всегда обнаруживает уменье исследователя и критика и то пропускает ценный материал (напр., у Ленина), то усиленно подчеркивает такие стороны марксизма, с которыми согласны и современные буржуазные государствоведы,—ведь нельзя же так просто объявить их всех кретинами,—то скатывается в объятия лихого наездничества, брани („о, старая кикимора!“) и звонкой фразы,—а критический анализ, увы, отсутствует. Резкая отповедь противнику по заслугам, конечно, вполне допустима и уместна, но беда в том, что молодые рабочие и крестьяне, которые, подобно автору, сейчас учатся в наших вуз'ах, этим уже не довольствуются, наездничество их не удовлетворяет.

Первая глава книги Ксенофонтова „Метод. Общество. Классы“ должна служить как бы методологическим введением в работу. Здесь

мы имеем, по существу, изложение тех книг, которые автор прочел по историческому материализму. Эта глава органически не связана (за исключением пункта о классах) со всей остальной книгой. Проблема: общество—государство, к каковой Маркс в своих ранних произведениях дает ценный материал, едва нам чена. Изложение самого метода исторического материализма не совсем удовлетворительно. „Установление закономерной связи между явлениями общественного порядка и есть задача метода исторического материализма",— пишет автор. Какой „самый буржуазный" ученый в наши дни станет отрицать закономерную связь явлений? Вторая особенность метода— материально-производственный подход к обществу. Ясно, это так. Каково же определение общества? „Это есть наиболее широкая, трудовая организация людей, в основе которой лежит активное общетрудовое воздействие на природу". Давно сказано, что „и пчела трудится", что и муравьи, строя муравейники, активно воздействуют на природу, и потому т. Ксенофонтову понадобилось в определение общества вставить „людей". Конечно, „человека из общества не выкинешь", общество начинается там, где появляется человек, но человек-то появляется там, где начинается производство. Общество есть производственный организм,—это сказано и у Ксенофонтова; но зачем же организм? зачем перенесение биологических категорий в сферу общественную? Они здесь ничего не способны объяснить. В свое время это особенно подчеркивал Ленин. Почему не остаться при Марксовом определении общества как совокупности производственных отношений. Какая экономия слов и какое исчерпывающее содержание! Нужно понять общество не как совокупность людей, а именно как совокупность производственных отношений. Для Маркса просто общество—пустая абстракция, ибо нет просто совокупности производственных отношений, а есть совокупность капиталистических (или феодальных и т. д.) производственных отношений; капиталистическое общество, это не абстракция, а конкретное понятие, имеющее определенную методологическую ценность. А какую ценность имеет определение Ксенофонтова, под которое подпадают все люди всего земного шара? Конечно, у автора идет речь и о производственных отношениях, как и о многом другом, но в такой расстановке, что самые существенные стороны марксизма смазываются.

Третья особенность метода—диалектика, правильно, но сводить „суть" диалектики к—1) движению, 2) монизму, 3) противоречивости, 4) переходу количество в качество скачками—в наши дни для автора, касающегося диалектики, просто-таки непростительно.

Содержание работы наглядно подтверждает слова автора из предисловия: это реферирование автором ряда книг, при чем классовой сущностью и идеологией писателей ясно определяется отношение к ним автора. Критическое реферирование—не такая легкая вещь. Подчас не автор владеет материалом, а материал автором.

В настоящее время нет, кажется, ни одного государствоведа, который не критиковал бы парламентаризма. Но критика парламентаризма критике парламентаризма рознь. Есть критика самой буржуазии, ее либеральной и достаточно для этого проницательной интеллигенции, есть критика со стороны реакционеров, анархистов и, наконец, марксистов. Нельзя же в марксистски выдержанной книге брать все и отовсюду, что нам на руку. Противоядия и оговорки, вроде: „даже такой кадетский профессор, как...", не всегда спасают дело. Реферируя, напр., Новгородцева или Петигру, автор невольно подпадает под общий тонус реферируемого писателя и нарушает тонус всей книги.

Заимствование из вторых рук может иногда сослужить автору дурную службу, уронить достоинство книги и, пожалуй, повредить автору в репутации научного работника. Автор не должен обижаться на нас за нижеследующее сопоставление:

Ф. Ксенофонтов, цит. кн., стр. 70.

Глава германской юридической школы Еллинек в своей работе: „О пересмотре конституций“ посвящает ряд нелестных слов парламенту. Он пишет: „Парламентарная система отжила свой век. Парламенты, рейхстаги, в действительности, не имеют никакого значения в жизни страны. Они превратились в простое орудие и средство для определенного политического господства, они не отвечают интересам жизни страны.„Парламент и рейхстаг ныне не выражают народной воли. Они и избирательное право, ради которого принесено столько кровавых жертв — ныне гниль, ветошь“. Умеренно, по-профессорски, но почти верно сказано...

М. Рейснер. Основы советской конституции. М. 1920, стр. 80.

Георг Еллинек, знаменитый немецкий ученый, создавший в Гейдельберге свою школу, в последнем своем труде, в особенности переведенном на русский яз.— „О переменах и пересмотре конституций“ написал следующее: Парламентарная система отжила свой век Все эти рейхстаги и т. п. парламенты не имеют никакого значения в действительности для страны. Это только орудие и средство для определенного политического господства, но они не отвечают жизненным потребностям страны... Реальная сила, говорит Еллинек, в настоящее время не парламент и не Учред. Собр., которые не есть выражение народной воли... Вы видите очень умеренно, очень умеренно сказано, но очень решительно. И он даже говорит: эти парламенты и это всеобщ. избир. право, ради которого принесено столько кровавых жертв, ныне отбрасывается массами, как ветошь, как гниль...

У т. Ксенофонтова нет ссылки на Рейснера. Рейснер же или цитирует по памяти, или, что вернее, только передает мысль Еллинека из его работы „Конституции, их изменения и преобразования“, где буквально приведенных цитат нет (у т. Рейснера в первой цитате нет кавычек). Еллинеку не назвать парламенты гнилью и ветошью. Следует сказать, что такая же картина с цитатой из Дюги (Ксенофонтова, стр. 70; Рейснер, стр. 82), проверить которую по подлиннику мы, к сожалению, не могли. Необходимы ли такие приемы в печатной работе? Анализ строя Северо-Американских Соединенных Штатов весь идет на канве Петигру „Торжествующая плутократия“, и только. Мало показать гниль и ветошь парламентаризма; в марксистской книге о государстве, поскольку затронут этот вопрос, необходимо было указать на своеобразное использовывание буржуазных парламентов революционным пролетариатом, а для этого автор мог бы найти много ценного и в работах Ленина, и в постановлениях II Конгресса Коминтерна.

В главе „Теория диктатуры пролетарита“ (и в двух следующих) мы вправе были бы ожидать от автора большего. По существу, здесь бойкая и задорная полемика с Каутским; теории же нет. Ленин, которого реферирует в гл. VII автор, в своих полемических работах затрогивал ряд существенных, принципиальных вопросов, которые должен был отразить и автор. Таковы проблемы единой или федеральной конструкции пролетарского государства, проблемы избирательного права при диктатуре пролетариата, наконец, проблема построения органов власти в пролетарском государстве. Все это, к сожалению, осталось скрытым для автора, а вместо этого мы имеем в книге о марксистском учении о государстве газетную полемику с Каутским, который, кстати сказать, уже ни с какой стороны не тревожит рабочих и крестьян, остающихся к нему в величайшем равнодушии.

Мы должны признаться, что сурово отнеслись к книге т. Ксенофонтова именно потому, что в ней видны способности и возможно-

сти молодого и учащегося автора. Если бы книга его пролежала год—другой в рукописи, она не удовлетворила бы его самого, как работа, по существу, ученическая. Тогда с возросшими багажом, критической жилкой и исследовательским подходом автор исправил бы неудачные места и, доведя их до высоты положительных мест книги (которые в ней имеются, но о которых мы умышленно не говорим), дал бы широкой читательской массе действительное ценное пособие.

Значимость книги т. Ксенофонтова—в попытке дать элементарное изложение того, что уже сказано Марксом, Энгельсом, Лениным, дать связно составленное пособие учащейся молодежи. Этого нельзя сказать про хрестоматию Вл. Вегера. Требования же, несомненно, должны быть повышены, поскольку мы имеем дело уже не с учеником, а с профессором.

Наше время—„время хрестоматий“. Мы не являемся врагом этого рода учебных пособий; хорошо составленная хрестоматия нужна и полезна. Однако составить хрестоматию, пожалуй, иногда труднее, чем написать книгу. И хрестоматия т. Вегера—образец неудачи.

Составитель хрестоматии прежде всего должен ориентироваться на определенного читателя. Этого нет у т. Вегера. Его книга резко и бессвязно распадается на три части: первая—„Теория“, вторая—„Действующее советское право“, третья—„Учебно-программные материалы“. Последняя часть может представлять интерес только для педагога, лектора; но ему, очевидно, вовсе не нужны „извлечения“ и „сокращенные изложения“ наших кодексов. Оригинал для него не может быть заменен никаким суррогатом: первая же часть представится ему или изложением Маркса, Энгельса, Ленина, или довольно безобидной беллетристикой. Для учащегося, которому в условном смысле, полезна была бы вторая часть, первая („теория“) составлена таким образом, что абсолютно не помогает уразуметь наши кодексы. Напр., из так называемой теоретической части читатель узнает, что для марксиста термин „суверенитет“ неприемлем; в „Декларации прав народов России“ он встречается с этим термином; наконец, в программе по „Государственному строю“ он же наталкивается на неоднократное употребление этого понятия.

Заглавие книги в достаточной степени заманчиво. Читатель вправе ожидать попытку дать т е о р и ю пролетарского государства и действующего в нем права. Но уже первая, теоретическая, часть жестоко разочаровывает его. Читая в § 1 („Захват власти. Как было дело“) о событиях первых дней октябрьской революции и о том, как автор книги, Вл. Вегер, слушал речь т. Ленина, читатель думает еще, что это „так, для начала“, применение комплексного метода к теории государства переходного периода. Но через 12 страниц описательно-повествовательного характера („Пролетарское государство в крестьянской России“) он увлекается автором уже вглубь от диктатуры пролетариата к критике парламентаризма (полстраницы), а еще через три страницы оказывается у самых истоков происхождения государства по Энгельсу. Далее в калейдоскопическом порядке следуют: анархизм, борьба за право, право и интерес, воля в классовой борьбе, теория естественного права, историческая школа права, философия права Гегеля и введение к ее критике Маркса (изложение); на этом теоретическая часть книги благополучно заканчивается, и перед читателем встают извлечения из наших кодексов государственного, уголовного, гражданского и трудового права.

Автор, видимо, находится всецело во власти ассоциаций по смежности, но отнюдь не ассоциаций по сходству, и потому для читателя данное расположение материала представляется по меньшей

мере странным. Проблемы намечаются, но как только читатель готовится узнать от автора его решение (напр., определение права и государства), так автор, после отрицательной критики других определений, быстро переходит к иному вопросу.

Содержание 69 страниц теоретической части настолько беллетристично, фрагментарно и подчас случайно, что весьма затруднительно высказываться даже по существу. Во всяком случае для учащегося эта часть, как и вся книга, не может служить ни пособием, ни книгой для чтения, ни руководством при осмысливании сложных проблем права и государства переходного времени.

Иное дело—серьезное, научное и самостоятельное исследование Е. Пашуканиса. Эта работа поднимает ряд принципиальных вопросов, будит мысль, убеждает логичностью доводов; по тщательности марксистского анализа она должна быть причислена к первому десятку марксистских работ в области права.

Автор—сторонник общей теории права. Он доказывает возможность анализа основных определений правовой формы, подобно тому, как в политической экономии возможен анализ общих определений формы товара или стоимости. Многие наши юристы полагают, что достаточно внести в буржуазные теории права момент классовой борьбы, чтобы уже получить подлинную историко-материалистическую теорию права. Однако при таком приеме мы получаем или историю хозяйственных форм, или историю учреждений, но не теорию права. „Между тем, несомненно, что марксистская теория должна исследовать не только материальное содержание правового регулирования в различные исторические эпохи, но дать материалистическое истолкование самому правовому регулированию, как определенной исторической форме".

Автор удачно пользуется аналогиями, существующими в известном отношении между теоретической экономией и теоретическим правоведением. Первая возможна только при капиталистической структуре общества. Подобно этому, „только буржуазно-капиталистическое общество создает все необходимые условия для того, чтобы юридический момент в социальных отношениях достиг полной определенности". Развитие основных юридических понятий отображает реальный исторический процесс развития буржуазного общества. Теория права имеет дело отнюдь не с условными определениями и искусственными конструкциями. Если юридическое отношение „нельзя обнаружить с помощью микроскопа и химического анализа", то эти же слова Маркс применял к стоимости, капиталу, прибыли и т. п. Однако и за теми и за другими абстракциями скрываются вполне реальные общественные отношения.

Этим право отнюдь не изъемлется из области „надстройки" и не объявляется „базисом", но, как показывает дальше автор, находит свою основу не в публично-правовых отношениях (распространенная у нас сейчас теория: право—исключительное порождение государства, производная от него), а непосредственно в отношениях производственных. В будущем коммунистическом обществе право исчезнет не потому, что исчезнет государство, но потому, что соответствующим образом изменятся производственные отношения. Пашуканис подчеркивает вскрытую Марксом глубокую внутреннюю связь формы права и формы товара. Товарное общество необходимо есть общество с известным правопорядком. Отсюда в области юриспруденции для марксиста такая же задача, как и в области теоретической экономии: „прежде всего отправиться на территорию врага, т.-е. не отбрасывать в сторону те обобщения и абстракции, которые были выработаны буржуазными юристами..., но, положив их в основу своего анализа,

вскрыть истинное значение, т.-е., другими словами, историческую обусловленность правовой формы".

Метод марксиста в области права должен быть тем же, каким Маркс пользовался в области экономии: от абстрактного к конкретному. Не начинать с общества, государства, а кончать им. Аналогии между развитием экономики и правовой формы оказываются в руках Пашуканиса весьма плодотворными. Право—надстройка, но не только идеология, т.-е. право не только субъективно, право не есть только правовая идея в голове отдельной ли личности, или класса. Параллельно истории правовой идеи имеется и реальная история права, его объективный момент; эта история „развертывается не как система мыслей, но как особая система отношений, в которую люди вступают не потому, что они ее сознательно избрали (или,—добавим,—что государство—классовая организация—сознательно предписало), а потому, что к этому их вынуждают условия производства. Человек превращается в юридического субъекта в силу той же необходимости, в силу которой натуральный продукт превращается в товар".

Нужно сказать, что в схеме исторического материализма, как ее дает Плеханов и др., горизонтальная черта—государство, как политическая надстройка, отделяющая право, как идеологию, от экономики, как базиса, наверное способствовала некоторой путанице понятий. Этим право переносилось исключительно в головы людей и, далее, оказывалось производным от государства. Между тем даже буржуазные юристы в большинстве отказываются от узкой нормативно-формальной точки зрения на право. Заслуга Пашуканиса, на наш взгляд, в том, что он понимает право не только, как правовую идею (субъективный момент), но и как „общественное отношение (объективный момент. *Н. Л.*), в том же смысле, в каком Маркс называл капитал общественным отношением". Это единство субъективного и объективного, ведь, и есть диалектика права. С другой стороны, признание и тождества и различия производственных и правовых отношений, признание их диалектического единства всецело в духе марксизма и избегает абстрактной точки зрения как проф. Рейснера: право—только идеология (для Рейснера и государство—идеология) и наших нормативистов: право только по сю сторону государства, так и т. Стучки: право, как в о о б щ е система отношений, в то время как право есть форма с п е ц и ф и ч е с к о г о социального отношения.

Путь от производственных отношений к отношениям правовым гораздо короче, чем думают, и не идет обязательно через государство в лице декретируемых им норм. Государственный порядок „обеспечивает, гарантирует, но отнюдь н е п о р о ж д а е т юридическое отношение, напр., отношение между кредитором и должником". Юридическая надстройка не выше и дальше от базиса, чем надстройка политическая. Если угодно и исторически и логически первая ближе к экономике, чем вторая. Если совокупность производственных отношений составляет, в глазах Маркса, общество, то эти же отношения и их юридическое выражение образуют, по Марксу гражданское общество, которое „глубже", чем государство, как совокупность, скажем, публично-правовых отношений. „Если в общем буржуазия политически, т.-е. при помощи государственной власти,—говорит Маркс,—поддерживает несправедливость отношений собственности, то она их не создает". „Государственная власть,—развивает эту мысль Пашуканис,—вносит в правовую структуру четкость и устойчивость, но она не создает ее предпосылок, которые коренятся в материальных, т.-е. производственных отношениях". Логика юридических отношений следует за логикой социальных отношений и в них, а не „в разрешениях начальства"

нужно искать корни системы частного права. Напротив, публичное (государственное) право может существовать только как „отображение частно правовой формы в сфере политической организации“.

По недостатку места мы опускаем чрезвычайно тщательный анализ понятия юридического субъекта, который является атомом юридической теории. Анализ построен на первом томе „Капитала“ и приводит, в двух словах, к такому результату:

„Одновременно с тем, как продукт труда приобретает свойство товара и становится носителем ценности, человек приобретает свойство юридического субъекта и становится носителем права“.

Наметив таким образом начала права, Пашуканис переходит далее к рассмотрению проблем: право и государство, право и нравственность. Добытые результаты автор применяет и к понятиям морали. Моральная личность есть также субъект товаропроизводящего общества. А если так, то „моральный закон должен обнаружить себя как правило общения товаровладельцев“. Эта мораль не может быть ни нормативной, ни формальной. Она связана с определенной экономической структурой. Пашуканис и здесь подчеркивает объективный характер морали. „Моральное бытие является необходимым восполнением юридического бытия—и то, и другое суть способы общения людей, производящих товары. Этику Пашуканис определяет как некоторый социальный минимум. „Справедливость“ (обмена в буржуазном обществе)—та ступенька, по которой этика спускается к праву. Нравственное поведение должно быть „свободным“, справедливость может быть вынуждена. Кроме максимума, до которого может подняться общество товаропроизводителей, существует некоторый минимум, при котором циркуляция товаров может еще протекать беспрепятственно; это и есть „легальное“ в отличие от „морального“, этот минимум закрепляется в законодательных нормах развитого государства. Таким образом организация внешнего принуждения составляет важную, но не единственную сторону правовой формы (пример—международное, т.-н. конвенциональное право).

В нашем беглом и отрывочном изложении мы далеко не исчерпали содержания книги Пашуканиса. Она заслуживает того, чтобы быть прочтенной каждым, кому близки теоретические основы марксизма и его выводы в отдельных отраслях знания.

Трактовка Г. Гурвичем проблемы: право и нравственность несколько отличается от трактовки Пашуканиса. Для Гурвича, в конечном счете, право есть „часть нравственности господствующего класса и, притом, часть вполне определенная, хотя очень непостоянная“. Но в других местах он просто отождествляет право с нравственностью господствующего класса (стр. 41). Выходит, что для господствующего класса право сливается с нравственностью, но сам Гурвич говорил иное. Для автора право есть производная от государства, „материал же, необходимый для создания права, государство при своем возникновении застает уже готовым в виде тех нравственных норм, на которые к тому времени сильный экономически класс уже наложил свою печать“.

Как быть в таких случаях с правом обычным, международным, наконец, внутрипартийным? Обычное право просто не считается правом; но превращение слов „обычное право“ в слово „обычай“ не есть решение вопроса. С точки зрения Гурвича, в догосударственном строе обычай, значит, и есть нравственность. Далее, по Гурвичу, если право выделилось из нравственности, которая есть продукт бесклассового общества, то, значит, в будущем коммунистическом обществе ово вновь сольется с нравственностью? Эта неясность формулировок

проистекает, на наш взгляд, от недостаточного учитывания материально-объективного момента права.

Этим не грешит интересный доклад И. Разумовского „Социология и право“. Для него „право складывается из самых различных материальных и психических элементов“. но прежде всего оно есть форма общественного сознания. С другой стороны, правовая структура общества есть система общественного поведения людей. Таким образом Разумовский по данному вопросу сближается с Пашуканисом Правовая структура непосредственно отражает экономику, в ней нет элемента долженствования. Но правовая идея не отражает точно реальных производственных отношений. Элемент „долженствования“ здесь имеется. Это—право, как идеология в том специфическом словоупотреблении, какое выдвигает, как известно, Разумовский. Справедливость требует отметить, что сам Разумовский весьма последовательно применяет свою точку зрения.

Но если эта правовая идея есть искаженное отображение действительности, а правовая структура, т.-е. правовые отношения, есть лишь иная сторона производственных отношений, то Разумовский принужден прибегнуть еще к одной категории—правопорядка, т.-е системы норм. Таким образом получается трехэтажное строение права: правовая структура, правовая идеология, а между ними—правопорядок, как компромисс между первым и третьим членом, ибо и с точки зрения Разумовского правовая идеология не может не считаться с правовой структурой.

Нам представляется, что такая схема лишь усложняет вопрос, и там, где Разумовский хочет видеть идеологию права, там фактически, лишь совокупное сознание господствующего класса, как его психика. Во всяком случае брошюра Разумовского—продуманная работа, имеющая ряд положительных достижений.

Конечно, не следует думать, что бегло рассмотренные пять работ исчерпали и разрешили проблемы права и государства, но заслуга трех последних авторов в том, что они серьезно подошли и поставили эти проблемы, а т. Пашуканис некоторые из них разрешил.

И. Луппол.

П. Гольбах. Здравый смысл. Атеистический памфлет XVIII века. Перев. Э. Гуревич и А. Гутерман, со вступительной статьей А. М. Деборина. „Материалист“, М. 1924, стр. XXXII+335.

„Здравый смысл, или естественные идеи, противопоставленные идеям сверхъестественным“ П. Гольбаха, является первым выпуском „Библиотеки атеизма“, которую начало издавать издательство „Материалист“ под редакцией А. М. Деборина. Пропаганда атеизма столь существенна в наши дни, больше того, столь объективно необходима в условиях переходного от капитализма периода, что останавливаться на вопросе современности и своевременности выхода в свет указанной серии книг представляется совершенно излишним. Если широкую читательскую массу еще несколько лет назад у нас пичкали всякого рода „душеспасительной“ и „религиозно-нравственной“ макулатурой, которая и сейчас еще в изрядном количестве наполняет книжный рынок, то вполне понятно, что всякая с толком написанная атеистическая книга или статья есть не только необходимое, но и отрадное явление.

Религиозно-церковное печатное слово, как бы оно ни прикрывалось покровами деизма и идеализма старого времени или теософии и мистицизма наших дней, гнездится в последнем счете в том общественном строе, при котором один класс нуждается в послушании другого класса. И поэтому ста-

ший у власти пролетариат, стремящийся к освобождению в лице своем всего человечества, по праву противопоставляет деистической литературе буржуазии свою атеистическую литературу. Борьба атеизма со всякого рода религиозными воззрениями есть та же классовая борьба, перенесенная лишь в иную плоскость.

Необходимо согласиться со словами автора вступительной статьи, А. М. Деборина: „В обществе, основанном на частной собственности и эксплоатации народа, атеизм не может стать общепризнанным мировоззрением. Повидимому, атеизм может восторжествовать только в коммунистическом обществе, где не будет материального основания для классового общества". Но как нелепо было бы ждать, сложа руки и отказавшись от борьбы прихода коммунизма, так нелепо ждать и сопутствующего ему атеизма. За атеизм надо бороться.

Но правильно ли поступает издательство, включая в свою серию атеистический памфлет Гольбаха, насчитывающий почтенный полуторастолетний возраст? Не есть ли это уклон в тот „академизм", которым попрекают сейчас товарищей, желающих воссоздать, вернее, создать марксистскую историю материализма, атеизма и социализма, к построению которой у нас делают только первые шаги? Повторять зады атеистического XVIII века, когда наука ушла так далеко вперед; стирать пыль с заржавелых пушек музея древностей, вместо того, чтобы стрелять из дальнобойных орудий современности,— не есть ли это непонимание действительности?

Ленин, которого в непонимании действительности упрекать не приходится, называл подобные возражения „софизмами, прикрывающими либо педантство, либо полное непонимание марксизма". О французских материалистах и атеистах XVIII столетия, „от них же первый есть Гольбах", Ленин писал: „Бойкая, живая, талантливая, остроумно и открыто нападающая на господствующую поповщину публицистика старых атеистов XVIII века сплошь и рядом окажется в 1.000 раз более подходящей для того, чтобы пробудить людей от религиозного сна, чем скучные, сухие, не иллюстрированные почти никакими умело подобранными фактами, пересказы марксизма, которые преобладают в нашей литературе и которые (нечего греха таить) часто марксизм искажают". Ленин, вслед за Энгельсом, как видно очень высоко ценил материализм и атеизм Гольбаха, Дидро и их друзей. Он считал „стыдом нашим" не переводы их теперь, через полтораста лет на русский язык, а как раз отсутствие таких переводов.

Конечно, вся суть вопроса не столько в словах Ленина, материалиста-марксиста и борца за материализм,—он не мог думать иначе,—но в самом существе дела. Со времени Гольбаха наука шагнула далеко вперед, и в этом смысле наука его дней исчерпала себя, но, во-первых, несмотря на этот прогресс естествознания религиозные представления себя не исчерпали, а, во-вторых, диалектически не исчерпал себя и атеизм французских материалистов. Атеизм, как часть мировоззрения, развился за это время, обогатился всем прогрессом естественных наук, наконец, получил твердое и непоколебимое методологическое обоснование в историческом материализме, но принципиально он остался таким, каким был уже оформлен в XVIII веке. Он вырос и сложился в недрах революционного класса (нужды нет, что в то время таким была буржуазия), знаменем революционного класса остается он и теперь. Характерно, что в пору глухих революционных брожений перед сорок восьмым годом во Франции этот же самый памфлет „Здравый смысл" неоднократно переиздавался для французских рабочих. Памфлет Гольбаха принципиально не устарел к тому времени, хотя от 1772 года (год его появления) до сороковых годов XIX века прошло немало времени; не стар он и в наши дни.

Этим мы вовсе не хотим сказать, что к книге Гольбаха нужно относиться, как к некоему „евангелию", из которого не следует подвергать

марксистской критике ни единой буквы. Не устарел гольбаховский атеизм, устарел целый ряд его рассуждений, имеющий к главному стержню книги побочное отношение. А. Деборин во вступительной статье правильно замечает, что „к критике и изучению религий можно и должно подходить с точки зрения их исторического генезиса; но можно также подходить и с точки зрения изучения содержания самих догматов религиозных учений, поскольку они согласуются или противоречат современному знанию".

Именно с этой второй точки зрения, точки зрения „здравого смысла", и подходит Гольбах к критике религиозных догматов. Историческая, а тем более научно-историческая, т.-е. историко-материалистическая критика была не под силу XVIII веку. Он не владел, да и объективно не мог владеть, методом исторического материализма; этнографический материал также не был в достаточной мере накоплен для генетического анализа религий. Справедливо будет упомянуть здесь о Вольнее, который, сам еще плоть от плоти XVIII века, в самом конце его, дал первый весьма любопытный для историка материализма опыт построения филиации религиозных идей.

Когда Гольбах пытается восходить к истокам религии, то у него, кроме уменьшенного обмана одних другими, никакой теории нет. Положение, что „всякая религия порождается стремлением к господству" звучит в наше время весьма наивно, но, напр., уже такой тезис: „Путем религии шарлатаны эксплоатируют безумие людей" является истиной и для наших дней. „Исход" религии из общества намечается Гольбахом также наивно: просвещение народа есть гибель религии; но. по существу, наивны только средства, коими Гольбах хочет достигнуть всеобщего атеизма. Он, как и весь его рационалистический в проблемах общества, „анти-исторический век", не понимает, но, повторяем, объективно не может понять, что в буржуазном обществе, где весь процесс производства совершается стихийно, всегда остается в идеологии место для иррациональных моментов. Принципиально же, конечно, „просвещение" есть конец религии.

Убежденный в абсолютной значимости „просвещения", в его самодовлеющей ценности, он возлагает большие надежды на „просвещенного монарха", от которого он ждет объявления войны всем религиям. В этом—утопизм XVIII века, во всяком случае многих его представителей. Но положительная черта Гольбаха в том, что он, вопреки другим просветителям, опровергает „беспрестанно повторяемое мнение, что религия необходима для народа". Религия есть ложь, а ложь всегда вредна—таково убеждение Гольбаха.

Настаивая на том, что религия должна быть заменена „философией", он прав, отрывая нравственность от религии. Ханжа может быть столь же безнравственным, как и атеист, но последний, если и становится безнравственным, то отнюдь не в силу атеизма. Религия вовсе не является базисом нравственности; религиозно-аскетическому моральному идеалу Гольбах противопоставляет светский идеал. Но он не прав, желая теоретически обосновать мораль философией. Отрывая мораль от религии, Гольбах идет дальше своего века вместе с Дидро и Гельвецием, но желая установить вечные законы морали, он остается метафизиком, он не видит, как в процессе развития общества меняются по каждой общественной группе так называемые моральные воззрения. В результате его мораль—классовая мораль ранней буржуазии.

„Здравый смысл" Гольбаха был истиной своего времени. Полтора столетия сделали свое дело, они не только отвергли, преодолели социальную философию Гольбаха, но и объяснили ее. Однако, за вычетом этой социальной философии его, которая в „Здравом смысле" имеет как раз второстепенное значение, остался непревзойденным его принципиальный атеизм и материализм, его критика всякого рода религиозных воззрений.

Гольбах—один из немногих наиболее последовательных материалистов. В его лице буржуазия, овладевшая процессом производства, отвергла все

таинственное, удвоение мира при помощи надмирового божества, церковные догматы в каком бы очищенном виде они ни проявлялись. Деизм, вера в мировой „Разум“, уже был внедрением человеческого разума в церковную ортодоксию. Но Гольбах пошел дальше английской буржуазии, застрявшей на деизме, и, последовательно развивая рациональную критику религии, дошел до атеизма.

Указанные нами слабые, исторически обусловленные, положения Гольбаха достаточно подробно оговорены во вступительной статье А. Деборина. Остающаяся за всем этим систематическая, почти исчерпывающая критика теизма и деизма (а не только католицизма, как можно было бы ожидать от француза XVIII века) составляет львиную долю книги; эта часть ее не только не утратила к нашим дням интереса, но и имеет актуальное значение, как способная,—повторяя слова Ленина,—„пробудить людей от религиозного сна“.

Материалисты эпохи просвещения любили настойчиво повторять свои взгляды. Почти в любой книге Гольбаха можно найти весь его арсенал; доводы в пользу материализма и атеизма варьируются в зависимости от задания книги, прямой ее темы, лишь путем подчеркивания и развития одних аргументов и краткого изложения других. В этом отношении „Здравый смысл“ имеет определенную ценность законченности, цельности и вместе с тем особой сосредоточенности на проблеме атеизма. Оправдание и защита атеизма в большинстве случаев переходит в нападение, разоблачение и уничтожающую критику теизма и деизма. Но попутно Гольбах затрогивает и теоретико-познавательные вопросы: отсутствие врожденных идей (IV), материалистический сенсуализм (CXXXV); вопросы натурфилософские: материя (XXII), движение (XLI); детерминизм (XLIII) и т. д. Ряд глав посвящен критике свободы воли, антропоцентризма, скептицизма и т. д. Таким образом, читатель может составить себе представление и о других сторонах французского материализма, именно тех, которые вошли и в диалектический материализм.

Переводом „Здравого смысла“ одновременно разрешены две задачи: впервые после революции представлено на русском языке полностью произведение Гольбаха, этого классика материализма, и дана серьезная и вместе с тем боевая атеистическая работа, имеющая и по сей день актуальное значение.

Конечно, данная книжка Гольбаха не может быть рекомендована как первая книга по атеизму вовсе неподготовленному читателю. Некоторого кругозора книга требует; мы определили бы ее как „вторую ступень популярного изложения“. Вступительная статья, рассчитанная на такого же читателя, введет его в исторические рамки Гольбаха и поможет осмыслить содержание.

Что касается перевода, он выполнен вполне удовлетворительно и хорошо передает самый стиль изложения Гольбаха, подчас несколько монотонный, но настойчиво-упорный и иногда прерываемый пафосом или анекдотом с соответствующим стилем. Пожалуй мы возразили бы против упорного повторения слова „теология“; „богословие“ ближе русскому читателю и идентично французскому théologie. Неудачен буквальный перевод économie — экономия. Люди „не удовлетворены божественной экономией“ (стр. 112) или „экономия всех божественных откровений“ (стр. 177),—такие фразы звучат по русски несколько забавно. „Устройство“ в первом случае или „распорядок“ во втором случае не только не исказят смысла фразы, но будут нормальным переводом слова économie.

Издана книга прочно, удобным форматом и аккуратно. Остается пожелать ей всемерного распространения.

И. Л—л.

Г. Зиновьев. „История Р.К.П. (большевиков). Гос. Изд. Москва 1924 г. XXXII+352. (Изд. II-е).

Популярный очерк тов. Зиновьева, посвященный комсомолу, ныне издан в громадном количестве (100.000 экз.) для нового призыва в партию, для т. н. „ленинского призыва". Поэтому мы не можем не остановиться на нем и не сказать несколько слов по поводу этих лекций,—ведь на них будут учиться десятки тысяч!

По существу говоря, это не лекции, а речи. Очевидно, по мнению тов. Зиновьева, его задача состояла не в том, чтобы дать в строгой последовательности изложение объяснения фактов—что в строгом смысле слова и было бы историей; он делает попытку о п и с а т ь с высоты птичьего полета (вернее было бы сказать—с высоты авио-полета) тот путь, который был проделан нашей партией. Такая система чтения и с т о р и и имеет много удобств, для лектора—она не требует слишком кропотливых изысканий, но она имеет очень большой и почти неизбежный недостаток—поверхностность и чрезвычайный, почти неустранимый схематизм.

Оба недостатка в большой мере присущи очеркам тов. Зиновьева.

Но эти недостатки в подобных работах всегда искупаются быстрой сменой событий, напряжением темпа рассказа, насыщенностью действий, а—самое главное—почти афористической сжатостью языка: количество фактов в таких случаях з а м е н я ю т г л у б и н о й о с в е щ е н и я.

Все эти качества, столь свойственные тов. Зиновьеву, в этой брошюре, к несчастью отсутствуют более, чем того можно было ожидать. Частые повторения, перескакивания из эпохи в эпоху, неточности в выражениях (вероятно, и в большинстве случаев точность приведена в жертву популярности, но это объяснение никак не решает вопроса), очень неудачные п е р е с к а з ы цитат и плюс к тому очень ленивый рассказ — много мешают усвоению подлинной истории и больше способны породить бесконечные недоразумения.

Но самое главное не в этом, а в том, что даже то малое количество фактов, которым оперирует тов. Зиновьев, заключает в себе много (и даже слишком много!) ошибок.

Когда вышло первое издание, мы на эти ошибки не указывали, так как полагали, что во втором издании они будут исправлены. Но вышло второе издание в количестве почти астрономическом, а ошибки все те же!

Поэтому мы полагаем, что долг каждого рецензента указать на эти ошибки, чтобы в третьем издании они были устранены.

„Первым революционным кружком считается кружок Чайковского, образовавшийся в 1869 г." (стр. 33). Это не совсем верно или, скорее, совсем не верно. Тов. Зиновьев забыл каракозовцев, Зайчневского, „Землю и волю" (первую), наконец, тов. Зиновьев совершенно напрасно забыл Чернышевского, о котором В. И. Ленин не раз благоговейно вспоминал; правда, о „кружке" Чернышевского можно говорить с натяжкой, но ведь тов. Зиновьеву я напоминаю этот факт лишь с той целью, чтобы он проверил, действительно ли „считают" кружок Чайковского п е р в ы м революционным кружком. К кружкам 60-х годов нередко примыкали рабочие, что делает их особенно знаменательными.

„Первый рабочий кружок сформировался, приблизительно, в середине 70-х годов, примерно в 1875 г. Наиболее видными его участниками были: ткач Петр Алексеев, Малиновский, Аганов, Александров, Крылов и Герасимов. Вот главные имена. Известна замечательная речь Петра Алексеева, живы также некоторые его современники,—если не ошибаюсь,—Моисеенко, которого мы недавно принимали" (стр. 34). Тут две ошибки: во-первых, кружок Алексеева не п е р в ы й кружок, первым надлежить считать кружок Заславского, да и, кроме того, сам Алексеев и его товарищи были уже ранее спропагандированы лавристами еще до этого в лавристских круж-

ках пропаганды среди рабочих, а, во-вторых, Моисеенко не имел касательства к П. Алексееву!

Странно, что, говоря об эпохе, когда лавристы вели интенсивную пропаганду среди рабочих, тов. Зиновьев ни единым словом не упоминает о них. А, ведь, им принадлежит бо́льшая часть постановки дела пропаганды среди рабочих и из их кружков вышло много революционеров рабочих...

Говоря о народничестве, тов. Зиновьев пишет: „С самого его начала и до конца, в этом движении ясно обнаруживались два русла, два течения, два направления. Одно из них, выдвинувшее Желябова и Перовскую, создавало героев: Сазоновых и Балмашевых. Второе течение, наблюдаемое особенно в 80-х годах, составляло правую часть народничества, т.-е. таких народников, которые и в своей практической деятельности и в литературе мало чем отличались от либералов“ (стр. 37). Если тут тов. Зиновьев имеет в виду противопоставить легальных народников с нелегальным, то неверно, будто легальные в 80 годах чем-нибудь особенно отличались от нелегальных по своей идеологии: стоит только вспомнить мнение Желябова о классовой борьбе, а, с другой стороны, статьи Михайловского в „Нар. Воле“...

Но есть основание думать, что, говоря так, тов. Зиновьев имеет в виду хронологическую последовательность смены двух оттенков народничества. „Несмотря на всю пестроту, в народничестве можно и должно различать два основных течения: с одной стороны—революционно-демократическое, а с другой—буржуазно-либеральное. Если говорить хронологически, то надо различать народников-семидесятников и народников-восьмидесятников, т.-е. два поколения, жившие преимущественно в 70-х и 80-х годах. При этом можно сказать, что народники 70-х годов состояли, главным образом, из сторонников первого течения, которое я назвал революционно-демократическим, нередко с оттенком анархизма, между тем как народничество 80-х годов слагалось, по большей части, из сторонников течения, которое справедливо может быть названо буржуазно-либеральным и которое впоследствии слилось в значительной степени с русским либерализмом, с кадетской партией“ (стр. 44—45). Это уже сугубо неверно. Из среды народников последующего созыва вербовались будущие кадры соц.-дем.: пусть прочтет тов. Зиновьев воспоминания М. Ольминского! Наконец, разве забыл т. Зиновьев, что славные первомартовцы во главе с Александром Ульяновым были народниками 80-х годов?

Что́ же спутал тов. Зиновьев или что́ запутало его? Он не мог более или менее точно разграничить различия между легальным (типа г.г. В.В. Н.—она и др.) и нелегальным народничеством, и поэтому блуждает на целом ряде страниц между такими противоречиями, ошибками и неясностями?..

„Ход развития был против народничества, и именно по этой причине марксисты, в союзе с жизнью, сравнительно быстро разбили наголову своих противников“ (стр. 43),—пишет тов. Зиновьев. Это очень неточно. Достаточно ли „быстро“ те добрых 15 лет, которые понадобились для победы марксизма над народничеством (я беру самую лучшую ситуацию и считаю 1895 год—годом победы марксизма!), можно судить по тому, что в дальнейшем ни одна эпоха в жизни нашей партии не измерялась столькими годами и ни одна борьба не требовала столько энергии и сил! Возражаю я против этого утверждения тов. Зиновьеву потому, что оно вселяет излишне легкомысленное отношение к очень серьезной борьбе, имевшей определяющее значение для всей дальнейшей программы и деятельности соц.-дем.

Тов. Зиновьев думает, что легальные народники - второе поколение народничества, говоря, что первое поколение 70-х годов были революционеры, он прибавляет: „Совсем другой характер носило второе поколение народников, зачастую игравшее в 80-х годах прямо реакционную роль. По этому вопросу можно найти интересные подробности в прекрасных, нисколько не устаревших сочинениях Плеханова, как, например, в его книге „Обоснование народничества“,

выпущенной им под псевдонимом Волгин" (стр. 45). Это прямое недоразумение! Легальное и нелегальное народничество не только были одновременно в 70-х годах, но и вели жестокую войну друг с другом, как не трудно узнать тов. Зиновьеву, прочтя хотя бы статью Плеханова „Об чем спор".

Он приводит Каблица-Юзова, как представителя реакционной идеологии, для иллюстрации своей классификации. „Для иллюстрации моей мысли достаточно привести два-три примера. Один из крупнейших литераторов-народников Каблиц-Юзов доказывал, с самым серьезным видом, что мелкий собственник и, в первую очередь, крестьянин представляет собой, в силу их „экономической независимости", как он выражался, тип гражданина высшего разряда" (стр. 46). Но тов. Зиновьев забыл прибавить, что он невероятно путает хронологию. Каблиц в 70-х годах был как раз в рядах и на стороне землевольцев, а мысли его, приведенные Зиновьевым, относятся к 90-м годам, когда все и всякое народничество было реакционным явлением.

Тов. Зиновьев пишет о терроре: „Марксисты вначале лишь очень робко,—например, в первой, написанной Плехановым, программе 1885 г.,—отмежевывались от терроризма народников" (стр. 49). Неверно, если формулировку программы 1884 года (а не 1885) считать „отмежеванием", то так же точно, пожалуй, еще смелее и определеннее Плеханов отмежевался еще в 1883 г. в „Соц. и пол. борьба", а если говорить о подлинном межевании, то оно по вопросу о терроре было произведено в проекте 1888 г.

Не могу не отметить, что тов. Зиновьев, говоря так много сбивчивого о двух направлениях в народничестве, не останавливается на очень известном факте существования среди народников сторонников пропаганды (лавристы) и сторонников агитации (бунтарей бакунистов). В то время, как отмеченные им „особенности" весьма сомнительного научного достоинства, это деление имеет то преимущество, что оно помогает понять очень многое в дальнейшей эволюции революционной мысли в России.

Начиная свой рассказ о гегемонии пролетариата с речи Плеханова на Парижском конгрессе (1889 г.), он далее переходит к спору Плеханова с Тихомировым и пишет: „В годы расцвета своей деятельности Тихомиров был главным представителем „Народной Воли", и Плеханову пришлось скрестить шпагу прежде всего с ним. Дело было так: когда, несмотря на все предсказания народников, рабочие стали все-таки появляться в городах, и в первую голову в тогдашнем Петербурге, а народники начали убеждаться в том, что рабочие все-таки очень восприимчивы к революционной пропаганде и что с ними надо считаться, тогда Тихомиров выдвинул в виде компромисса формулу: „мы (народовольцы) согласны вести пропаганду также и среди рабочих и не отрицаем, что они очень важны для революции". Плеханов подхватил эти слова и со свойственным ему талантом повернул их против противника. Он написал по этому поводу блестящую статью против народников и пустил в них несколько стрел, весьма удачно попадавших в цель" (стр. 55). Тут несколько и самых несуразных ошибок. Идея, которая приписывается Тихомирову, на самом деле была давно—с конца 70-х годов—общенароднической мудростью, стоит только т. Зиновьеву прочесть статью Плеханова, написанную в 1879 г.: „Закон историч. развития", ст. II. Таким образом Тихомирову не надо было открывать никаких Америк. Затем статья Тихомирова (о которой говорит т. Зиновьев) появилась в 1883 г. (следовательно, задолго до Парижского конгресса), далее Плеханов ответил на эту статью не „блестящей статьей", а целой книгой под весьма известным названием „Наши разногласия", которая появилась в 1885 г. Дело, как видит читатель, было иначе, чем то написано у тов. Зиновьева.

Объясняя легальный марксизм, т. Зиновьев пишет: „Под ярмом царизма, под этой могильной плитой, придавившей всю страну, было неизбежно, что некоторые считали свое место не там, где оно было в действительности, что они случайно попадали в ту или в другую партию, а

когда наступал решающий момент, часто оказывались в другом лагере. Так случилось и с легальным марксизмом. Целое его крыло оказалось потом вожаком буржуазной контр-революции в России“ (стр. 61). Если это что-либо и освещает, то только то, что тов. Зиновьев совершенно не понял смысла явления, которое носит у нас название легального марксизма. Разве эти люди случайно оказались в лагере марксизма? И так-таки не было никаких причин, никакого объективного объяснения этому немаловажному общественному явлению?

Рассказывая о первых рабочих соц.-дем. кружках в Ленинграде, он пишет: „На этой основе начинают возникать рабочие соц.-дем. кружки. Первый такой кружок был создан Благоевым, болгарином по происхождению. В 1887 г. он был студентом в Ленинграде, где тогда учились многие болгары. Вместе с другими товарищами, имена которых сохранились,—Герасимовым и Харитоновым,—он объединил вокруг себя группу единомышленников, основав первый в Ленинграде социал-демократический кружок, сыгравший не меньшую роль, чем „Северно-русский рабочий союз“, основанный Халтуриным“ (стр. 71). Тут дело не обошлось без путаницы. Во-первых, из числа выдающихся членов благоевской организации Латышева нельзя было пропустить—он, по всем данным, автор программы этой „партии“, а, во-вторых, Благоев был арестован летом 1885 года и был выслан в Болгарию,- таким образом в 1887 г. он никак учиться в Ленинграде не мог.

Между благоевской группой и образованием Ленинградского Союза борьбы у него не упоминается ничего связующего, а, ведь, времени между ними прошло более чем восемь лет! Говоря о „Союзе борьбы“, он пишет: „Союзы борьбы за освобождение рабочего класса создались впоследствии и в ряде других городов: в 1895 году — в Иваново-Вознесенске, в 1896 г.—в Москве. Эти союзы были первыми крупными социал-демократическими организациями, легшими в основу нашей партии, а первый, ленинградский, насчитывал в своих рядах немало замечательных людей и, прежде всего, самого т. Ленина, который его организовал“ (стр. 72). В Иванове не было в этом году никакого союза, позже возник так называемый „Рабочий союз“, который не был отнюдь Союзом борьбы. Да и самый Ленинградский Союз принял свое наименование лишь к концу 1895 г.

То же название, что и Ленинградский „Рабочий союз“, и провинциальные организации приняли лишь после 1898 г. — после I-го съезда.

Ясно отсюда, что и рассказ о I-го съезде страдает рядом ошибок, обусловленных вышеотмеченной путаницей названий. Есть и фактическая неточность,—напр., от Бунда были представлены Кремер, Мутник и Кац (а не Коссовский).

Крайне неудачно разобран „источник экономизма“. Тов. Зиновьев путает стихийный экономизм рабочего движения с экономизмом, как оппортунистической доктриной, на самом деле эти два явления лишь в определенный момент совпали, но это отнюдь не одно и то же; и именно из этой путаницы выходит, что Прокопович и Кускова являются идеологами этого низового движения рабочих, в то время как они являются идеологами в лучшем случае привилегированной части рабочего класса, а еще лучше—левой части буржуазной интеллигенции, через которых идеи буржуазии внедряются в пролетарскую идеологию. Такая путаница и привела к тому, что, по мнению т. Зиновьева, вышло, что есть экономизм революционный и оппортунистический. „Правильно подчеркивая экономический момент, часть деятелей, которые на деле были только нашими попутчиками, будущими меньшевиками, перегнула идею экономизма в том смысле, что рабочие не должны вообще интересоваться ничем другим, а только узко-экономическими вопросами: все остальное рабочих, мол, не касается, они этого не понимают, и говорить с ними надо лишь о вещах, непосредственно их затрагивающих, т.-е. только об их экономи-

ческих требованиях" (стр. 82). Идея экономизма (как оппортунистического учения) была сама по себе антипролетарская и нереволюционная и не имела своей непосредственной причиной стихийное экономическое движение, хотя последнее оказало заметное влияние на его рост и развитие.

Он пишет: „Прокоповича и Кускову поддерживали в России несколько групп, в том числе нелегальная газета „Рабочая Мысль", выходившая в Ленинграде в 1896 году под редакцией Тахтарева, автора ценных исторических исследований по рабочему движению и одного из крупных его деятелей в 90-х годах". Насчет „ценных исторических работ" мы иного мнения, но не в этом дело: „Рабочая Мысль" появилась в гектографированном виде только осенью 1897 г.

По его мнению, „первый ответ" на экономизм „дал Плеханов". Неверно. Первый ответ был дан Аксельродом.

Далее он пишет: „экономисты были окончательно разбиты в начале 1900-х годов: примерно, в 1902 г. их песенка была спета. Но между 1898-м и 1901-м годами они были, в известном смысле, властителями дум" (стр. 86—87). Это тоже неверно,—они никогда не были „властителями дум".

Несколько страниц спустя, Зиновьев, очевидно забыв сказанное выше о легальных марксистах и экономистах, вдруг прибавляет „Мы видим на примере легального и нелегального марксизма пути влияния либеральной буржуазии, которая, при тогдашнем соотношении сил, иногда даже прямо входила в рабочую партию, стараясь заразить ее ядом приспособленчества и отравой буржуазных идей" (стр. 87).

Говоря о студенческих волнениях, Зиновьев, описывая эволюцию студенчества пишет: „Если ее внимательно рассмотреть, то можно сказать, что студенчество развивалось „по Гегелю". Сначала у нас было студенчество сплошь революционное, целиком помогавшее рабочему классу; затем, с 1917 г. до 1920-го, мы имели как бы антитезу, когда студенческое движение шло целиком против рабочего класса и против революции; наконец, теперь мы, как будто, наблюдаем нечто вроде синтеза, когда значительная часть студенчества начинает, кажется, догадываться о своих обязанностях по отношению к трудящимся классам и хотя бы одной ногой вступает в лагерь революции" (стр. 92—93). Говоря вообще, мы, разумеется, очень и очень рады за т. Зиновьева: занятие Гегелем даром не проходит—у старых учителей Фейербаха и Маркса можно многому научиться, но—увы!—мы не можем теперь одобрить т. Зиновьева за его первое обращение к помощи Гегеля: первый блин вышел комом.

Тут нужно было применить как раз не закон триады, а закон Маркса, гласящий: „бытие определяет сознание". Никогда студенчество сплошь не было революционным, как никогда оно не было сплошь контр-революционным. Если бы это было так, то в угоду зиновьевскому гегельянству пришлось бы принести в жертву Марксов материализм и... исторически достоверные факты.

Далее он пишет: „Тут важно отметить одно обстоятельство: студенты-террористы, связавшиеся впоследствии с партией эс-эров, принадлежали раньше к социал-демократам" (стр. 95). Плохо, плохо изучен еще Гегель, а еще хуже—история студенческого движения: только несколько студентов с.-д. перешли в террористы, при чем далеко не самые сознательные соц. дем. и уже во всяком случае все они были плохие марксисты, хотя чрезвычайно мужественные люди. Но не в этом дело. Тяга мелкой буржуазии к партии с.-р. была вызвана рядом объективных причин, и те представители мелко-буржуазной революционной молодежи, которая была в рядах с.-д., ушли к своим, но разве отсюда следует, что через с.-д. был нормальным путем приход к с.-р.? Это было бы очень интересно, но—неверно.

Еще ниже он пишет: „Перед социал-демократией того времени возник вопрос — как отнестись к студенческому движению. Из того, что я говорил об экономистах, ясно, что последовательные сторонники этого течения должны были игнорировать студенческое движение, и они, действительно, это делали, ибо студенческое движение, как чисто-политическое, ничего общего с непосредственными экономическими задачами рабочих, по их мнению, не имело“ (стр. 96). Неверно. Экономисты, во-первых, вообще не были против всякой политики — ведь, это они вскоре же начали проповедь террора! — и затем по вопросу о студенческих волнениях экономисты не только не игнорировали, а посвящали ему много места в своих „Листках Рабочего Дела“ и даже выпустили специальную брошюру, посвященную этому вопросу.

Расчувствовавшись окончательно насчет студенчества, Зиновьев пишет, что Ленин много интересовался буржуазно-оппозиционным движением, и далее говорит: „Меньшевики, пользуясь этим, неоднократно становились в позу и уверяли, что они больше, чем мы, друзья рабочего класса. Они говорили: Что нам до каких-то земцев и студентов! Наше дело — чисто рабочее: мы думаем только о рабочем движении“ (стр. 98). Не мое дело, конечно, реабилитировать меньшевиков и, во, полагаю, все-таки следует уважать своих читателей. Когда и где меньшевики говорили такую чепуху? И разве нужно извратить точку зрения меньшевиков, чтобы убедиться в ее ошибочности?

Говоря о II съезде, он пишет: „Плеханов был одним из главных авторов программы партии, которую экономисты, во главе с Мартовым, сильно критиковали, предложив к ней несколько десятков поправок“ (стр. 136). Очевидно, с Мартыновым, ибо Мартов в программных вопросах поддерживал Плеханова и Ленина.

Описывая весьма живописно ход прений по программе, он пишет: „В одной из своих программных речей, произнесенных им на съезде, Плеханов формулировал свой взгляд так: „Мы, конечно, выдвигаем сейчас всеобщее избирательное право, но, как революционеры, мы должны открыто сказать, что не хотим превращать его в фетиш. Ведь, легко можно себе представить такое положение, когда победивший рабочий класс на-время лишит избирательного права своего противника — буржуазию“. Эти слова вызвали сильное возмущение со стороны будущих меньшевиков. Во время дальнейших прений возник вопрос об Учредительном Собрании и о сроках созыва парламента. В программе-минимум мы требовали созыва парламента каждые два года, т.-е. как можно чаще. Один из будущих меньшевиков заявил, что лучше — раз в год: это еще демократичнее. Тогда поднялся Плеханов и произнес замечательную речь. Он сказал: „Вы должны иметь в виду, друзья, что вопрос о сроке созыва парламента является для нас, революционеров, подчиненным; если данный парламент будет выгоден для рабочего класса, то мы, конечно, постараемся его продлить; если же он будет против рабочего класса, мы, если сможем, постараемся разогнать его в две недели“. Едва Плеханов произнес эти слова, как съездом овладело сильнейшее волнение“ (стр. 136 — 137). Не нужно особых знаний, чтобы заметить, что тов. Зиновьев расчленил одну речь Плеханова на ряд речей. Это может быть и удобно для рассказа (тем более, что и речь-то не передана, а пересказана!), но противоречит истории и уж никак не дает правильного представления о съезде! Он заставляет Плеханова произнести следующую речь. На съезде он сказал: „Да, наша социал-демократия разделяется на Гору и Жиронду: вы, меньшевики, вы — жирондисты, будущие предатели рабочей революции“ (стр. 139). Это, быть может, и очень лестно для Плеханова, но этого Плеханов никак не мог сказать, ибо он тогда не считал Мартова и Аксельрода ни жирондистами, ни предателями.

Я не знаю, стоит ли мне продолжать далее? До сих пор я разобрал лишь одну треть всей книги! Перечисление его ошибок займет слишком много времени, а места у меня мало, поэтому я предпочитаю остановиться. Я полагаю, мне будет разрешено на основании того, что я до сих пор указал, сделать несколько выводов:

1) Нельзя было издавать книжку, не просмотрев ее внимательнейшим образом. Популярная книжка должна быть особо тщательно проверена, ведь, ее читатель все будет принимать на веру, особенно, когда в заголовке стоит фамилия столь уважаемого товарища, как тов. Г. Зиновьев.

2) Издательство не имело права печатать сотню тысяч экземпляров, не дав предварительно автору просмотреть книжку, ибо нельзя же предположить, что тов. Зиновьев книжку просмотрел и эту бесконечную вереницу ошибок не заметил.

3) Тов. Зиновьев предпослал первому изданию своих очерков предисловие, которое заканчивается словами: „Нижеследующие шесть лекций, прочитанные мною накануне 25-летнего юбилея нашей партии, дают лишь самый беглый очерк ее истории. Одно только пятилетие, прошедшее с 1917 года, потребовало бы нескольких книг. Мои лекции — только первоначальные наброски, которые могут после жить лишь краткими введением в историю нашей партии. Я издаю их по настоянию товарищей и только потому, что литература по истории Р.К.П. пока еще очень бедна. Быть может, при этой бедности и мои очерки принесут некоторую пользу" (стр. 1—2). Товарищи, которые „настояли", оказали медвежью услугу т. Зиновьеву, не проредактировав как следует стенограммы речей, которые в таком виде, быть может, некоторую пользу и принесут, но не как история, а как личные воспоминания, и то лишь то лекции, в которых он рассказывает историю Р.К.П. по личным воспоминаниям (каковыми являются главы V и VI).

В. Тэр.

В. Астров „Экономисты"—предтечи меньшевиков. *Экономисты и рабочее движение в России на пороге XX в.* НЗО. „Кр. Новь". М. 1924 г. Стр. 142.

Книжку эту я не собираюсь хвалить. Я полагаю, что тов. Батурин (с которым я совершенно согласен) сделал очень хорошо, что поместил в „Пролет. Революции" (№ 2) свою заметку о „Социальных корнях экономизма и меньшевизма", но поступил с моей точки зрения крайне неосмотрительно и нехорошо, поместив в том же номере того же журнала хвалебную рецензию в отделе библиографии.

На самом деле, если социальные корни, как мы увидим ниже, и не только „корни", но социальная природа экономизма им разобрана крайне неудачно, местами с прямыми немарксистскими искривлениями, то за что же хвала?

Хвала незаслуженная и несправедливая, пристрастная.

Тов. Батурин приводит финальные рассуждения В. Астрова и, повидимому, из экономии места избегает проследить, откуда у автора взялся этот неправильный взгляд?

Начиная свой „анализ" социальных корней экономизма, Астров констатирует, что иллюзия возможности материальных завоеваний в рабочей массе переросла их естественные размеры, и продолжает: „В исторической перспективе поэтому „экономизм" кажется огромным и нелепым заблуждением, которое на один момент стало почти всеобщим. И как идеологическая форма всегда несколько отстает от своей экономической базы так и „экономизм" захватил почти все социал-демократические организации уже на закате промышленного подъема, в 1898—1900 г.г.,

когда уже чувствовался кризис и завоевания рабочих ставились под вопрос. Это еще подчеркивает нелепость „экономизма", рисуя его в чудовищную карикатуру, в какой-то посторонний нарост на социал-демократию" (стр. 26—27. Курсив мой, но погрешности против русского языка сделаны нашим будущим ученым. *В. П.*). Это не случайная фраза, это исходное положение, развитие которого и приводит Астрова к его „рассуждениям". Его девственное сознание смущает одно обстоятельство: не взирая на то, что русская буржуазия не сумела обеспечить за время подъема хотя бы на несколько лет своих рабочих прожиточным минимумом,—русское рабочее движение не избегло оппортунизма. „И все-таки оппортунизм господствует в соц.-демократии в течение этих лет" (стр. 27).—патетически восклицает наш автор. Понять отказ западного рабочего от социальной революции, по мнению Астрова,—дело пустяковое; то ли дело наше самобытное российское издание оппортунизма— это совсем иного порядка дело. „По совсем иного порядка явление, когда уже восставший (sic! *В. П.*), но все еще закованный в цепи голодный пролетарий не понимает необходимости эти цепи разорвать. Таким образом мы имеем перед собой значительно исправленное „самобытными" чертами издание западно-европейского оппортунизма" (стр. 27). И вот, желая объяснить этот исправленный „самобытными" чертами оппортунизм, наш автор пускается в поиски, которые его приводят к его знаменитой во всех отношениях „теории".

Не буду долго задерживать внимание читателя на совершеннейшей нелепости приведенной постановки проблемы,—она очевидна. Уже из приведенных цитат видно, что В. Астров путает две совершенно разные вещи, которые в России по времени совпадали, которые друг на друга оказали сильное влияние, но которые при всем том вещи разные: Массовое экономическое движение и оппортунистическое учение экономистов. О том, в какой связи они находятся друг к другу,—ниже.

Он пишет, заключая свои длинные экскурсы для доказательства той банальной мысли, что русские рабочие в большинстве своем были полукрестьяне: „Стряхивая с ног груз мелкой собственности, описываемый слой рабочих (который, смело можно сказать, составлял большинство, хотя еще далеко не в большинстве участвовал в стачках активно), освобождал для борьбы энергию не только свою, но и тех рабочих, чьи условия труда и найма он ранее снижал. Косвенно, это не могло не отразиться на всех группах рабочих без исключения и тем усилило общий стачечный натиск. Но, становясь „классом" в себе, пролетариат не сразу становится классом для себя". В русских условиях это получило свое выражение в том, что вчерашний крестьянин, активное выступление которого оказало такое сильное влияние на ход стачек, становясь экономически - рабочим в полном смысле слова, по своей психике еще оставался некоторое время крестьянином... Что его классовый интерес рабочего лежит гораздо дальше, об этом он узнал далеко не сразу. Его мелко-буржуазное заблуждение и послужило основой для „экономизма", за счет которой последний так уродливо перерос свою материальную базу. Отраженно мелко-буржуазная психология, в свою очередь, переходила на прочие группы рабочих, ибо непосредственный ее носитель давил своим количеством, и тем усиливала те иллюзии, которые вызывал подъем и успех стачек у всего пролетариата в целом" (стр 37). Мы глубоко виноваты за злоупотребление терпением и благосклонностью читателей, но не цитировать этот перл—не можем. Начнем по порядку. Был ли какой-либо такой рабочий класс, который не был бы в раннюю эпоху своего развития полукрестьянским? Нет, процесс пролетаризации — процесс более всего безличный, общий всем странам. В свою очередь, была ли такая страна, где рабочее движение не пребывало бы более или менее длительное время в стадии борьбы за экономические улучшения? Нет, не было и такой страны. Процесс превращения „класса в себе" в „класс для себя" в том

именно и выражается внешне, что борьба рабочего класса из стихийно-экономической превращается в осознанную борьбу за конечные цели. В чем последнее обстоятельство выражается? Отнюдь не в том, что весь класс сознает далекие цели движения, а в том, что пролетариат выдвигает из своих рядов авангард, — отряд „дальнозорких“, как выражался Плеханов. Пролетариат, который выдвинул на передовые посты хотя бы маленький, но идейно выдержанный и последовательно-революционный отряд таких дальнозорких — в этот момент превращается из „класса в себе“ в „класс для себя“.

До момента оформления авангарда экономическое движение рабочего класса неизбежно „экономично“, т.-е. ставит себе конкретные экономические задачи и является естественным врагом всяких далеких „конечных целей“, которых оно не сознает, которых оно не видит и, следовательно, о которых ее суждения ограничиваются отсутствием всякого суждения.

Этот „экономизм“ и по социальному существу, и по своей идеологии, которая выражается в отсутствии какой бы то ни было цельной идеологии — нечто совершенно отличное от нашего российского экономизма, хотя это не только не исключает их взаимное влияние друг на друга, но и взаимную до известной степени обусловленность.

Первый вид „экономизма“ есть совершенно законная форма начала рабочего движения и, как таковая, свойственна всем странам, в то время, как второй вид экономизма, о котором мы поговорим ниже, представляет собой результат влияния буржуазии на пролетариат, следствие не только развитого капитализма, но и развитого рабочего движения.

Поэтому-то первое есть наилучший показатель отсутствия политической партии пролетариата и предшествует ей, а второе немыслимо и невозможно без партии и является совершенно оформленной и строгой идеологией тех групп рабочего класса, которые ближе всего (и материально, и культурно) к буржуазии и через которые буржуазия влияет на пролетариат. Такая идеология может явиться и является прямым ответом на идеологию пролетариата, поэтому, как и всюду, оппортунизм появляется в ответ на революционные классовые воззрения пролетариата, носителем которых явится марксизм.

Если это верно, — а это несомненно верно, — то совершенно понятно, где скрыта ошибка В. Астрова. Рассматривая экономизм, как движение, выдвинутое снизу (т.-е. рассматривая российский экономизм, как дальнейшее развитие и идеологию стихийного экономического движения рабочих масс), он делает для себя свой основной тезис недоказуемым совершенно.

Одно из основных своеобразий истории нашей партии заключалось в том, что партия у нас имела уже пятнадцатилетний опыт теоретической борьбы с идеологией мелко-буржуазной, когда разлилось широкое рабочее движение и когда быстрый рост капитализма в стране вызвал появление, правда, очень тонкого слоя, но все же достаточно внушительное количество привилегированных рабочих.

Совпадение, одновременное появление оппортунизма и малосознательного стихийного экономизма широких рабочих стачек, весьма знаменательно и создает много места для разговоров о „своеобразии русского исторического процесса“, но нужно за этим уметь не потерять последние остатки чутья историка.

Тов. Н. Батурин глубоко прав, когда пишет: „Создавая и проводя в жизнь свою „теорию стадий“, свою „тактику-процесс“, „экономисты“, конечно, имели в виду широкие и отсталые полукрестьянские слои наших рабочих, и в этом смысле на них опирались и их „отражали“ („Пролет. Революция“, № 2 (25) за 1924 г., стр. 110). Но что отсюда следует? Вовсе не то, что В. Астров прав, а как раз наоборот.

В один определенный момент экономизм „отражал“ широкое стачечное движение, но следовало видеть, что их тенденции тут же и расходятся.

Чем дальше, тем все более стихийное экономическое движение шло по пути революционно-политическому, а экономизм—по пути оппортунистической критики теории Маркса, к реформизму европейского толка и типа.

В. Астров остановил свое просвещенное внимание на этом перекрестке, где эти два явления скрестились, и принял их за одно явление, не заметив, что они расходились и разойдутся неизбежно, что эти два явления разного социального смысла. Отсюда и его моральные сентенции насчет „отвратительных" и т. п. черт, отсюда и его совершенно вздорное утверждение, будто экономизм „господствует", что он нашел „гулкое эхо" в широких рабочих кругах и т. д. Вся эта чепуховая беллетристика и образное стихотворство показывают только, что автор путается в трех соснах экономической историографии, сам того не подозревая привносит в историю Р.К.П. ту самую концепцию экономистов-историков, которую он так старательно отрицает на словах.

Но что же такое был экономизм? Совершенно несомненно, это было типичное идеологическое выражение интересов и воззрений рабочей аристократии крупных промышленных центров и ремесленного запада России.

Тот несомненный факт, что экономическая теория вышла из западной ремесленной среды, ничуть не смущает В. Астрова. Он пишет: „На центральную Россию движение Западного края оказало влияние прежде всего своей политической стороной. Если же, как мы увидим ниже, отсюда впервые вышли также идеи „экономизма" в более или менее отлившейся форме, то это объяснимо большей культурностью движения, которое интенсивнее и раньше вырабатывало в себе как положительные, так и отрицательные черты" (стр. 40). Логика из рук вон плохая. Это как раз и доказывает, что экономизм являлся продуктом, во-первых, развитого рабочего движения, а во-вторых, из среды как раз рабочей аристократии и ремесленников. Не скажет ли В. Астров, что ремесленные барды экономизма лишь играли роль людей, формулирующих чужие воззрения и интересы? А ведь такими „чужими" были те самые полукрестьяне, которые волновались в промышленных областях. Отсюда и очень дикое „описание" того, как социал-демократические организации „заразились" экономизмом. „Ко времени торжества экономизма в Петербурге, аресты не оставили рабочих-„стариков" так же, как и „стариков"-литераторов. Новый, выходивший в движение „молодой" рабочий, с одной стороны, носил на себе отпечаток полу-крестьянской пассивности, уповая на „господ студентов" в рабочем деле; с другой стороны, элемент, пробуждавшийся к пролетарской активности, не успевал и не имел возможности от кого бы то ни было получить серьезное социал-демократическое воспитание: пропагандистский аппарат социал-демократии был разгромлен. Не осмыслив теоретически классовых задач пролетариата, такой рабочий на первых порах мог стать лишь стачечником-бойцом, по духу синдикалистом или трэд-юнионистом, тем более, что обстановка успешной экономической борьбы этому способствовала,—но еще не сознательным социал-демократом. Поэтому на известный момент он и поддался „экономизму". Его „подозрительность", вместо того, чтобы направиться против буржуазных элементов интеллигенции, направилась против ее пролетарских, революционных элементов социал-демократической интеллигенции, которая тогда, вместе с такими рабочими, как Бабушкин, была носительницей классового сознания пролетариата. Это случилось тем легче, что буржуазный интеллигент поддакивал „серому" рабочему, а революционный социал-демократ пытался расширить его умственные горизонты" (стр. 67—68).

Я назвал это диким. Следовало назвать безграмотным. Кадры экономистов вербовались отнюдь не из элементов „пробуждавшихся к пролетарской активности", но которые якобы носили еще „в груди" яд „крестьянской пассивности". Такие элементы годны в анархо-террористы, которые и по-

явились несколько спустя в угрожающем количестве, но отнюдь не в экономисты. Правое крыло социал-демократии, наоборот, вербовалось из числа развитых, политически совершенно сознательных представителей рабочих передовиков. Именно поэтому они импонировали „старикам" и именно поэтому им удалось после провала старого состава подполья занять быстро их место.

Дальше Астров прямо следует, сам того не подозревая, по следам историков „экономической школы", когда он переходит определенные степени распространения экономизма. Он прямо поддерживает ту странную, совершенно неверную версию, будто „молодые" в России почти целиком были в лагере экономизма, будто это одно время было явлением „всеобщим" и охватывало все соц.-дем. организации. О том, чтобы такой взгляд установился, позаботились сами экономисты, которые имели все связи с Россией в своих руках и которые ревниво оберегали эти связи для себя. Они писали письма, инсинуируя на стариков из гр. „Осв. Тр." и обманывая местных товарищей относительно подлинного характера борьбы за границей, делая это частным порядком, „под сурдинкой", и, разумеется, никакой открытой борьбы вести с ними нельзя было ранее, чем они сами открыто не выступили.

То, что В. Астров говорит о группе „Осв Тр." частью сам, частью со слов Лядова, является ничем иным, как сущими пустяками, местами же прямое ребячество и наивность.

Первое обвинение, со слов Лядова, заключается в том, что Плеханов, мол, уронил партийное знамя, добровольно уйдя из „Союза".

Ничего не стоит доказать бесчисленными цитатами, что Плеханов **вынужден** был уйти со всей группой, но и **принципиально** акт ухода Плеханова, как раз наоборот, был революционным поступком и был равносилен защите знамени ортодоксии от загрязнения оппортунистским „пересмотром". Второе обвинение—слабость политического руководства. „К слабости политического руководства русским движением с стороны „группы" следует отнести опоздание с критикой таких документов, как „Об агитации", „Поворотный пункт в еврейском рабочем движении" и, наконец, запоздание о выпуском „Vademecum". „Группа" не сумела с самого начала захватить и прервать теоретические блуждания „экономистов" (стр. 83) Вообще говоря, правда, что руководство было слабое, но то, что говорит В. Астров по данному конкретному случаю, чистейшее... незнание дела.

Опоздала ли группа с нападением на экономизм? Ни в какой мере. Конец 1898 г.—раскол, 1899 год—письмо Аксельрода; в конце 1899 г., когда совершенно стало очевидно лицо нового движения, его теоретические основы, когда из письма Ленина стала совершенно ясна мистификация экономистов и они почувствовали в себе силу—в конце 1899 года: в начале 1900 г. они выпускают „Vademecum", и, наконец, в мае 1900 года выходит „Из записн. книжки" Плеханова №№ 1 и 2.

Не можем не отметить самое пустое и одновременно самое характерное место во всей брошюре—это философия истории Р.К.П., которую он строит: „История уже тогда, если так можно выразиться, позвав к практической борьбе российскую социал-демократию, передавала руководство ею от теоретика Плеханова—Ленину, как „революционеру, счастливо соединяющему в себе опыт хорошего практика с теоретическим образованием и широким политическим кругозором" (известный отзыв Аксельрода). „Экономизм" на один исторический момент перенял это руководство, когда оно выпало из рук Плеханова и не перешло к Ленину, очутившемуся в ссылке" (стр. 84). По этому поводу тов. Батурин остроумно напоминает В. Астрову о существовании таких историков, как придворный раб Карамзин, стиль коего не делает чести коммунисту. Однако мы не намерены быть в претензии именно в этом пункте, ибо вся книжица написана приблизительно в таком же тоне. Мы хотели бы указать только по существу, что, принимая эту патетически преподнесенную схему,

мы попадаем в затруднительное положение. Схема очень интересная: группа „Осв. Тр." — экономизм — Ленин. Да только она — не более как отсебятина нашего молодого Карамзина.

В. Астрову недоступно понимание такой простой вещи, что раскол в Союзе и означал, что такую преемственность Плеханов и группа не хотели допустить и фактически не допустили. Но это понятно. Никакие простые мысли и истины Карамзинам не доступны. Они и по сей день всему придают форму претенциозной отсебятины—от чего простые истины становятся непонятно сложной... ложью.

Мы слишком долго задерживались на этой книжке В. Астрова, которая ничего не доказывает иного, как то, что автору недостает самого главного — знаний.

Но, прежде чем закончить свою заметку, не могу не остановить внимания читателя на следующей „мысли" В. Астрова. Говоря о 90-х годах, он пишет: „Буржуазия, со своей стороны, делает попытку опереться на рабочих в борьбе с самодержавием" (стр. 41). Никогда этого не бывало! Нужно совершенно не знать историю и не понимать природу легального марксизма, чтобы видеть в нем попытку „опереться" и т. д.

Он утверждает, что либерализм конца XIX века „отчасти своими источниками лежит у рабочего движения" (стр. 41). Если это и „мысль", то мысль неуклюжая. Но уже совсем не похожа на правду такая философия—„лег. марксизма" — „именно потому, что в 90-х годах рабочая волна еще окрашена примирительными тонами в политическом отношении, буржуазные идеологии получают возможность выступать под рабочим флагом, сознательно или бессознательно рассчитывая удержать рабочее движение в „должных" рамках. Но они бегут от него тогда, когда им выяснится его крайний радикализм в демократических и социальных требованиях". От этой философии на версту несет упрощенством и вульгарностью.

Не будем больше задерживать внимание читателя на этой брошюре. Мы высказались только потому, что тов. Батурин поднял этот вопрос.

Тов. Батурин совершенно прав, но тогда нужно сделать и надлежащие выводы: книжка плохонькая, на ней все следы недодуманности, и автор сделал очень нехорошо, выпустив второе издание без фундаментальной переработки.

В. Пепел.

В. В. Святловский. История социализма, 2-ое изд. „Начатки Знания". Ленинград, 1924 г.

Непростительная книга. Неприличная книга. С трудом веришь, что на ней стоит фамилия одного из профессоров наших ВУЗ, приходишь в отчаяние, когда представляешь себе, что по ней кто-то будет учиться, поверив этой профессорской марке. Я не могу припомнить другой книги, которая была бы так нелепо скомпанована, которая содержала бы в себе такое невероятное количество крупных и мелких ошибок, неверных и прямо вздорных утверждений.

О плане книги как-то даже неловко говорить всерьез. Проф. Святловский во вступлении оговаривается, что он намерен в своем обзоре дать только историю идеологии, что историю хозяйственного развития он предполагает известной своим читателям. С подобного рода ограничением задач курса необходимо, конечно, согласиться: курс истории социализма не может и не должен быть одновременно и курсом истории хозяйства. Но это правильное положение нельзя толковать расширительно.

В курсе истории социализма,—марксистском курсе, на что претендует проф. Святловский,—нельзя ограничиться одним изложением систем,

отказываясь от выяснения их социальных корней, их связи с теми или иными социальными группами, а следовательно, и с хозяйством данного момента. Курс истории социализма, не ставящий себе этой задачи, неизбежно должен оказаться курсом бесформенным, лишенным позвоночного хребта, если, конечно, у него нет в основе какой-либо чисто идеалистической концепции. У проф. Святловского такой концепции нет, он считает себя материалистом; но у него нет и материалистического подхода к изображаемым явлениям в области идеологии. Правда, мы находим почти в каждом отделе замечания, бегло характеризующие социальный строй, но эти замечания, в большинстве случаев, совершенно бессодержательные, а иногда и прямо неверные, слабо связанные с излагаемыми системами и совсем не связанные друг с другом, не имеют никакого отношения к плану книги. Она остается по существу просто изложением ряда систем,—изложением, совершенно лишенным какой-либо руководящей мысли.

Отсутствие руководящей мысли, отсутствие плана в изложении—это, конечно, плохо. Но, что же делать,—при скудости книг по истории социализма с этим можно было бы, пожалуй, примириться. Если бы книга проф. Святловского страдала только этим недостатком, это была бы плохая книга, но это не была бы неприличная книга. Беда в том, что даже как простое изложение систем она никуда не годится. Для доказательства этого положения волей-неволей приходится пойти в детали.

Книга начинается с введения, которое, очевидно, имеет целью дать предварительную ориентировку в основных понятиях. В действительности оно ничего не уясняет даже для того, кто имеет кое-какую подготовку. Человеку совсем не подготовленному это введение не даст ровно ничего, загромоздив лишь его сознание рядом терминов, из которых многих он в дальнейшем изложении вовсе не встретит. Зачем нужно это перечисление терминов без всяких пояснений, не сможет сказать и сам проф. Святловский. Мы имеем здесь: государственный, этический, религиозный, аграрный, муниципальный, гильдейский, революционный социализм, индивидуалистический, коллективистический и коммунистический анархизм, мутуализм, солидаризм, коллективизм, коммунизм; сверх того, мы имеем две классификации: Диля и Туган-Барановского (последний прибавляет еще три прилагательных: централистический, кооперативный и федералистический). И вся эта каша терминов, совершенно не объясняемых, помещается на двух страницах. Бедному читателю, который примет профессора Святловского всерьез, очевидно, придется просто зазубрить все термины, слепо уверовав, что это необходимо для дальнейшего.

Первая часть книги—коммунизм в древности—явным образом имеет своим главным „источником"—Пёльмана (Geschichte der sozialen Frage und des Sozialismus in der antiken Welt). Проф. Святловский характеризует книгу Пёльмана как сочинение „в своем роде превосходное" (стр. 20). С такой характеристикой трудно согласиться. Пёльман—исследователь, чрезвычайно пристрастный, его работа имеет некоторую скрытую политическую цель—на примере античности показать тщету и вред „социалистических мечтаний" современности. Для этого ему приходится усиленно причесывать античных мыслителей под современных, модернизовать их. У него собран большой материал, которым, конечно, надо пользоваться, но пользоваться с сугубо осторожной критикой. Проф. Святловский многое берет у Пёльмана без всякой критики и к ошибкам Пёльмана прибавляет некоторое количество своих собственных.

Ряд совершенно фантастических утверждений мы находим уже в характеристике социально-экономического строя Греции. Проф. Святловский здесь впервые обнаруживает свое поистине сверхъестественно легкомысленное отношение к хронологии. Наши слушатели ВУЗ, к сожалению, весьма слабо подготовлены в области истории и потому могут принять на веру, что в

древней Греции в V и VI вв. (кстати, как будто следовало бы их поставить в обратном порядке) „началась замена коммунистического хозяйства денежным". Значит в VII в. было коммунистическое хозяйство? Это совершенно невероятное открытие. Человек, хоть что-либо читавший по истории Греции, конечно, только рассмеется по поводу этого утверждения. Но, увы, слушать и читать проф. Святловского будут, главным образом, студенты. Хорошо если среди них найдется хоть один, который крикнет проф. Святловскому: „вздор". Это разобьет очарование профессорского авторитета. А если такого не найдется, явный вздор будет воспринят как бесспорная истина.

Точно также твердо будет усвоена та мысль, что в Аттике к IV веку было 60% пролетариев, которые, по утверждению проф. Святловского, существовали за счет государства. Между тем здесь неверно и то, что такой процент населения кормился за счет государства, и самое применение термина пролетариат к весьма разнообразной массе. Такое неточное употребление термина создает совершенно ложное представление о классовой структуре древне-греческого общества.

Очень неотчетлива и спутанна характеристика „Государства" Платона. А здесь нужна—при наличии весьма распространенной идеалистической легенды—особая осторожность и тщательность формулировки. Проф. Святловский, не смущаясь, рекомендует своим читателям Вл. Соловьева, С. Трубецкого, П. Новгородцева. С каким же багажем придут читатели к этим идеалистам от проф. Святловского? Какие выводы из своего изложения он делает? Коммунизм Платона, по мнению проф. Святловского,—рационалистический, воспитательный и идеалистический (?!) Далее: „государство Платона—чисто-эллинское, т.-е. без внутреннего деления на классы и касты". Вот тебе и раз: а 60% пролетариев, а банкиры, о которых говорилось выше? Разве это все было не в Элладе? А с другой стороны: как же это без классов у Платона, если несколькими строками ниже говорится, что спайка классов у него непрочна? Что коммунизм—для нетрудящихся, а для остальных—труд и подчинение? Следовало бы, если не сводишь концы с концами во время плохо продуманной лекции, свести их хотя бы при чтении корректуры. Или проф. Святловский не читал корректуры?

Истинный смысл „Законов" у проф. Святловского совсем не выяснен. Не дано существа их: уравнительности аристократического землевладения, покоящегося на рабском труде, и единовластия аристократии. К характеристике Платона и его социального идеала „Законы" дают много интересных черт. Можно сказать, что без „Законов" нельзя правильно понять и „Государство". Этим-то они и ценны. У проф. Святловского их изложение просто является бесполезным балластом.

Совершенно непонятно, зачем понадобилось автору перечислять все древне-греческие утопические романы, как имеющие отношение к социализму так и не имеющие. Подобной же неразборчивостью отличается, впрочем, и специальная работа проф. Святловского „Каталог утопий". Что социалистического в „Меропии"? Что даст читателю перечисление имен Амомета, Тимокла, Гекатея? Такая неразборчивость автора может повести только к путанице в умах читателей, у которых нет еще ясного представления о социализме. Из двух утопий, действительно интересных для истории социализма—Эвгемера и Ямбула—утопия Ямбула изложена, явным образом, по Пёльману—и совершенно неверно. Пёльман берет сохранившиеся отрывки из Ямбула, дополняет пробелы своим воображением и из созданной таким образом собственной конструкции делает логические выводы, выливая их в законченную формулу, весьма далеко уходящую от Ямбула. Ему хочется показать, что Ямбул говорит то же, что и программа германской социал-демократии, и путем указанных совершенно не-научных комбинаций он этого достигает. А проф. Святловский—подобно Диодору, который принимает за изображение

действительности излагаемые им утопические романы—принимает за Ямбула пёльмановский домысел. И еще в завершение приписывает сопоставление Ямбула с § 1 Готской программы Каутскому, который не виноват в этом вздоре ни сном, ни духом, вместо настоящего виновника—Пёльмана (Пёльман, русск. изд. I, 324). Это—яркий образец невероятной небрежности работы проф. Святловского.

Другой образец, пожалуй, еще более ярок. Есть комедия Аристофана „'Εκκλησιάζουσαι“, что значит „Женщины в народном собрании“, ибо „экклесиа“—по древне-гречески народное собрание. Но проф. Святловский на грех вспомнил, что в христианской литературе то же слово означает церковь. И вот женщины в народном собрании превратились у него в „церковников“, а кстати и героиня пьесы Праксагора изменила пол и сделалась Праксагором (стр. 40). Просто неловко почтенному профессору разъяснять подобные вещи.

Такое же путаное изложение, такую же неясность мысли и такие же ошибки находим мы и во второй части книги,—о коммунизме в средние века,—куда проф. Святловский относит без объяснения причин в раннее христианство, с одной стороны, и анабаптизм, с другой. Прежде всего—социальная база христианства. Проф. Святловский признает, что носителем христианства были низшие слои народных масс. Но,—заявляет он,—христианство, вопреки Каутскому, не было движением пролетарским. Хорошо. Вы ждете, что проф. Святловский будет связывать христианство с обездоленной мелкой буржуазией или с люмпен-пролетариатом, вообще укажет на иные социальные корни христианства. Ничего подобного. Христианство,—говорит он,—являлось прежде всего и преимущественно этическим движением (стр. 46). Вот тебе и раз. Да что же по вашему; этические движения не имеют социальных корней? Можно ли, отмахиваясь от объяснения христианства, как движения пролетарского, отмахиваться вместе с тем и от его социологического объяснения вообще? Проф. Святловский как будто стоит на материалистической точке зрения. Проф. Святловский уверяет, что он не уделяет достаточно внимания экономике только потому, что в соседней аудитории он же или другой профессор читает курс истории хозяйства. Но его рассуждения о христианстве невольно наводят на мысль, что материализм чужд ему по существу.

Не лучше обстоит дело и с социальным идеалом христианства. Во-первых, апостольский идеал, по словам проф. Святловского, **возвышался в идее до коммунизма**; многие утверждения христианских проповедников „могут быть приняты за выражения социалистической мысли“ (47). Во-вторых, суждения о христианском социализме или коммунизме являются contradictio in adjecto (49). В-третьих, нельзя приписывать христианству коммунистического характера (51). В-четвертых, нельзя не признать значительности в этом движении проповеди и практического осуществления коммунизма (52). Наконец, „коммунизм потребления для христианских общин был одним из существенных признаков“. Надо думать, что проф. Святловский в своем сознании как-то примиряет все эти положения. Но смеем его уверить, не только неподготовленному, но и подготовленному читателю остается неясным, как он их примиряет и каковы же его взгляды по сему не маловажному вопросу,

Пример неряшливости изложения, можно сказать образцовой, дает глава о средневековом сектантском коммунизме. Здесь на одной странице (60) вальденсы сначала оказываются особым названием катаров и истребляются как таковые, а затем, через две строчки те же вальденсы вновь встребляются уже „помимо катаров“. Здесь Франциск Ассизский, Амальрих Бенский, Абеляр, Арнольд Брешинский, Сегарелли и Дольчино сплетаются в причудливый хоровод, появляясь перед читателем в разных комбинациях на ряде страниц (60—63). Здесь моравские братья попадают из XVI в XVII век,

Гус объявляется коммунистом, германская крестьянская война становится многолетней (уж не спутал ли ее проф. Святловский с тридцатилетней войной), наконец, устройство Мюнстера во время торжества анабаптистов характеризуется как коммунистическое. И кончается глава ссылкой на Каутского. Бедный старик Каутский хоть и соглашатель, а приходится пожалеть — стоило ли стараться для того, чтобы теперь профессора так его перелагали и перевирали.

Переходя к третьей части — коммунизму нового времени — всякий читатель, хоть что-нибудь слышавший по истории социализма, остановится в недоумении, почувствовав, что здесь что-то не ладно, чего-то нехватает. В самом деле, проф. Святловский рассказывает здесь о Берклее, не имеющем никакого отношения к социализму, о Бэконе, о Гаррингтоне, — без чего можно было бы свободно и обойтись. Ну, а Томаса Мора и Кампанеллы у него нет. Этому трудно поверить, в первый момент я решил, что при хаотичности изложения первые утописты попали у проф. Святловского в другой отдел. Тщательно искал — и не нашел. Нет, вовсе нет, хотя и говорится в ряде мест о традиции Мора и Кампанеллы. Ничего не понимая, я достал первое, краткое издание „Истории“ проф. Святловского. Оказалось, там есть. Что же это означает? Ведь, не мог же проф. Святловский в промежутке между первым и вторым изданием решить, что Мор и Кампанелла менее важны для социализма, чем Берклей и прочие упоминаемые в книге писатели из третьеразрядных утопистов. Объяснение может быть только одно: проф. Святловский затерял или в типографии затеряли листы либо гранки, в которых содержалось изложение „Утопии“ и „Города солнца“. А затем, он не досмотрел такой малости, как исчезновение Мора. Можно быть неряшливым в работе, славился неряшливостью М. М. Ковалевский, в одной из своих книг дважды напечатавший один и тот же текст. Но неряшливость проф. Святловского решительно переходит все пределы приличия. Вот уже воистину „История“...

В той же главе, где нет Мора и есть Берклей, мы находим подлинный перл невежества. Проф. Святловский характеризует движение диггеров как движение **обширных и революционно-настроенных** пролетарских масс. Все это — чистейшая чепуха. Не было за диггерами обширных масс и не было у этих необширных масс революционного настроения. Наоборот, известно, что диггеры были проникнуты настроениями, близкими к толстовству и проповедывали непротивление злу. Но ягодки — впереди. Оказывается, вождем диггеров был Джон Лильборн. Очевидно, проф. Святловский и Бернштейна, как Каутского, читал в дни своей юности, и то, вероятно, невнимательно, перед лекциями их просмотреть не успел, а корректуры, вероятно, и вовсе не читал. Нельзя же составлять книги на основе весьма неотчетливых воспоминаний о давно прочитанных книгах.

Жалко бумаги, жалко времени читателя, да и нет надобности подробно разбирать все главы книги проф. Святловского. По существу в них мы находим в большей или меньшей степени — с небольшими вариациями — те же недостатки. Везде небрежное, хаотическое изложение, везде неясность (выражаясь **очень** мягко) точки зрения, везде грубые ошибки, везде много имен, ненужных читателю, и вопиющие пробелы, которые делают непонятным дальнейшее изложение. Два раза возвращается автор к Морелли, почему-то именуя его аббатом (ясно, что проф. Святловский спутал Морелли с Морелле) и вставляя между двумя отрывками о нем совершенно бессодержательные справки о Мабли, Руссо и Мерсье. Два раза говорит он о Ленге, называя его, впрочем, во второй раз Линде. В первый раз Ленге защищает частную собственность, во второй раз Линде оказывается коммунистом. Увы, проф. Святловский, это, несомненно одно лицо, а не два, и Ленге никогда не был коммунистом. Бриссо, очевидно за компанию, тоже превращен в коммуниста. Сен-симонисты объявляются революционерами, стоящими на

точке зрения классовой борьбы, чуть ли не целиком марксистами до Маркса (127—128).

Даже Сен-Симон, которого проф. Святловский, как переводчик и редактор его сочинений, уж, конечно, должен знать, и тот получает неотчетливую, двусмысленную характеристику. Он и не социалист „в общепринятом смысле слова", и социалист „в общем ходе истории мысли" (ох, не считает ли это проф. Святловский применением диалектического метода), и идеалист, и дуалист, и исторический материалист. Сен-симонистскому движению проф. Святловский приписывает размах и влияние, совершенно неправдоподобные. Увлечение Сен-симонизмом, по его утверждению, охватило всю молодежь Франции. В результате такого всеобщего увлечения произошло исключительное событие: иллюзии сен-симонистов оживили промышленную деятельность и обогатили французскую, а за нею и мировую буржуазию. Открытие сногсшибательное! Путь экономического развития Франции и Европы получает совершенно новое освещение! Бедные читатели, бедные слушатели: каким благоглупостям вас учит проф. Святловский!

Всех перлов этой сокровищницы не перечислить. Последние страницы так же богаты ими, как и первые. Проф. Святловский весьма одобряет переговоры Лассаля с Бисмарком, считая их „блестящим тактическим шагом" (256). Он сообщает читателю, что 3-й том „Капитала" вышел в 1891 г. под редакцией Каутского, а „Теории прибавочной стоимости" в 1894—1895 гг. Он совсем не дает сколько-нибудь связного и понятного изложения теории Маркса, ограничиваясь мало связным конспектом, который иногда превращается как бы в оглавление ненаписанного текста (например, IV. Теория обнищания—и ни одного слова пояснения, что это за штука; или—6. Методологические воззрения; диалектический метод как особый метод; метод Маркса в политической экономии; стремление к социальному реализму; монизм как основа мировоззрения Маркса). Читатель может подобную вещь вызубрить, но понять он, конечно, ничего не поймет. Глава о I Интернационале очень сухо сообщает о борьбе на конгрессах между марксизмом, с одной стороны, прудонизмом и бакунизмом—с другой. Но что такое прудонисты и бакунисты, этого читатель так и не узнает: ни Прудона, ни Бакунина в книге нет (если не считать упоминания их имен—имен, вообще, проф. Святловский нагромождает везде больше, чем нужно).

Книга проф. Святловского—самая неряшливая компиляция из всех, какие мне приходилось видеть. Приходится предостеречь от пользования ею самым решительным образом. Но что делать тем слушателям ВУЗ, которым приходится слушать лекции проф. Святловского и сдавать по ним зачеты?

В. Волгин.

Ю. Стеклов. Поль Лафарг. Боец революционного коммунизма. Изд. 3-е, исправленное и дополненное. Стр. 54.

В широкой партийной массе Лафарг мало, незаслуженно мало известен.

Даже те, кто читал русские работы Лафарга, знает его скорее только как талантливого сатирика—критика буржуазной собственности и исследователя происхождения идей и т. д.

Лафарг—революционер, революционный марксист, враг оппортунизма—мало известен.

А между тем, Лафарг—почти единственный из плеяды ближайших учеников Маркса, который до самой смерти остается верен заветам Маркса.

Плеханов, Гэд, Каутский и другие похоронили себя политически в 1914 г., Бебель начал „сдавать" в последние годы.

Лафарг умер в 1911 г. Но все прошлое его деятельности говорит за то, что война не превратила бы его из Савла в Павла.

На протяжении всей своей деятельности Лафарг твердо стоял на революционно-марксистских позициях. В то время как руководящая группа немецкой с.-д. перерождается в последние годы перед войной, мы видим, как Лафарг делает значительный шаг вперед, признавая здоровые стороны в эрвеизме и революционном синдикализме.

Конечно, здесь были свои объективные социальные причины.

Бешеный темп капиталистического развития Германии, тот факт, что именно в 1896—1914 г.г. она становится мировой державой, должны были породить и реформистский шовинизм и покончить с революционным интернационализмом в широких руководящих кругах.

Франция, медленно развившаяся, видевшая, начиная с 1905 г., бурный подъем классовой борьбы, меньше способствовала для перерождения гэдистской группы. С другой стороны, величайший скептицизм и презрение к буржуазной республике предохраняли Лафарга от толчков к национализму с этой стороны.

Беспрестанная борьба с оппортунизмом, который расцвел во Франции гораздо раньше, чем в Германии, дали возможность Лафаргу заострить революционно-марксистские основы тактики. Более широкое развитие парламентаризма и большая развращенность последнего помогли Лафаргу ярче оттенить революционно-марксистский скептицизм и отсутствие демократических иллюзий.

Опыт Мильерана позволил яснее определить марксистский взгляд на блоки и буржуазное государство.

Расколы и отколы предохранили (но не совсем) Лафарга от излишней веры в то, что „худой мир лучше доброй ссоры. Политические статьи и работы Лафарга дают богатейший материал для того, кто хочет проследить корни Коммун. Интернационала во Втором.

Французская коммунистическая партия с полным правом может считать Лафарга одним из своих духовных отцов.

Именно по всему этому странно, что политические статьи работы Лафарга находятся в таком забвении. Тов. Стеклов в своей брошюре дает общий очерк о Лафарге. В сжатой форме даются картина многолетней и многогранной деятельности Лафарга.

Свою политическую карьеру он начал в последние годы 2-й империи в накаленной социальной атмосфере. Вначале прудонист, Лафарг вскоре становится ярым марксистом, влияя (позже) даже в первые дни совместной работы с Гэдом на выпрямление марксистской теории и изживании бланкизма.

Лафарг, еще сравнительно молодой, становится членом Генерального совета I-го Интернационала, проделывает гигантскую работу по созданию марксистских рабочих групп в романских странах. 80-е и 90-е годы проходят в тяжелой работе по выпестовыванию рабочей партии. Неоднократно, вместе с Гэдом и без Гэда, Лафарг попадает в демократическую тюрьму республиканской Франции. Один раз из тюрьмы его высвобождает избрание в парламент. Лафарг в последнем не занимался „творческой“ работой. Парламент служил ему орудием агитации и пропаганды Он твердо помнил основной тактический завет марксизма о „революционном использовании марксизма“.

В парламенте Лафарг не занимался политиканством, а разоблачал и бичевал либерализм и республику. Он относился и к парламенту и к республике, как революционер. „Революционер старой школы“, не знавший компромиссов с буржуазной демократией, он с величайшим презрением и недоверием относился ко всем реформам, осуществляемым в капиталистическом строе. Государство буржуазии он ненавидел глубже всякого анархиста. И

любопытно, что до сих пор анархисты черпают сильнейшие свои аргументы против парламентаризма из сочинений Лафарга".

Лафарг даже доходил до того, что признавал (о, ужас!) вооруженное восстание. Это почти в то время, когда Каутский хоронил в „Социальной революции" и это самое вооруженное восстание, баррикады и т. д...

Но Лафарг, как революционер, ярче всего виден в его отношениях к мелкобуржуазным попутчикам в собственной партии и „святым основам" буржуазного общества: свободе, братству, равенству, прогрессу и т. д.

Он с тревогой смотрел на переполнение социалистической партии карьеристскими интеллигентскими элементами. Еще в 1900 г., когда один из них—Бриан—был в расцвете своей славы, Лафарг его характеризовал, как иезуита.

Еще более резко бичевал Лафарг святыни буржуазного общества. Его произведения, направленные против буржуазных „добродетелей",—это прежде всего произведения революционера. Какая пропасть между ними и филистерскими, прилизанными работами Вандервельде, Жореса и др., недаром будущего королевского министра коробило от сатиры Лафарга. Последний дал ему и иже с ним прекрасную отповедь в своей работе „Экономический детерминизм К. Маркса": „Вандервельде и другие товарищи скандализованы моей непочтительной и слишком уже „крайней" манерой разоблачать вечные идеи и принципы, третировать справедливость, свободу отечество, как каких-нибудь метафизических и этических распутниц, торгующих собой в академических и парламентских речах, избирательных программах и торгашеских рекламах. Какая профанация! Если бы эти товарищи жили во времена энциклопедистов, они метали бы молнии своего негодования против Дидро и Вольтера, которые хватали за шиворот аристократическую идеологию и тащили ее на суд своего разума, которые вышучивали священные принципы христианства, Орлеанскую деву, голубую кровь и честь дворянства, власть, божественное право и даже бессмертные вещи".

Брошюра т. Стеклова кратко рисует биографию Лафарга.

С неослабным вниманием читается она с начала до конца. Жаль только, что автор в своем стремлении не расширять брошюры, сделал только наброски Лафарга-революционера, Лафарга-революционного марксиста.

Но, при бедности коммунистической литературы о французском рабочем движении, брошюра тов. Стеклова и в настоящем виде принесет большую пользу.

Мы горячо ее рекомендуем нашей коммунистической молодежи.

Н. Л-р.

Новые идеи в физике. Сборник 10. Строение атома. III. „Образование". Ленинград 1924.

Десятая книжка „Новых идей в физике" носит юбилейный характер и связана с десятилетием теории Бора. В октябрьской книжке „Под знаменем марксизма" (№ 10 за 1923 г.) было отмечено десятилетие этой теории и дан перевод речи Бора, произнесенной при вручении ему нобелевской премии. В рецензируемом сборнике „Новых идей" точно также помещена эта уже знакомая читателям речь Бора. Но, кроме того, в сборнике помещен ряд других статей видных теоретиков.

Макс Планк, автор теории квант, отмечает, что теория Бора является нападением на прочно обоснованную, заботливо округленную классическую теорию. При этом Планк констатирует, что нападение удалось, и что теория Бора чрезвычайно быстро одержала победу над принципами, разработанными Гельмгольцем, Кельвином, Больцманом, Лоренцом. Однако Планк вовсе не предлагает просто отбросить все прежнее и с распущенными знаменами перейти в лагерь нового пророка; это было бы, говорит Планк, гораздо хуже самой упрямой оппозиции. Вместо того Планк намечает целую программу теоретических исследований.

Теория Бора сама пользуется классической физикой, хотя во многих пунктах ей противоречит. Но классическая теория вовсе не является, как многие думают, „целиком отлитой"—говорит Планк; она состоит из многих, независимых друг от друга постулатов. Поэтому Планк выдвигает тяжелую, но необходимую задачу анализа посылок классической теории. Необходимо выделить и отбросить те посылки, которые являются непригодными и неприемлемыми при свете новейших открытий; остальные посылки, необходимые для дальнейшего прогресса физики, нужно соединить с новыми гипотезами и созданную таким образом синтетическую картину развить во всех следствиях.

Такое исследование Планк мыслит не как чисто-логическое, но также и как индуктивное, для которого требуется чувство действительности; при этом Планк говорит, что это чувство действительности в особенности развито у Нильса Бора.

Планк отмечает также, что, несмотря на новизну и смелость допущений в теории Бора, в последней нет ни одной новой константы, неизвестной классической теории. Даже в самых специальных применениях теория Бора ограничивается элементарными квантами массы, электрического заряда и количества действия.

Теория Бора стерла принципиальную грань между физикой и химией; на почве этой теории Коссель построил свою теорию химических процессов. В статье „Объяснение химических процессов с точки зрения атомной теории Бора" Коссель излагает свои основные идеи. Теория Косселя замечательна в особенности простотою своих соображений. Теория Бора показала, что внутри атомов господствует обычная электростатика; поэтому казалось бы, что вопрос о строении молекулы на основе теории Бора является чрезвычайно сложным. В самом деле, каждый электрон возбуждает электрическое поле, и каждый электрон взаимодействует со всеми другими электронами своего атома, а также с электронами других атомов, входящих в молекулу. Строгое решение такой задачи является, конечно, необыкновенно трудным. Но, к счастью, такое строгое решение является излишним. Атомы во всех главнейших неорганических соединениях входят в эти соединения в качестве ионов, т.-е. в качестве заряженных частиц; а поле заряженной частицы быстро переходит в простое поле точечного заряда. Таким образом оказывается возможным отодвинуть на задний план тонкую географию атомной поверхности и рассматривать действия ионов друг на друга, как действия простых точечных зарядов. Оказывается, что эти действия дают уже целый ряд важнейших свойств неорганических ионных соединений. Исходя из электро-

статических притяжений и отталкиваний, можно предвидеть такие чисто-химические особенности, как относительную силу оснований и кислот, образование комплексных соединений и т. п. Таким образом все явления, связанные с валентностью, находят полное объяснение в обычных электростатических силах, а допущение особых сил сродства, приходящих на каждую единицу валентности, становится излишним.

Согласно теории Бора, каждая спектральная линия является внешним проявлением перескока электрона с одной орбиты на другую. Частота колебаний, соответствующая спектральной линии, определяется энергией, которая отдается или поглощается (в случае спектра поглощения) при перескоке электрона. Пограничная же линия спектра соответствует полному удалению электрона из атома, т.-е. превращению атома в ион. Частота пограничной линии спектра позволяет определить „работу ионизации атома", т.-е. ту работу, которая необходима для удаления электрона из атома и превращения последнего в ион. Таким образом чисто эмпирическим путем, оставляя в стороне сложное строение атома, получается эта важная для теории Косселя „работа ионизации". Чем меньше „работа ионизации", тем в большей степени элемент носит щелочной, электроположительный характер. Наименьшая работа ионизации должна быть у щелочных металлов и здесь убывать от лития к цезию. Это все и подтверждается на опыте.

Далее Коссель переходит к вопросу, очень важному для химика: к выяснению расположения электронов в атомах различных элементов и определению на основании этих свойств химических элементов. Электроны в атомах располагаются в отдельные группы, при чем внутренние электроны, ближе расположенные к ядру, представляют собою весьма устойчивую систему, нисколько не изменяющуюся при химических реакциях; группа внешних электронов является менее устойчивой; она-то и обусловливает химическую природу атома. Положительной валентности соответствует определенное число слабо связанных с ядром электронов; отрицательная валентность свидетельствует о способностях атома захватывать определенное число чужих электронов. Среди прочих элементов выделяются благородные газы. Благородные газы не обнаруживают никакой тенденции изменить свое состояние одинокого нейтрального атома, тогда как элементы, стоящие перед ними, стремятся увеличить число своих электронов до числа электронов благородного газа, а элементы, стоящие после них, легко отдают избыток своих электронов. Отсюда делается вывод относительно особой устойчивости электронов в благородном газе. В атоме гелия замыкается первая группа из двух электронов, а затем вторая (неон) и третья (аргон) группы из восьми электронов. Указанные закономерности могут быть прослежены и для атомов с большим атомным весом.

М. Борн останавливается на применении метода возмущений к атому. Методом возмущений в астрономии называется прием, с помощью которого рассматривается взаимодействие планет: а именно, действие планеты на другую рассматривается, как возмущение того движения, которое определяется центральным телом. Атом теперь также представляется в виде как бы планетной системы, а следовательно, к нему может быть применен и метод возмущений. Но в применении к атому метод возмущений наталкивается на неожиданные затруднения в виде несовпадений выводов с фактами, причина которых остается невыясненной. Однако в известной ограниченной сфере метод возмущений все же оказывается применимой. Возникающие таким образом проблемы и стремится разрешить М. Борн в своей статье.

Нильс Бор в своей речи ссылается на принцип соответствия, но почти не объясняет его содержания. Зато этому важному и плодотворному принципу посвящена статья ученика Бора Г. А. Крамерса. Наконец, статьи Герца и Франка излагают опытные факты, находящиеся в связи с теорией Бора.

В общем, сборник составлен содержательно и интересно.

И. Орлов.

Классики естествознания. Книга девятая. Классические космогонические гипотезы. Госиздат. 1923 г.

Книжка содержит четыре отрывка из работ Канта, Лапласа, Фая и Дж. Дарвина, излагающие взгляды авторов на происхождение мира, и статью Пуанкаре, являющуюся предисловием к его книге „Leçons sur les hypothèses cosmogoniques" и содержащую обзор важнейших космогонических гипотез от Канта до Аррениуса. Хронологически первой является попытка Канта, который, хотя и извиняясь перед всемогущей тогда церковью, но все же решился сказать „дайте мне материю, я построю из нее мир, т.-е. дайте мне материю, и я покажу вам, как из нее должен образоваться мир. Этим вопрос о происхождении вселенной был включен в общий круг научных вопросов, и это одно является огромной заслугой Канта. Но, кроме того, основные положения, намеченные здесь Кантом, как известно, до сих пор еще имеют значительную ценность, хотя попытка Канта объяснить происхождение кругового движения первоначальной туманности притяжением центрального сгущения ошибочна с точки зрения механики, а предположение об одинаковости развития других систем недопустимо в настоящее время. Лаплас через сорок лет в виде примечания к „Изложению системы мира" опубликовал свою гипотезу, в общих положениях вполне совпадающую с гипотезой Канта. Обычно во всех учебниках и популярных книгах поэтому и говорят о „гипотезе Канта-Лапласа", давая повод думать, что эта гипотеза была плодом сотрудничества философа и астронома, что совершенно не верно, так как в год выхода книги Канта-Лапласу шел шестой год. Интересно, что Лаплас, один из величайших астрономов и математиков своего времени, решился поместить свою гипотезу, только как примечание к книге, являющейся сводкой его работ по небесной механике. Если статья Канта несколько тяготит современного читателя неуклюжестью стиля и громоздкостью логических построений, то изложение Лапласа поражает своей ясностью, сжатостью и простотой.

Совершенно отлична от гипотезы Канта-Лапласа и позднейших ее изменений гипотеза, выдвинутая в семидесятых годах XIX века Фаем. Основным фактором в происхождении круговых колец, из которых впоследствии образовались планеты по Фаю, было существование вихревого движения первоначального вещества. Здесь, конечно, сказалось влияние идей Декарта, которое проявляется даже в работах французских космогонистов нашего времени, напр. Бэло. Образовавшиеся кольца распадаются и превращаются в шарообразные скопления, вращающиеся вокруг общего центра тяжести и своей оси, при чем первыми распадаются кольца, ближайшие к центру. Центральное сгущение образуется последним, иначе говоря, по космогонии Фая, Меркурий старше Нептуна, а солнце старше всех остальных планет. Благодаря появлению и росту солнца, захватывающего все вещество, уцелевшее от планет, притяжение к центру возрастает и расстояние планет от него так же, как и период их обращения, уменьшается. Из вещества не принимавшего участия в первоначальном вихре, образуются кометы. Таким образом, по Фаю, кометы являются не случайными посетителями солнечной системы, какими их считает большинство других космогонистов, а ее постоянными гражданами. Это является одним из немногих преимуществ гипотезы Фая. Мы не будем останавливаться на идеях Дарвина о космической роли приливного трения, так как помещенные в сборнике XVI и XVII главы из книги „Приливы" были подробно разобраны в рецензии на эту книгу [1]).

Сборник заканчивается блестящей статьей Пуанкаре, где, разбирая основные черты классических гипотез, он видит их главнейшее отличие от более новых в том, что по его выражению: „все эти вообще столь различные гипотезы имеют одну общую черту: это теории рациональной механики и математической астрономии, они мало заимствуют из физических наук, вслед-

---

[1]) См. „Под знаменем Марксизма" № 11—12 за 1923 г.

ствио этого они не полны". Но зато, конечно, и долговечность Канто-Лапласовской гипотезы объясняется этой же самой причиной, так как даже в настоящее время астрофизика еще не мечтает о той точности, которой достигла уже давно небесная механика.

Более детальному выяснению положения классических гипотез о происхождении мира в современной астрономии посвящена интересная вводная статья В. А. Костицына, дающая неспециалисту возможность ориентироваться среди той массы материала, которая заключается в этой небольшой по объему книге, и выбрать из него наиболее ценное.

Книга является весьма ценной для начального знакомства с этой увлекательной областью, так как понимание современных воззрений на происхождение вселенной невозможно без знакомства с основными положениями классических работ. Переводы выполнены очень хорошо. В конце приложен указатель наиболее ценных книг по космографии, дающий возможность заинтересовавшемуся читателю расширить свои сведения. В общем книга создает впечатление о тщательной и серьезной работе редакции.

В. Семенченко.

Современные проблемы естествознания Книга 6. В. Нернст. „Мироздание в свете новых исследований". Перевод Г. С. Ландсберга. 58 стр. Госиздат. 1923.

Как известно, одним из следствий второго начала термодинамики является положение об обесценивании энергии, результатом которого в конце концов будет так назыв. „тепловая смерть" вселенной, т.-е. такое состояние, при котором разности напряжений всех видов энергии выравняются, чем и будет уничтожена возможность наступления каких бы то ни было событий. Это печальное заключение, вытекающее из одного из основных законов физики произвело на Нернста еще в юности такое впечатление, что он по собственному признанию „постоянно следил, не будет ли найден какой-нибудь исход". И теперь после долголетней и блестящей научной деятельности Нернсту кажется, что такой исход им найден. Прежде всего, рассуждает он, примыкая в этом отношении к Аррениусу, космос находится в стационарном состоянии: „в среднем в мире угасает столько же звезд, сколько их возгорается вновь". Но рассеяние работоспособности энергии, конечно, происходит, что же может возместить чудовищные количества энергии, благодаря излучению переходящие от нагретой материи к безбрежному морю эфира, заполняющему мировое пространство? Да при этом мы должны заметить, что по теперешним воззрениям дело обстоит еще сложнее, так как не только энергия но и материя обесцениваются: радиоактивные элементы, являющиеся как бы кладовыми чудовищных запасов энергии, понемногу превращаются в более устойчивые и бедные энергией вещества. Нернст в этом направлении идет еще дальше и полагает, что, во-первых, радиоактивность является свойством общим присущим всем химическим элементам, хотя бы в ничтожной и поэтому неуловимой для наших инструментов степени, а, во-вторых, что конечным продуктом распада является некая „первичная субстанция, которую мы могли бы отождествить с мировым эфиром". В этом отношении он до некоторой степени примыкает к Менделееву, который тоже считал эфир простейшим из химических элементов. Но эфир является не только конечным продуктом радиоактивного распада; стационарное состояние космоса требует, чтобы круг был замкнут и поэтому Нернст постулирует возможность возникновения время-от-времени в эфире новых атомов, по его мнению, даже сложных атомов высокого атомного веса. Такое возникновение материи из „пустого места", каким, собственно говоря, является эфир, на первый взгляд кажется гипотезой, несколько рискованной и необычной даже и в наше время. Повидимому автор тоже ощущает это, так как утешает читателя тем, что, так как про-

странство, занятое в нашей системе млечного пути материей, ничтожно по сравнению со всем пространством, занимаемым этой грандиозной системой (к которой принадлежит и солнце), иначо говоря, материя во вселенной относится к маловероятным событиям, но маловероятные события не невозможны и поэтому нередка в эфире образуется редкая комбинация, называемая материей. Нернст ставит требования чрезвычайно скромные: он полагает, что для поддержания массы мира постоянной нужно, чтобы за период несравненно больший, чем 1000 миллионов лет образовывался всего один атом урана, так что надежды наблюдать подобное весьма интересное событие не особенно велика.

Теперь мы смотрим на химические элементы не как на нечто вечное, а приписываем им, как и живым существам, определенный срок существования. Продолжительность жизни элементов тем больше, чем меньше радиоактивность элемента. Наиболее радиоактивные элементы с атомным весом выше веса урана уже „вымерли" и на земле не встречаются. Но замечательно, что и метеориты, некоторые из которых являются гостями из иных солнечных систем, состоят из обычных «земных» элементов (главным образом, из железа), и до сих пор даже следов каких-нибудь новых элементов в них найти не удалось. Это дает нам право утверждать, что химический состав известной нам вселенной однороден, в чем мы имеем поддержку также и со стороны спектроскопии.

Разработка вопросов радиоактивности дает также возможность оценить возраст земли. Способ этот несравненно точнее, чем все существовавшие до сих пор. Дело заключается в том, что все радиоактивные элементы разлагаются с вполне определенной скоростью, являясь как бы идеальными часами. Наиболее распространенным из радиоактивных элементов является уран, при распаде которого образуется гелий и (как конечный продукт) свинец. Определяя поэтому содержание гелия или свинца в урановых рудах, мы можем определить возраст руды, т.-е. время, истекшее с затвердевания расплавленной руды. Конечно, „свинцовый метод" дает результаты более надежные, чем гелиевый, так как гелий при удачном или правильнее неудачном стечении обстоятельств мог частью улетучиться из руды, чего не могло произойти со свинцом. „Свинцовый метод" дает для минимального возраста земной коры 1.500 миллионов лет. Возраст самой земли, пользуясь еще некоторыми дополнительными соображениями, Нернст определяет в 3.000 миллионов лет. Возраст солнца он считает немногим больше. Конечно, эти цифры с небольшими поправками на индивидуальные особенности применимы и к другим звездам.

Что касается вопроса об источниках, позволяющих солнцу и звездам излучать в продолжении такого срока энергию, то Нернст считает, что „в каждый момент излученная неподвижной звездой теплота должна равняться теплоте, развиваемой вследствие радиоактивных процессов". Впрочем, вычисления показывают, что если бы даже солнце целиком состояло из урана, то его излучение было бы более, чем в двадцать раз слабее теперешнего, почему Нернсту приходится выставить добавочное предположение о существовании на солнце еще более радиоактивных элементов нам неизвестных. Указанием на то, что молодые звезды богаты радиоактивными веществами, может служить открытое Гессом излучение типа γ-лучей[1]) большой жесткости, наполняющее мировое пространство.

Гипотеза о стационарном состоянии космоса ведет к одному удивительному следствию, находящемуся в прямом противоречии с нашими сведениями. Дело заключается в том, что за бесконечно большое время существования

[1]) Испускаемые радиоактивными веществами γ-лучи представляют из себя так же, как и лучи Рентгена, световые волны ничтожной длины. Способность проникновения через различные вещества повышается у этих лучей с уменьшением длины волны. Чем короче волна, тем „жестче" излучение.

вселенной в пространстве должна была, по мнению Нернста, установиться температура в несколько тысяч градусов. Так как, на самом деле, там господствует температура, весьма близкая к абсолютному нулю, то Нернст высказывает мысль, что эфир обладает способностью поглощать тепловое излучение, при чем энергия поглощенного излучения превращается в так называемую нулевую энергию эфира, неуловимую для наших инструментов. Эфир возвращает поглощенную им энергию в виде энергии возникающих из него радиоактивных элементов и таким образом круг замкнут, и вселенной обоспечено бесконечное во времени существование.

Таковы главнейшие проблемы, не столько разрешаемые, сколько выдвигаемые автором. Ясно, насколько отличны и они сами, и пути их разрешения от того, с чем мы имеем дело в более ранних космогонических теориях. Еще не вполне закончившаяся в современной физике эпоха „бури и натиска" и здесь наложила свой отпечаток. Но разработка наиболее насущных вопросов современной астрофизики идет быстро, о чем может дать понятие хотя бы не так давно напечатанная здесь речь Эддингтона [1]), о работах которого говорит также и Нернст.

Речь Нернста потому особенно интересна, что она вводит читателя в самую гущу вопросов о происхождении и бытии космоса и их современной постановке. Правда, для малоподготовленного читателя существует некоторая опасность смешать намерение с исполнением и логический постулат—с физическим законом.

Перевод прекрасно выполнен Г. С. Ландсбергом.

В. С—ко.

Современные проблемы естествознания. Книга 9. А. Вегенер. Происхождение луны и ее кратеров. Перевод Н. Румера, под редакцией А. Д. Архангельского и В. А. Костицина. Госиздат. 1923.

Если на земле до сих пор еще существуют места, где географ может надеяться открыть нечто новое, то про обращенную к нам часть лунной поверхности сказать этого нельзя: она известна нам до мельчайших деталей. Одной из главнейших особенностей этой поверхности является необыкновенно большое количество гор, цирков и т. н. кратеров, что дало повод одному из старых астрономов сравнить луну с сыром. Что касается происхождения кратеров, являющихся специфически лунным образованием, то среди занимавшихся и занимающихся этим вопросом единогласия не существует. Прежде чем приступить к изложению считаемой им справедливой гипотезы падения, Вегенер излагает и критикует другие распространенные гипотезы. Он начинает с гипотезы пузырей, по которой кратеры являются следами от вырывавшихся из недр луны огромных количеств газов, которые образовывали на поверхности луны грандиозные пузыри. Пузыри эти, в конце концов, лопались, а на луне появлялся новый кратер. С главнейшим возражением, которое выставляет Вегенер, трудно не согласится. Дело заключается в том, что „в астрономии молекулярные силы магнетизма, электричества, сцепления и т. д. до такой степени отступают на задний план перед силой тяготения, что, до введения спектрального анализа, физика космоса, в сущности, исчерпывалась одним ньютоновым законом тяготения". Если выбросить из этого перечня электричество, которое, как мы знаем, играет значительную роль в космических процессах, то справедливость его несомненна. А образование пузырей—явление управляемое как раз законом взаимодействия молекулярных сил, сил поверхностного натяжения, и поэтому приходится согласится с автором, когда он говорит, что тот, „кто гигантские образования на луне, диаметром в несколько сот километров, считает лопнувшими пузырями, тот

[1]) „Под знаменем марксизма" № 8—9 1923 г.

делают такую же чудовищную ошибку, как тот, кто хотел бы объяснить плавание океанского парохода поверхностным натяжением воды аналогично плаванию маленьких водяных клопов или иголки."

Сущность другой гипотезы, т. н. гипотезы приливов в формулировке одного из ее защитников Эберта, заключается в следующем: „Представим себе огнежидкое мировое тело, которое охлаждается благодаря всестороннему излучению. На его поверхности постепенно образуются тогда твердые глыбы, плавающие в еще жидкой магме. На луне к этому еще присоединилось притяжение земли, вызывавшее в жидких составных частях сильные приливные волны; при наличии последних, вследствие вращения луны, жидкая магма в каждой части ее поверхности попеременно поднималась и опускалась; при каждом приливе она поднималась над твердыми глыбами, затопляя их, и затем возвращалась обратно во время отлива. При каждом следующем приливе тот же комплекс явлений начинался снова".

Но это объяснение правильно лишь тогда, когда лунная кора является совершенно твердым образованием, сохраняющим свою форму, независимо от происходящих под ней приливов жидкой магмы. Это, по мнению Вегенера, невозможно, и поэтому он считает объяснение Эберта настолько же неправильным, как предположение, „что в Северном Ледовитом океане можно наблюдать приливы и отливы с плавучей льдины".

Наиболее распространенной и традиционной является гипотеза, признающая за кратерами вулканическое происхождение. Вегенер выдвигает и против нее целый ряд возражений, главнейшим из которых является отсутствие сходства в форме и особенно в размерах между земными вулканами и лунными кратерами. Кроме того, „поверхность луны до такой степени усеяна кратерами, что даже сомнительно, существует ли на ней вообще какая-нибудь точка, которая, по крайней мере, равсе не лежала бы внутри какого-либо кратера". А „на земле все вулканы, взятые вместе, покрывают лишь ничтожную часть земной коры, и кратеры их так малы, что перенесенный на луну астроном едва ли мог бы различить их даже в самый сильный телескоп". Поэтому автор считает возможным заключить главу о вулканической гипотезе мнением, что „лунные и земные формы различны в корне, а следовательно, и происхождение их различно".

Гипотеза падения, которую защищает Вегенер, была высказана в 1828 г. астрономом Gruithuisen'ом. После этого она в различных вариациях выдвигалась и другими исследователями. Автор пытается обосновать ее опытами, произведенными им с падением цементовых телец на насыпанный в плоскую коробку порошок цемента. Получавшиеся таким образом кратеры имеют не только большое внешнее сходство с лунными, но и обнаруживают совпадение и в таких деталях, как, напр., отношение глубины кратера к высоте вала, которое у лунных кратеров колеблется от 1,1 до 4,4, а у искусственных—от 1,6 до 5,5. Также обстоит дело и для отношений глубины кратера к высоте центральной горки и еще некоторых количественных зависимостей. Кроме того, автор указывает еще на то, что и на земле мы имеем кратер во многих отношениях подобный лунным, происхождение которого по всем данным объясняется падением грандиозного метеорита. Кратер этот находится в Аризоне и был предметом тщательного исследования со стороны геологов.

Вопрос о происхождении тех тел, которые своими падениями вызвали образование бесчисленных лунных кратеров, Вегенер решает также несколько необычно. Это, по его мнению, не метеориты, а тела, принадлежащие к нашей солнечной системе, а м. б. даже вращавшиеся по орбите близкой к земной. Образование луны, а м. б. и земли, явилось просто результатом таких многочисленных падений. „Возможно, до своего соединения отдельные тела составляли кольцо вокруг земли, на подобие сатурнова кольца. Такое предположение наиболее удобным образом решало бы вопрос, почему на земле нет столь же большого числа следов падений. Но столь же возможно

и то, что эти тела описывали самостоятельные, близкие к земной орбите пути вокруг солнца. Ибо, ведь, и землю можно себе представить образовавшейся таким же способом; тогда вещество земли и луны составляло бы одно единственное кольцо вокруг солнца, подобное кольцу малых планет, только с гораздо более плотным распределением масс". Но „на земле, гораздо большей по своим размерам... затухание процесса падений пришлось еще на огненно-жидкую стадию развития и потому не могло оставить после себя никаких следов". Таким образом, здесь Вегенер подходит уже к более общему вопросу об образовании планеты из первоначального кольца. Хотя доказательства автора нельзя признать окончательно убеждающими, его книга представляет интерес, давая впечатление о современном состоянии вопроса. Перевод и внешность издания вполне удовлетворительны.

В. С.

В. Станкевич. Менделеев. Великий русский химик. Изд. The Ynga press Ltd, Прага. 1923. Американское издательство.

Странно в настоящее время читать книгу, подобную книге Станкевича, написанную обывателем для обывателей! Книги подобного склада в „доброе старое время" рассылались по захолустьям „для семейного чтения" в виде приложений к „Ниве" или же к „Русскому Паломнику". Сделавшись эмигрантом, русский обыватель не изменился ни на йоту и по-прежнему испытывает „влеченье, род недуга" к тихому мещанскому житию.

Поставив себе задачей изобразить ту среду, из которой вышел Менделеев, Станкевич чрезвычайно подробно на многих страницах и с видимой любовью описывает мещанскую обстановку в доме родителей Менделеева, мелкие треволнения, как, например, выговоры от начальства, „матерьяльные „невзгоды" вроде того, что „пришлось отпустить повара и самой (матери Менделеева) присматривать за стряпухой"? Подробно рассказано, как мать Менделеева стряпает, какой порядок она завела на кухне, как читает „библейскую историю" и „Христианское чтение", находя в них „неисчерпаемый источник радости и утешения для ума и сердца" и т. п.

Лучше написана специально химическая часть. Правда, и здесь автор любит по-обывательски представлять ученых в виде каких-то чудаков и сумасбродов. Например, Дж. Дальтон в изображении Станкевича не только застенчив и неловок, но туп, лишен способностей и талантов, не умеет делать опытов, не может усваивать чужих мыслей... и, несмотря на все это, гениален! Заговорив о Лавуазье, Станкевич не упускает случая бросить камень в огород французской революции и т. п. Но все-таки химическая часть написана интересно и со знанием дела. В начале дано историческое введение истории развития правильных взглядов на химические явления и история открытия химических элементов. Таким образом автор рисует то состояние химии, которое было отправным пунктом работ Менделеева. Далее подробно описывается история открытия периодической системы. Упорная работа Менделеева, его горячее убеждение, трудности, стоявшие на его пути, равнодушие и скептицизм ученых, уверенное предсказание Менделеевым трех новых элементов с подробным описанием их свойств, действительное открытие элементов, с предсказанными свойствами, сенсация в научном мире и триумф Менделеева—все это рассказано недурно. Изложена и дальнейшая судьба периодической системы, которая была пополнена нулевой группой благородных газов, открытых Рамзеем еще при жизни Менделеева.

Подробно рассмотрев главное дело Менделеева—установление периодической системы—Станкевич очень мало говорит о других работах Менделеева.

Но как только автор переходит к „страничкам из жизни Менделеева", он опять платит обильную дань мещанству. Опять получается изложение, написанное обывателем для обывателей. Тщательно собраны мелкие мещан-

ские черты из жизни Менделеева, а более существенное осталось не освещенным. Гораздо интереснее было бы выяснить тип Менделеева, как научного работника, выяснить, почему он работал, как одиночка, почему не оставил после себя школы, учеников подобно другим крупным ученым.

Идеологически Менделеев был представителем тех слоев крупной промышленной буржуазии, которые стремились к развитию производительных сил. С этой точки зрения и надо оценивать политические взгляды Менделеева. Вместо этого Станкевич только расточает обывательские жалобы по поводу того, что правительство делает выговоры Менделееву, а „общество“ не считает его своим.

Философские взгляды Менделеева также интересны: он был материалистом, хотя и буржуазного склада. В особенности работа о мировом эфире является характерной для материалистического подхода Менделеева к естественно-научным проблемам. Станкевич, неизвестно на каком основании, отрицает материализм Менделеева. „Было бы грубым непониманием смешивать „реализм“, который проповедывал Менделеев с матерьялизмом“,—говорит Станкевич. Но такое утверждение вполне голословно: Станкевич и не пытается показать, в чем же „реализм“ Менделеева отличается от материализма. И совсем уже странно и бездоказательно утверждение Станкевича, что в основе всей жизни Менделеева лежала религиозность „в высоком и чистом смысле этого слова“.

Подобная обработка Менделеева под вкусы убогой обывательщины оказывает плохую услугу памяти великого ученого.

Хорошей биографии Менделеева мы не имели до книги Станкевича, не имеем и после этой книги.

И. Орлов.

W. Ostwald. Die Farbenlehre. Bd. I—V. Leipzig. Unesma.

W. Ostwald. Die Farbenfibel. Leipzig. Unesma. 1920 г.

С. О. Майзель. Цвета и краски. Научное издательство. Ленинград. 1923.

Учение о цветах, разработанное Вильгеном Оствальдом, является новинкой, малоизвестной в России. Между тем, Оствальд в указанной области достиг не малых успехов. Результат работ Оствальда можно в общих чертах характеризовать так: от качественных изысканий он перешел к количественным определениям.

Общее количество цветных оттенков, воспринимаемых нашим глазом, чрезвычайно велико и во всяком случае больше миллиона. Оствальд нашел приемы, посредством которых возможно всякий цвет подвергнуть измерению и при помощи найденного числа дать ему полную характеристику, по которой он мог бы быть вполне точно воспроизведен.

Уже давно старались все цвета привести в стройную, строго расположенную систему. Но при этом краски по оттенкам распределяли произвольно, по глазомеру, а потому и успех попыток был слабый.

Чисто физические определения точно также не могли разрешить задачи. Представлялось невозможным связать определенный цвет с определенной длиной световой волны, так как цвета предметов по большей части смешанные, а в нашем глазу отсутствует способность отличать монохроматические цвета от сложных. Кроме того, в спектре вовсе нет пурпурных цветов; черный цвет возбуждается не присутствием, но отсутствием световых лучей. Наконец, Геринг рядом опытов доказал, что лучи с той же самой длиной волны производят на глаз различное цветное впечатление в зависимости от среды, с которой они контрастируют. Таким образом даже для монохроматического света невозможно связать определенный оттенок с определенной длиной волны.

Все это, казалось, обрекало учение о цветах на полный субъективизм. Однако Оствальд, прибегнув к психофизическим методам, нашел путь к пра-

зильному разрешению задачи. Основная идея Оствальда сводится к следующему. Если рассматривать предметы, отражающие свет, то полное впечатление от каждого цветного оттенка равно единице. Это полное впечатление составляется таким образом: если через V обозначить содержание чистого цвета, через W содержание белого, а через S содержание черного цвета в данном оттенке, то по отношению к каждому оттенку будет иметь место уравнение $V + W + S = 1$. Если, например, $V = 0$ и $W = 0$, то $S = 1$, т.-е. данный цвет является только черным; если же $W = 1$, то белым. При $V = 1$ мы имеем предельный случай насыщенного цветного тона. Если $V = 0$, то $W + S = 1$; последняя формула характеризует серые цвета, т.-е. все переходы между черным и белым. Если, наконец, все три составные части имеют конечные величины,—мы имеем наиболее обычный случай цветной окраски. Яркая цветная окраска характеризуется преобладанием V; если преобладает W получается белый цвет с оттенком цветной окраски, а при преобладании S—черный цвет с цветной окраской и т. д. Таким образом формула Оствальда действительно обнимает собою все частные случаи.

В указанном уравнении из трех величин только две являются независимыми переменными; имея две величины, легко вычислить третью. Но прежде должно быть характеризовано точными цифрами качество цветного тона, то, что мы обозначаем словами: красный, голубой, палевый и т. д. Оствальд все пестрые цвета расположил по окружности, разделенной на 100 ступеней, и каждый участок окружности характеризовал определенным числом. Оствальд при этом руководился следующими правилами расположения цветов: цвета, находящиеся друг против друга на концах какого-либо диаметра (отстоящие на 50 ступеней друг от друга), должны быть дополнительными и при смешении должны давать белый цвет; цвета, расположенные ближе друг к другу, при смешении должны давать цвет, лежащий на середине расстояния между ними. Имея такую шкалу, легко определить в ней место каждого цвета. Оствальд сконструировал особый поляризационный фотометр, посредством которого исследуемый цвет можно сравнивать с цветами шкалы. Задача сводится к тому, чтобы определить, какая из ступеней шкалы служит цветом, дополнительным исследуемому, т.-е. при смешении с последним дает серый цвет. Эта задача разрешается легко и просто при помощи оствальдовского прибора.

Свойства цветного круга (шкалы) следующие: если смешать все цвета (например, при помощи вращения волчка), то получится насыщенный белый цвет. Если смешать все цвета по одну сторону от какого-либо диаметра, получается максимально насыщенный пестрый цвет. Если смешать цвета, расположенные более чем на полуокружности, получается цветной оттенок, содержащий белый цвет; если смешать цвета менее чем на полуокружности, цветной тон не будет вполне насыщенным и будет содержать некоторую примесь черного. Отсюда понятно, почему обычные цвета характеризуются тремя величинами. Отсюда следует также, вопреки общепринятому взгляду, что монохроматические цвета спектра не являются максимально насыщенными, что и действительно подтверждается опытами Оствальда.

Далее, для измерения необходима шкала серых цветов, по которым можно было бы измерить содержание белого и черного цвета во всяком пестром оттенке. Согласно закону Вебер-Фехнера такая шкала должна быть логарифмической, т.-е. не равные разности содержания белого и черного цвета должны отличать ступени этой второй шкалы, но равные разности логарифмов количеств белого и черного цвета.

Но каким образом сравнивать пестрые оттенки с серыми для того, чтобы определить количества черного и белого цвета в пестром? Для этого приспособлены свето фильтры, т.-е. попросту цветные стекла. Если нам дан зеленый цвет, то, рассматривая через зеленое стекло и данный для исследования цвет и серый, мы можем непосредственно сравнивать их друг с дру-

гом, так как серый цвет будет также казаться зеленым. При этом очевидно, что легко подобрать серый цвет, имеющий точно такое же содержание черного цвета, как и исследуемый. Для определения количества белого цвета в пестром необходимо сравнивать его со шкалой, рассматривая через стекло дополнительного цвета: такое стекло пропустит лучи пропорционально только белому цвету, содержащемуся в пестром; никаких других лучей оно не пропустит. Таким образом находятся величины W и S формулы Оствальда, а следовательно определяется и V, т.-е. количество цветного тона. Цвет таким образом вполне определен.

На практике оказывается достаточным всего пяти фильтров для того, чтобы измерять все цвета. Оствальд замечает, что особенно женщины легко и точно производят указанные определения.

Оствальд проводит аналогию между нотной записью музыки и разработанной им записью цветных оттенков. Он мечтает о цветных партитурах, которыми будто бы можно характеризовать всякую картину художника. Далее, из своей теории Оствальд выводит учение о гармонии красок, которому он приписывает огромное художественное и промышленное значение.

Задача анализа и записи красок разрешена Оствальдом. Но с воспроизведением записанных оттенков на бумаге, тканях и других материалах дело обстоит труднее. А только при полном разрешении и второй задачи учение Оствальда будет действительно иметь то огромное значение для промышленности, о котором говорит Оствальд.

Книги „Farbenlehre" представляют собою пятитомное исследование, охватывающее различные стороны вопроса. „Farbenfibel" является популярным изложением. Книжка Майзеля представляет собою популярное изложение популярного изложения. Она все же дает ясное представление о теории Оствальда; содержит также указания на некоторые недостатки и незаконченность теории Оствальда.

Приведен также список литературы предмета.

И. О—в.

С. Васильченко. „Карьера подпольщика". Изд. „Моск. Раб." М. 1924, стр. 516.

I.

Повесть, рассказ, или как хотите назовите это произведение т. С. Васильченка, без сомнения, выдающееся явление нашей современной литературы. Это произведение обладает и крупными достоинствами и в то же время крупнейшими недостатками. Главное достоинство этого произведения—правда жизни, претворенная в творческой душе автора в поистине художественные образы, главный недостаток—это смесь художественного произведения с чертами исторических мемуаров активного участника революции. Двойственность, сочетание черт чисто-художественного произведения с чертами исторического документа и есть то, что портит впечатление, двоит внимание читателя и не дает того гармоничного целого, что остается всегда от произведения выдержанного в каком либо одном роде.

Что это, действительно, так видно хотя бы из того, что т. С. Васильченко на-ряду с вымышленными именами действующих лиц называет их собственными именами и лиц, действовавших в Ростове-на-Дону и имевших в революционном движении этого города то или другое значение, и всем известных, напр., Локермана, Гуревича, Гусева, Сабину и т. п. Некоторые из этих лиц живут и действуют до ныне. Деятельность многих из этих лиц всем известна и как то странно читать их имена в полубеллетристическом произведении.

Чисто-художественное построение рассказа т. С. Васильченка портят и некоторые досадные страницы книги, страницы, которые не вплетут лишнего лавра в венок автора. Мы говорим, напр., о тех подробностях, кото-

рые сопровождают рассказ о донжуанских похождениях купеческого сынка Переселенкова, об амурных похождениях некоей девицы, да еще с приложением иллюстрации, и об озорстве пролетариев в театре.

Но чисто-художественная сторона книги т. С. Васильченка не главное; главное это та поразительная картина, которую дает автор о революционном движении примерно с 1902 по 1905 год в Ростове-на-Дону, этом интереснейшем пункте борьбы русского пролетариата за свободу.

Мы сказали картину движения с 1902 г. по 1905 г. потому, что автор до этих годов картины движения дать не мог, ибо был еще молод и не играл той роли, какую он играл примерно с 1902 г. вплоть до поражения ростовского восстания. Поэтому период собирания сил, формулирования настоящей соц.-демократической организации до 1902 г. т. Васильченко не обрисовал вполне. Точно так же не получается яркого впечатления от описания и знаменитой стачки 1902 г. Зато последующий период очерчен ярко и выпукло. Конечно, и в описании событий 1905 г. есть неточности и неправильности (напр., едва ли верно, что старик Сабина унес на руках умирающую Рейзман с места побоища) но не в этом суть книги т. Васильченка, это мелочи.

Что делает книгу т. Васильченка удивительным произведением—это то дыхание масс, то творчество масс, которое чувствуется повсюду, несмотря на то, что рассказ ведется как-будто бы об одном главном действующем лице.

Жизнь ростовских рабочих, их обычаи, их нравы, их привычки, их психология, их отношение к революционным событиям, их героическая борьба—все это заслоняет все недостатки автора-беллетриста и перед читателем выступает яркая картина развития, как отдельных личностей, так и всей толщи рабочих Ростова. Эта картина постепенного вырастания главного действующего лица и вырастания всего ростовского пролетариата в могучую сознательную силу передано ярко, талантливо и красочно.

Что особенно хорошо и правдиво у т. Васильченки, это описание жизни и деятельности организации, когда в ответ на меньшевистский оппортунизм рабочие самостоятельно ответили оппозицией меньшевистскому комитету.

Если разбирать подробно книгу т. Васильченка, то, конечно, придется внести много фактических поправок, но не в этом ее достоинства: в общем все события, их характер и тенденция изображены верно, а так как к тому же читатель постоянно чувствует мысли и переживания самого доподлинного пролетария, его отношение к великим событиям 1905 г., участие в них, то перед читателем встает удивительная картина ростовского движения.

Книгу тов. Васильченка нужно прочесть всякому, кто интересуется историей рабочего движения. Не говоря уже о том, что перед читателем встают такие дивные фигуры, как покойный ростовский герой Анатолий Сабина, перед читателем развертывается завязка великой драмы и сама драма 1905 года.

Повторяем книга т. Васильченка прекрасная книга и потому к ней и хочется предъявить более строгие требования, чем ко всякой иной книге такого же сорта. Необходимо сказать несколько слов о языке книги. Автор слишком часто злоупотребляет несвойственными русскому языку оборотами, напр., словом „пара". Если немецкое „пара недель" к несчастью вошло в обиход наших литераторов, то зачем же злоупотреблять этой пресловутой парой. А у т. Васильченки каких только „пар" не встретишь: от пары дней до пары людей и пары яблонь или деревьев включительно.

За всем тем книга т. С. Васильченка хорошая, чудесная книга.

В. Невский.

II.

Мы не имеем беллетристического отдела. В нашем журнале мы не отзываемся на произведения отмеченного разряда.

Однако, на этот раз я думаю нарушить этот наш обычай по двум причинам. Во-первых, роман тов. Васильченко—не из обыкновенных романов, а во-вторых, и это главное, я имею сказать по поводу него несколько соображений, на мой взгляд имеющих принципиальный интерес.

Для того, чтобы заранее обеспечить себе благосклонность читателя, привыкшего видеть в наших рецензиях суровую беспристрастность, я предпошлю несколько критических замечаний и горьких слов моим принципиальным суждениям.

Тов. Васильченко ни в какой мере не принадлежит к числу очень удачных романистов: его „Карьера подпольщика“ по своему построению определенно неудачна, роман в начале растянут: чтение первых 105 страниц в десять раз требует больше времени, чем остальных 400. Это по очень простой причине—автор сознательно или бессознательно (скорее бессознательно) пытался придать своему роману вид „приличного“ романа. Но какой же приличный роман не имеет пролога? И в каком романе герой рождается восемнадцатилетним? Все герои родятся, растут, имеют детство—так и герой Васильченко имеет это удовольствие родиться, на 105 страницах расти, проделать ряд неподобающих поступков, столкнуться со своими классовыми врагами в коротеньких платьицах и в детских штанишках - словом, все тут на этих несчастных 105 страницах.

Но ведь все детства, как детства, и никакие поцелуи под экзотическим олеандром делу не помогают, как не помогают и приключения с гнусным приказчиком, о котором герой романа узнает совсем еще мальчишкой.

Но вот странно, вы переваливаете за 105 страницу: герой попал уже в мастерские, вас окружает какая-то странная атмосфера лихорадки, действие идет быстрее, люди интереснее, события растут с кино-быстротой, и вы с возрастающим нетерпением дочитываете книгу, и чем далее—тем быстрее.

Что изменилось? Автор ли обрел мастерство или герой попался более интересный?

Ни то, ни другое. На этой странице автор решил плюнуть на все условности и широко растворил двери романа перед жизнью и уже в дальнейшем не автор *пишет* жизнь героя, а герой *делает* жизнь, а автор это дело развертывает нам. Местами это выходит грубо, как груба сама жизнь; но редки такие слова и картины, которые могли бы не быть на страницах романа, но все это уже *после* узнаешь; ретроспективно критикуя; в романе находишь массу таких мелких и крупных недочетов, а при чтении на все это внимания не обращаешь.

И тут подходим к тому принципиальному вопросу, о котором я говорил выше. Сейчас идет жестокая дискуссия в области литературы и искусства, борется целый ряд направлений, размежевываются по самым разнообразным признакам, но, пожалуй, самая интересная межа все-таки остается старая-простарая, та, которая делит литературу на два лагеря, сторонников чистого искусства и, так сказать, общественников. В каждую эпоху это деление принимает разные наименования и разные конкретные формы, но внутреннее содержание его всегда бывает одно и то же и сводится к альтернативе: *красивая* или *умная* поэзия?

Странная, не правда ли, постановка вопроса: нельзя мыслить некрасивую поэзию, как нельзя представить себе ее неумную; с другой стороны, если она поэзия, то она безусловно в себе сочетает и красоту, и ум.

Но в том то и дело, что в разные эпохи центр внимания перемещается то на одну, то на другую из этих двух неразрывных сторон.

Бывают такие эпохи, когда литература с особенным демонстративным презрением относится к понятиям красоты и выставляет, выпячивает содержание на первый план, и неизменно вслед за этим наступает другая полоса, когда литература с таким же остервенением начинает поход против содержания, за форму, за красоту, за изящество.

Бывает ли такая эпоха, когда литература находит среднюю линию? Нет, и это совершенно понятно: эти перемещения, обусловленные классовой борьбой, в конечном итоге и совершенно естественно до того, как не уничтожена сама эта борьба, не будет уничтожена и эта порывистая скачкообразность перемещения центра общественного интереса и внимания.

Но ведь бывают такие гениальные авторы, которые соединяют и ум, и эстетику? Бывают, в русской литературе их много можно перечислить, но—только они составляют исключение из этого правила? Нет, как раз они и доказывают всю справедливость наших слов. Но вернемся к нашей теме. Об этих великих писателях и их отношении к затронутой нами проблеме много превосходных страниц, написанных Плехановым.

Мы сказали: общественный интерес—на самом деле, именно он и является непосредственным стимулом, непосредственной пружиной, управляющей всеми этими колебаниями. А известно, как тесно этот интерес связан с классовой борьбой. Все сказанное общеизвестно, и если я его повторяю, то только для того, чтобы сказать два слова о характере современной нашей литературы.

Наши пролетарские писатели много работают над усовершенствованием своих стихов и рассказов. Многие из них прямо метят перещеголять старых мастеров по части звучности, образности и т. д. Правда, это никак нельзя признать удавшимся, и ни один из них по части мастерства не превзошел своих учителей, однако тенденция эта заметна.

Я не враг усовершенствований, ни в какой мере не хочу сказать, что они поступают плохо, трудясь над собой—хочу только отметить, что занятия эти ведутся никак не в надлежащем направлении. На самом деле, как ни стараются наши пролетарские поэты придать своим стихам изящную форму—они изжить основной диссонанс не могут: у них каждое стихотворение похоже на изящную статую с огромной непропорционально большой головой. И это неизбежно получится, пока наши поэты и писатели не отделаются от от вредной, совершенно неверной точки зрения, что можно сегодня создать поэзию, которая явилась бы идеальным сочетанием ума и красоты. Это немыслимо, это бесполезно, это вредно.

Мы переживаем эпоху подъема,—эпоху, когда самый революционный из всех общественных классов поставил перед собой задачу фундаментально перестроить весь мир; теперь с особенной силой выдвигается на первый план „ум“. Литература чувствует абсолютную потребность выражать в какой-либо форме те грандиозные мысли, которые бродят в голове революции. До красоты ли тут? До формы ли тут? До эстетики ли тут?

Сегодня для нас, в наши дни самая красивая поэзия есть самая „умная“, при чем, говоря об уме, я не имею в виду философскую пустозвонную мудрость—я имею в виду общественную воодушевляющую мысль нашей эпохи.

Отсюда и то странное на первый взгляд явление, что Демьян Бедный почитается и читается куда как больше всякого „искателя красоты“, хотя любой кропотливый эстет может найти в его произведениях бездну некрасивого, прозаичного и т. д.

Неужели потому, что Демьян Бедный льстит вкусам массы? Это—чепуха сплошная. Демьян не связывает себя условностями и для выражения своей мысли приспосабливает форму, а не сам ломает и себя и мысль свою для формы. Вот и все. „Превыше всего мысль, которую я хочу высказать“,—говорит Демьян, и он говорит это потому, что современный вершитель судеб—пролетариат—ищет ума: ему не до красоты.

Повторяю, для нас сегодня самое красивое—есть самое умное; и те, кто не согласны все сложить на алтарь пролетарской революции, обречены либо на бесплодие, либо на эстетическое глумление над современным человеком, над современным „общественным мнением“.

Может быть, при других условиях и в другую эпоху роман Васильченко и ругали бы,—больше того—быть может (и даже вероятнее всего) люди, держащиеся в стороне от большой дороги современности, этот роман и не будут удостаивать чтения. Но какое дело пролетарскому писателю до этих людей? Роман Васильченко по-пролетарски рассказывает, что топором рубит,—а читатель не в претензии. Волнкие мученичества подполья, славные бои ростовских рабочих, холодная сибирская каторга, горячая товарищеская любовь, бездонная ненависть к эксплоататорам и сознательная упорная работа над собиранием и сколачиванием пролетарской партии—все это-то возвышает душу читателя, то вызывает в нем энтузиазм, то заставляет гневно сверкать глаза юные,—то вызывает в них клокот ненависти к эксплоатации, к капитализму и рабству.

Ужасно! завопит читатель-эстет. Какие прозаические вещи,—ни любви, ни лирики, ни чувства. Есть,—и этого не мало в романе,—но это то, что принято извне, что менее всего украшает роман.

Васильченко не эстет. В его романе—„ум“, практический действенный разум событий преналирует буквально над всем остальным.

Но именно поэтому его нужно читать всем, именно поэтому мы полагаем, что его должны читать все „молодые“—не видавшие виды. Именно поэтому мы этот роман рекомендуем.

В. Ваганян.

Указатель марксистской библиографии [1].

Свыше чем пятидесятилетняя история марксизма в России ждет еще своего исследователя. Возникший в начале 70-х годов в качестве литературной пересадки на русскую почву одной из передовых западно-европейских теорий, марксизм проделал у нас богатую содержанием эволюцию, превратившись из абстрактной, до поры до времени от русской почвы оторванной доктрины, питавшейся лишь смутными симпатиями радикальной интеллигенции, в мощную идеологию победившего пролетариата.

Этот замечательный рост русского марксизма ознаменовался, как многочисленными переводами на русский язык, как творениями Маркса и Энгельса и их западно-европейских последователей, так и колоссальной литературной производительностью их русских учеников. Библиографизация русского марксизма является одной из настоятельнейших задач нашего времени. Однако будущий исследователь не сможет пройти мимо тех опытов, систематизации которых мы посвятили настоящую библиографическую сводку. Нам кажется, что при том серьезном интересе к проблемам марксизма, которым охвачены наши новые кадры учащейся молодежи и преподавательского состава, наша попытка подведения даже чисто внешнего библиографического итога марксистской библиографии не лишена известного теоретического и практического интереса.

---

[1]) Библиографию мы помещаем, как материал: работу тов. Я. Розанова нужно рассматривать как интересный опыт, хотя и не совсем полный. Ред.

I. Общие сочинения.

1. **Н. А. Рубакин**. Среди книг, т. II, изд. 2-ое. М. 1913. См. „Материализм экономический". Стр. 205—206 и 893—896. „Социализм научный" и др. течения. Стр. 741—753—789. „Политическая экономия и ее история". Стр. 807—854. „Социология". Стр. 871—917. (В особенности стр. 839 896. „Экономический материализм").

2. **Н. А. Ульянов**. Указатель журнальной литературы. Вып. I. М. Изд. „Наука". 1912. Стр. 103. Содержит алфавитный и предметный перечень статей ряда толстых журналов, в том числе журналов полумарксистского и марксистского направлений, как „Мир Божий" за 1906—1910 г.г. и „Образование" 1906 1909 г.г.

3. **Н. А. Ульянов и В. Н. Ульянова**. Указатель журнальной литературы. Вып. II. М. 1913. Стр. 215. Вперемежку со статьями др. направлений вошли между прочими и все статьи в (алфавитном и предметном порядке) след. марксистских журн.: „Жизнь" 1899—1901 г.г. „Мир Божий" за 1895—1905 г.г. „Начало" за 1899 г. „Новое Слово" за 1896—1897 г.г. „Образование" за 1896—1905 и „Правда" за 1904—1906 г.г.

Общим недостатком обоих последних двух указателей, это—то, что статьи марксистских авторов не приведены отдельно от статей авторов др. направлений. Вместе с тем „Указатели" являются ценнейшим источником для ознакомления с богатейшей русской марксистской журнальной литературой до 1910 г.

4. **И. Владиславлев**. Систематический указатель литературы за 1911 г.
То же, вып. II за 1912 г.
То же, вып. III за 1913 г. } М. Кн-во „Наука". 1912—1915 г.г.
То же, вып. IV за 1914 г.
То же, вып. V за 1921—1922 г.г., изд. „Книга". 1923 г.

Дается богатая сводка книжной и журнальной литературы, в том числе и марксистской: из старых марксистских журналов обследованны след.: „Наша Заря", „Просвещение", „Современный Мир" и полумаркс. журнал „Современник", „Дело Жизни", газета „Звезда", „Мысль", „Борьба" и новые журналы: „Вестник Социалистической Академии", „Под Знаменем Марксизма", „Записки научн. общества марксистов" и др.

5. „**Указатель книг по истории и общественным вопросам**". Под ред. Н. Гредескула, С. Ф. Знаменского и С. Л. Князькова. Спб. 1909 г.

См. гл. „Социализм и др. общественные учения", стр. 513—539.

6. **Неустроев**. Библиотека социалиста. Изд. „Молодая Россия". М. 1906. Стр. 142 (библиограф. оценка дается с т. зр. с.-р.).

7. **Пл. Лебедев** (Керженцев). Библиотека социал-демократа. Систематический указатель социал-демократ. литературы с приложением программ для чтения, примерных библиотек. Изд. 2-ое. Нижний Новгород 1906 г. Стр. 112.

8. **Его же**. Дополнение ко 2-му изд. „Библиотеки социал-демократа". Спб. 1907. Стр. 37.

9. **В. Керженцев** (Пл. Лебедев). Библиотека коммуниста. 4-ое изд. М. 1919. 96 стр.

10. **Захаров**. В помощь читателю. Изд. „Эпоха". Спб. 1906. 36 стр.

11. **Струмилин**. Что читать социал демократу. Изд. 2-ое дополн. „Новый мир". Спб. 1907 г. Стр. 109. Вперв. напеч. в виде приложения к его книге „Богатство и труд".

12. **Зомбарт**. Указатель социалистической литературы. Приложение к его книге „Социализм и социальное движение". Стр. 279—305.

13. **Л. Каменев**. Социал-демократические издания (1883—1905 г.г.). Гос. Изд. 1922. Стр. 58.

14. **И. Книжник**. Что читать по общественным наукам. Изд. „Прибой". П. 1923. Стр. 81—89.

15. **В. Бонч-Бруевич** (Величкина). Систематический указатель для составления социалистических библиотек. Изд. „Коммунист". М. 1918 г. Стр. 91.

16. **В. Адоратский**. Программа по основным вопросам марксизма. Изд. 2-ое „Красная Новь". 1922 г. Стр. 148.

17. **М. Жаков**. Справочная книжка по марксистскому самообразованию. Изд. „Моск. Рабочий". 1923 г. 159 стр.

18. **А. Шилов**. Что читать по истории революционного движения в России. П. Гиз. 1922 г. (См. стр. 151—162. „Народничество и марксизм", „Группа Освобождения Труда" и др.).

II. Библиография произведений Маркса и Энгельса.

19. **С. Н. Прокопович**. Маркс и Энгельс. (Библиография). В виде приложения к его книге: „К критике Маркса". Спб. 1901. Изд. М. Ф. Пантелеева. См. стр. 249—256.

20. **Чекеруль-Куш**. Сочинения Маркса на русском и иностранных языках. В виде приложения к книге П. Фишера „Теория ценности Маркса". К. изд. Иванова. 1905. Стр. 43—72.

21. „Сочинения Карла Маркса в русской цензуре". В сб. „Дела и Дни". Спб. 1920 г., т, I. Стр. 321—345.

22. **Д.В. О.Е.** К. Маркс и Ф. Энгельс на русском языке „Путь Просвещения". 1922. Стр. 260—272.

23. **Б. С. Шнеерсон**. Опыт библиографии произведений Маркса и Энгельса в русских переводах. В сб. „Памяти К. Маркса". 1883—1923. Изд. „Красная Новь". М. 1923 г. Стр. 215—243.

24. „О литературном наследстве Маркса и Энгельса". (Отчет о докладе Д. Б. Рязанова в Социал. академии 20 II 1923 г.). „Правда" 1923 от 22 февр. 1923 г. и „Вестник Социалист. Академии" 1923 г. VI. 351—377.

25. Перечень произведений Маркса и Энгельса (для печатающогося собрания их сочинений) дан в № 5—6 „Под Знаменем Марксизма" за 1922 г. Стр. 152—154 и в книжке Д. Рязанова „Институт К. Маркса и Ф. Энгельса". 1923 г. Стр. 35—39. Изд. „Моск. Рабочий".

26. **В. Ильин** (Ленин). К. Маркс. В Энциклоп. Словаре. Изд. Бр. А. и И. Гранат. (Дана библиография марксизма).

27. **И. Логинов. Ф.** Энгельс. Материалы к библиографии его сочинений. Гос. Изд. П. 1920 г. Стр. 29.

28. **Я. Р**(озанов). Труды Энгельса и литература о нем. „Коммун. Мысль". 1923 г. № 7 (19). Стр. 56—59.

29. **М. Серебряков. Ф**. Энгельс в литературе. „Книга и Революция". 1921 г. № 10—11. Стр. 1—12.

Г. В. Плеханов. Ученики Маркса.

30. **И. Владиславлев**. Г. В. Плеханов. См. его „Русские писатели XIX—XX ст.". 2-ое переработ. и доп. М. Изд. „Наука". 1913. Стр. 182—192. Есть 3-ье изд. 1918.

31. **В. Ваганян**. Опыт библиографии Г. В. Плеханова. Гос. Изд. М. 1923 г. 116 стр.

32. **В. Ваганян**. Дополнение к „Опыту библиографии Г. В. Плеханова". „Под Знаменем Марксизма". 1923. № 6—7. Стр. 267—270.

33. Перечень сочинений Плеханова дан в: 1) 5—6 книжке „Под Знаменем Марксизма" за 1922 г. Стр. 144—152; 2) книжке Д. Рязанова „Ин-

ститут К. Маркса и Ф. Энгельса". М. 1923 г. Стр. 40—50 и 3) книжке С. Вольфсона „Вокруг Плеханова". Стр. 91—99.

34. С. Я. Вольфсон. Литература о Плеханово. См. его книжку: „Великий социалист". Изд. 2-ое. Гос. Изд. Белоруссии. Минск 1922 года. Стр. 71—82.

35. Его же. Вокруг Плеханова (Плехановская литература 1922 г.). Минск 1922 г. „Белтрестпечать", 99 стр.

В. И. Ленин.

36. К 50-ию со дня рождения В. И. Ульянова (Ленина). 1870 23/IV 1920 г. М. 1920 г. [1]).

К. Каутский.

37. Перечень сочинений Каутского дан в кн. Д. Рязанова: „Институт Маркса и Энгельса". Стр. 51—56.

П. Лафарг.

38. Перечень сочинений Лафарга дан в названной книжке Д. Рязанова. Стр. 57—58.

39. Перечень работ Лафарга, вышедших на русском языке, приложен. к сб. ст. Лафарга: „На капиталистической каторге". Изд. „Моск. Рабочий". Стр. 215—217.

А. Бебель.

40. Я. Розанов. Библиография Бебеля. „Коммунистическая Мысль". 1923 г. Стр. 30—33.

Ж. Гед.

41. Ст. Кривцов. Ж. Гед на русском языке. (Био-библиографическая справка), „Под Знаменем Марксизма". 1922 г. № 7—8. Стр. 143—144.

Н. Зибер.

42. В. С. Иконников. Н. И. Зибер. См. в составлен. автором „Библиографическом словаре профессоров и преподавателей Университета Св. Владимира (1834—1884)". К. 1884. Стр. 204—206.

4. Исторический материализм.

43. С. Семковский. Указатель литературы об историческом материализме. Прилож. к сб. „Исторический материализм". 1-ое изд. 1908 г. и 5-ое изд. 1923 г. Стр. 319—327.

44. Я. Розанов. Указатель литературы об историческом материализме. Прилож. к. сб. „Исторический материализм". Гос. Изд. Украины. Киев. 1921. Стр. 169—174.

45. Его же. Библиография по историческому материализму. Киев. Гос. Изд. 1924. (До 800 названий на русском языке).

46. В. Сарабьянов. Что читать о диалектическом материализме. „Книгоноша". 1923 г. №№ 4—32. (Прод.)

---

[1]) Пропущено: Л. Каменев „Перечень неопубликов. статей В. И. Ленина". „Дополнения к перечню"—„Прол. Револ." № М. Ольминский.

47. Н. Н. Алексеев. Философия марксизма. „Критическое обозрение". 1908 г., вып. 6 (II).

48. П. Юшкевич. О философских направлениях в марксизме. „Новая книга". 1907 г. №№ 2, 3, 7 и 10.

49. П. Берлин. Библиографические заметки к изучению марксизма. „Новая книга". 1907 г. №№ 5 и 11.

50. Я. Розанов. Библиография о „Коммунист. Манифесте". „Коммунист. Мысль". 1923 г. № 2—3. Стр. 8—10.

51. П. Орловский. „Коммунистический Манифест" и его судьба в России. „Образование" 1907 г. № 4.

6. Этика.

52. Я. Розанов. Библиография об этике. См. сб. под ред. Я. Розанова „Марксизм и этика". Киев. Гос. Изд. Серия „Проблемы марксизма". 1923 г. Стр. 316—318.

7. Проблема преступности.

53. Его же. Библиография о проблеме преступности. Серия „Проблемы марксизма". 1924 г. Стр. 264—266.

8. Проблема религии.

54. И. Сухоплюев. Указатель литературы по антирелигиозной пропаганде. „Пролетарская Мысль" 1923 г. № 3—4. Стр. 80—94.

55. Его же. Указатель литературы по вопросам религии и сб. „Антирелигиозная пропаганда". 1922. Изд. Пурукрыма. Стр. 258—262.

56. Его же. Библиографический обзор литературы по вопросам религии „Путь к коммунизму". 1922 г. № 3—4. Стр. 247—302.

57. Я. Розанов. Указатель литературы о религии. Прилож. к сборн. Плеханова „Статьи о религии". Киев. Гос. Изд. Украины. 1923 г. Стр. 123—131. (Свыше 150 названий марксистских работ).

58. Е. Ярославский. Библиография по вопросам религии. Прил. к его книжке „Как родятся, живут и умирают боги". Изд. „Красная Новь". 1923 г. Стр. 271—282.

9. Проблема ценности.

59. А. Мендельсон. Основные направления теории стоимости и литературе на русском яз. „Под Знаменем Марксизма". 1922 г. № 7—8. Стр. 191—200.

60. Его же. Проблема стоимости в экономической литературе на русском языке. (Библиографический обзор). Гос. Изд. „Труды Института Красной профессуры". 1923 г. Стр. 112.

10. Художественная литература.

61. Р. С. Мандельштам. (Общая редакция Н. К. Пиксанова). Художественная литература в оценке русской марксистской критики. 2-ое изд. Гос. Изд. 1923 г. Стр. 95. 1-ое изд. 1921 г. Саратов.

11. Русская история.

62. С. Вознесенский. Русская история. Указатель литературы. П. 1923 г. Изд. „Прибой". Стр. 295. (Марксистские работы отмечены курсивом).

63. М. Н. Покровский. Борьба классов в русской исторической литературе. Изд. „Прибой". 1923 г. Стр. 137.

12. Национальный вопрос.

64. Указатель литературы по национальному вопросу. В сб. „Марксизм и национальная проблема". Гос. Изд. Украины. 1923 г. Стр. 275—278.

65. Обзор литературы по национальному вопросу с т. зр. экономич. материализма. См. у Рубакина „Среди книг", т. III, ч. I. Кн-во „Наука". 1915 г. Стр. 105—107 и след.

13. Журнальные указатели.

Существуют сводные указатели за несколько лет к журналам:

66. „Мир Божий" за 1892—1901 г.г.

67. „Жизнь" за 1899—1900 г.г. (Приложен. к II кн. за 1901 г.).

68. „Наша Заря" за 1910 и 1911 г.г.

69. „Под Знаменем Марксизма" за 1922 г. прилож. к № 11—12 и за 1923 г. XII за 1923 г.

70. К „Коммунистическому Интернационалу", к №№ 1—25. (Отд. изд.).

71. „Научное обозрение" за 1897—1903 г.г. (См. Библиография периодика". Изд. Социал. Академии. 1923, вып. 1, стр. 49).

К журналам.

72. „Современный Мир".

73 „Образование" и др. за каждый год.

74. Указатель к №№ 1—5 „Записок научн. общества марксистов", приложение к № 5. Гос. Изд. 1923 г.

75. Указатель к №№ 1—6 „Вестника Социалистической Академии" приложен. к № 6. Гос. Изд. 1923 г. [1]).

Я. Розанов.

Архив К. Маркса и Фр. Энгельса.

В начале мая выходит в свет первая книга „Архива К. Маркса и Фр. Энгельса", издаваемого Институтом Маркса и Энгельса.

Содержание первой книги:

I. **Статьи и исследования**: Деборин, А. Очерки по истории диалектики. Очерк первый. Диалектика у Канта.—Рязанов, Д. Международное товарищество рабочих. 1. Возникновение первого Интернационала.—Цобель, Э. К истории союза коммунистов. Кельнская община союза до мартовской революции.

II. **Из неизданных рукописей Маркса и Энгельса**. Маркс. Тезисы о Фейербахе.—Маркс и Энгельс. Проект предисловия к „Немецкой идеологии".—Л. Фейербах. Идеалистическая и материалистическая точка зрения (Глава из „Немецкой идеологии"). Рязанов. Предисловие Энгельса к „Борьбе классов во Франции".

III. **Из переписки Маркса и Энгельса**. В. Засулич и К. Маркс (Переписка).—Письма Энгельса к Бернштейну.

---

[1]) Пропущено „Библиография периодика", издаваемая Соц. Акад.

IV. **Критика и рецензии.** Удальцов, А. К теории классов у Маркса и Энгельса (по поводу книги Солнцова „Общественные классы"). — Ротштейн. Новая литература о чартизме. — Неусыхин, А. Новый опыт построения истории хозяйства и др. обзоры и рецензии.

Выдающийся интерес представляют II и III отделы „Архива"; здесь впервые появляются в печати, на основании хранящихся в архиве института фотографий подлинных рукописей, неопубликованные еще нигде произведения и письма Маркса и Энгельса: проект предисловия и глава из „Немецкой идеологии", к счастью, не окончательно испорченной грызущей критикой мышей, посвященная Фейербаху и содержащая изложение историко-материалистических взглядов Маркса и Энгельса, сложившихся уже к 1845—6 годам; найденные тов. Рязановым в одной из записных книжек Маркса знаменитые тезисы его о Фейербахе в редакции, несколько иной по сравнению с общеизвестной; письма Энгельса к Бернштейну за 80-ые и 90-ые годы, содержащие много материалов для характеристики современного социалистического движения в Германии, Франции и Англии; наконец, переписка Маркса и В. Засулич, содержащая письмо последней к Марксу и ответное письмо Маркса, вместе с черновиками его к этому письму, показывающими ту длительную подготовительную работу, которую совершал Маркс даже в своей переписке.

С разрешения института приводим здесь один из этих черновиков.

Дорогая гражданка! 8 марта 1881 года.

Болезнь нервов, периодически возвращающаяся в течение последних десяти лет, помешала мне раньше ответить на ваше письмо от 16-го февраля.

Сожалею, что не могу дать Вам предназначенный для опубликования краткий ответ на вопрос, с которым Вы мне сделали честь обратиться ко мне. Два месяца тому назад я уже обещал петербургскому комитету работу на ту же тему. Надеюсь, однако, что достаточно будет нескольких строк, чтобы у Вас не осталось никакого сомнения относительно недоразумения о моей так называемой теории.

Анализ, представленный в „Капитале", не дает ничего, что можно было бы выставить ни за, ни против жизнеспособности русской общины.

Специальные изыскания, которые я произвел и материалы для которых я почерпнул в первоисточниках, убедили меня, что это община является точкой опоры общественного возрождения России (русского общества). Но для того, чтобы она могла функционировать, как таковая, нужно было бы прежде всего устранить тлетворные влияния, которые ее теснят со всех сторон, а затем обеспечить ей условия самостоятельного развития.

Издание Кн-ства „Материалист". Отв. редактор В. Тэр.